

МИТИН ЖУРНАЛ

63



ББК 84(2Рос=Рус)6-44

МИТИН ЖУРНАЛ

издается с января 1985 года

главный редактор: ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ ВОЛЧЕК

дизайн обложки: Виктория Горбунова

верстка: ЕЛЕНА АНТОНОВА

руководство изданием: ДМИТРИЙ БОЧЕНКОВ

подготовлено к печати: KOLONNA publications

ISBN 5-98146-5

© Митин Журнал, 2005

www.mitin.com

тексты

АНДРЕЙ БАШАРИМОВ
ШИШ БРЯНСКИЙ
ВАДИМ КАЛИНИН

персонажи

ГАЙ ДАВЕНПОРТ
ФРАНСУА ОЖЬЕРАС
РОБЕРТ ИРВИН

коллекция

АЛЕХАНДРО ХОДОРОВСКИЙ
ПЬЕР ГИЙОТА

архив

ДЖИН ОВЕРТОН Фуллер
ИНДРЖИ ШТЫРСКИЙ
ВАСИЛИЙ КОНДРАТЬЕВ
АНДРЕ ЖИД

in progress

ЯРОСЛАВ МОГУТИН

ТЕКСТЫ

АНДРЕЙ БАШАРИМОВ

ВИСМУТ

Женщина внимательно посмотрела на него.

– Ну, так что ты решил? Пойдешь с нами?

Егор пожал плечами.

– Пошли.

Мужчина сделал неопределенный жест рукой.

– Вот сюда.

– Вы в «Прибалтийской» остановились? – поинтересовался Егор.

Мужчина улыбнулся.

– Ах, да... Я забыл, ты ведь местный... Да, в «Прибалтийской».

Женщина бойко зацокала каблучками по тротуару.

Мужчина подмигнул Егору.

– Гляди, как торопится, – понизив голос, сказал он.

Егор смущенно улыбнулся.

– Да не стесняйся ты так! – Мужчина положил руку ему на плечо. – Все же нормально, правильно? А если нормально, то все хорошо должно быть. – Его лицо заострилось, и он тихо добавил: – И все хорошо будет. Все будет хорошо. – Он поежился и вперил взгляд в асфальт.

Они молчаливо шагали рядом.

– А вы первый раз в нашем городе? – спросил Егор.

Мужчина вздрогнул и посмотрел на него затуманенным, оторопелым взглядом.

– Что?.. А?..

– Я говорю, в городе нашем уже бывали? – мягко переспросил Егор.

Лицо мужчины прояснилось.

– Ах, в городе... Бывали, а как же не бывать. И не раз. – Он обвел взглядом окрестности. – Как же тут не бывать! Какой все-таки красивый город, уникальный, с особой культурой, – он прищелкнул пальцами, – с особым духом, я бы даже так выразился. Этот город – как море. Здесь чувствуешь себя таким же свободным, как и там. Чайки, солоноватый привкус на губах, оторванность от мира, вечер в кают-компании... Я моряком ходил. Эхх... Много где побывать пришлось. Все моря исходил... – Он невесело усмехнулся. – Да что уж говорить... Все ушло... Осталась только память. А кому она теперь нужна, эта память... Эхх... – Он покосился на Егора: – А тебе в открытом море бывать приходилось?

– В общем, как-то не довелось.

– Да, – вздохнул мужчина. – В наш век романтиков почти не осталось. А я ведь моряком еще в детстве решил стать. Когда читал про капитана Блада, Порт-Артур и кругосветное плавание на Кон-Тики. У меня еще тогда дедов бинокль

был, я его брал с собой, и мы с ребятами представляли, как будто мы капитаны больших кораблей, отправляемся в дальние планы. Ха-ха... – Он покачал головой. – Сейчас смешно, конечно, вспоминать. Но тогда жутко интересно было... Я, кстати, бинокли собираю. Начал свою коллекцию как раз с того, с дедовского... А ты ничем таким не увлекаешься?

Егор пожал плечами.

– Да, в общем, ничем таким особенным.

– Да, ну? И марки не собирал никогда?

– Марки собирал. Но давно очень.

– И что же? У тебя ни к чему сейчас интереса нет?

– Ну... – замялся Егор. – Ну, в общем, есть...

– И к чему? – не отступал мужчина. – К чему?

– Ну, в общем, я мотоциклами увлекаюсь. Собираю их из запчастей. Старыми, немецкими мотоциклами.

– Раритетными?

– Нет. Говорю же – старыми, ну, военными. – Егор оживился. – Вот, недавно с Северного Кавказа гнали рефрижератор. Гаевые на посту тормознули, ну, там посмотрели, типа, откройте, все дела, ну, чуваки, короче, открывают, а там, ну, так, прикиньте? Там, – Егор запнулся, – там внутри полностью мотоцикл стоит, немецкий бээмвэ, еще с самой войны, полностью! С подставкой для пулемета, и полностью собранный пулемет на коляске. Ну, гаевые, понятно, всех повязали, стали дальше осматривать – а там еще наркоты полная кабина, ну, все. – Они перешли дорогу и направились к многоэтажному зданию. – Так вот, они, короче, их всех взяли, а мотоцикл себе забрали. Пулемет, конечно, они потом отдельно продали, а мотоцикл по дешевке двинули таксистам, а у меня дядька таксует, вот он и выкупил, типа, мне подарок ко дню рождения.

– А что с мотоциклом-то?

– С мотоциклом все клёво получилось. Мы с пацанами его восстановили, там только клаксон неродной поставили, от более поздней модели пришлось, а то это было уже просто нереально сделать, а так – машина просто цаца, мmmm, – Егор причмокнул губами. – Просто девочка, а не машина получилась. Все нормально, спокойно сдали ее. Нормальные бабки получили. – Он сбавил шаг. – Получили... – Он остановился. – Получили... – Он сжал кулаки. Лицо его посерело. Он закрыл глаза и зло и коротко ругнулся.

Мужчина осторожно тронул его за руку.

– С тобой все в порядке? – озадаченно осведомился он.

Егор открыл глаза и слабо усмехнулся.

– В порядке, в порядке...

Они медленно побрели дальше.

– Так что стряслось-то? Вспомнил что-нибудь?

– Вспомнил, вспомнил...

– Что, кинули тебя? – осторожно спросил мужчина.

Егор молча кивнул.

– Намного?

– На все, – глухо ответил Егор.

Они молча поднялись по ступеням.

– Это со мной, – указав на Егора, сказал администратору мужчина.

Женщины нигде не было видно.

– Она уже поднялась, наверное, – предположил мужчина. – Поднимемся?

– Да, можно, в общем.

Они вызвали лифт и поднялись на четвертый этаж.

Дверь с надписью «416» была не заперта.

Мужчина вошел без стука.

– Ты уже здесь, солнышко? – крикнул он в глубину номера.

– Здесь! Я на балконе, – отозвалась женщина.

– Мы уже пришли! – нараспев сказал мужчина. Он повернулся к Егору: – Проходи, не стесняйся. Можешь не раздеваться. И вообще, – мужчина ободряюще улыбнулся, – чувствуй себя как дома.

Они зашли в просторный холл.

Мужчина плюхнулся в кожаное кресло.

– Что предпочитаешь? – он потянулся к стоящему рядом столику со спиртным. – Виски, водка, вино?..

За приоткрытой дверью балкона, мелко трепещущей от порывов ветра, облокотившись о перила, стояла женщина. Высоко вздернув голые плечи, она смотрела вниз. Егор задержался взглядом на ее талии.

– Вермут.

Мужчина поднял брови.

– Вермут?

Егор обернулся.

– Ну, да. Вермут. Есть?

– Обижаешь, дарагой, – улыбнулся мужчина. Он наклонился и достал со второй полочки бутылку. – Барберо. Подойдет?

– Вполне.

Мужчина подал наполненный бокал Егору.

– Мариночка! – позвал он. – Ты будешь?

Женщина, не оборачиваясь, отрицательно мотнула головой.

– Вот такая она у меня, – мужчина несколько смущенно посмотрел на Егора. – Своенравная немножко.

Егор залпом выпил вино и присел на диван. Он повертел пустой стакан в руке. Пробежался глазами от стакана к бутылке и снова назад. Вдохнул. Откинулся на холодную спинку и потянулся руки вверх, хрустнув суставами.

– А сейчас все такие-ее, – он прикрыл ладонью скривившийся от зевоты рот. – Феминизм, все дела.

Мужчина улыбнулся.

– Точно. Эмансипированные.

Егор безвольно разбросал руки, далеко вытянул расслабленные ноги и закрыл глаза.

– Вы меня понимаете... – сказал он тихим голосом.

– Вот что, – мужчина дружелюбно оглядел полулежащего Егора. – Называй меня на «ты», хорошо?

– Хорошо, – ответил Егор еще тише и медленнее. – А как вас зовут?

– Не «вас», а «тебя», – улыбнувшись, поправил мужчину. – Меня зовут Володя.

Егор приоткрыл один глаз.

– А можно, я буду называть вас дядей Володи? – еле двигая языком, пробормотал он.

– Можно, можно, – засмеялся мужчина. – Только тетей Валеи меня не называй.

Егор зашевелился, пытаясь встать, – подался вперед, заскользил ногами по полу, правая ступня подвернулась – он привалился к диванной спинке и мягко осел вправо – он упал на бок и замер.

Мужчина встревоженно всмотрелся в его неподвижную фигуру.

– Вот так-так, вот так-так, – мужчина суетливо подскочил с кресла и нервно подошел к лежащему на диване Егору.

Рот Егора был приоткрыт.

Из него вытекал клейкий и вязкий ручеек слюны.

– Оленька! Оленька! – закричал он. – Оле... – голос его задрожал. Непослушной рукой он достал из кармана брюк носовой платок и вытер со лба пот. – Иди сюда! Оленька!

Женщина на балконе вздрогнула, поежилась, выбросила вниз недокуренную сигарету и вошла в комнату.

Мужчина указал рукой на Егора.

– Вот. Полюбуйся!

Женщина спокойно подошла к дивану, взяла Егора за кисть, нащупала пульс.

– Ничего. Живой.

Мужчина быстро заходил по комнате, заложив руки за спину.

– Ах, зачем? Оленька, зачем?!

Женщина посмотрела на него исподлобья.

– Не устраивай истерик, – сквозь зубы процедила она. – Успокойся. Сядь. Быстро сядь! – Она зло блеснула глазами.

Мужчина остановился как вкопанный, удивленно уставился на нее, а потом, будто опомнившись, мелкими шагами засеменил к креслу и присел на его край, крепко сжав колени.

Лицо его приняло бесстрастное выражение.

– Коленька, – сказала женщина. – Ты ничего не хочешь мне сказать?

– Нет, – ответил мужчина.

– Вправду нет, сладенький?

– Нет.

Женщина потерла руки.

– Тогда отлично!

Мужчина заплакал.

– Тааак... Начинается... – женщина села на диван рядом с неподвижным Егором и закинула ногу на ногу.

– Я... Я... Я... Нне мммогу... Так... Ннне мммогу... – мужчина всхлипнул.

– Коленька, прекрати! – поморщилась женщина. – Ты ведь знаешь, что я из-за любви.

– Я зззнаю, – с трудом проговорил мужчина. – Нно ппонннать не мммогу...

Женщина достала из лежащей на столике пачки сигарету и вопросительно посмотрела на него.

– Можно?

– Ккури, – махнул рукой мужчина.

Женщина щелкнула зажигалкой и глубоко затянулась.

– Помнишь, мы ехали с тобой на маршрутке, а ты удивлялся, что они ездят таким крюком и настолько далеко? – стряхнула на пол пепел. – Ты посчитал это тогда неоправданным.

Мужчина кивнул, вытирая лицо платком.

– Тебе и сейчас непонятно? – женщина затянулась.

Мужчина кивнул, заталкивая скомканный мокрый платок в карман.

– До сих пор?

– Да.

– Совсем?

– Да.

Женщина затянулась. Выпустила кольцами дым. В последнее кольцо вдела палец. Оно расширилось до размера кулака. Растаяло в воздухе.

– Вот видишь – как и не было... Хочешь, скажу, почему они туда ездят?

– Конечно.

– Потому, что... – она поднесла сигарету к губам и прищурила глаза.

– Что? Что?! – мужчина приподнялся с кресла.

– Потому что *туни*, – твердо произнесла женщина и бросила сигарету в бутылку с вермутом. Она придвинулась к Егору и подняла его руку. – Взгляни. У него на руке татуировка. Я его сразу заметила. Номер. Посмотри.

Мужчина подошел и взглянул на руку:

0 7 8 3 1 5 0 5

– Теперь понятнее? – Женщина посмотрела на него в упор.

– Не совсем. – Мужчина отвел глаза.

– Ох, ты горе луковое! – всплеснула руками женщина. – За что же мне наказание такое? Надо взять цифровик, сфотографировать все *крупно*, чтобы осталась *память*. Это первое. Второе: содержание, обеспечение – хороший способ убить в себе юность. Это ясно. Третье – это то, что мало того, что сегодня утром меня рвало толченым стеклом, но, кроме того, в море заиграл сводный оркестр, он играл «Прощанье славянки». Мне не нужно это за деньги. Мне нужно это, идущее из глубины. Ты не подумай, – она опустила голову. – Мне не жалко этих денег. Деньги – пшик. Просто мне надо по-настоящему. – Голос ее стал еле слышен. – А не просто так. Не так... Я хочу, чтобы было на самом деле. Чтобы без

всякого притворства. Чтобы это не было отработкой, сведением к нулю потребности. Я хочу, чтобы было так, как это должно быть. – Она погладила Егора по спине. – Мне нравится этот мальчик. У него – рука. Переверни лист – прочитай цифры. Я хочу, чтобы это был он. Лист переверни – перевернутся цифры. С ним. Чтобы это было как мозговой эпизод, настоящий и нейронный, происходящий заведомо и неотвратно, как мозговая изморозь от барбитурата, когда ты выпиваешь целый бокал, не чувствуя вкуса, все исходит, ласково смеется, растекается укрученной до невыносимой плотности улиткой, надвигается обстановкой, становящейся знакомой, вырабатывается воспоминаниями о той одной и постоянной комнате, в которой ты спал, ждал гостей, принимал сигналы далеких квазаров, очевидел:

\ /
(o o)

сверни в клубок солнце впалый
сверни в клубок солнце впалый
сверни в клубок солнце впалый **Р И С К Н И** сверни в клубок
солнце впалый
сверни в клубок солнце впалыйсверни в клубок солсверни в клубок солнце
впалый
сверни в клубок солнце впалыйсверни в клубок солсверни в клубок солнце
впалый
сверни в клубок солнце впалыйсверни в клубок солсверни в клубок солнце
впалый
сверни в клубок солнце впалыйсверни в клубок солсверни в клубок солнце
впалый
сверни в клубок солнце впалыйсверни в клубок солсверни в клубок солнце
впалый
сверни в клубок солнце впалый **Л Е Т О М** сверни в клубок солнце впалый
сверни в клубок солнце впалый
сверни в клубок солнце впалый

на летающей тарелке заберешь меня отсюда или мелом или летом иль лучиною с зимовья мы вернемся мы растаем вместо третьего отряда и недаром так поется лучше более сильнее грустно всхлипнул, мни знакомства бережно взял его в ладонь пододвинул к себе кресло, мягко опустился, бросив обессиленные руки на подлокотники, пододвинул ногой смятую на полу газету, зашуршало, шлепанец оставил рваную рану на мягкой поверхности, прекратил борьбу со титановыми веками, отпустил, быстро и бесшумно схлопнулись, не оставив электрическому свету ни единого шанса, бездарно заснул.

Там светило солнце.

Водило рукой по спине.

Стало щекотно.

Я открыл глаза.

На меня в упор смотрела женщина. Она сидела на кровати. Что-то делала пальцами. У нее были красивые пальцы. Такими пальцами когда-то перебирали мои волосы. Такие пальцы трогали струны арфы, когда я был на концерте и сидел в третьем ряду.

– Меня зовут Ольга, – отчего-то сказала женщина. – А как зовут тебя, малыш? – спросила Ольга (теперь я это уже знал).

– Никак, – ответил я.

– Кто твои родители?

– Никто.

– Где ты живешь?

– Нигде.

– О чем ты сейчас думаешь?

– Ни о чем.

– Ты не будешь не следить за моими пальцами?

– Нет.

– То есть ты говоришь, что не станешь не следить за моими пальцами?

– Нет.

– Хорошо, – женщина щелкнула пальцами. – Не следи за моими пальцами. – Она сдвинула два указательных пальца вместе и начала водить ими перед моими глазами. Мне стало странно. Я обещал. Не смотреть я не мог.

– Тебе плохо? – спросила Ольга.

– Нет.

Мне не было плохо.

– Тебе хорошо?

– Нет.

Мне не было хорошо.

– Не видишь этого мужчину? – Женщина указала на цветное пятно у противоположной стены.

– Нет.

– А что ты видишь?

– Ничего.

– Отлично. Этот мужчина, которого ты не видишь – Коля. Ты не понял?

– Нет.

Женщина вздохнула.

– Тогда слушай. Мы – твои самые близкие родственники.

Она провела ладонями по моим губам.

– Ты должен во всем доверять нам.

Цветное пятно у стены кашлянуло.

– Гхм... – пробасило пятно. – Ты должен во всем доверять нам.

– Считай за нами, – повывисив голос, приказала Ольга. – Ноль!

– Нет.

– Ноль!

– Нет.

– Ноль!

– Нет.

– Ноль!

– Нет.

– Коля, Коля, Коля, помоги! Быстро помоги! – голос женщины надломился и стал злым.

– Вы не моя мама. Вы не добрая, – сказал я.

Женщина засмеялась.

– Кто тебе сказал, что я твоя мама? – Она закричала: – Мы твои родственники! Повторяй за мной: НОЛЬ! Ну! НОЛЬ! НОЛЬ!

– Ладно. Ннноль, – с трудом выговорил я.

– Семь!

– Семь.

– Восемь!

– Восемь.

– Три!

– Три.

– Один!

– Один.

– Пять!

– Пять.

– Ноль!

– Ноль.

– Пять!

– Пять.

– Молодец, хороший мальчик. – Женщина наклонилась и поцеловала меня в щеку. – А теперь так... Вставай.

Я поднялся с дивана. В голове стоял звон. Не хватало воздуха. Я посмотрел на открытую дверь балкона. Воздуха все равно не хватало. Стало как-то тоскливо. Я посмотрел на стены вокруг меня. В них совсем не было надежды. В эти лица, в которых не было ни капли сочувствия. В эти стекла, звенящие на предельной частоте от проезжающих внизу трамваев. В эти цветочные пятна, заслонившие собой все вокруг, не оставившие ни единого шанса на безразличие, распределяющие раздражение в глубине, прорезающей неяркое тело, которое сидит сейчас на этом диване, водит глазами и головой, ни на что не надеется, слушает шероховатость губ, как зовут эту женщину, как ее зовут?

Она говорила.

Звук ее горла затерялся.

Только шелест предгрозового ветра.

– Как вас зовут? – прервал я ее.

Женщина осеклась на полуслове.

– Господи... Ольга! Ольга меня зовут! – Она строго и грустно посмотрела на меня.

А я ничего не мог с этим поделать.

– Коля! Коленька! – крикнула женщина светлomu пятну у стены. – Готовь камеру.

– Какую еще камеру? – насторожился я.

– Простую, – мягко ответила Ольга. – Фотографическую. Не бойся, маленький, все будет хорошо. – Она прижалась ко мне и легонько шепнула в ухо: – Верь мне.

Мне ничего не оставалось.

Я поверил.

Ольга велела: Пусти меня.

Я не понял: Куда?

Ольга сказала: Сюда.

Я не понял: Куда «сюда»?

Ольга объяснила: Вот сюда, на диван.

Я не понял: Ты хочешь лечь?

Ольга засмеялась: Именно так, глупенький, именно так.

Я стал на пол и не знал, что дальше делать.

Ольга легла на диван. Заложила руки за голову. Посмотрела из-под опущенных ресниц на меня.

Мне стало неловко.

Ольга хитро улыбнулась: Иди сюда.

Я не понял: Куда?

Ольга хлопнула рукой по дивану: Сюда.

Я не понял: В смысле?

Ольга засмеялась: Стань на колени и иди туда.

Ольга слегка пододвинулась и согнула одну ногу в колене.

Я сел на пол.

Она задрала ногу вверх и прижала ее к плечу, удерживая рукой.

Она придвинулась тазом к моему лицу.

Там были купальные трусики и волосы.

Ольга сказала: Коля, надеюсь, на сей раз ты не испоганишь снимки?

Коля в ответ промычал что-то неопределенное.

Ольга велела: Приступай.

Я не понял: Что?

Ольга вздохнула: Отведи трусики в сторону пальцем, прижмись туда всем своим красивым лицом и приступай.

Я задумался.

Ольга нетерпеливо завертелась: Ну, чего же ты? Я уже вся мокренькая.

Я спросил: Ты думаешь, я не разочарую тебя?

Ольга улыбнулась: Думаю, нет. Ты такой милый...

Световое пятно зашевелилось: Ну, чего вы там замешкались? В чем дело?

Я спросил: Ты хочешь, чтобы я оставил липкую улыбку языка в жестких волосах?

Ольга засмеялась: Ты такой забавный мальчик... Да, хочу, хочу. Давай быстрее, а то мне уже тяжело ждать.

Я засомневался: Я не уверен, что хочу этого.

Ольга замолчала, а потом сильно закричала: Что?! Да ты что?!

Ольга опустила ногу.

Ольга помолчала, а потом добавила: Да где ты еще двадцать долларов за десять минут зарабатываешь?!. И потом... Мы ведь близкие тебе люди. Разве ты не хочешь быть пайнкой, порадовать твою любимую мамочку?

Я потер руками виски, а потом спросил: Приходилось ли тебе когда-нибудь видеть, как твоя любимая лижет чьи-то черные-пречерные яйца, а потом целоваться с нею через стекло?

Ольга презрительно фыркнула: Я тебе не лесбиянка какая-нибудь.

Я укоризненно покачал головой: Эхх... Не понимаешь ты... И ты, – повернулся я в сторону светлого пятна, – не понимаешь. Вы оба, – сказал я, – не понимаете. – Я поднялся и подошел к светлому пятну.

Я увидел перед собой сидящего в кресле мужчину. Лицо мужчины, а также его внешний вид показались мне чем-то знакомыми. Я навис над ним и сказал как можно более угрожающим тоном:

– Ну, че?! Обездвиженная немота, да?! Сидеть, да?! Задвинуть потуже и сидеть? Хули зекаешь, бык, хули ты зекаешь. Давно? А не понтово было. Еще раньше. Ногу в колене – и нормально. Слегонца только. Хотя бы пару рублей не жалко. Сначала на лавочке сидели, потом. Евгений подошел, стали бухать, нормально так, ну, короче, коцнул я, фикса мазовая у него, садись, потолкуем, вот ты пацан неплохой, все дела, да, ну, короче, я тоже неслабо марафетил, когда, не гони каурых, урка, все дела, анархия она везде анархия, закона не знает, в очко получает, ты, Коля, меня держись (мясо-сало – в падло, колбаса – на хуй похужа), я с тобой ласково буду.

Мужчина нервно засмеялся.

– Ха-ха-ха! Вот, умора! Ты кого запугивать вздумал? Ты только посмотри на него, а? Каков орел? Оленька, девочка моя, ты слышала, что этот абориген мне здесь только что наговорил?..

– Ты – Вася? – прервал я его.

Он удивленно вытаращился на меня:

– В смысле?

– Я спрашиваю, ты Вася?

– Нет, не Вася. Я не Вася!

– Чего ты мне хамишь?

– Это еще кто кому хамит!

– Ты мне хамишь! Ты хамишь мне!!

– Молодой человек, вы ошиблись адресом.

– Дело вот в чем. Я сам из тюрьмы. Сейчас жизнь очень страшная. Сам я просто в город приехал на некоторое время. Родители у меня – актеры. Вечно нуждались. Ну, вот меня и с тропы сбили. Компания неудачная подобралась. Но много очень знакомых осталось. Вот я сейчас к одному в гости и приехал. А тут вы подвернулись. Ну, я подумал, почему бы и нет. Можно, конечно. СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА! А актеры – народ интересный. Бывало, сидишь у них в примерке, следишь за

их действиями. У них там какие-то свои средства, намажутся – и кожа сама расходуется. Только с одним настоящим другом остался я. СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА! Он как раз неподалеку живет. Но он смешной такой, всегда на своей точке зрения настаивает. Просто на вещи он по-разному смотрит. Под разными углами. И вот точка зрения его всегда почему-то была какой-то психиатрической. Бывало, как сидим, чай пьем, а он начнет: «Перезвон паровозных топок, тепло булавочной иглы, хрупкая улыбка льна.» СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА! А я помалкиваю себе. Зато по другим вопросам – тишь да гладь. ДАЙ МНЕ КАМЕРУ! КАМЕРУ ДАЙ!

Я протянул руку.

Мужчина медленно передал мне фотоаппарат.

Я взял.

– Попользуюсь – и верну. Обязательно верну, – заверил я мужчину.

Потом я внимательно пригляделся к нему.

Я посмотрел на его плешивую голову, на зачесанные на бок волосы, присел на корточки, взглянул на его руки, на этот фотоаппарат, на какую-то странную позу в кресле: он как бы провис, перекувырнулся в нем, выставив широко разведенные в стороны ноги с бугристыми коленями, сцепив руки на серебристом корпусе фотоаппарата (я еще чувствовал теплые кружочки от его пальцев на гладкой поверхности). В этой фигуре было что-то невероятное, что-то, во что нельзя, уже нельзя поверить и никогда, никогда нельзя простить. Я подвинулся к нему ближе и понял, что именно сейчас немедленно должен взять себя в руки и все ему объяснить. Найти самые лучшие, самые красноречивые слова, потому что вся эта наша со Щербиной поездка, вся эта жизнь, которая вела меня к этому мгновению, и жизнь, которая начиналась с него, зависели от моих слов, еще не сказанных, но уже застывших на подступе в ласковом ожидании. Я сунул руку в карман джинсов, набрал воздуха, и, нажав на кнопку, со всей силы ударил его по голове ножом.

Он отклонился в сторону и странно съежился.

Мне показалось, что он увернулся. Я ударил его еще раз. Потом я понял, что мои опасения были напрасными. Из головы у него потекло что-то красное и теплое. Мне было все равно, что. Я не надеялся уже целых двадцать минут.

Я повернулся к ошалевшей Ольге и произнес:

– Больше эта сальная скотина не станет угощать тебя бутербродами и цветами. А что касается меня, то, вероятно, это самый главный мой итог пролежавшего (как-то все мимо) года. – Я сел с ней рядом на диван. Потрогал ее лицо. Улыбнувшись, отметил: – У тебя слюна на ресницах.

Поднялся. Вышел на балкон. Быстро там освоился. Заложив руки за спину, смотрел на синеву залива. Щурился от последних лучшей исчезающего за грозным фронтом солнца и соленого привкуса ветра. Молчал.

Я повернулся и застыл в проеме двери, глядя на лежащую на диване оцепеневшую женщину. Губы мои распахнулись – пенная бестолочь ринулась в вертикаль, к полу, к полу.

Я просиял глазами, сильно сдавил виски, угловато повел костистыми плечами и неожиданно резко спросил:

– Когда ты купишь себе ЫВАЫВАФЫФЫВЫВАПЫВАПЫ ВОАЫФВАДФЛЫВ-
ФЫВБЫЫВ ПДЫВЛАЫВАЫВАЫВА КОГДА ЫВАЫВАЫ ВДАЛ КОГДА КОГДА КОГДА
КОГДА КОГДА КОГДА КОГДА КОГДА ЫВЖАДЫВЛА КОГДА ТЫ КУПИШЬ КОГДА КУ-
ПИШЬ КОЛКВЫО ЫДВА КОГДА ТЫ КУУУУУУУПИД КУУУУПИД ТЫ ККУПИДД ККУ-
ПИДДД СТУУУУУУНТ ККУПИД СТУНТТТ ТЫ КУУПИД СТУНТ КУПИД СТУНТ:

звезда этического счастья / стремглав пленительных начал \ зачем тебя причал
причастья / я нахуя-то повстречал \ зачем страдать мы не умели / зачем крест
бережно мечты \ зачем емилили метели / нет я не купид. купид – ты.

Чтобы вдруг вакуум в подмышках и сигаретный пепел в глазах! – Я бросился к
изголовью и взалхлеб зашептал: – Оленька, Оля, Оля, Олюшка, мне захотелось
тебя спровоцировать, упросив, чтобы шаловливый чертик явился, когда захочет
или там по-щучьему велению, соловьем высвистал, перемигнулся играючи, бла-
годарствовал, зажал жужжащий мух в кулак, выдал сочное, стал вдруг лучист,
выпукл, неприкаянные мнут, заходятся, смоковница, ветви, руки двери открыва-
ют пригласительно волшебству преподобные линияют линияют во солнечны кра-
теры веки веки бархатные ааа-а в округлости срединной – стол, а к столу – стул,
а кверху – труба, а к потолку – дыра, а за столом – Тихо Браге, ищет свою стеллу
нову, усердствует. Но, если честно, я – фокусник. Гарри Гудини, Эмиль и Игорь
Кио, фокусник Данилин, помнишь?

Ее всю трясло.

Она ничего не говорила.

Нужно было немедленно что-то предпринять.

Я взял стакан с вермутом и, разомкнув ей зубы, влил его.

Это придаст ей силы.

Она затихла. Дыхание стало ровным. Побледнела. Все хорошо. Пусть по-
спит.

Войти в обычный гостиничный номер, резкой спиной сорвать чей-то го-
лос и немые аплодисменты, вырваться в тихий омут ополоснутого польска матка
боска ватерклозета, утереть добротнo расположенный рот, очертить ошпарен-
ные шпильками губы, взглянуть на треножник раскинутых где-то сзади ног, мед-
ленно и снизу вверх, задержаться в складках, мелькнуть внутрь, шелестеть обер-
ткой горького шоколада, скользая, припадывая, выскочить в гнев, расположить
фишки, растворившись нечерноземьем кофе, всплыть мнемоникой уха, вжиться
в луговой возглас, что оказывается рядом, полощет смуглые руки, держит за
хлыст, не отпускает.

Не отпускает.

Поднять оброненные кем-то неловким глаза, затерять в опрятной шкатул-
ке с изразцами, задвинуть в солнце алебастровыми шариками, понять ноздри
оставленного в кресле Коленки, щекотать хилым пульпитом непримиримый
распад, упомянуть вероятность ига, яд солнц, вино айяхуяску, чьи-то неспелые
ладони в березовой кадучке у крыльца, окунуться в лживый передел сердца,
упасть с пластикового стула, обронив глаза, зажмурившись, осознать этот пото-
лок ванной, этого замершего в вышине комара, с хоботком, упершимся в строгую

излучину кратера микро, это цинковое ведро, которое ждет и уже хлещет через край ожиданием, эту сладкую боль в глубине десен, двадцать пятое лето уже никогда

Не отпустит.

Не отпустит.

Не отпустит.

В запахе цветущих папоротников.

Выйти в заслоненное грозой, иссиня-черное небо. Пробормотать по-тихоньку: «Хочется безоглядной живости, а не вдумчивого удовлетворения». Свести все к потребностям и руководствоваться в дальнейшем исключительно житейской практичностью. Нащупать зажигалку в нагрудном кармане. Искрить кремнием над сорванными занавесками. Смотреть на сначала совсем крохотный, а потом все больше и больше, веселый огонек. Пожать плечами. Бросить последний взгляд на дождь за окном. На панораму, уходящую за всякий предел. Взвалить на плечи бездыханное женское тело. Прихватить с собой початую бутылку с вермутом. Осторожно оглядевшись, выскользнуть в коридор. Уже никогда, никогда не забыть, что в панораме этого окна с казенными стеклами

Где-то вдалеке, почти у самой кромки горизонта – там, где глазам становится больно – горел лес.

ФЕРРУМ

Таежный полустанок.

Натопленный вагончик, привалившийся к потемневшей и задубелой стене барака.

Егор разговаривает со старым, в густых черных пятнах смазки – руки, лицо, – машинистом. С тепловоза сняли излишек топлива. Но переборщили и слили все. Теперь не уехать. Надо звонить на узловую диспетчеру, чтобы выслали с дежуркой. Но сколько это времени займет – неизвестно. Кому понадобится соляра? Кто мог это сделать? Машинист морщит лоб, мнет ладонью щеку, покуривает сигарку. Лицо его светлеет. «Валеева!» – выдыхает он.

Они с Егором выскакивают из вагончика. Сзади резко хлопает пружинная дверь. Они бегут по хрустящему насту.

Валеева – симпатичная женщина, с русыми волосами, крепко сбитая, улыбчивая. Егор пристально и, не скрывая личный интерес, смотрит на нее. Она немедленно признается и соглашается вернуть солярку. «Перекачаем из цистерныazole кирпичного склада», – блестит глазами она.

Машинист машет рукой и уходит.

Егор пьет в каптерке чай и хрустит сахарными сухариками. Разговаривая с Валеевой об устройстве карточек в метро. Как они считываются. Смеются, находя между собой удивительно много общего. Егор тоже когда-то увлекался радиодетальями.

– У тебя время есть?

– Есть.

– Вон как солнце светит. Айда, на Железную Горку кататься?

– А давай!

Егор едет на животе по уходящему вниз широкому, оледенелому склону холма с мелкими, отдающимися дрожью в теле кочками. «Уух, догону!» – кричит Егор мелькающей впереди распластанной женской фигурке. Солнце висит над деревьями, иней сверкает в ветвях елей, в глазах пляшут веселые огоньки. «Никуда от меня не дене...!» – от удара о вмороженный в склон камень Егора переворачивает в воздухе, он с размаху бьется головой о ледяную поверхность, в глазах его темнеет, он пытается подняться, но валится на землю, теряя сознание.

Вечереет. Прошло уже много времени. Растирает лицо снегом. Видит след. Он должен ее догнать. Разбегается, падает плашмя, скользит вниз по ледяной ленте. Кругом – глухая немота тайги. Надо успеть до захода солнца. На лосе, верхом, рядом с дорогой, спиной вперед едет медведь. Он быстро проносится мимо, оставляя их позади. Смахивает перед собой снег, чтобы двигаться как можно быстрее. Точка вдалеке. Темная точка. Приближается, узнавая в точке приземистую волчью фигуру. Подъезжает ближе. Это действительно волк. Волк бросается на него. Он судорожно достает из кармана, еле успевая, разорвав тулуп, бьет волка изогнутым крюком по пасти. Пробивает – волк, подвывая, шарахается в сторону. Сзади в спину впивается еще один. Он бьет его с разворота, плашмя по ошетилившейся морде – ломает правый клык. Волк, прижав уши и хрипя, убегает вслед за первым. Он тяжело поднимается на ноги, скользя, подходит к темному пятну на дороге. Ноги. Распластанное женское тело. Одна рука согнута в локте, подвернута под туловище. Поднимается взглядом выше. Изорванная шуба. Истерзанное и выведенное лицо.

Я открыл глаза.

Какое-то время лежал, глядя в потолок со следами убитых комаров.

Медленно сел. Протер глаза.

Включил радио. Комнату наполнили энергичные танцевальные звуки.

Подошел к окну. Щурясь от яркого солнца, взглянул на градусник. Остался доволен температурой воздуха.

Распахнул форточку. Постоял, глядя на автомобили в проеме двух домов – они все куда-то ехали.

Шел в ванную – раздавил жука. Наклонился, отлепив от ступни расплющенное хитиновое тельце.

Включил холодную воду и смыл жука в раковину, долго следил, как, подхваченный водоворотом, он скрывается в сливном зеве.

Умылся.

Почистил зубы.

Внимательно осмотрев себя в зеркале, отказался от бритья.

Забрался под душ. Долго стоял под струями летней воды.

Оставляя мокрые следы, прошел на кухню и выпил кофе.

Оделся.

Выключил радио.

Обулся.

Отпер входную дверь.

Вернулся на кухню и проверил, выключен ли газ. Газ был выключен.

Зашел в комнату и проверил, выключено ли радио. Радио было выключено.

Зашел в ванную и проверил, выключена ли вода. Вода была выключена.

Запер за собой дверь.

Я вышел из дома. Во дворе перед парадным лежала большая куча человеческого дерьма. У стены стояла маленькая девочка и пилила на скрипке трэш. Под аркой четверо подвыпивших арабов избивали двух скинов-подростков.

Прошел мимо.

Остановился у проезжей части.

Зажег спичку.

Прикурил.

Глубоко затянулся.

Махнул рукой остановившейся маршрутке – проезжай, проезжай.

Маршрутка уехала.

Посмотрел на часы. Время еще было.

Подъехал автомобиль. Я выбросил сигарету. Сел на переднее сиденье. Пожал руку водителю. Улыбнулся. Старался не нервничать.

Медленно поехали по проспекту. Свернули по стрелке на шоссе. Поехали быстрее. Замелькали деревья и пригородные малоэтажки. Проехали через переезд. Выбрались за городскую черту. Увеличили скорость. Я вытер потные ладони о штаны, включил музыку и закурил. Водитель закашлялся и замычал. Я махнул рукой – ничего. Прищурил глаза и задремал. Проснулся. Стояли на обочине. Водитель разговаривал с патрульным. Пощупал в кармане нож. Взялся за ручку дверки. Прислушался. Документы были в порядке. Патрульный лениво отошел, помахивая палочкой. Я выдохнул воздух. Поехали дальше. Снова задремал. Солнце напекло щеку. Не смог разлепить глаза. Остановились. Заправились. Двинулись дальше. Доехали до города. Притормозили у остановки. Помолчали. Водитель хлопнул меня по плечу. Я улыбнулся. Тяжело вздохнул. «Через три часа буду!» – я пожал ему руку и вышел из машины. Огляделся. Подошел к киоску. Хотелось пить. Порыскал по карманам. Денег не было. Облизнул пересохшие губы. С тоской посмотрел на бутылку минеральной воды. Это было невыносимо. Заметил, что стоящие рядом мужчина и женщина бросали на меня быстрые взгляды. Мужчина смущенно переминался с ноги на ногу. Женщина, о чем-то негромко у него спросила. Мужчина ответил. Она подошла и тронула меня за руку.

– Молодой человек, – сказала она. – Я думаю, что вам нужна помощь...

Я взглянул на нее. Ее щеки заливал легкий румянец. Ее лицо мне понравилось.

– Да, – хрипло ответил я. – От помощи я бы не отказался.

Она улыбнулась.

– Хочешь за двадцать минут заработать неплохие деньги?

– Сколько? – поинтересовался я.

– Двадцать.

– Согласен, – не задумываясь, ответил я. – Что надо делать?

– Ты такой красивый мальчик... – Она рассмеялась. – Тебе, наверное, это часто говорят, да?

Я опустил глаза.

– У тебя прекрасные губы... – продолжала женщина. – Интересно, какой у тебя язык... Ой, хватит... – Она засмеялась еще громче, обернулась и поманила своего спутника пальцем.

Тот подошел и стал сзади.

Женщина внимательно посмотрела на меня.

– Ну, так что ты решил? Пойдешь с нами?

Я пожал плечами.

– Пошли.

И оглянулся.

Сзади, почти у самой кромки горизонта – там, где глазам становится больно – это лес уголь мы это нефть. Лес нефть уголь мы это это. Лес это это мы уголь нефть. Это это уголь мы лес нефть. Лес это нефть мы это уголь. Лес нефть уголь мы это это. Нефть это уголь мы это лес. Это это уголь мы лес нефть. Мы это уголь лес это нефть. Лес это уголь нефть это мы. Лес это нефть мы это уголь. Лес это это мы уголь нефть. Лес это нефть уголь мы это это. Лес мы уголь это это нефть. Нефть это уголь мы это лес. Это это уголь мы лес нефть. Мы это уголь лес это нефть. Уголь это лес мы это нефть. Лес это уголь мы нефть это. Лес это уголь нефть это мы. Лес это уголь это мы нефть. Лес это нефть мы это уголь. Лес это это мы уголь нефть. Лес это мы уголь это нефть. Лес нефть уголь мы это это. Лес мы уголь это это нефть. Лес уголь это мы это нефть. Нефть это уголь мы это лес. Это это уголь мы лес нефть. Мы это уголь лес это нефть. Уголь это лес мы это нефть. Это лес уголь мы это нефть. Лес это уголь мы это нефть. Лес это уголь мы это нефть. Лес это уголь мы это нефть.

Ведь Нефть есть мы, а мы есть Нефть. Просите Нефть, а не Лес. Вы перед ним не заслужили. А Нефть заслужила перед Лесом, выпросила у него эти силы.

Нефть – золото. В ней и жуки, и животные растворены, перемешаны. Мощь великая сокрыта в ней. Таится она, не всякого к себе подпускает. Нефть сама себя Нефтью не выдавала. Потому что так, без дела всякого, такое имя не получишь. Это даром не дается. Нужно делать так, чтобы дело было видно. Естественность говорит, чтобы обращали мы внимание на Нефть. Нефть сделалась независимой от Леса, тренировочно сработалась, не питалась никакой пищей, не одевала никакой одежды, входила в каждый жилой дом. Лес никогда не думал, чтобы Нефть от этого всего отказалась.

Нефть – это ученый в Лесу. Она раскрыла эту свою неумирающую для Леса тайну. Нефть – это эволюционный продукт. Нефть пришла на землю, чтобы спасти Лес, его своим поступком удовлетворить, вырвать. От Нефти идет такой дух,

как от свежеспаханной земли весной, где набирают свою силу озимые и ростки ели, берез, кленов. Нефть – это большая загадка и тайна, которой больше никто, кроме нее, не знает. Какая сила, какая краса! Чтобы приблизиться к ней, необходимо купаться в озерной природной воде, чтобы было хорошо. Чтобы это было условием. Перед купанием или после него, выйди в Лес, встань босыми ступнями на землю, а зимой – на снег, вдохни и выдохни. Делай это, по крайней мере, десять минут. Это будет твоей заслугой и покоем.

Люби Лес вокруг. В Лесу есть Нефть. Люби Лес – и Нефть станет тебе понятной и заметной там. Привыкни к этому – это твое то, что Нефть в тебе есть. Необходимо пробудиться, потому что это есть естественное самоуваживание за собою. Нефть – есть сила. Нефть – живая, естественная своей природой, она может все сделать, она помогает телу создавать внутри тепло, но не то тепло, которое в пальто или куртке, а то, которое находится в нашем органическом мозге. В Нефть – есть гальванический ток, магнето. Нефть нам дает все. Нефть помогает нам в нашем разуме. Если есть Нефть, то центральная нервная часть мозга выздоравливает, и все болезни, которые в ней существуют физически, уходят. Нефть забрасывает в тело гормон здоровья, мобилизует защиту головы и органов. Если выйти в Лес и пойти своими ступнями по земле, то все жидкости, из которых человек состоит, обязательно наэлектризуются, получают токи, а увидишь Нефть – то и токами этими завладеешь.

Нефть – самый климатический дар, что есть в природе. Когда Нефть увидишь – все побудительно делается. Когда к ней с любовью приблизишься, то это и есть твое пробуждение, твой сдвиг к хорошей и положительной стороне Леса. Лес – он же живой. Вся сила в нем тоже есть, но только никто этого не опознал. Лес – это самое мгновенное пробуждение центральной нервной части мозга. Надо смотреть на Лес с высоты своей атмосферы, видеть, как он с высоты выглядит. Лес – это кислород. А в кислороде – сокрыта Нефть. Если стоять в Лесу, то через открытый рот, через гортань, до отказа, можно, увидев, проглотить Нефть, которая тоже находится тут. А, заглотив, задержать дыхание и выдохнуть через рот обратно, в Лес. Нефть не заставляет человека, она просит и умоляет его, чтобы он делал это. И дает за это скупое и по заслугам. Через Нефть мы помогаем менять условия Леса.

В Лесе, окружающем человека, находится пища, это – эфир, движущийся со слоями воздуха и проникающий насквозь органы человека. В этом эфире – живое условие жизни. Это ваше все то, чего в жизни необходимо. А как хорошо от этого дела наполняется внутри – не надо никакого питания, никаких калорий. Там содержится миллиард доз для питания. Этот эфир – это Нефть. А Нефть – это все. Но если вдруг захочется питания, то надо выйти в Лес, подумать о Нефти, втянуть сильно небо с высоты атмосферы, до отказа задержаться и продолжать думать о Нефти.

Нефть – это наша мать. Она нас родила. Она нас представила к белому свету для того, чтобы вот именно жили. А раз она так нас произвела, то мы должны ее как таковую благодарить, Нефть нашу. Нефть – это та сила в Лесу, которая может сама все сделать. В ней и жуки, и животные растворены, перемешаны.

Нефть – есть Лес. А Лес – есть Нефть. И Нефть – это есть дружба между теми людьми, которые это делают. А когда люди об этом не помнят, они болеют, а потом страдают заболеванием смерти, которое трудноизлечимо. Дело только за Нефтью да за Лесом, которые каждая свою роль играют, отведенную им. И если мы не есть те, кто за Лесом и Нефтью в мир пришел, то мы будем вместе за наше все сделанное судить. Надо быть всегда вместе и неотрывно держать искреннюю связь. Но не каприз или негодование, а человек человеку будет пригоден для этого. Чтобы была необходима дружба и перестанет борьба за существование, выживание перестанет быть. И все исчезнет в независимости, и сказать можно будет. И если увидим Нефть, то есть человек, с силами закаленными небывало нуждаться нигде, ничем, никак. Человек будет полным, созревши в своей возможности их прекращать. И любить надо того, что сердце, душу, знать, помочь и видеть уважение, гальваническим током убивая боль и истину мирового значения.

Ценить Нефть, хранить ее, преумножать, повсюду сеять и взращивать, но и о Лесе не забывать, помнить, что он есть всему хозяин, на рожон не лезть, какая там нам будет слава, коли вежливость сеять и дяде, и тете, и молодому человеку, и девушке руки целовать. Эх, в жизни многое пришлось пройти да пережить, перезимовать. Коли б не смотрел на солнушко, на лучики его, в глазах смеющиеся, помер бы маленьким, в колыске, в избе стоеросовой, не узнал бы свое терпение, правду, выздоровел да поднялся, такой как я, чтобы было место, условие, потребность, превосходительность, признательность. И если это мое не подойдет, то вообще ничье не подойдет. Потому что раз человек хотят этого, то без этого они не станут. И пойдут на это, и соглашаются, делают и получается. А чего нет – того нет. Раз пришло это время – так оно обязательно будет.

Как хотите поступайте, а дорога, она одна – в Лес. Ведь что может быть лучше, чем поездка в лес, на природу, к соснам? Но плохо, когда дымит непотушенный костер, тлеют в сухой траве окурки, небрежно брошенные спички. Автомобилистам тоже не следует забывать, что в сухое лето, когда продолжительное время дождей нет, небольшая искра даже из выхлопной трубы автомобиля может стать причиной пожара. Всегда надо помнить, что пожар легче предупредить, чем ликвидировать, а приносит он людям гибель, тяжелые травмы, колоссальные убытки, ожоги первой, второй и третьей степени. Пожароопасность сегодня возрастает, так как в промышленности и строительстве применяется множество новых веществ и материалов, созданных искусственно. Используются в огромных количествах нефть и нефтепродукты, природный газ. Внедряются в производство сложные и энергоемкие технологические процессы. Они, в свою очередь, обладают крайне высокой потенциальной пожароопасностью. Требуется повышенное внимание к противопожарной защите, высокая технологическая дисциплина. Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу и возможным человеческим жертвам. Опасными факторами пожара, воздействующими на людей, являются: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, падающие фрагменты.

Что же надо сделать, чтобы свести вероятность возникновения пожаров до минимума? А делать надо не так уж и много. Главное, все меры пожарной безопасности и профилактики элементарно просты и выполняться должны каждым гражданином, отправляющимся в лес на пешую прогулку или отдых.

Например, вы вышли на опушку и обнаружили, что там ошибочно находилась полянка. На полянке вам показалось славно. Тепло и легкое. Туда было идти и долго, но на то оно стоимость. Душистые травы обступили светлые и ласковые. Затрепетали в высоком небе. Вам было хорошо и искристо от того, что оно. Вы пришли, расположившись все вместе там. И если бы оно у вас было, все то, что было бы у вас достаточно, то от того вам снова стало бы невыносимо довольно. И вы расстелили одеяло прямо на стебли. Они, пригнувшись, приготовились к вам. Расставили также посуду и приборы. Достали из сумок овощи, фрукты, хлеб. На деревьях расположены ветви, к ним прикреплены листья. Листья висели – ветер и шелест. Вы рассмотрели все вокруг. Кругом стоял лес и ошибочно снизу кусты. В кустах жили дикие барсуки и зайцы. У вас с собой было мясо и салаты. Вы расположили все это на середине одеяла расположили вы. Когда вы добирались сюда вам было неторопливо и грустно. А теперь вы потирали руки и улыбались. Насобирали дров и развели теплый костер. Стало потрескивать и мошара. В нижнем воздухе пели кузнецы. Вы слушали их, а потом сделали глоток. Вместе с вами глоток сделали и все остальные. Потом вы ели. Рядом было озеро. Вам хотелось, потом туда шли. Мокрые, вы возвращались и принимались ели и глотки. При том вы высказывали интересные слова. Много горячились и быстро смешно. Солнце стало катиться к вечеру. По дорогам в разные стороны поехали комбайны, так что уехать не было совсем ошибочной мысли. Вы удивленно и игриво задиристые. Сначала задирист стал сладкий цыпленок. А потом сладкий цыпленок, ударенный на языке задницы Блондинки Этажа и дерется!

Красота блондинки тин трудно гребаная Ротмистрова в трисам Блондинке Действия, сосущей назад ее фаворита!

Два подростка разделяют огромный лицевой язык Лесбиянки, бьющий Двойную Пронизанную Блондинку, любящую это!

Симпатичный тин трудно, дерется на четвереньках. Горячий Малыш добирается, ее киска дралась, черная добыча, получающая петуха обстреливала тин и уход за лицом жидкости!

Сексуальная блондинка получает лицевая жидкость. Сладкий, напряженный, небольшой тин имеет получение сделанного Симпатичного Грудастого Места у озера малыша дерется!

Напряженная Блондинка тин склоняет над уход за лицом, разрушающий и ударенная еще раз лесбиянкой-неряхой, облизывающей друг друга!

Превосходный задний трисам тин бьющий жаркую ударенную в дыру позади Егора, бьющего Ольгу!

Два ГОРЯЧИХ ЗАДНИХ подростка, сосущие ГОРЯЧУЮ Белку показывают, что конфета прищемит тин и понижается. Сексуальная Ротмистрова дерется боксом, мотыга сосет Горячего Любителя тина, сосет Горячего Любителя, дающего конфету, возглавляемого Черным Цыпленком, получающего петуха!

Ротмистрова берет хороший задний склоненный вид. Сделанная Сладкая Блондинка, ударенная Игнатом и Егором, упивается включая Основного Болельщика, добирается, коробка ест горячую дыру Игната!

Славянский кути выполнение титти дерется и ударная работа малыш блондинки!

Склоненный над и ударенная симпатичная тин блондинка трудно гребаную сладкую блондинку тин уход за лицом!

Брюнетка Конфеты выставляет хороших булки Малышей, потеющих большие черные петухи!

Непослушный тин сосет жирного петуха Егора и Игната. Горячий трисам Славянский Цыпленок вдыхает петуха вне защита, обстрелянная некоторыми гвоздиками!

Большой Малыш петуха распространяет ее щеки соблазнительно горячий. Облизанные и ударенные малыши Лесбиянки В Черной Кожаной Сладкой Блондинке тин дрались боком Большого Титти Азиатского Малыша подростка тини!

Делал пюре и крем мотыга Брюнетки добирается. Двойной пронизанный Горячий Тини сосет и облизывает петуха!

Глубокий Цыпленок в оргии Беременный сосет на некотором петухе. Четверка дерется и завершает Евро Собачьих Подростков в кровати!

Горячий Малыш Блондинки в синем гребаном Колледже тин неряха дерется и сосет Романцеву!

Егор в хардкоре щелкают Горячей Блондинкой, сосущая и гребаная Блондинка горячо сосет и дерется два облизывания подростков из дыр большой крем лицевой взрыв на Блондинке Мотыги!

Вьющиеся волосы дрались, твердый Игнат в хардкоре щелкает малышей с-косичками, получение этого на Цыпленке едет!

Малыш Черного Дерева, получающий Полного Грабителя ворвался и получил Главных Горячих Подростков в четверке лесбо распространение малышей для петухов звезд получение Облизанной Ударенной Конфеты!

Малыш в хардкоре Сладком Цыпленке, получающем задний дерется Симпатичного Основного Болельщика, сосущего это удивительный хардкор один на одном щелчке, горячий петух поездок цыпленка блондинки Белки имеет забаву, один в душе хотти, получение исследованного удара дерется Черным Петухом, таранившего в крошечном торце, одна неряха, сосущая на многих петухах сосет и дерется в бадье между двух звезд и одним петухе!

Вьющийся Волосяной Цыпленок в 69 на кровати тин звезда берет лицевой взрыв!

Пьяные парни люются на гулящую Ольгу. Тяжелые истории заднего пола. Сосет петуха и получает радость. Сильная ударная работа с Ольгой. Получает дилдо ее бочка. Дилдо едет на петухе. Горячая Белка едет. Валеева едет. Ротмистрова едет. Кетцалькоатль едет. Мантойфель едет. Варварушка едет. Николай едет. Егор едет. Дядя Федя едет. Ольга едет. Щербина едет.

Жарко – костер становится все больше. Горит лес.

ШИШ БРЯНСКИЙ СТИХОТВОРЕНИЯ

Больше на дёньгах не пишут:
Бир сом, бир манат.
Я бы отдал всех своих плюшевых мишек
За распятый мой каганат.

Младшая Эдда, старший канон,
Оле-Лукойе, Сусон-Гавнунон¹.
Как мне отрадна, как мне родна
Эта золотая чаша говна –
Кости абзацев, жилы полей,
Языкодрочья жирный елей.
Мне и поныне хочется съесть
Роджера Джопса, том номер шесть.

¹ Конёк-Горбунок (иврит).

Лёша Бурдин во двор выходит со свинорезом
И убивает других детей истончённым железом.
Лебедем вольным в лютое небо взлетает их дух,
А ещё бы полгода – он бы опух, потух и на хуй протух.
Лёша Бурдин, давай с тобою пойграем,
Да не в голубя камнем, не глупым мячём по гераням,
А на ближней площадке – всех, от двух до пяти,
Чтобы Нового Князя пажами постоять в Его гулкой печи.

О Фез Куменеский, зарой меня в яме,
Я и в ней процвету Твоим лепестком,
Ты своими засыпь меня кобздецами,
Словно сырым песком.

В кровопышащей варюся я каше,
А совы мать мне поёт: не сцы,
Ничего нет в мире нежнее и краше,
Чем Его кобздецы.

Псиное смутной бзды лицо,
Полутороглавый клён,
В медной гнили Первояйцо,
Свеху – ястребом – Он.
Доблестно кружит Он, строго бздит,
Псалмы утробные твердит,
– Сыы, – говорит, – вот Ай дид.
Я отвечал Ему раньше: ну что же, споём,
Он откликался всегда, было зыко.
Сладкой желчью блевал я в Его окоём,
Самозвонным играл я копьём,
А ныне в горлышке моём
Твердеет сморщенное лыко.

1.

Простёршись у Божьих ворот,
Я Сам Себя выебу в рот,
Я влечу, как козёл опущенья,
Камнем в Его огород.

2.

Много за окном толкётся
Чилипокающих бздиц,
А саван ткётся, саван ткётся,
Он без швов и без границ.

Мы по пояс им укрыты,
А завтра будем уж по рот,
И подслащенной амриты
Поднесёт нам Астарот.

Гремит, гремит вселенских судеб
Гроза,
Я знаю точно, как всё будет,
Ребза –

Я над Евразией воспряну
Из ям,
А вы низвергнетесь в Гондвану,
К хуям.

В моей стране струится миро,
И только мне оно видно,
Я щюрюсь радосно и сиро,
А вы гавно,
А вы гавно.

В моей стране воркует Сирин,
И мангазейское вино
Вразмешку с мхом и снегом синим
Я пью из клюва у него.

Он осушил гнилую Лету,
Прозрел на море белом Крит,
А кто сказал, что Его нету,
В полярном пламени сгорит.

ВАДИМ КАЛИНИН

ПАРОВОЗ ЖЕЛАНИЕ

– Это выглядит крайностью, – заметил я. Она отвечала, что для выживания всего непримиримо новаторского, необходим определенный экстремизм. Последующие поколения, полагала она, войдя в колею и разнежившись, сочтут обычай предков варварским и отдадут честь его символизму разве что символической мамектомией, – возможно декоративным шрамом или косметической отметиной. Неважно, все проходяще.

Джон Барт. «Химера»

Прикрывая двумя указательными пальцами соски обнаженных грудей, Лена Герц глядела на порывистое горькое биение мокрых листьев сирени, отраженных в мутном стекле бутылки с «Массандрой». Я любовался Леной, не испытывая влечения. Ощущал я лишь позыв рассказать что-нибудь, ощущал позыв этот верхней частью спины. Сладкое холодное покалывание. Дима напротив чувствовал тянущую, поющую похоть, выпуклые глаза его мутнели, речь уже десять минут тому назад свелась к потоку проникновенных междометий.

Мы сидели на чердаке заброшенного дома в Тайнинском. Один скат крыши полностью отсутствовал, и нам была видна проселочная дорога, заросшая река, над которой висели серые, лишенные коры остовы деревьев. Парило солнце, шел дождь, со стропил капало вниз на разбухшие сосновые доски, на ярчайшую агрессивную зелень, на Ленину грудь. Архетипическая парниковая чувственность. Я взял бутылку с портвейном, приведя этим жестом в движение Ленины зрачки.

По проселочной дороге на завидной скорости мчался джип, внутри которого пели о какой-то счастливой нации.

Из переднего окна машины высунулась бритая голова и показала Лене багровый, с белым налетом язык. Джип трянуло на кочке, голова стукнулась нижней челюстью о край приспущенного стекла, и откушенный язык упал на мокрый оранжевый грунт. Джип умчался. Тёмно-синяя ворона, подхватила язык, взлетела повыше, дала три осмотровых круга и опустилась на стропила прямо над нами, где проглотила, наконец, добычу.

– Ты вчера был у Тани Мингазовой? – осведомилась Лена, стараясь отвлечь меня от бутылки.

– Неа, – ответил я, давась тошнотворной сладкой субстанцией.

Ворона вдруг как-то странно взахлеб каркнула и упала сверху лапами на Ленину юбку. Лена подхватила птицу руками, подняла исполненные сострадания и ресниц глаза и произнесла: «Мальчики, у кого-нибудь есть фонендоскоп?»

У меня фонендоскоп был, однако я промолчал, памятуя об известной неопрятности вороньего племени.

– Неправда это. Есть у него. – Дима всерьез намеревался обрести расположение девушки, предав друга.

Я, бледно-сиреневый от стыда, полез в рюкзак и отдал прибор в белые пухлые ладошки с короткими коническими пальцами. Лена слушала птицу с генетически обусловленным профессионализмом. Предки ее в девяти поколениях практиковали отоларингологию.

– Сердце бьется, но страшно медленно, – наконец подытожила она, – Очевидно, отравление опиатами. Понакупят джипов торчки.

Еще раз, окинув взглядом умиротворенную птицу, девушка бросила ее вниз, в шевелящуюся траву под стенами.

– Так был ты вчера у Мингазовой Тани? – повторила она вопрос.

– С чего бы это?

– Был он там. Еще как был. – Дима допил бутылку и теперь упивался предательством.

– Что лавр и флейта, – заметил я, – рядом с интимнейшей сладостью ощутить всю колоссальную подлость свою.

– В таком случае рассказывайте, молодой человек, рассказывайте, – Лена достала из пластмассовой сумочки ещё одну пыльную бутылку и пристроила ее между грудей, сложив поверх получившейся инсталляции руки.

Соблазны вошли в резонанс, ораторский позыв в спине достиг апогея, и я сдался.

– Если уж кое-кого так забавляют истории чужих страданий, то я готов доставить вам наслаждение и поделиться подробностями вчерашнего моего визита...

Первый визит мой к Мингазовой Тане.

Помимо желаний наших, венцом которых станет когда-нибудь чавкающий экстаз обретения, есть иные страсти. Чувствуя такое влечение, ты всегда в курсе беспощадной его бессмысленности. Ведь даже получив искомое, не испытаеть ничего, кроме ледяного разочарования, способного вызвать химическое отравление души. Так в детстве съел я однажды целую банку геля для увлажнения кожи, привлеченный его янтарным мерцанием в луче июньского солнца, отраженного в матушкином трюмо. А после провел больше месяца в хандре, сраженный черной диспепсией.

Случаются женщины, при первом взгляде на которых не испытываешь совершенно ничего, а потом оголтело живешь с ними, не замечая, как проходят годы в густом и теплом, винно-медовом экстазе. А бывают другие, противоположные, страсть к которым вспыхивает электросварочной пушиной, едва не вызывая ожог лица, но именно эта опасная для жизни мощь желания и мешает союзу. Такова была восхитительная Гретхен, мотивировавшая отказ принадлежать мне опасением как бы вирусы гепатита С, живущие у нее в крови, не прогрызли презерватив. К этому же роду относилась и лиричная Дарья, поразившая меня сообщением о том, что в момент изъяснения страсти я размахнулся и ударил ее об асфальт, держа за полные, млечной белизны щиколотки. С Танюшей вышло не лучше, но в ином ключе.

Вечером фантастически жаркого трудового дня спустился я в подвал Учебно-Производственного Комплекса в мастерскую. Там и увидел Таню. Она стояла, нагнувшись вперед, в столь любимой Ван Гогом позе жницы, над шестиметровым рекламным щитом и поливала его белой нитрозмалью из аэрографа. Прозодеждой служила ей вишневая мини-юбка и белая полупрозрачная кофточка. Таня по свойственной ей рассеянности забыла включить вытяжку, и в прогретой до сорока, как минимум, градусов комнате стоял губительный, серебристый, ацетоновый смрад. Я бросился к рубильнику вытяжки, девушка обернулась на шум, слишком глубоко вздохнула при этом и упала мне на руки, лишившись сознания. Запах ее тела заглушил ацетоновый кумар, и я понял, что сражен.

Я отвел ее домой, слабую, бледную, содрогающуюся от рвотных позывов, по пути приобретаю бутылку сухого вина, по слухам полезного при химическом отравлении.

Мы сидели рядом на диване, глядя друг на друга, без лишних слов. Она от химической безъязыкости, я вследствие припадка приапизма. Чем больше я вожделел к ней, тем меньше было во мне решимости. Но все-таки я решился и положил руку ей на грудь. Она слабо засмеялась, я отдернул кисть.

– В чем дело? – спросил я.

– На моей огромной, шестого формата груди эта крошечная интеллигентская ладошка... Извини...

Я вскочил. Совершенно непобедимая обида заставила меня собраться и очень быстро уйти восвояси. Вот и все.

Лена ржала совершенно неприличным образом.

– Смешно? Давай сюда портвейн, сисястая, – я обиделся не на шутку.

– Какая была грудь? – осведомилась она.

– Да уж позабавней, чем у тебя.

– Какая была грудь? Правая или левая?

– Правая... – ответил я, слегка подумав.

Лена рассмеялась в два раза звонче. Я вскочил, чтобы уйти, но остановился. Потом мнилось мне долго, что заметил я на стропиле, промокшей до странности, совершенно сухие следы вороньих лап.

Без сомнений, Лена не видела и не понимала моей обиды. А точнее, видела и понимала ее лишь в рамках бунта против мамектократии. Тут же, дабы не позволить иссякнуть в нас интерес к аппаратам способным, по крайней мере теоретически, к лактации, Лена разразилась историей грустной, может быть даже тяжелой, зато поучительной, яркой и поэтичной.

Рассказ Лены Герц

Для вас не секрет, что Таня, как собственно и я, короче мы обе, происходим из семей потомственно медицинских. Мы наследницы ордена змеи и чаши, а в этом причина нашего слегка циничного отношения к естественным отправлениям человека. Такими мы родились, такими были и в самом нежном возрасте.

Само собой разумеется, что когда пришла нам пора расстаться с целомудрием, мы, обсудив все возможные пути к этому, пришли к выводу, что акт дефлорации необходимо пройти максимально прямым путем, по возможности не проделывая пируэтов свойственного нашему виду брачного танца. Наивность и чистота наша в этом вопросе заходила далеко. Мы собрали дома у Тани, в отсутствии родителей вечеринку, на которую пригласили несколько одноклассников мужского пола. Как только все собрались, мы предложили мальчикам себя. Дабы снизить вероятность отказа, предложение мы делали обнаженными. И через несколько минут мы оказались в квартире совершенно одни, так и не потеряв невинности.

Это событие создало нам репутацию женщин распущенных, склонных к промискуитету, что снизило интерес мужского сообщества к нам почти до нуля. И ко мне, и к Тане, правда, несколько раз, приходили юноши. С трудом выдавливали они из себя прямое предложение, однако прямое согласие тут же повергало их в бегство. Нам было уже по семнадцать, и мы оставались невинны, в то время как даже те наши одноклассницы, что не покидали вовсе своих квартир, обезплевились максимум в четырнадцать лет. Положение было критическим, и мы разработали план, верный и лишенный очевидных изъянов.

Мы вызвали милицию, якобы по поводу изнасилования нашей подруги, а когда милиционеры прибыли, предложили им себя. В целом все прошло успешно, нас качественно дефлорировали резиновыми дубинками. Утром они ушли, увозя с собой стереосистему и аквариум с рыбками.

А через некоторое время я узнала, что Таня страстно и безнадежно влюблена в своего расшителья. Не обязательно иметь мозг, чтобы понять причины, по которым милиционер не мог сойтись с женщиной, побывавшей в связи со всем его расчетом. Однако, страсть глуха к доводам разума. Каждый вечер Таня ждала Его перед отделением милиции, а он всякий раз приветствовал ее ударом кулака в правую грудь. Таня падала в кусты или на клумбу, получая при этом глубокую психосексуальную разрядку.

Мамектомахия продолжалась ежевечерне на протяжении одиннадцати недель. Появились постоянные зрители, занимавшие лучшие места перед отделением за шесть или восемь часов, дабы еще раз все увидеть. Таня приобрела известность в определенных кругах, и кое-кто уже собирался поставить шоу на коммерческую основу. Но вдруг однажды Таня была госпитализирована. Ее увезли ночью с сильнейшими болями. Причиной была запущенная опухоль груди. Был ли это рак, Таня так и не узнала. Врачи в таких вопросах скрытны. Однако в результате грудь ей ампутировали и, не без моей помощи, она купила неплохой швейцарский протез.

Так что Вадим, вы зря огорчились. В соблазн вас ввел муляж, с позволения сказать – химера, а Танина к вам неблагосклонность, лишь – стеснительность инвалида.

Что-то творилось со мной, слякоть какая-то, мелкие коготки по спине и неожиданная тяжесть в желудке. Я решил, что если уж придется опорожнить желудок, то лучше проделать это с каким-никаким изяществом. Я лихо вскочил и перегнулся через стропило, якобы желая проверить, как там поживает давешняя

ворона. Никакой вороны в траве под стеной не оказалось. Вместо нее на подозрительно сухом среди всеобщей парной сырости бревне сидел олдовый, совершенно седой хиппи, худощавый и жилистый, одетый в потертые коричневой кожи штаны с мехом, грубое пончо с узорами и сабо. Этот вымирающий в наших широтах тип держал в руках матерую деревянную с резьбой трубку, из которой тянулся сладкий, пахучий дымок. Тошнота моя куда-то делась, я отобрал у Лены пойло, помахал бутылку над задравшим голову персонажем, сладким голосом предложил: «Чендзь?». «Летс джоб...» – ответил хиппи, затягиваясь как можно глубже.

Случай этот вспомнился мне июльским вечером в маршрутном такси, когда, бессмысленно и беспощадно усталый, возвращался я с работы домой. Щурясь от наглого розового солнца, я рассматривал майяский барельеф в книге по искусству центральной Америки. Занимался я тогда компьютерной зарисовкой древностей и артефактов. В связи с этим меня и снабдили книжкой с майяскими барельефами. Стела, которую я разглядывал, изображала сцену из жизни некой Леди Шок, супруги человека по имени «Щит-Ягуар», правителя Яшчилана. Эта молодая, неплохо одетая женщина стояла на коленях перед своим мужем и заодно продавала через дырку в языке утыканную гвоздями веревку.

Сначала я решил, будто вспомнилось мне все из-за мексиканских орнаментов на пончо давешнего хиппи, однако, поразмыслив, понял, что связей гораздо больше, и очевидно они значительно глубже. В частности, профиль Леди Шок ошутимо походил на профиль Лены Герц, форма ног Щита Ягуара повторяла обводы двигательного аппарата Мингазовой Тани, а в сложнейшей конструкции головного убора майяской царицы нашел я прототип бутылки портвейна.

– Вадим, ты что ли? – обратилась ко мне Лена, словно бы с барельефа, отчего я чуть было не впал в кровавый мистицизм Попль-Вуха. Однако православное воспитание взяло во мне верх. В частности, всплыла в памяти чья-то заповедь «не оставляй живой ворожею». Я с тоской огляделся.

Лена Герц восседала на противоположном кресле. Глаза ее горели красноватым светом отраженного вечернего солнца, а ноги укутаны были в хлопчатобумажную, сложной конструкции юбку с узором из крупных ромбов. В центре каждого ромба был крошечный крестик. Я бросил еще один взгляд на фотографию. Ниже пояса Леди Шок была завернута в хламиду с аналогичным узором. Я опять ощутил, что «кремень-кривляка» прикоснулся к моему кадыку.

– Привет... – услышал я издали собственный голос.

– Ты, я смотрю, все так же одинок. Все оттого, что никого вокруг себя не видишь. Уткнулся в какую-то жуткую книжищу. – Лена улыбнулась мне приветливо, но как-то слишком профессионально, и я, от греха, захлопнул книгу и убрал ее подальше в рюкзаки.

– И вовсе не одинок, – оскорбился я. – У меня жена, два десятка друзей, трудовой коллектив.

– А чем занят? Или тайна?

– Какая уж тут тайна. Рисуя за гроши древности да артефакты для одного кельта.

– Так уж и за гроши, по тебе не скажешь...

– У нас как: больше артефактов, больше грошей... – Я как-то совсем перестал понимать, чего она хочет. Что может быть интимнее источника дохода, когда три года не виделись?

В итоге мы оказались с Леной на длинном откосе Язуы, вооруженные двумя бутылками вина. Перед тем как сделать первый глоток, Лена достала из сумки какую-то зеленую бумажку, похожую на расчетную единицу игры «Монополия», порвала ее в клочки и бросила через левое плечо, по ветру.

– Вот ты говоришь, – пропела она, – жена у тебя, приятели... И что, эти люди участвуют в твоих, с позволения сказать, духовных метаниях? Ты ощущаешь с ними эмоциональный резонанс?

– А его надо? Резонанс – первый враг инженера. Лучше расскажи, что это за дрянь ты порвала?

– Видишь ли, – ответила Лена – я состою в церкви Веселого Иисуса, при отделе контроля греха. Это был талон на грех. Точнее на разовое пьянство. Зеленые талоны на алкоголь, розовые на секс, голубые...

– А профессия твоя какова?

– А это и есть моя профессия. Получаю талоны по одной цене, а после распространяю среди паствы по слегка иной. У нас прихожане – люди все больше приличные, обеспеченные. Веселый Иисус своих людей без гроша не оставит. Поэтому никто и не скупится оплатить право на грех. У меня во всем отделе лучший выход, к осени еду в Америку, на стажировку. Хочешь, бросай свои глупости, идем к нам в отдел. Как я в Штаты отвалю, мое место займешь. Возьми адрес.

– Я подумую, – мне стало вдруг легко и радостно. Сразу захотелось перевербовать Лену в какую-нибудь устоявшуюся конфессию. Синтоистку из нее сделать? Хотя нет, ей резонанс нужен... Тогда ислам. – Кстати, как там Танька?

– Мингазова? Страсть твоя нездоровая? А с ней всегда одно и то же...

Второй рассказ Лены Герц.

Дело в том, что соблазнивший тебя швейцарский протез не вырос сам. Обошелся он чуть ли не в половину стоимости Танькиной квартиры.

Обнаружив свою дальнейшую асимметричность, Татьяна долго не могла осознать до конца сложившееся положение вещей. Если человек вроде нас не может чего-нибудь до конца осознать, он старается просто приучить себя к неосознаваемому, дабы впредь не вызывало оно зубного скрежета.

Из этих побуждений Танька проводила каждую ночь перед зеркалом в женском туалете больницы, разглядывая собственный торс. На ту беду в мужском отделении травматологии кто-то бросил в унитаз осколочную гранату, и молодые люди вынужденно стали посещать женское заведение.

Так вот стояла она однажды перед зеркалом, когда кто-то положил ей на плечи свои ладони.

Молодой человек, сподобившийся так поступить, представлял собой явление неординарное. Будучи всего лишь капитаном милиции, он иногда сам

удивлялся собственной обеспеченности. Был он молод, романтически настроен, и оттого сильно кривлялся. Ездил на двадцать первой Волге густого черного цвета с суперсовременной механической и радиоэлектронной начинкой, на шее носил вместо галстука резиновый шнурок-удавку, а на пальце серебряный перстень с опалом, под которым прятался мощный конденсатор. В больницу он попал с сюринкеном в голове, отчего некоторые отделы его мозга работали халатно.

В частности, он уговорил Татьяну сделать на оставшейся груди спиральную татуировку. Он же подарил ей протез, а потом целый месяц питался йогуртом. Насчет интимных отношений образовавшейся пары я скажу лишь, что были они причудливы и многообразны. Однако с первых же дней семейной жизни Танька без конца жаловалась мне на дефицит в ее жизни постельной брутальности. При характере и роде деятельности сожителя изменить ему она жутко боялась. Я сочувствовала и уговаривала ее завести любовника. Она же страшно, глубоко молчала в ответ и продолжала ходить в зоопарк смотреть на павианов. На прямые ее просьбы быть жестче и грубей он отвечал разве что букетом особо замисловатых пионов и какой-то гипертрофированной, агрессивной галантностью.

Он всегда успевал выскочить из автомобиля первым и открыть перед ней дверцу, чем извлекал из Таньки поток мутной рыночной брани. Она пыталась объяснить, что такая опека заставляет ее чувствовать свою ущербность, и тыкала пальцем в протез, на что он реагировал отвратительно нелепо: брал ее на руки и визжащую, упирающуюся, рвущую ногтями что попало, тащил пешком по лестнице на четырнадцатый этаж.

Разумеется, это безобразие без конца продолжаться не могло. Однажды Танька, видя, что сожитель ее не спешит вылезать из машины, решила по глупости, что он, наконец, хочет доставить ей удовольствие, но не тут-то было. Оказалось, что автомобильная дверца с ее стороны не открывается вовсе. Когда, насладившись победой, он открыл таки замок, она произнесла фразу, которая по ее расчетам должна была непременно катализировать в нем вспышку агрессивности и которую она формулировала несколько месяцев. И, представь себе, у нее получилось. Он зарычал и грохнул тяжелой бронированной дверцей прямо ей по руке. В ужасе от содеянного, он сильно прикусил себе язык, и, пытаясь вызвать врачей, мог только мычать в телефонную трубку. Танька заперлась в ванной, он с кровавой пеной на губах бегал по знакомым и в итоге оказался в кризисном центре, потерял работу и, реабилитировавшись, уехал куда-то в Казахстан. У Татьяны начался абсцесс, и она лишилась руки. Правой руки, если ты не понял.

– А где Танька сейчас? – поинтересовался я.

– А где ей быть, живет с каким-то майором.

Я написал Лене адрес ближайшей мечети на вырванном из книжки листке с фотографией Леди Шок, допил вино и поспешил домой по темным улицам дачного района, ссутулившись и озираясь по сторонам.

– Вот такой вот кошмар, – подытожил я, откинувшись в кресле перед Макинтошем, во весь монитор которого развевался Веселый Роджер.

– Забавная история. – Отозвался верстальщик, работавший со мной в паре, – и поэтому ты не хочешь поехать со мной на юбилей к силовикам?

– Именно поэтому.

– Зря ты так. Я вот ездил заказ сдавать, прямо в логово. Душевные ребята. В тире стреляли, хотели мне “Макаров” подарить с разрешением, я отказался, и так себя пьяным опасаясь. В итоге плеер подарили конфискованный. В нем сейчас батарейка села, так я всю Москву обежал, не нашел такую.

– Ну и я о том же. Не люблю по всей Москве бегать.

– А я думал, тебе люди необычные нравятся. Там таких много. Вот Костик, например. Раньше на выживание гонялся, сейчас у них работает. Недавно на спор Рижскую эстакаду на ста семидесяти прошел с завязанными глазами.

– И чего, когда он эту эстакаду проходил, ты с ним рядом сидел?

– Да нет. Он же пьяный был в жопу.

– Ну и я готов восхититься подвигом с галерки.

Грохотнуло тупым по металлу, и в комнату ворвался возбужденный представитель силовой структуры.

– Всем одеться и на выход, – заорал он. Поросячка стынет.

– Какая такая поросычка? – поинтересовался я, – ощутив на спине струйку холодного пота.

– Водка, – ответил силовик и, улыбнувшись, спросил: – Феня чужая? А на хрена тебе пиратский флаг в телевизоре?

– Так пираты же мы.

– Костик! Легко на помине! – просиял верстальщик. – Чего с дверью сделал, придурок?

– Ладно тебе, – Костик покраснел, то ли от смущения, то ли от перепада температур, на улице стоял февраль. – Сейчас на место повешу. И то, на кой вам дверь, когда мы есть?

– Вы сегодня недееспособны станете, так что сделай, как было.

Костя строил статус-кво, а я составлял в голове план побега. Наконец все заняло подходящие места, и он снова появился в комнате.

– Я, кстати, только что про тебя рассказывал, – возобновил беседу верстальщик. Не хочешь свой коронный показать?

– А гвозди есть? – осклабился Константин.

Получив гвоздь, он двумя пальцами приставил его к дверце шкафа и надавил на шляпку языком. Гвоздь исчез в доске. Константин дважды лизнул за чем-то место, куда вошел гвоздь.

– Смотри, он и дырку зализал! – усмехнулся верстальщик.

Я изучил дверь, даже полировка была цела. Константин высунул по-собачьи длинный темный язык, и, сжав его двумя пальцами у основания, свободной рукой извлек из языка гвоздь.

– Значит шляпкой вперед. Наверное, больно. Я бы ни за что не смог.

– Одиннадцать лет тренировки, – смотрел снисходительно на меня силовик. – Сначала иголки от шприцов. Дальше больше.

«Язык...– подумалось мне. – Сейчас начнется». Я направился в коридор.
– Обоссался пират, – бархатно констатировал верстальщик.

Оказавшись в коридоре, я не пошел в туалет, а вместо этого исчез через открытую, как я и полагал, дверь. Спустился на пятках ниже этажом и вызвал лифт. В лифте я выдохнул скопившийся во рту медный воздух. Случился первый этаж, открылись двери и сразу что-то холодное жестко ткнулось мне в лоб. Подняв глаза, я обнаружил, что это действительно дуло.

Меня вывели, заломив за спину руки, и усадили на заднее сидение несвежей «Ауди», на левом крыле машины имелась вмятина размером ровно в человеческий лоб. Спустились Костя и мой напарник.

– Неприятные вы, однако, люди, – пробурчал добродушно Костя. – Без чувства, без рассуждения. Вы дружбу-то вообще понимаете?

Автомобиль взвился с места и на двух левых колесах вылетел через подворотню на шоссе.

В результате этих событий я оказался на юбилее силовой структуры. Люди пили здесь степенно, с мощным строевым ухарством, чавкало монотонное усыпляющее веселье. Хамили, соблюдая субординацию, а пропускать тосты дозволялось лишь имевшим нашивки за ранения. Мне отчего-то совершенно не хотелось напиться, а нашивок у меня не было. Потому, как только первые бойцы возжелали порогу, я сразу же к ним присоединился.

В длинном, желтого света, тире я отправлял пулю за пулей в голову фанерного человека в дальнем конце подвала и думал о языке, о гвоздях, об иномарках, о Тане Мингазовой и о Лене Герц.

Выстрелы оседали в туловище сладостным костным хрупом, а виски под наушниками ошутимо вспотели, когда кто-то положил мне на плечо слабую ладошку. Я отложил пистолет, снял наушники, и наконец обернулся. Передо мной болталось круглое темно-розовое лицо в квадратных тонированных очках с мощными линзами. Тельце под ним висело грушевидное, в расстегнутом пиджаке и без галстука. Ноги резко сужались книзу, а носки смешных лаковых, неуместных зимой туфель смотрели в две стороны. Вокруг всего этого мельтешили розовые пухлые лапки.

– Эк вы стреляете заморожено, молодой человек, – сказала лицо голосом Корнея Чуковского. – Смотрите, не увлекайтесь, а то ведь через дар ваш какая незадача приотечь может.

– Какая ж такая незадача, позвольте поинтересоваться?

– А знакомы ли вы с творчеством Александра Грина?

– Вы имеете в виду «Дорогу в никуда»? Да, читал в школьном возрасте. Однако в наши времена в ту сторону проложен хайвэй, а я, знаете, не автолюбитель. Кроме того, с трудом мне дается перемещение в любом конкретном направлении. Вечно совершаю я какие-то пируэты, сложной конфигурации вольты и циклы. Так уж это утомило... Хочется верить, что прожитый мной отрезок биографии – всего лишь подобие автомобильной развязки.

– А говорите не автолюбитель... Ладно, вы, я вижу, склонны к одинокому мандражу, что с моей точки зрения не порок вовсе. Посему предложу-ка я вам

переместиться в местный архив. Там имеют место быть две дамы – не первой свежести, но все еще ароматные. Таких, как я, женщинам делить природа не велела, вот и послали они меня на поиски кого-нибудь не силового.

В архиве, на пересечении оценивающих взоров двух одетых в оттенки серого дам, я почувствовал себя книжным червем, глянцевым и кольчатым, отчего сразу употребил двести пятьдесят граммов коньяку из пластиковой пыльной вазочки, выкинув предварительно в корзину для бумаг стоявшие в ней три цветка бессмертника. В ответ на такое поведение дамы одарили нас разнuzданной благосклонностью. Преодолев начальную суетливую эйфорию от быстрого знакомства, мы расположились в сложных и напряженных, свойственных интеллигентской блядовщине позах на стоящих углом диванах и завели беседу, потную и похотливую, сопровождаемую глотками, поглаживаниями и переглядками.

Мой новый знакомый название имел «Юрий». Этот Юрий в юности мечтал о славе мозгового властителя и был когда-то изъят из литературного института за ксерокопирование сочинений автора по имени Вуд Хаус. Однако он не отчаялся, а совсем напротив поступил в медицинский институт, откуда вышел вполне сложившимся патологоанатомом. За серьезные заслуги в этой области он удостоился полковничьего чина.

– Жмурей отворяю, – подытожил Юрий и вкусно помял свои булкообразные ручки.

«Порфирий Петрович, но какой-то тактильный», – подумалось мне, и я поспешил донести свою мысль до окружающих.

– Бессовестная лесть, – ответил он. – До Порфирия Петровича мне как лосю до мухомора, ведь внутренний мир обывателя открывается мне лишь после его попадания на прозекторский стол.

От беседы нашей шел тонкий, неясный, но словно бы насекомый запах. Чувство было, что случилось у нас с Юрием когда-то общее, не подлежащее огласке и притом скабрёзно развеселое переживание. Только не встречались мы раньше, и встречаться никак не могли. Дамы подозрительно и с неодобрением принюхивались к нашему мнимому междусобойчику, а при попытке, наконец, склонить их к общению физиологическому разом заверещали «Невермор!» и растворились в прокуренном пыльном воздухе, а мы с Юрием оказались вдруг под мокрым синюшным снегом, по щиколотку в песочно-соляном месиве. Алкоголь уплотнил обоюдную паранойку. Что-то требовало выяснения, вот только что? Поспорили где выпивать дальше. Победенный доводами географическими, я согласился на поздний визит.

Мы поднялись на лифте неприлично, неласково чистом. За дверью Юрьевой квартиры звенела, неотвратимо приближаясь, связка ключей: очевидно, она летела по воздуху, так как шагов не было. Распахнулась дверь, и я увидел пышную красавицу в инвалидной коляске. С правой стороны у женщины этой не хватало руки и ноги. Так он и состоялся...

Второй визит мой к Мингазовой Тане.

Посреди желтой, бамбуковой комнаты стояли плетеные полукресла и коренастый коричневатый мужчина в широком сомбреро. Вокруг тульи сомбреро лежали фрукты и канапе, а в груди у мужчины имелась дверца, за которой все светилось и блистало от напитков.

Все выпили и стали лизать соль. Юрий неожиданно, фальшиво до крайности, стал изображать пьяного.

– Что-то мне...очень...– бурчал он. – А вы непременно сидите еще. Не видались давно. Такие понятные вещи.

Когда Юрий ушел, я жестом осведомился у Тани о сути событий.

– Юра у меня радиолобитель. Очень увлеченный человек. В каждом шкафу у него передатчик. А в комнате он держит приемник. Совершенно уникальный приемник. Он его сам собирал. Сейчас он пошел этот приемник слушать.

– А ничего, что ты меня так прямо во все посвящаешь?

– А что такого? Да и приятно ли мне всегда самой гостей развлекать? Давай-ка, еще раз слижем, а то я привыкла пьянеть быстро, а сейчас ни в одном, понимаешь, глазу.

Сказано – сделано.

– Ну как ты сам? Где сейчас?

– Да вот, пиратом сделался.

– Не опасно ли?

– Не думаю. И надеюсь, что под черным флагом ненадолго.

– Пишешь ли?

– Помалу...

– И мой вот тоже. И смех, и грех?

Облили сахар в ложку, подожгли. Я с трудом перевел дух, и правый угол комнаты полетел, набирая скорость вверх.

– Какой же тут грех, смех, да и только...

– Не скажи. Писанины сейчас и без того кругом много. Сколько времени, сил на ерунду эту уходит, да и денег тоже. И пишут ведь преимущественно о людях. А зачем, скажи мне, кому-то знать подробности чужой жизни? От этого может быть зависть, а из зависти поступки всякие нехорошие. И скажи честно, ты сам-то книжки очень любишь? Или просто писателям завидуешь?

Я отчего-то задумался. Это показалось мне скверным, и я закусил красной икрой.

– Знаешь, – собрался я с мыслями, наконец. – Во всей своей целокупности это книжное дело напоминает Сиваш, то бишь обширно, мелко и отдает тухлятиной. Есть, конечно, места особые, но смотреть на них отдельно сродни насильственному хирургическому вмешательству. Только ведь не может быть, чтобы ты вовсе не читала.

– Как же, не почитавши заснуть нелегко. Я себе одну книгу нашла и без конца ее по кругу перечитываю.

– Это что же за такая волшебная книга?

– А ты угадай?

– Уже угадал... – справа от ее локтя, на столике лежал томик «Анна Каренина» писателя Толстого.

Тут я стал совершенно пьян. Воздух почернел в углах комнаты и стал вишневым и поющим в ее центре, настроение скользнуло вверх, стрелой из детского лука, а возле лица Тани Мингазовой появилось второе лицо, совершенно точно такое же.

– А где сейчас Ленка?— спросил я у второго новоявленного лица.

– Где-то в Канзасе, не то мечети строит, не то боко-мару проповедует. Я слыхала, это ты её к магометанству приохотил.— Таня положила мне на коленку свою единственную ногу, а я в припадке чудного безрассудства взял ее за руку.

– Вот, теперь я пьяная стала, – говорила Татьяна, – как же все-таки весело.

Я на самом деле совершенно не помню, чем закончилось все безобразное. Я не помню, поехал ли домой сразу или успел выспаться и опохмелиться. Помню, что проснулся утром, в своей постели. На мне сидела верхом моя светлая, худенькая жена. Я рассказал ей всю эту историю.

– Радость моя, совсем обалдел, – говорила она в конце каждой сцены и гладила меня по лицу крошечной теплой ступней.

КУКУШКИНЫ СЛЁЗЫ

*Наискосок, через поле
веди коня,
кукушка!*

Мацуо Басе

Даже в самом нежном возрасте такие часто вызывающие замешательство вещи, как проза Фолкнера, программирование на Assembler и пролонгированное соитие, давались мне с шокирующей легкостью. Оттого я и был уверен, что добыюсь всего в жизни самым простым и ясным путем. Нет, я не был выходящим из ряда вон дарованием. Многое у меня не получалось вовсе. Например, я не умел завязывать шнурки, галстуки ввергали меня в уныние, а вязание крючком вызывало во мне трепет, обычно сменявшийся долгой слезливой меланхолией. Однако, даже находясь на пике такого рода меланхолии, я всегда оставался уверен в своих силах.

Мне исполнилось двадцать пять лет, и я был счастлив особенным, насыщенным и объемным счастьем. Я занимался проблемой, поглощавшей меня практически целиком (некоторые особенности социального поведения Эквизетум Хелиохарис). Остаток моих душевных сил уходил на глубочайшую страсть к собственной жене, специалистке по устному творчеству куманцов (крошечная народность в республике Коми). Супруга моя, по национальности куманка, каждый вечер в течение трех, а иногда и шести часов лизала порог нашего дома, сохраняя, таким образом, верность духовным ценностям своего народа.

Вышеупомянутый порог присущ был деревянному одноэтажному строению, медленно сползавшему по косоугору в реку Клязьму. В одной комнате уже было

по шиколотку воды, покрытой бледной из-за дефицита освещения ряской. Пол нашего дома наклонялся под углом в тридцать градусов к горизонту, и я прибил к нему перпендикулярные уклону рейки, дабы не скользить в темноте. В затопленной комнате, которую я называл бассейном, весной и осенью мы пускали склеенные из спичек вишневым смолой модели римских трирем и испанских галеонов. Иногда нам удавалось полностью смоделировать какое-нибудь малоизученное морское сражение. Электричеством мы не пользовались вовсе, ведь за него надо платить, а при заработной плате около двадцати долларов в месяц я старался скопить денег на подержанный частотомер, дабы подтвердить экспериментально некоторые свои догадки относительно влияния негармонических колебаний на интенсивность митоза медленно поглощавшего мою душу хелиохариса. В доме нашем тлела лучина, на огороде рос самый настоящий рис. Я планировал разводить кувшинки, но столкнулся с проблемой их неживучести в срезанном виде. Решая эту жизненно важную проблему, я обнаружил, что смазанный луковым соком срез позволяет растению сохранять товарный вид в течение дополнительных двадцати минут. Я попытался вытянуть из лукового сока какую-никакую эссенцию, и тут меня осенило. Если я пытаюсь получить эссенцию лукового сока, значит, я хочу придать луку несвойственную ему агрессивность. На деньги, отложенные на частотомер, я купил иллюстрированный самоучитель по изготовлению холодного оружия и уже через три месяца имел в руках превосходный английский боевой лук.

С ним я открыл охоту на голубей и кошек, мясо которых, кстати, оказалось ощутимо вкусней и питательней пробовавшего два раза в жизни кроличьего. Таким образом, удовлетворена оказалась потребность моего дома в животном белке. В охотничьем азарте я едва не забросил рисовый огород, но здравые наставления супруги вернули меня на единственный победный путь.

Каждое утро, около четырех, еще раз взглянув на синеватое в млечном лунном свете лицо жены, я брал с вешалки кожаную куртку деда, лук, аккуратный, расшитый бисером колчан с ароматными сосновыми стрелами и, стараясь не шуметь, выходил на охоту. Лабиринты болшевских заборов вдруг приобретали несвойственную им сладость, пепельная роса на сизых ветвях лучилась чуть слышным холодом, и казалось, что трава вовсе не пригибается под моими шагами. Жизнь обрела вкус, запах и цвет, а в кронах над головой поселился кремовый, мыслящий шум.

Однажды, натянув тетиву на недалекий шорох в кустах малинового дрока, я услышал из-за забора негромкий, но очень насыщенный и густой человеческий стон. Я подтянулся на руках и заглянул за дощатую стену.

Перед недостроенным деревянным особняком, прислонившись к оранжевому столбу, в совершенно противоестественной позе стоял человек в черном. Заметив мою возникшую над забором голову, он улыбнулся и поманил меня ладонью. Все инстинкты разом посоветовали мне бежать, однако вместо этого я одним прыжком одолел забор и встал перед незнакомцем, глядя на него через веселый, зябкий, рассветный дурман.

Человек распахнул пальто и замучено улыбнулся. Более всего незнакомец напоминал очень прилично одетого святого Себастьяна. Он оказался припилен

к столбу добрым десятком стальных арбалетных стрел. Пока я боролся с ледяным удивлением, человек извлек из внутреннего кармана пальто белый сверток, который я отчего-то принял.

– Там полно всякого, – произнес он с недоброй отчетливостью. – Вроде как все тебе... Если взять сможешь... Да сможешь, если не совсем придурок... Фамилию там впишешь, где надо... Только один разбирайся, не кажись никому...

– Может помочь чем? – предложил я, пряча сверток за пазуху. – Выдержу это все или позвонить кому?

– Сам позвоню... А ты давай, дергай отсюда...

Человек достал телефон, набрал номер и проговорил в трубку.

– Клавушка? Ты? Я тут, в Болшево, около дома, подъезд, забери... Нет, не пьяный... Какой? Мертвый, бли!

Спиной я услышал, как телефон хрустко упал на песок.

Сидя на лысом пригорке среди медленно светлеющих камышей, я разорвал пакет. В нем оказалась пачка долларов толщиной в три пальца моей руки, какие-то акции. Плюс к тому кипа документов, из которых я далеко не сразу понял, что рискую стать владельцем банка и сети магазинов, если осмелюсь вписать свою фамилию в соответствующие графы.

Чумной и всклокоченный, я ворвался в свой наискось освещенный дом. Растолкал жену, закричал в голос:

– Вставай, глупая! У нас это, как его, состояние!

– Совсем обалдел, недоносок, – ответила она. – Шляется черт знает где всю ночь. Визжит, будит! Думаешь, взял куманку без прописки, так можно ее рис заставлять окучивать и кошатиной кормить? Елду заверни в свои бумажки!

Жена моя схватила плащ и выскользнула из дома, как тень, практически не касаясь пола. Я ринулся было за ней, но нелепешим образом подвернул ногу, зацепившись за прибитую к полу рейку, и покатился вниз, прямо в затопленную комнату и потом долго еще сидел там в коричневой мутной воде, весь в ряске, подперев обеими руками голову. Я думал, она вернется. Она не вернулась.

Прошло два года. Сначала у меня прошла нога, а потом постепенно я перестал бояться сойти с ума или же быть убитым.

Да, прошли два года, всем похожие на креветочью свадьбу, и вот он я, если это, конечно, все-таки я, резко выворачиваю руль и говорю в телефонную трубку ясным хрустящим голосом: «Хрен вам, а не монополию!», обрываю связь и торможу возле «Олимпик-Плазы». Я торможу там, где я торможу, когда что-то гадкое происходит с солнцем. Это сквернейшее свойство московского лета. Между душным, но переносимым июльским днем и сиреневой дурью заката существуют сорок минут особого глумливого освещения. Тени вытягиваются и непреодолимо гнутся, ощущение состоявшегося дня пропадает вовсе, а под языком этот свет, втекая через ноздри, становится слабым раствором ртути в ацетоне. Хотя, возможно, я просто нажил непорядки с печенью.

Главное в такой момент не смотреть на лица людей. А я смотрел на них, с упрямством робкопа, тошно качаясь на волнах особого эротизированного от вращения.

Нос армянки в кофте потного тигрового плюша над оголтело притягательными ногами изгибался весело вправо, указывая на юношу в майке с надписью «People shit», его блистающий мокрый пробор намечал линию, в конце которой ассиметрично щурилось в багровых оспинах лицо интеллигентнейшей дамы лет сорока с лиху, ребячливо оттопыренным задом. Зад милейшей женщины этой показывал на вывеску «Олимпик-Плазы», но, боже мой, куда был направлен ее взгляд. Дама, облизывая верхнюю в блестящих усиках губу, уставилась на слегка квадратные и противоестественно вытянутые по вертикали ягодицы ушедшей от меня два года назад жены.

Солнце, солнце, за что так безжалостно ты к этим вполне невиновным ни в чем человеческим лицам? Или ты безжалостно только ко мне одному, а остальные видят все это иначе? Ртутно-ацетоновая трагедия с моим языком породила в правом боку острейшее ощущение отвратной нечестности, предательства моего по отношению к ничем и никогда меня не оскорбившему хелиохарису. И таким острым, таким несказанно сладостным было это, в общем, ничем не хорошее чувство, что рванулся я наружу из кондиционированного салона машины в спадающую, но все же густую жару по направлению к ярко-красной двери Макдоналдса, за которой исчезла милейшая в мире из задниц.

Стоя, как идиот, посреди кормящего зала, я нигде не увидел супруги своей, но тут же сообразил, что не могла бывшая моя жена, вскормленная свежайшей кошатинкой, жрать хлорированную макдональдсовскую хавку, а значит, посетила она место это с совсем иными целями.

Я занял выжидательную позицию возле ведущей в ватерклозет лестницы, и не прошло и получаса, как увидел супругу. Узнал я сразу ее конопатое декольте под серебристой кофточкой, узнал короткие и широкие бедра, и тут же расплылся в тягучей похотливой улыбке, почуяв запах милого пота.

– Никогда бы не поверил, – начал я.

– Я бы тоже никогда не поверила.

– Никогда бы поверил, что ты станешь здесь ужинать.

– А я и не стану.

– Конечно, не станешь, потому что я тебя отвезу в...

– Ты не в коем случае не повезешь меня ни в одно из нелепейших мест, где безжопые выдры жрут печальных лангустов в компании крабообразных борцов. Я хочу туда, где гопота ест шашлык с водкой и микроцефалочками.

Я сразу понял, о чем она. Напротив нашей диагональной халупы, на другом берегу, широкой в этом месте Клязьмы, находился разлапистый деревянный кабак с прокатом матерых, страшных водных велосипедов. Длинными пустыми летними вечерами мы часто сидели на перелатаной крыше нашего дома и смотрели, как на террасе этого заведения зажигает яркая, невменяемая молодежь. Томительное кланье советской попсы, запах и звук реки, сладковатый шашлычный дым намекали на недостижимое неумное счастье. Глухой шум несбывшегося уносил нас, и тогда мы печалились лишь о невозможности секса в подобном эмоциональном состоянии.

Случилось сегодня, и вот мы входим в двери того все так же дощатого, пахнущего сосной, пылью и сидром, шалмана. Я лишь слегка прикасаюсь пальцами к

ее влажным плечам, а вокруг ее азиатских глаз живут незнакомые мне конопатые морщинки. Она поворачивает ко мне широкое лицо, облизывает ромбические, твердые, как у Чингачгука, губы и показывает чуть согнутым рельефным пальцем на свободный стол в центре зала. И как выгибается ее спина в этот момент!

Несколько молодых людей в спортивных брюках и кожаных куртках поверх огалстученных белых рубашек пускают короткие мокрые смешки по поводу ее экзотической внешности в сочетании с моей недавно обретенной напыщенной чванливостью. Я глянул на них особым взглядом, и они канули, – должно быть, сквозь щели в полу.

– Ишь чему научился, – кокетливо протянула она, глядя через столик на стрелку моего “Паркера”. – Поинтересуйся как-нибудь своей зодиакальной принадлежностью.

– А ты кто у нас по этой систематике?

– Лев.

Она поманила пальцем официанта. Тот как-то неожиданно привычно и низко ей поклонился, – казалось, приблизив ухо к самым губам моей жены. Я даже растерялся. Она что-то шепнула. Гарсон побежал выполнять.

– Как бизнес? – спросила она, не оставляя времени поинтересоваться странным поведениемслуги.

– Лихо, – ответил я. – Даже противоестественно лихо. – Я кивнул головой в сторону противоположного берега.

На месте окончательно потонувшей трущобы крепко стоял на коротеньких сваях двухэтажный особнячок в кавказском вкусе, а возле каменного причала качалась маклаудовская барка.

– Знаю, – хохотнула она. – Я здесь часто сижу. Вон там на веранде. С биноклем.

– Вот купил земснаряд, хочу речку почистить. Грешно ж купаться в сточных водах.

– Все равно дерьма натечет.

– А я вверху, где поуже, фильтр поставлю. Город платит треть.

– Ты всегда отличался романтическим прагматизмом.

Появились официанты. Целых три. Первый нес в кулаках две бутылки молдавской мерлушки, размахивая руками при ходьбе. Второй тащил поднос, на котором лежали два реальных грузинских рога. Третий был типом заливчатским, в шароварах и малороссийской косоворотке, в охотничьем берете с орлиным пером. На подносе темного серебра нес он редчайшее блюдо. Это была жареная кошка. Кошка сидела в позе сфинкса, художественно оформленная экзотическими фруктами. Мохнатая голова ее смотрела зелеными стеклянными глазами и, наверное, крепилась к шее зубочисткой.

– И часто ты так ужинаешь?

– Нет, милый, это все исключительно для тебя.

Я почувствовал на щеке плохую, глупую слезу, стер ее вертикальным пальцем и сказал.

– Бред какой. Зачем это? Ты должна немедленно ко мне вернуться. Это ясно как божий день.

– Во-первых, я на данный момент никому ничего не должна. А во вторых, тебе действительно все ясно в божьем дне?

– А что тут непонятного? Ты – жена хозяина трактира. Сейчас он появится и предложит мне влить в заведение червончик, потрахаться втроем, или еще какую-нибудь пошлость. Хотя вторая идея ничего. Он у тебя хоть симпатичный?

– Нет! – она расстегнула молнию на брюках. – Непроницателен ты и не был таким никогда. У меня никого нет. И я не хочу быть с тобой. И ни с кем я быть не хочу. – Она привстала и стянула брюки вместе с трусиками.

– Так в чем же дело?

– А ни в чем! Ты не поймешь! Жарко, едой пахнет. Устала я, в напряжение все время, ужас. Расслабиться мне надо ...

Она откинулась на стуле, положив правую руку поверх желтого, конопатого, с единственной узкой прямой складкой и неглубоким пупком живота. Я чувствовал острый, зверушечий ее запах. По куманскому обычаю она подпускала к промежности неживую влагу не чаще раза в неделю. Мелкая нервная дрожь была ее. Капли пота проступили на декольте. Она подалась тазом вперед, выгнулась дугой, и сразу, быстро, рьяно, упруго начала тереть себе клитор, одновременно поглаживая пальцами выпуклый и широкий бритый лобок.

Воздух в зале стал плотным и синим, как сталь, а потом вдруг оранжевым и слабым, как невесть что. Я, преодолевая дрожь в пальцах, принял поданную официантом рюмку с коньяком и немедленно выпил. Выпил и улыбнулся профессиональной, всегда возвращавшей мне душевной покой злобной улыбкой. Оранжевый свет изумился и осел сиреневой пылью, и по всей Москве, по всему ближнему и дальнему Подмосковию, а так же по прилегающим с юга и севера регионам установился тягучий, томительный, хрусткий час между волком и собакой. Другой официант, бормоча очаровательную тарабарщину, уже спешил ко мне со стеклянным, мутным инкрустированным маракешским кальяном. Я затаился, и маслянистый ароматный дым забулькал в зеленоватой подслащенной воде.

– Крошечный оазис искусства среди мерзости восточного Болшево, – пропел интеллигентный старичок с сеткой пустых бутылок.

Я бросил ему кожаный мешочек с мелочью, и старичок на четвереньках топотливо юркнул в кухонную дверь. А зал уж был полон. Узкий, худой, французистый хулиган стилетом вычищал из-под ногтей трактористскую грязь. Молодой, с синеватым лицом, но благообразный повеса в малиновой полупрозрачной рубашке гладил мосластую малороссийскую диву по покрытой прозрачным пушком верхней губе очищенным белым хвостом гигантской креветки. Две сальноволосые крепкие красавицы с волчьими челюстями запихивали друг другу в губы твердые, горькие на ощупь маслины.

Пышнотелая, в платье с рюшами румяная купчиха лила на свой широкий без единой морщины лоб красное вино, стараясь поймать шустрые струйки огромными пурпурными губами под хлюпающий хохот толстомясых товарок. Был праздник. Была радость. Было веселье. И во всем этом, словно гвоздь в густом киселе, застыл я, твердый, холодно счастливый и прямой.

И грянула музыка. Ярко ритмичная и визгливая, полная ослепительного бряцания маленьких медных тарелок. Музыка японская, а, скорее всего,

мексиканская. Несколько мощных аккордов, навязчивая галлюцинация стробоскопа, и вот в потном ритмично мигающем пространстве вокруг нашего столика понесся плотный разноцветный хоровод.

Плясали все. В глубине трех яростных кругов я заметил также и давешних, вспугнутых мною молодчиков. А за дальними столиками приплясывали, о боже, отдельные представители высшего руководства моих предприятий.

Люди вырывались из круга и поздравляли нас с чем-то. Мужчины жали мне руку, слезы мешались с потом, и я в толще сумеречного счастья пропускал по маленькой едва ли не с каждым, словно и не пьянея вовсе. Женщины прижимались ко мне, целовали в губы, шептали благостные, поздравительные нежности. Настроение мое менялось, но в рамках буйной радости, в зависимости от запаха их разгоряченных тел. Жена моя улыбалась кое-кому, с каждой секундой двигаясь все быстрее и агрессивнее.

С улицы донеслось лошадиное ржание, и в бар вошла кукушка. Хоровод на секунду распался, пропуская ее, но стоило птице присесть на третий за нашим столиком стул, снова понесся с утроенной резвостью. Это была очень крупная кукушка, в человеческий рост, одетая в красный гусарский ментик, из-под которого торчала деревянная кобура маузера. На желтом роговом ее клюве прилепилось золотое пенсне властителя умов. Кукушка подняла клювом лихо подставленную гарсоном рюмку водки и, весело опорожнив ее в рот, мотнула головой. Рюмка полетела ей за спину и разбилась в брызги о стену над головами хороводников.

– Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? – безо всякой задней мысли спросил я.

Кукушка ткнула дулом маузера мне в лоб. Я зажмурился.

– Нет, не могу, – кукушка судорожно прятала пистолет и крупные зеленые слезы скатились по рыжим перьям ее лица. – Идиот! Идиот и подлец! Следующий раз думай, кого и о чем спрашивать. Хотя какой теперь уж следующий раз.

Кукушка судорожно и страшно начала куковать. Она куковала без остановки, глядя на меня страдающими глазами, из которых катились вниз огромные слезины. Хоровод неся. Официанты лихо меняли скатерти, успевая щипать за подвижные ягодички горячих гостей. В одном окне бушевала гроза, и яростные, прозрачайшие струи низвергались с широких, темно-синих листьев сирени. В противоположном окне поблескивало стеклистое весеннее утро, гравий издавал запах моря и слышался приглушенный туманом собачий лай. Лишь в дверном проеме висела пропахшая шашлыком, бензином и сеном, душная подмосковная июльская ночь.

Я лучше всех понимал, что кукушка не прекратит куковать, пока не остановится хоровод, хоровод будет нестись, пока я не покину бар, я не тронусь с места, пока жена моя не достигнет оргазма, а она не получит его, пока кукует кукушка, сбивая ее с ритма и отвлекая от глубочайших и судорожно причудливых, бесконечно интимных ощущений.

И что я мог тут поделать? Скажите, что? И это мое бессилие наполнило все иной радостью. Влажной, свежей, несказанной.

персонажи

ГАЙ ДАВЕНПОРТ (1927-2005)

4 января 2005 года в 10.15 утра в онкологическом центре университета Кентукки умер Гай Мэттисон Давенпорт-младший. Ему было 77 лет. Необходимо зафиксировать эти сухие цифры: 4 января 2005 года, 10.15 утра. Вместе с Гаем Давенпортом умерла американская культура XX века.

Он был очень незаметным гуманистом: мыслителем, поэтом и прозаиком, эссеистом, переводчиком, художником, преподавателем филологии. За исключением двух лет службы в воздушно-десантном корпусе США занимался тем, что учился сам и учил других. «Я не собирался быть учителем, мне просто нравилось ходить в школу и узнавать новое», – говорил он. Остальное в его жизни было простым хобби. Награды и премии, которые Гай Давенпорт получал за свое хобби, тоже были незаметными.

Нам осталось четыре десятка его книг. На русском языке вышло всего два его сборника – «Изобретение фотографии в Толедо» и «Погребальный поезд Хайле Селассие». Общий тираж – 4 тысячи экземпляров. Русскоязычным читателям запоздалое открытие гения Гая Давенпорта еще только предстоит.

Время подведения итогов его жизни, наверное, еще просто не наступило – слишком велик диапазон его интересов, чтобы раз и навсегда определить значение работы Давенпорта в нескольких словах. «Один из самых изобретательных и оригинальных американских авторов XX века»? Этого мало. Лучше всего он виден краем глаза, мимолетно, лучше всего слышен в отзвуках.

Его студенты либо считали, что чудаковатый профессор забивает им головы ненужной белибердой, либо становились его преданными учениками. Один вспоминал: «На студенческой попойке один из моих однокашников описал мне преподавателя, который во время лекций петухом рассказывает взад-вперед, время от времени отворачивается к доске и пишет что-нибудь по-гречески или на латыни. Меня это заинтриговало, и я записался к нему в класс. И до сих пор я помню охватившее меня ощущение изумления и чуда. В памяти осталась одна из лекций Давенпорта – об Эдгаре Аллане По, на которой прочерчивались векторы в готическую архитектуру, греческую эпическую поэзию, арабески. Другую лекцию, чтобы провести разграничения между началами американскости в пуританской Новой Англии и роулистной Вирджинии, Давенпорт посвятил Географии Возрождения. Меня это зацепило на всю жизнь».

Литературные критики тоже не могли сойтись во мнениях о его прозе: слишком велика интеллектуальная плотность его текстов, как считал Хилтон Креймер из «Книжного обозрения Нью-Йорк Таймс», точных и сжатых, как лирические стихи, однако организованных по законам монтажа документального кино. Сам Давенпорт шутило объяснял свою писательскую технику так: «Если с утра приходится сталкиваться второкурсникам Оды Китса, а после обеда читать с выпускниками главу из Улисса, у разума вырабатывается привычка повсюду находить перекрестные ссылки».

Художественная проза, критика и эссеистика Гая Давенпорта совершенно свободна от интеллектуальных и моральных условностей, о чем бы он ни писал – о Фудзияме, воздухоплавании, Эзре Паунде или подростковом сексе. Наверное, лучше всего метод Давенпорта можно проиллюстрировать одним анекдотом, который он сам приводит в книге «География воображения»:

Когда-то добровольцам американского Корпуса Мира, расквартированным в одной из африканских стран, пришла в голову блестящая идея: для просвещения местного населения одной из деревень снять фильм о том, что малярию переносят комары, комары плодятся в лужах, поэтому лужи на деревенской главной улице нужно осушать. Об этом перед камерой и должны были говорить старейшины племени. Когда фильм показали всем жителям, встречен он был гробовым молчанием, и лишь в одном месте раздался вопли восторга: «Цыпленок Нтумбе!» Озадаченных добровольцев Корпуса попросили показать фильм еще раз, потому что некоторые дети во время сеанса вертелись и не смогли увидеть цыпленка Нтумбе. Покажите нам цыпленка Нтумбе еще раз! Выяснилось, что в одной короткой сцене, где сознательная мамаша, присев на корточки, вычерпывает лужу, у нее за спиной по самому краю кадра действительно бродит одинокий цыпленок. Эти странные американцы сколько угодно могут рассказывать о лужах, комарах и малярии, а тут, прямо перед ними вот в этой движущейся картинке на стене ходит живой цыпленок Нтумбе. Чего ж еще можно требовать от искусства?

«Тридцать лет, – писал Гай Давенпорт, – я сочинял истории, в которых цыпленок Нтумбе приковывал к себе внимание слишком многих из моих немногочисленных читателей. Академики даже разработали целую критическую школу, призванную обучать людей видеть в них одного лишь цыпленка Нтумбе (или его отсутствие)... Один остроумный француз сказал, что я – писатель, исчезающий сразу же по прибытии. Мне хотелось бы недопонять его: как модернист я был слишком поздно, а для диссонансов, известных под названием постмодернизма, – слишком рано».

Давенпорт был беспощаден к читателям. В одном из своих последних писем, в декабре прошлого года, он признавал: «Мои читатели – сотрудники. ВСЕ читатели – сотрудники: они исполняют текст в воображении. Я недостаточно доверяю своим читателям – потому что и вообразить себе не мог, что они у меня будут». Мы можем быть только благодарны ему за эту беспощадность. Как и его студентам, нам хочется дотянуться до уровня своего учителя.

Недосказанным осталось многое. Без преувеличения: для многих из нас, читателей и почитателей Гая Давенпорта, с его смертью погас огонек той лампы, при свете которой текст ночью почему-то становится яснее. О Людвиге Виттгенштейне Давенпорт когда-то написал слова, которые можно было бы сказать и о нем самом: «Жизнь была, наверное, странной болезнью, которую преодолеваешь героизмом, а мысль наверняка была болезнью, которую, наверное, могла излечить философия».

Максим Немцов

ГАЙ ДАВЕНПОРТ

АНТРОПОЛОГИЯ ЗАСТОЛЬНЫХ МАНЕР, НАЧИНАЯ С ГЕОФАГИИ

Один предприниматель, возвысившийся ныне до вице-президента, рассказывает мне, что в годы ученичества, бывало, пересекал самые глухие районы Арканзаса как обычный разъездной коммивояжер, а там у них были такие фермы, где люди из его компании останавливались на ночлег: питание включалось в стоимость. Однажды на новом маршруте он встал к завтраку после освежающего сна на пуховой перине и увидел на столе сплоченный строй провианта – яичница, галеты, яблочный пирог, кофе и свиной хребтовый шпик.

Последнее кушанье было ему незнакомо, а вид у него был таков, что наш коммивояжер согласился бы скорее гореть в аду, чем есть такое. Однако манеры он блюсти умел и, постоянно промахиваясь мимо блюда со шпиком, мило болтал с хозяйкой дома о том, что привычки питания сильно зависят от местности, штука очень индивидуальная и вообще тут все дело в том, кого как воспитали. Он надеялся, что хозяйка поймет его правильно, если он, не привыкший к потреблению свиного шпика, оставит его нетронутым на тарелке.

Радужная арканзасская матрона вежливо на это кивала, соглашаясь, что еда по всему миру разная.

Затем она извинилась, колыхнула обширным фартуком и вышла из кухни. Вернулась с двухствольным дробовиком, направила его на коммивояжера и угрюмо произнесла: «Ешь давай».

И есть он дал.

Преступление нашего героя состояло в том, что он отказался от того, что ему подали, а это оскорбление практически в каждом кодексе застольных манер. Уютно устроившись в иглу, эскимос выковыривает грязь между пальцами ног и вежливо предлагает вам как приправу к ворвани. Среди пенанов верхнего Барама в Сараваке вы будете в знак уважения есть сопли своего друга. В Африке устраивают обеды, где маслом к тыквенному рагу из горлянки будет служить жир с волос вашей хозяйки. И попробуйте только отказаться.

Прием пищи всегда – по крайней мере, два занятия: поглощение еды и следование кодексу манер. А в манерах таится программа табу – строгая, как Второзаконие. Мы, рациональные, развитые и раскрепощенные американцы, может, и не станем подавать мать невесты на свадебном пиру, как в Амазонии; рыгать в благодарность, как в Японии; или, как в Аравии, есть пальцами. Но каждый ребенок пережил обряд посвящения в таинства застольных манер: не клади локти на стол, проси, чтобы тебе передавали, а сам не тянись, не режь ножом хлеб, не открывай рот, когда жуешь, не разговаривай с набитым ртом, и так далее и тому подобное – сплошная черная магия, зато еще одна ступень в становлении среднего класса.

Наши бегства от цивилизации симптоматичны: первое, что мы нарушаем, – застольные манеры. Свобода надевает самый красный свой колпак: все дозволено. Я помню одну увольнительную из десантных казарм, когда мы питались омлетом на «Джеке Дэниэлсе», картофельными чипсами и ореховыми

плитками, а наш старшина, в обычное время – добрый семьянин внушительной банкирской наружности, фальцетом распевал «Наступит мир в долине», одетый лишь в ковбойские сапоги и шляпу.

Однако для детей, которых больше всех остальных угнетает светскость за столом, даже легкое отступление от правил – уже Царство Непослушания. У меня одним из величайших кулинарных мгновений в жизни были походы к моей черной няньке домой есть глину. «Этому ребенку вот что надо, – пробормотала она однажды, когда мы отправились на прогулку, – хорошенько закусить глиной». В Южной Каролине все знали, что черные по каким-то неведомым причинам глину очень любят. И только прочтя «Исследование истории» Тойнби много лет спустя, я узнал, что поедание глины или геофагия – привычка доисторическая (глина наполняет желудок, пока следующего зубра не завалишь) и сохранилась только в Западной Африке и Южной Каролине. Мне даже представился случай, когда я встретился с Тойнби на какой-то ученой вечеринке, похвастаться, что в свое время я тоже был геофагом. Он лишь странно, по-британски, на меня посмотрел.

Пиршество происходило в спальне, поскольку цинковое ведро глины хранилось под кроватью – чтобы не нагревалась. То была синяя глина с ручья, по консистенции напоминавшая похрустывающее на зубах мороженое. Глина ровно и аппетитно лежала в этом ведре с чистой водой. Ее нужно было зачерпывать и есть ладонью. Вкус – полезный, минеральный, внушительный. С тех пор в ресторанах я поедал множество вещей с гораздо большей опаской.

Еще не изобрели точных технических терминов для некоторых уступок, которые я вынужден был делать из вежливости, продиктованной необходимостью соблюдать застольные манеры. На обедах, приготовленных новобранцами в первые дни своего ученичества, я заставлял себя глотать вареную картошку, хрустящую, как конские каштаны, кровоточащую свинину, подливку, в которой можно было бы замариновать котел селедки, и пюре из сырой куриной печени.

Мне рассказывали о женщинах, которым недостает внимания к этикеткам: из гипса и корма для цыплят они делали бисквиты, которые приходилось поглощать робким супругам и вежливым гостям; а моя рискованная тетя Мэй однажды приготовила салат из виргинской лещины, а в другой раз в безудержном творческом порыве подала на стол банановый пудинг, в котором тут и там были спрятаны сваренные вкрутую яйца.

Рафаэль Пампелли в своих воспоминаниях о Западе в старые добрые времена рассказывает об одном бородатом субъекте с двумя револьверами, заехавшем в колорадский отель с куском мяса, завернутым в пестрый головной платок. Он велел повару это приготовить, уселся за стол, повязал салфетку, взял в руки нож и вилку так, что на него бы не покосились и на Восточном побережье, изящно употребил солонку и перечницу – в общем, неплохо изображал за столом джентльмена. А затем, сверкнув глазами и мощно отрыгнув, в конце протянул:

– Ну вот, ей-же-ей, я поклялся сожрать печенку этого мужика, и я это сделал!

Смысл этой байки для тех из нас, кто является великими знатоками, в том, что этот герой Дикого Запада предпочел съесть печень своего врага в ресторане отеля и пристойно. Прием пищи как простое потребление еды вышел из моды тысячи лет назад; мы уже забыли, что это такое. Чаплин, обгладывающий гвоздики

своего тушеного башмака в «Золотой лихорадке», таким образом представляет ни с чем не сравнимое мгновение сатиры, воплощая в себе все, что мы слышали о британских джентльменах, одевающихся к ужину в Конго (как Ливингстон, заставивший ждать Стэнли перед их знаменитой встречей, пока он не извлечет из багажа свой парадный костюм).

Рёскин и Тёрнер никогда не обедали вместе, хотя приглашение однажды направлялось. Тёрнер знал, что его манеры не сравнятся с манерами рафинированных Рёскиных, и так об этом и заявил, наглядно показав, что зубов у него нет, а потому мясо приходится высасывать. Приличия есть приличия, тут уж ничего не поделаешь, и великий художник и его великий толкователь и защитник были обречены питаться порознь.

И Витгенштейн не мог есть со своими коллегами-преподавателями за их высоким профессорским столом в Кембридже. Можно только жалеть, что повод – натуральнее некуда. Во-первых, Витгенштейн носил кожаную куртку на молнии, а преподавы за высоким столом должны появляться за столом в академической мантии и при галстуке. Во-вторых, Витгенштейн считал недемократичным принимать пищу на уровне четырнадцати дюймов над своими студентами (можно ли сказать – за столом низким?).

Кодекс кембриджских манер не мог вынудить философа сменить кожаную куртку на более формальное одеяние, как не мог вмешаться и в вопросы его совести. Одновременно он не мог и позволить ему обедать за высоким столом недолжно одетым. Компромисс нашли: преподаватели сидели за своим высоким столом, студенты – за более скромными столами, а Витгенштейн обедал посередине за ломберным столиком, отдельно, однако наравне, и английский декорум не нарушался.

В «Максиме» отказались обслуживать Линдона Бейнса Джонсона, в то время – Президента Соединенных Штатов, на основании того, что персонал ресторана не располагал рецептом барбекю по-техасски, хотя дело было в том, что они просто не знали, как его подавать или как критиковать манеры *мсье ле президента* при поедании оного.

Самое лучшее проявление манер со стороны ресторана, свидетелем которому я был, случилось в отеле «Импириэл Рамада Инн», в Средний Барочный Зал Лоуренса Уэлка которого мы пришли как-то с фотографом Ральфом Юджином Митъярдом (замаскированным под бизнесмена), монахом-траппистом Томасом Мёртоном (в штатском костюме табачного фермера, но с тонзурой) и редактором журнала «Форчун», который разбился на пути в аэропорт на машине, взятой напрокат в агентстве «Херц», и был весь заляпан кровью с макушки до пят. Голливуд к таким вещам привык (Линда Дарнелл пьет молочный коктейль с чудовищем Франкенштейна между дублями), равно как и Рим с Нью-Йорком – но только не Лексингтон, штат Кентукки. Еду нам подавали без всяких комментариев со стороны официанток, несмотря на то, что Мёртон залпом выпил шесть martinis подряд, а редактор «Форчун» останавливал кровь из всех своих ран всеми салфетками со стола.

Потомство всегда благодарно заметкам о застольных манерах знаменитостей хотя бы просто потому, что эта информация достается совершенно даром и ничему не учит. Ну что нам может сказать то, что Монтень глотал, не жуя? Я ел

с Алленом Тэйтом, заинтересовавшемся едой, лишь когда пришла пора загасить окурки в нетронутом салате, с Исаак Динесен, которая только играла с устрицей, но так и не съела ее, с Луисом Зукофски, который обедал половиной гренки, отправляя в рот одну крошку за другой.

Манеры выдерживают испытание превратностями судьбы. На Гертруду Эли, филадельфийскую хозяйку салона и покровительницу искусств, однажды нашел стих пригласить домой Леопольда Стоковского и весь его оркестр, а также несколько друзей. Остановив в коридоре своего дворцового, она небрежно сообщила ему, что на ужин из того, что подвернется под руку, она ожидает несколько человек.

– Мадам, – отвечал дворецкий довольно ледяным тоном, – мне дали понять, что сегодня вечером вы ужинаете одна; прошу вас принять мою отставку. Желаю всем вам приятного вечера.

– В самом деле, – сказала мисс Эли, а затем с безупречным изяществом, которое ничем нельзя поколебать, собственноручно накрыла все столы в доме и распределила по тарелкам крошечные кусочки одной печеной курицы, имевшейся в наличии, щепотки латука и капельки майонеза. Успех не сравним, конечно, с хлебами и рыбами из Писания, но, по крайней мере, каждому что-то досталось.

Я, живущий почти исключительно одной жареной колбасой, супом «Кэмпбелл» и батончиками «Сникерса», и не стал бы как-то особо интересоваться застольными манерами, если бы они – даже в такой затворнической и небогатой обстановке жизни, как моя, – не приводили к стольким стычкам со смертью. Великая женщина, Кэтрин Гилберт, философ и эстет, как-то раз настояла, чтобы я попробовал настоящего флорентийского масла, которым ее угостил Бенедетто Кроче. Я уже проглотил несколько булочек, намазанных таким важным маслом, пока не понял из продолжающейся между нами беседы, что масло передали ей несколько месяцев назад где-то в тосканских холмах в августе, после чего оно пересекло Атлантику на пароходе, упакованное вместе с ее книгами, итальянскими полевыми цветами, прошутто и другими сувенирами великой итальянской культуры.

Начался жар и перед глазами все поплыло несколько часов спустя – в бреду я припомнил последнюю трапезу Пико делла Мирандолы, где еду ему подавали Лукреция и Чезаре Борджиа. *In extremis*¹ я оказывался на Крите (осьминог и нечто похожее на покрытый шеллаком рис, вместе с П. Адамсом Ситни), в Югославии (совершенно невинная на вид дыня), в Генуе (телячьи мозги), Англии (черноватое рагу, которое, казалось, тушили в керосине), Франции (*andouillette*², любимый корм Мегрэ, только тут вся штука в том, как я теперь понимаю, что следует родиться в Оверни для того, чтобы желудок ее переварил).

Но разве не существует контр-манер, которые могли бы спасти человеческую жизнь в этом несправедливом мученичестве вежливости? Я слышал, что Эдварду Дальбергу хватило мужества отказаться за столом от еды – но в результате он растерял всех своих друзей и стал мизантропом. Лорд Байрон однажды отказался от всех блюд, которые подавал ему Завтрак Роджерс³. Мане, считавший

¹ При смерти (лат.).

² Сосиска (фр.).

³ Сэмюэл «Завтрак» Роджерс (1763–1855) – коллекционер, поэт и банкир, известный светский сплетник своего времени.

испанскую пищу тошнотворной, но полный решимости изучить в Прадо всю живопись, провел две недели в Мадриде, не съев вообще ничего. Какому-нибудь «приват-доценту» от нечего делать стоило бы составить панегирик тем кулинарным стойкам, которые, подобно Марку Антонию, пили из желтых луж, от одного взгляда на которые другие умирали. Причем не изголодавшимися и отчаявшимися, которые во время войн и блокад ели клей с книжных корешков или прошедшую через лошадей кукурузу, обои, кору и зверей из зоопарков; но пленникам цивилизации, глотающим с двадцатой попытки хрящ за храбрым трепом с автором романа о трех поколениях неистово живучего семейства.

Да и в любом случае – у кого сейчас еще остались манеры? Ни у кого, это уж точно; у всех, если ваш взгляд научен. Даже самый придурковатый подросток, дома питающийся прямо из холодильника, а в обществе – в «Бургер-Кинге», рано или поздно окажется за столом под неусыпным оком будущего тестя или тренера и ему придется очень постараться, чтобы сожрать булочку в два присеста, а не в один, и оставить что-то соседу, когда ему передадут миску с картошкой. Он, конечно, по-прежнему будет заправлять всю свою тарелку шестью ляпами кетчупа, опрокидывать стакан с водой, а пирожное поедать прямо с ладони; но жена, загородный клуб и ротарианцы до него доберутся, и не успеет ему исполниться двадцати пяти, как он начнет вкушать фруктовый салат с отставленным мизинчиком, промакивать рот салфеткой перед тем, как пригубить сотерн «Альмаден», и беседовать об особенностях китайских котелков и фондю с парнями в конторе.

Археологи недавно решили, что можно обозначить начало цивилизации понятием о дележе одной добычи – в этой простой идее мы видим зародыш семьи, сообщества, государства. О распадающихся браках мы можем отметить, что подлинный разрыв происходит не когда Джек и Джилл уже не спят вместе, а когда они уже вместе не едят. Общий стол – последний нетронутый обряд. Ни одна культура не надевает здесь *bonnet rouge*¹, за вечным исключением немцев, у которых вообще никогда никаких манер не наблюдалось.

Тирания манер, таким образом, может быть давлением, которое на нас оказывает необходимость выжить на вражеской территории. Прием пищи – самая интимная и в то же время самая публичная из биологических функций. Переход от одного обеденного стола к другому – эквивалент перехода от культуры к культуре даже внутри одной семьи. Одна из моих бабушек подавала к бисквитам масло и черную патоку, а другая грохнулась бы в обморок от одного вида черной патоки на столе. Одна подавала кофе во время еды, другая – после. Одна готовила зеленые овощи со шпиком, другая – с обрезками окорока. Одна клала в чай кубики льда, другая – колола лед из льдника. Мой отец жаловался, что не пил по-настоящему холодный чай со льдом с тех пор, как изобрели холодильник. Он был прав.

Смогла бы какая-нибудь из моих бабушек – одна с английскими деревенскими манерами, другая с французскими – отобедать в самолете? Что бы *Roi Soleil*² мог сделать с этим квадратным футом пространства? Мое семейство, всегда державшееся скромно, стало выходить в рестораны, лишь когда Вторая

1 Красный колпак (фр.).

2 Король-Солнце (фр.) – прозвище французского короля Людовика XIV (1638–1715).

мировая давно закончилась. Тетушка Мэй выпила весь крошечный кувшинчик молока, который обычно подают там к кофе, и заметила дядюшке Баззи, что все порции в этих кафе – определенно скудные.

Я вырос в убеждении, что есть приготовленное другими людьми – большое достижение, вроде изучения чужого языка или пилотирования самолета. Я очень долго был убежден, что греки питались исключительно чесноком и одуванчиками, а евреи настолько разборчивы в еде, что едва ли вообще едят. Дядюшки, побывавшие во Франции с американскими экспедиционными войсками, доносили, что французы живут на жареных крысах и улитках. Китайцы, как я вычитал в книжке, начинают еду с десерта. Счастливы народ!

Манеры, как и любой набор сигналов, составляют язык. Возможно научиться говорить по-итальянски; есть по-итальянски – никогда. Во времена воспитанные бунтарю против обычаев всегда есть что нарушать – застольные манеры. Диоген напускал на себя лоск Дэниэла Буна, а Платон ел с благоприспособленностью, которой могла бы поучиться Эмили Пост. Торо, Толстой и Ганди принимали пищу с подчеркнутой сдержанностью, умеренно и в сугубой простоте. Кальвин питался только раз в день простой пищей и, вне всякого сомнения, воображал, что Папа обжирается фазанами, соловьями и фаршем из дикого кабана с макаронами.

Почтенный Джон Адамс, впервые принимавший пищу во Франции, считал еду вкусной, хоть и непонятной, но покраснел от застольной беседы (одна дама спросила, не его ли семья изобрела секс); а Эмерсону как-то раз пришлось постучать по своему бокалу, когда двое гостей, Торо и Агасси, завели речь о совокуплении черепах. Большая часть греческой философии, лучшие афоризмы доктора Джонсона и христианская религия родились за ужином. Застольные разговоры Гитлера были так скучны, что Ева Браун и один фельдмаршал однажды просто заснули у него перед носом. Он злился на них целый месяц. Генералиссимус Франко задремал, пока с ним за столом разговаривал Никсон. Может статься, беседа за общей ляжкой страуса эму – и впрямь начало цивилизации.

Есть в молчании, как это делали египтяне, почему-то представляется особенно ужасным и чопорным. Пока сэр Вальтер Скотт принимал пищу, у него под самым ухом гудела волюнка, вокруг собирались все его животные, а перед ним болтало целое море гостей. Только поистине безумные едят в одиночестве – вроде Говарда Хьюза и Сталина.

Эксцентричность застольных манер – все наверняка слышали рассказы о богатых дядюшках, надевающих к столу клеенчатые летные шлемы, – задерживается в памяти намного дольше, чем иные причуды. У меня по спине всякий раз заново бегут мурашки, когда я вспоминаю, как зашел в «Прогулочный Домик» и обнаружил, что все столы, включая раздаточный, накрыты; и не только накрыты, но и еда подана. Занято было только одно место – весьма эксцентричным господином, явно – миллионером. Он, как мне объяснила несколько дней спустя официантка, устраивал званый ужин, однако никто не пришел. Он все ждал и ждал. До этого он уже несколько раз так делал – и никто никогда не приходил. По мнению официантки, он всякий раз забывал разослать приглашения; я же считаю, что его гости просто никак не могли решиться им поверить.

И был в Оксфорде один профессор, которому нравилось сидеть под своим чайным столиком, прикрытым скатертью, и из-под низу раздавать чашки чаю и ломтики торта. Все это время он поддерживал живейший разговор, и большинство его друзей к этому привыкли. Всегда находился, правда, какой-нибудь студент, приходивший на чаепитие неподготовленным – он только сидел и таращил глаза, покрывался холодным потом и начинал заикаться.

Однажды летним вечером в Южной Каролине я рассказывал об этом профессоре, чтобы развлечь публику английскими манерами. Дальняя кузина, которой еще и двадцати не исполнилось – родом она была из деревни и редко задумывалась о манерах поведения иностранцев вообще, – выслушала мой анекдот с мрачным ужасом, отправилась домой, и там с нею случился припадок.

– Мы полночи Эффи Мэй успокоить не могли, – рассказывали нам позже. – Она часы напролет кричала, что перед глазами у нее стоит только это страшилище под столом, откуда высовывается одна рука с чашкой и блюдцем. Она говорит, что никогда этого не переживет.

НЕТ, НО Я ЧИТАЛ РОМАН

С тех пор, как Рэндолф из Роанука пытался убедить Сенат объявить вне закона выхолощенный текст Шекспира, которым в старших классах пользуются до сих пор, грамотность американцев в общественных местах сместилась в противоположную сторону. Теперь из калифорнийских начальных школ выбрасывают Тарзана – за то, что жил с Джейн во грехе. Это случилось во время рождественских каникул, и поднялись вопли и контр-вопли. Гроссет и Данлэп уверили Республику, что лорд Грейстоук и мисс Джейн Портер из Балтимора были обвенчаны по всем обрядам англиканской церкви на странице 313 «Возвращения Тарзана» – второго романа двенадцатитомной саги. Добрые жители Дауни, штат Калифорния, думали о Тарзане голливудском.

На страницах Берроуза, когда мисс Портер официально знакомится с Тарзаном – до этого она видела его лишь мельком, когда он спасал ее от домогательств примата Теркоза, поклонника для ла Портер неприемлемого, – он умеет читать и писать по-английски (не очень четко), говорит «по-обезьяньи и немного по-слоновьи» и на французском. К шестому тому эпоса Тарзан говорит на арабском, английском, немецком, банту, свободно – на слоновьем, на суахили, французском, мартышечьем, среднеанглийском, львином, абиссинском и довольно сносно понимает американский. И дальше в том же духе. Откройте «Франкенштейн» и послушайте, как чудовище цитирует Эсхила; посмотрите, как оно байронизирует насчет величественности Альп; и взгляните на несчастную тварь в лапах Голливуда.

Ворчливый приверженец последовательности может стенать о том, что нечестно выродиться в обе стороны: позорить Тарзана одной рукой, затем запрещать другой за то, что он стал вульгарной тенью своего благородного естества. Тарзан же, если хотите, безнравственен. Для изучающего идеи он – человек, надменно попирающий закон, он супермен с высокомерно задранным

носом. Он, фактически, – Шерлок Холмс, катализированный Руссо и Фенимором Купером, помещенный в воображаемые джунгли Дарвина, физически развитый и борющийся за выживание. Холмс же – не кто иной, как Уолтер Патер, переодетый частным сыщиком для того, чтобы британская публика могла соучаствовать, в конечном итоге, в сокровенных деяниях Эстетов (из коих Холмс – самый преданный и последний прерафаэлит).

Но невозможно, чтобы все было так ясно, как вам бы этого хотелось. Тарзан никогда больше не будет запрещен, поскольку вкус в тех романах притуплен и нем, а зачастую и неуважителен к тому неуклюжему правосудию, с которым мы все вынуждены мириться. В создавшейся обстановке мы можем только побуждать подлинного Тарзана мистера Берроуза двигаться дальше, каким бы добродушным болваном и блестящим лингвистом он ни был; ибо, по сравнению со своим диминуэндо на киноплёнке, в книжке комиксов и электронно-вакуумной трубке, он – в самом деле возвышенное и благородное существо и, увы, нуждается в защите.

ХОББИТСТВО

В прискорбном списке вещей, которые навсегда останутся выше меня, филология располагается ближе к началу – вместе с моей неспособностью водить машину или произнести слово «отзеркаливать». У меня нет намерения заботиться о попытке двух университетов из лучших побуждений научить меня читать (а в возобновляющемся моем кошмаре – писать и говорить) по-староанглийски или, как они это иногда называют, по-англосаксонски. Некоторые обиды – это навечно. В Судный День я гордо и упрямо выскажу все претензии к обучению тому, как покидать тонущее судно, ползая под пулеметным огнем и читать по-англосаксонски.

У первого профессора, терзавшего меня синтаксисом и морфологией староанглийского языка, был дефект речи, он путался в своих заметках и, казалось, полагал, что мы, его сбитые с толку школяры, в совершенстве изучили готский, шотландский, гэльский и валлийский, на грамматику которых он постоянно свободно ссылался. Откуда мне было знать, что он когда-то написал на обороте одной из наших экзаменационных работ: «В земле была норка, и в норке жил хоббит»?

Только много лет спустя я узнал, что этот рассеянный и невразумительный лектор, потыкав час в страницу внушающей ужас «Англосаксонской хроники», пробормотав скороговоркой географические названия и похмыкав над вариантами прочтения, ехал на велосипеде на Сэнфилд-роуд в Хедингтоне и перемещал Фродо и Сэма к Мордору.

Даже когда я удосужился прочесть «Властелина Колец», все равно с большим трудом – как и поныне – смог поверить, что книгу написал этот бормочущий педант, профессор Дж. Р. Р. Толкин.

Не очень повезло мне и в попытках мысленно объединить профессора и автора книги. Я провел восхитительный день в розарии Толкина за беседой с

его сыном: из этого разговора все время всплывала фигура любящего отца, так и не заметившего до конца, что дети выросли, и все время, насколько я понял, переходившего из мира реального в мир своего собственного изобретения и обратно. Я помнил о том, что сын сэра Вальтера Скотта вырос в неведении, что его отец – романист: в отрочестве он высказался в обществе людей, обсуждавших гениальность Скотта:

– Да, обычно он первым замечает зайца.

Да и разговаривая с его близким другом Х. В. Г. («Хьюго») Дайсоном, никак не мог я ощутить присутствия того Толкина, который придумал хоббитов и все эти замечательные приключения, уступающие лишь Ариосто и Боярдо.

– Милый Рональд, – говорил Дайсон, – писал все эти глупенькие книжки с тремя предисловиями и десятью приложениями к каждой. Знаете ведь, у него это не настоящий плод воображения: он все это просто насочинял.

Вот уже пятнадцать лет я пытаюсь понять, что именно Дайсон имел в виду.

Ближе всего подобрался я к тайному внутреннему Толкину в одной случайной беседе как-то снежным днем в Шелбивилле, штат Кентукки. Я уже забыл, как мы вообще перешли к нему, но я начал докучать вопросами, как только понял, что разговариваю с человеком, учившимся вместе Рональдом Толкином в Оксфорде. Это был преподаватель истории Аллен Барнетт. Он никогда не читал ни «Хоббита», ни «Властелина Колец». Он очень удивился и обрадовался, узнав, что его старинный друг стал знаменитым писателем.

– Подумать только! Знаете, он проявлял весьма необычный интерес к людям отсюда, из Кентукки. Ненасытно требовал от меня все новых и новых рассказов о кентуккцах. Заставлял меня повторять фамилии, вроде Бэйрфут, Боффин или Баггинс – и подобные добрые сельские имена.

А в окно я видел табачные амбары. Очаровательный анахронизм – трубки хоббитов – неожиданно стал осмысленным в новом свете. Сам Шир, его размеренный образ жизни и застенчивые хоббиты имеют множество корней и в фольклоре, и в реальности – помню, с каким удовольствием я не так давно выглянул из окна английского автобуса и увидел стрелку, указывающую дорогу в Баттербур. Кажется, и Кентукки внес сюда свою лепту.

Практически все имена толкиновских хоббитов приведены в моем телефонном справочнике Лексингтона, а те, которых нет, можно найти в справочнике соседнего Шелбивилля. Скорее всего, эти люди зарабатывают тем, что выращивают и обрабатывают трубочный табак. Поговорите с ними, их обороты их речи – чистая Хоббитания: «Я слыхал речи», «сызнова», «значитя, мистер Фродо сразу его и двоюродный, и троюродный братец, да так и эдак они давно не видались», «вот в этот самый месяц как есть». Английские просторечные обороты, конечно, но такие сейчас можно чаще услышать в Кентукки, чем в Англии.

Я отчаялся объяснить Барнетту, чем стали его рассказы о кентуккском народе в воображении Толкина. Я побуждал его прочесть «Властелина Колец», но пути наши больше не пересеклись, и я не знаю, прочел он или нет. Как и того, понял ли он, что у оксфордского костра и на прогулках вдоль Червелла и Айсиса, он создавал Баггинсов, Боффинов, Туков, Брандибаков, Граббов, Бурроузов и

Праудфутов (или Праудфитов, как предпочитает одна из ветвей семейства), которые, как нам рассказали, все были особым предметом изучения Гандальфа Серого – единственного мага, интересовавшегося их робким сельским образом жизни.

Перевод М. Немцова

РЁСКИН

Сто лет назад восьмидесятилетний Джон Рёскин умер в Брэнтвуде, своем доме на берегу Конистон-Уотер в Ланкашире, в Озерном краю, который прославили Вордсворт и Кольридж. На протяжении десяти мрачных лет он был не в своем уме и лишь изредка узнавал свою двоюродную сестру Джоан Северн, эту многострадальную женщину, которую за тридцать шесть лет до этого приняли в семью Рёскина ухаживать за его престарелой матерью. В 1871 года Джоан Эгню, как ее тогда звали, вышла замуж за сына Джозефа Северна, закрывшего глаза Китсу. Рёскин повстречал Джозефа Северна на лестничной клетке в Риме в 1841 году – Рёскин поднимался, Северн и Джордж Ричмонд спускались. Ричмонд закрыл глаза Уильяму Блейку.

Такова была жизнь Рёскина, цепь случайных встреч. Ребенком он видел Вордсворта, спящего в церкви. Позднее, в Оксфорде, Вордсворт вручит ему желанную Ньюдигейтскую поэтическую премию. В конечном счете, он стал думать о своей жизни, да и о жизни вообще, как о лабиринте с неожиданными поворотами, лабиринте (или crinkle-crankle, чосеровское слово, которое Рёскин любил употреблять) удачных проходов и озадачивающих тупиков. С 1871 по 1884 год он развивал эту идею в серии ежемесячных эссе, обращенных к «труженикам Великобритании». Он назвал этот труд *Fors clavigera* (он любил латинские названия). Это каламбур столь же изощренный, сколь и весь труд: *claviger* – обладатель *clava* (дубинки, как у Геркулеса) или *clavis* (ключа, как у Януса, бога дверей), или *clavus* (гвоздя, как у Иаэли в Библии, который она вбила в голову тирана Сисары). *Fors* означает везение и представляет собой, по словам Раскина, «лучшую часть» английских слов *force* (сила) и *fortitude* (стойкость).

Когда Тезей с дубинкой отправился в критский лабиринт убить чудовище Минотавра, его ключом к выходу наружу был клубок из нити, или *clue* (что этимологически сродни словам *clava*, *clavis* или *clavus*), который распускала Ариадна.

Критский лабиринт был построен прообразом всех строителей и конструкторов Дедалом – скульптором, архитектором, аэронавтом, изобретателем парусов и корабельной оснастки, создателем механических коров, в которых критская царица Пасифая могла совокупляться с быком. Плодом этого межвидового спаривания стал Минотавр, который поедал афинских детей. Он жил в центре блудилища, выстроенного для него Дедалом – Лабиринта. Этот миф фигурировал в европейской поэзии и живописи на протяжении трех тысяч лет.

Первым лабиринтом Джона Рёскина, как объяснил в своем блистательном «Лабиринте Рёскина» профессор Джей Феллоуз, был сад на задворках Херни-Хилла, лондонского дома, в котором Джон Рёскин вырос, где меж длинных кирпичных стен были заключены деревья, цветы, трава и тропинки. Здесь для

рыжеволосого голубоглазого мальчика желудевые чашечки и раковины улиток были самыми замечательными диковинами. Ему нравились также ключи и галька.

Его отец, богатый виноторговец, импортер и оптовый поставщик хереса, портвейна и бордо, был красивый шотландец, тоже по имени Джон. Его мать, Маргарет, была строгая кальвинистка и, не дрогнув, мирилась, с тем, что Библия «так откровенна». Каждый день начинался у Рёскинов с чтения Писания вслух, всего по порядку, год за годом, с Бытия 1:1 до Откровения 22:21, а затем начинали сначала. Рёскин знал Библию наизусть.

Воспитание Рёскина, которое он так обаятельно вспоминает в своей отрывочной автобиографии, *Praeterita* (шекспировское «былое», прустовское *temps retrouvé*), было осторожным и любовным взращиванием в благочестии, прямоте характера и интеллектуальном любопытстве. Его родители надеялись, что он станет пастором; Рёскин желал быть геологом. Он был исключительно способным ребенком. Его возили по Англии в комфортабельных экипажах и на европейские экскурсии смотреть картины и соборы. Он влюблялся в кристаллы, ледники, альпийские долины, пейзажную живопись, греческую и латинскую поэзию, готическую архитектуру и девочку из семьи Домек (французское звено винного предприятия) и играл с ней в садовом лабиринте Хэмптон-Корта (первый настоящий лабиринт Рёскина, хотя ему доводилось видеть лабиринты на полу французских церквей, в Амьене и Шартре, и итальянской в Лукке). Он научился всему, кроме житейских материй.

Когда, после Оксфорда, где еще студентом он написал две книги, он женился на Эффи Грей, он не знал, что делать в первую брачную ночь, и ничего не делал — на протяжении шести лет. Эффи была красива, очаровательна и, вероятно, столь же невежественна, как и Рёскин, по поводу того, откуда берутся дети. Последний из биографов Рёскина Тим Хилтон, автор замечательной новой книги «Джон Рёскин: позднейшие годы» (продолжение предыдущей, «Ранние годы: 1819-1859») и намеренной к публикации работы о *Fors clavigera*, описывает этот своеобразный брак с пониманием и тактом. Он ясно дает понять, что Рёскин, в его беспредельном невежестве или с бессознательным намерением, создал на этуодном выезде такую нарочитую близость между Эффи и художником-прерафаэлитом Джоном Эвереттом Милле, что природа сделала то, что она всегда делает с двадцатилетними, когда они попадают в общую спальню в сельской хижине. Эффи подала на развод, вышла замуж за Милле, завела большую семью, и они зажили долго и счастливо.

В своих показаниях по судебному делу о разводе Рёскин сказал, что женское тело оказалось не тем, что он о нем думал. Хилтон выражается без обиняков: «Он был педофил» — три лаконичных слова в его работе в 875 страниц. Этот голый факт становится, однако, лейтмотивом всей дальнейшей хилтоновской биографии, равно как и Рёскиновской жизни. Сексуальная одержимость может, как в «Лолите» Набокова, завести в ослепляющее безумие. Она может также подарить нам книги об Алисе Льюиса Кэрролла, коллеги Рёскина по Оксфорду, или сформировать жизнерадостных язычников вроде английского романиста и автора дневников путешествий Нормана Дагласа, чувственных сатириков как Фредерик Рольф или иронических немцев как Томас Манн. Или, если уж на то пошло, философию Сократа и ум Леонардо.

Когда Рёскин влюбился в 10-летнюю Роуз Ла Туш, эльфовоподобную девочку из зажиточной семьи англо-ирландских евангелистов, он был постигнут своим демоном. Хилтон показывает, как Рёскина стали занимать не достигшие половой зрелости девочки в 1953 году, когда ему было 34: роль откровения сыграла почти голая итальянская крестьянская девочка, блаженствовавшая на куче песка, подобно тому, как Данте впервые увидел Беатриче, девяти лет, на Понте-Веккио, или как Стивен Дедал был преображен в «Портрете» Джойса девочкой, бредущей вдоль морского берега.

Роуз, как и другие ей подобные, следовавшие за ней, была чистейшим символом. Это была вздорная, дразнящая, безграмотная религиозная фанатичка, совершенно не стоившая обожания Рёскина. Мы ничего не знаем о Беатриче Портинари или о белокурой Лауре Петрарки; легко угадать, что это были образцовые итальянки, боящиеся сов и дурного глаза, хорошие поварахи, крепкие вышибальщицы грязи из белья в день стирки у реки. А шекспировский г-н W. H., вероятно, не мог уследить за сюжетом «Гамлета» и пах, как мокрая собака.

Девочка на куче песка была озарением на Рёскинской дороге в Дамаск. Задолго до этого он перестал верить в историческую правдивость Библии. Его фундаментализм гуманизировало изучение английского художника-романтика Джозефа Тернера, этого «солнцепоклонника», и итальянского искусства. Викторианская эпоха была временем искренних сомнений в библейской истине и христианском учении. Мэтью Арнольд считал, что апостолы, из коих ни один не был итонской или оксфордской пробы, дурно поняли то, чему Иисус пытался их учить. Геология, Дарвин, епископ Джон Уильям Коленсоу (автор «Критического взгляда на Пятикнижие и Книгу Иисуса Навина», 1862) и немецкая библейская школа десятками выкуривали атеистов из убежища. Религия Рёскина стала соглашаться на допущение, что Бог являлся египтянам, грекам, римлянам – даже католикам. Постепенно протестантизм стал представляться ему связывающим, убогим и, вероятно, бесчеловечным.

В то время как эротические эмоции Рёскина застыли на стадии вечного отрочества, его гений в области синтеза знаний, полученных путем восприятия, достиг широты Леонардо. Его труд «Современные художники», предпринятый как обзор пейзажной живописи с целью поставить Тернера на вершину этого жанра, разросся до четырех томов, вобрав в себя Возрождение и средневековую живопись и превратившись в роскошно эксцентричное исследование по геологии, ботанике и географии. Две других многотомных работы Рёскина, «Семь светильников архитектуры» и «Камни Венеции», выросли путем такого же разветвления, уходя в отступления, которые сами по себе являются книгами, тогда как основной текст пробивается сквозь подлесок подстрочных примечаний, волоча драконий хвост дополнений.

Полное собрание Рёскина насчитывает 250 произведений, не считая многих томов писем и дневников. Некоторые из них – технические брошюры по рисованию и перспективе, другие посвящены геологии, погоде, политической экономии, ледникам, истории, полевым цветам, морфологии листьев. Все эти страсти впадают в *Fors Clavigera*, где они поставлены на службу обширному

предприятию, практически воображаемому Цеху Святого Георгия с его многообразными видами деятельности, разбросанному по всей Англии, должным образом зарегистрированному в качестве корпорации, цель которой состояла ни более ни менее как в том, чтобы возродить культуру средневековых ручных ремесел (в Англии, которая поставляла всему миру локомотивы и рельсы) и средневековых ценностей: владетель в своем поместье, крестьянин в своем коттедже. В его цели входила также очистка воздуха, рек и улиц. Друзья цеха подметали мостовую перед Британским музеем (на жалованье у Рёскина), держали в Лондоне чайную лавку с лучшим чаем, с ежедневными сливками прямо из деревни. Члены цеха пряли лен в Йоркшире, переводили Ксенофонта, срисовывали детали французских соборов, измеряли здания в Венеции, иллюстрировали рукописи, набирали шрифты, собирали хрусталь, доили коров и преподавали рисование. Цех взял свое начало с оксфордских студентов Рёскина (в том числе Оскара Уайльда) с 1870 г., зари «эстетического движения», когда Уолтер Патер призывал молодежь «пылать непрерывным драгоценным пламенем».

Когда Рёскин стал первым профессором искусства кафедры Слейда, он избрал себе в качестве жилья почтовую гостиницу на подступах к Оксфорду. Он вставал затемно, читал Библию и молился, переводил страницу-другую Платона (перевод Джоуэтта был «позорным»), отправлялся в Оксфорд со своей собакой, читал лекцию о Карпаччо (визуальные пособия держал слуга), повторял лекцию (по необходимости, ибо ни одна аудитория в Оксфорде не могла вместить толпу, пришедшую его послушать), затем закатывал рукава, чтобы трудиться с лопатой и киркой на дороге в Ферри-Хинкси, которую строил со своими студентами. Предстоял долгий вечер чтения и письма.

Его энергия была безгранична. Он никогда не пропускал игры в шахматы (и вел игры по переписке). Он любил театр (чем вульгарнее пьеса, тем лучше), американский народный театр «Кристи», военные оркестры, танцы (недурно исполнял шотландский флинг). Он был знаком со всеми: с принцем Леопольдом и сэром Эдвардом Бёрн-Джонсом, с Розой Бонёр и Чарлзом Элиотом Нортонем, Карлайлем и Данте Габриэлем Росетти. Он любил посещать школы для девочек. Он любил греблю и альпинизм. Если и был предмет, знанием которого он не обладал, Хилтон такого не обнаружил.

Всю жизнь Рёскин отдыхал с Евклидом в руках. Он воздвигал леса в итальянских церквах и влезал на них, чтобы рассмотреть фрески, которых столетиями никто не видел вблизи. Он собирал рукописи и книги, карты и картины. Он основывал и строил музеи. (Одно время я полагал, что знаю диапазон рёскинских интересов, но был поражен экспонатом в оксфордском музее «Эшмолиен», архаической греческой скульптурой того типа, какой стали ценить после Первой Мировой войны, когда Годье-Бреска, Бранкузи и Модильяни обратили наше внимание на эту суровую примитивную красоту. Рёскин побывал здесь раньше, купил эту статую Бог весть где и подарил музею, чтобы ею любовались, когда глаза мира сравниваются с его собственными.

Миру понадобилось немало времени, чтобы нагнать открытия Рёскина. Он, например, понял, как замечательны метрические переводы псалмов графини

Пемброук и ее брата сэра Филипа Сидни, «эта самая прекрасная книга на английском языке», забытая и брошенная критиками, и вновь ее издал. Его знакомство с Данте было для его времени смелым и необычным, как и его любовь к Чосеру.

Эстетическое первопроходство Рёскина хорошо иллюстрирует рассказ Эдит Уортон «Ложный рассвет» (1924). В нем повествуется о старой и богатой нью-йоркской семье, отправляющей сына за границу купить произведения искусства, чтобы заложить музей. В Швейцарии он встречается в гостинице с Рёскином, он покорен его беседой и получает совет собирать не барокко, а живопись итальянского Trecento и Quattrocento. В результате он возвращается в Нью-Йорк с работами Карпаччо, Чимабуэ и Джотто. Его отец в ужасе. Газеты полны сарказма. Картины прячут на чердаке на протяжении двух поколений, пока их не показывают торговцу, и они продаются за миллионы – Пьеро делла Франческа отправляется к себе на родину, остальные в Калифорнию. Упоительная ирония заключается в том, что у сына был список консультантов, которые должны были показать ему, что нравится американцам. И не повезет так не повезет: он попадает в лапы этому пустому месту, Джону Рёскину.

Влияние Рёскина на его современников было всепроникающим. Пруст преклонялся перед ним и перевел две его книги, «Амьенскую библию» (с помощью матери) и «Сезам и лилии». Присутствие Рёскина в движении модернистов явствует из сходства Cantos Паунда с *Fors clavigera*: из их подобных лабиринту извивов и поворотов, из их внимания к экономическим системам, извлекающим выгоду из частых войн, из их интереса к венецианской истории и итальянскому кватроченто в архитектуре, поэзии и политике.

Беатрикс Поттер записала в своем дневнике, что видела Рёскина в Королевской академии. Он водил по ней своих друзей, поясняя картины. Увидеть Рёскина на людях было приятным сюрпризом, но ее взгляд художницы привлекло то, что у Рёскина защемило штанину голенищем сапога, и он незаметно пытался ее высвободить. Кафка тоже подметил бы незадачу Рёскина. Именно в детали выявляется протокол биографии, которому вменяется установить, что важно, а что нет. Жизнь человека, родившегося 180 лет назад, протекала в мире, совершенно отличном от нашего. Мы уже утратили реакцию на некоторые из весьма важных в жизни Рёскина вещей: его рисунки, например. Он основал в Оксфорде школу рисования. Он рисовал всю свою жизнь, преподавал рисунок (в Рабочем колледже в Лондоне, а также долгие годы по переписке), писал о рисунке, дышал рисунком. Хилтон не дает нам об этом забыть, но я не уверен, что в эпоху, когда рисунок представляет собой нечто, чего художники стыдятся, и мастера рисунка вроде Нормана Рокуэлла и Пола Кадмуса стали объектом презрения, это внимание удастся удержать.

Кроме того, есть еще мир Рёскина. Вполне возможно, что его Венеция, в которой он знал историю каждого камня, была совершенно другим местом, чем то, на которое смотрят туристы с рюкзаками. Наша Венеция – просто еще один итальянский город; для Рёскина – это еще один мир. Он путешествовал в комфортабельном экипаже, как в свое время Монтень. Он останавливался, чтобы рисовать полевые цветы, облака, реки.

Все путешествия Рёскина отмечены безотлагательностью – не той, что у нас, увидеть достопримечательные места прежде, чем мы умрем или станем слишком стары для путешествий, но увидеть их, пока они еще существуют – увидеть Венецию прежде, чем она погрузится в море, прежде, чем австрийские снаряды уничтожат еще часть Сан-Марко, прежде, чем восторжествуют пожары, землетрясения и обновления. У него было пророческое чувство, что затемнение европейского неба промышленным дымом предвещает некую катастрофу. Он неистовствует в *Fors* по поводу сожжения Тюильрийского дворца в 1871 году. Через несколько лет после его смерти немцы сожгли средневековую библиотеку в Лувэне, а немецкие снаряды стали попадать в собор в Амьене, о котором он написал самое страстное исследование по готической архитектуре. В Первой Мировой войне немцы превратили в руины семьдесят французских соборов.

Когда с 1903 по 1912 год сэр Эдвард Кларк и Александр Уэддерберн выпустили свое «Собрание сочинений Джона Рёскина» (39 томов), мастерски отредактированное и аннотированное издание, популярность Рёскина резко шла на спад. При жизни он привлекал к себе всевозможных идеалистов, от резчика бутылочных пробок, принадлежавшего к Цеху Святого Георгия, до принца Леопольда, посещавшего его оксфордские лекции. Достаточно напомнить, какое важное место он занимает в «Мон-Сен-Мишеле и Шартре» Генри Адамса (1904), в романтическом социализме Уильяма Морриса и Оскара Уайльда, в «Камнях Римини» Эдриана Стоукса, в ранних *Santos* Эзры Паунда. Нам пригодились бы анализ Рёскинского *gaupnement*: роденовские наблюдения относительно французских соборов, фотографии Шартра Чарльза Шилера, предисловие Пруста к его переводу «Сезама и лилий», три лекции о доступности культуры для каждого, в библиотеках («Сокровищницы короля») и в природе («Сады королевы»). Можно показать, что движение «Искусства и ремёсла», охватившее Европу и Соединенные Штаты, было в значительной мере вдохновлено Рёскином, и что его медиевализм и приверженность органическому дизайну расцвели пышным цветом в арт-нуво – первом с XII столетия интернациональном стиле. Можно даже попытаться доказать, что модернизм этого столетия, чьи теории вынашивались в Баухаусе и в Москве – арт-нуво с выпрямленными линиями – исходит от Рёскина и от Морриса.

Как бы ни была тонка по фактуре и интересна биография Хилтона – интересна, как сюжет и персонажи в романе Джордж Элиот, – это все еще, к несчастью, жизнь викторианского гиганта, чьих трудов сегодня не читают. Сам Хилтон признается, что не встречал практически никого, кто прочитал бы более нескольких страниц *Fors Clavigera*. Кто вообще читает Рёскина? В антологиях присутствует традиционная дань (например, «Природа готики»). Но ведь весь Рёскин был одной большой хаотичной книгой, и настоящее с ним знакомство практически эквивалентно университетскому образованию. Наиболее искусительно предложение Хилтона читателям проследить предначертанное произрастание каждой из книг Рёскина из «Современных художников», написанных в пяти томах с 1843 по 1860 г. Эта первая и плодотворная книга, в центре которой находится пейзажная живопись, ведет к изучению реального пейзажа, а отсюда к городам и соборам. Уже в «Камнях Венеции», завершенных в 1850 г., внимание Рёскина приковало взаимодействие

искусства и экономики, а также социологии и политики в Средние века, когда тогдашние народы экспериментировали с малыми республиками.

Когда в 1951 г. викторианские читатели открыли «Камни Венеции», они узнали на первой странице, что три великих островных города – «три престола, достоинством превыше прочих» – правили обширными империями. Все это были читатели Библии, и если даже они не могли тотчас припомнить, где располагался Тир, первый из этих городов, им напоминал намек Рёскина на его описание у Иезекииля (самое замечательное описание города во всей литературе). Разорение второго из этих городов, Венеции, оплакивалось в сонете, который знали все, «На исчезновение Венецианской республики» Вордсворта. Мы не думаем о Венеции как о «руинах», но Рёскин и викторианцы думали именно так. То, что Бог в конечном счете поразит третий островной город, Лондон, было романтической идеей, в которую никто не верил – чтобы рухнула Британская империя! – но читателей бросало в трепет, когда они слышали благочестивое предупреждение, что так и произойдет, если империя забудет о судьбе Тира и Венеции. Позднее в том же столетии пылкий читатель Рёскина и племянник его друга сэра Эдварда Берн-Джонса повторит это предупреждение в погребальном звоне по Англии Рёскина – Редъярд Киплинг в своем *Recessional*¹.

1 ОТПУСТИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

Перевод О. Юрьева

*Бог праотцев, преславный встарь,
Господь, водивший нас войной,
Судивший нам – наш вышний Царь! –
Царить над пальмой и сосной,
Бог Сил! Нас не покинь! – внемли,
Дабы забыть мы не смогли!*

*Вражде и смуте есть конец,
Вожди уходят и князья:
Лишь сокрушение сердец –
Вот жертва вечная твоя!
Бог Сил! Нас не покинь! – внемли,
Дабы забыть мы не смогли!*

*Тускнеют наши маяки,
И гибнет флот, сжимавший мир...
Дни нашей славы далеки,
Как Ниневия или Тир.
Бог Сил! Помилуй нас! – внемли,
Дабы забыть мы не смогли!*

*Коль, мощью призрачной хмельны,
Собой хвалиться станем мы,
Как варварских племен сыны,
Как многобожцы, чада тьмы,
Бог Сил! Нас не покинь! – внемли,
Дабы забыть мы не смогли!*

*За то, что лишь болванки чтим,
Лишь к дымным жерлам знаем страх
И, не припав к стопам Твоим,
На прахе строим, сами прах,
За похвальбу дурацких од,
Господь, прости же Свой народ!*

Венеция на самом деле не тонет – это море поднимается вокруг нее. Это город, построенный на вогнанных в песок деревянных сваях. Его происхождение свидетельствует о том, что варвары, которые хлынули в Италию на заре первого тысячелетия, прибыли на лошадях. Построить город вдали от берега – и преградить путь всем этим одетым в меха длиннорылым гуннам и готам. Название города может быть отголоском народа, упомянутого в VII столетии до Р. Х. греческим поэтом Алкманом: венеты, которые разводили долгогривых лошадей, красивых как девушки. Их склонность к скитаниям стала венецианским талантом: венецианский купец, названный в честь евангелиста, который погребен в часовне Дворца дождей, Марка, и в честь бродячего миссионера, Павла – Марко Поло на местном диалекте – стал первым европейцем, посетившим Китай. Ибо торговля была источником богатства Венеции. Ее военный флот свел далматинские леса на мачты. Ее люди сказочно разбогатели, о чем было известно Шекспиру. Они ели не пальцами, как королева Елизавета, а вилками. Их склады были полны шелка, пряностей, оружия, египетского хлопка, сицилийской пшеницы, серебра и золота. После 1450 года они печатали самые красивые в мире книги, на древнееврейском, древнегреческом и латыни. Вот это совершенство цивилизации Рёскин и исследовал в тончайших подробностях. Ей хватило энергии на тысячелетие с лихвой, всегда в опасности, и всегда с блеском, сдерживая турок, материковых итальянцев, врагов с той стороны Альп. Когда Рёскин впервые увидел Венецию, во Дворце Дожей (в который попала австрийская артиллерия) висело огромное полотно Тьеполо, изодранное в клочья, а крыша зияла навстречу дождю.

Рёскинское стихотворение, удостоенное Ньюдигейтской премии в Оксфорде, было посвящено романтическим руинам (в Сальсэтте и в Элефанте в Индии). Наиболее известное из ньюдигейтских стихотворений – «Петра» Джона Уильяма Бергона с памятной строчкой «полвеканости стоит розово-алый град». На протяжении многих лет их темой, которую предписал университетский канцлер, были размышления по поводу прозаического произведения Вольера *Les ruines* (1791), вдохновившего «Озимандиас» Шелли. Даже Маколей воображал будущего новозеландского поэта, озирающего развалины Лондонского моста. Во времена Рёскина археология наделила историю цивилизаций более протяженным прошлым. Геологи прослеживали скальные слои со сходной ископаемой флорой и фауной от Сибири до Мичигана – природные системы, которые, подобно цивилизациям, процвели и исчезли миллионы лет назад. Прошлое казалось не одним творением, как в Книге Бытия, а множественными, каждое из которых аннулировалось чудовищной катастрофой, за которой следовало новое начало.

Из всего этого Рёскин видел, что цивилизации, на созревание которых уходили тысячи лет, могли быть уничтожены в секунду. Один австрийский снаряд, пробивший крышу Сан-Марко, мог превратить в пепел работу Веронезе. Время само по себе достаточный враг искусства: акварели и фотографии безвозвратно блекнут. В наше время выхлопные газы автомобилей разъедают Парфенон. Картины Тернера, как заметил Рёскин, сохраняли свои яркие краски всего несколько часов, выцветая по мере их высыхания. Небо над Европой темнело. Венеция погружалась в Адриатику.

Рёскин прослеживал европейскую живопись от Тернера вспять к ее средневековым истокам, архитектуру – к романским. Он последовательно излагал этику и мораль для индивидуальных работ и стилей. Египетское искусство было делом рук рабов – как могло в нем быть что-то хорошее? Греческое искусство было чувственным, и потому подозрительным с нравственной точки зрения. Рёскин сжег порнографические рисунки Тернера (а Чарльз Элиот Нортон, после смерти Рёскина, сжег его переписку с Роуз Ла Туш). Викторианцы рассуждали в категориях прекрасного и отвратительного. Аристократия знала, «что делают и чего не делают» – система табу посильнее закона.

Ум Рёскина развивался, книга за книгой. Он продумывал и *прощупывал* свой путь прочь из викторианских тисков, или, по крайней мере, пытался, и в процессе сошел с ума. Хилтон прослеживает эти драматические перемены, пробуждение, которое было таким же трагическим, как у Лира, и таким же триумфальным, как побег Спинозы от догмы и предрассудка в кристальный разум. Рёскин не отказался от своего евангелического фундаментализма – он преобразил его. Он разработал философию религии, в которой нравственность и искусство взаимно дополняли друг друга и были одинаково необходимы.

Его чувство прекрасного и отвратительного стало новой энергией. Экономическая система Англии была отвратительна. Она производила больше бедства (слово, которое он придумал), чем богатства. К тому же, ее сторонники не знали, в чем заключается истинное богатство. Они утратили свое чувство нравственной порядочности (Рёскин отказался от своего профессорства в Оксфорде, не желая смириться с вивисекцией на медицинском факультете). Рёскин решил, что блистательное язычество Тернера было прекрасным, что душа не переживает смерти тела, что Божья благодать столь же очевидна в Аристотеле, что и в апостоле Павле. Англия, которую он начал воображать в *Fors clavigera*, должна была быть организована в соответствии с новой системой ценностей: социалистическое общество, преданное идеалам справедливости, осмысленного труда (ручных ремесел, а не массового производства), управляемое благонамеренными «капитанами» цехов, со счастливыми умытыми детьми и благородными каменщиками, подобными тем, которые воздвигали Шартрский собор во французских полях.

Хилтон обещает нам работу, посвященную *Fors clavigera*, своего рода третей том своей биографии. Эта книга по-прежнему входит в список достойных и влиятельных трудов, почти никогда не читаемых даже теми, кто интересуется литературой и идеями: «Анатомия меланхолии» Бёртона, «Путешествия по Arabia Deserta» Даути, «Беседы с Уолтом Уитменом в Кэмдене» Хораса Тробела, «Неделя на реках Конкорд и Мерримак» Торо, Библия. Единственная книга Рёскина, которую, похоже, читают, *Praeterita*, была начата как часть *Fors*.

Никто не написал более эксцентричной книги, чем *Fors clavigera* (разве что это «Тристрам Шенди» Стерна). Первоначальная цель этой книги, основание Цеха Святого Георгия, стала побочной. Ее герой – Тезей, ее Ариадна – Роуз Ла Туш, а ее минотавр – экономика капитализма, предпринимательства по принципу *laissez faire*, банков, ростовщичества и всякого рода рекламы, которая выдает низкокачественные продукты за лучшие. Иными словами, это наш собственный мир

встроенного устаревания, негодяев на высоких постах и одиннадцати различных наголов и наценок на телефонный счет.

Один из старейших образов в мировом искусстве и литературе – это образ героя, Гильгамеш, Одиссей, Самсон, Беовульф, Святой Георгий и, возможно, один охотник на пещерной стене в Ласко, противостоящий чудовищу, дракону, демону. В ночь 22 февраля 59-летний Рёскин боролся с дьяволом. Он снял с себя всю одежду, чтобы быть беззащитным, как Давид перед Голиафом. Будучи Рёскином, он записал все это в своем дневнике, до и после. Хилтон тонко и пронизательно анализирует эти неразборчивые, жуткие и жалкие страницы. Это было сражение символа с символом, святого Антония с галлюцинациями. Вера боролась с сомнением, прекрасное – с отвратительным, разум – с безумием. Слуга Рёскина обнаружил его на рассвете, голого и замерзшего, не в своем уме.

Эти параноидальные приступы повторялись, становясь все яростнее. Рёскин, этот самый порядочный из людей, проклял Джоан Северн (которой он обычно писал с детским сюсюканьем), обвинив ее и ее мужа в паразитизме и лодырничестве. Он решил, что повариха – королева Виктория. Он собрал своих домашних на коленях у входной двери исповедаться кардиналу Мэннингу. Он стал настолько невыносим, что Джоан согласилась на его отъезд из Брэнтвуда в постоянный дом в Фолкстоне, где он был одинок и потерян, чужой среди чужих.

Этот великий ум, столь искусный в восприятии в пору юности Рёскина и столь многонаправленный в зрелости, вспыхнул дугой иррациональности и погас. Десять своих последних лет он просидел в своей комнате в Брэнтвуде, под бдительной охраной Севернов. Тернер тоже рехнулся, Свифт и Ницше, Эмерсон и Джон Клэр. В безумии Рёскина была своя логика: его отчаяние усугубили его неосуществимая любовь, неспособность заставить людей понять его мечты о справедливом обществе, его религиозные сомнения.

Биографы охватывают внешнюю сторону жизни, а о внутренней рассказывают по мере возможности. Это могут быть резко отличные друг от друга реальности. Существование в пространстве и времени историков искусства Макса Рафаэля и Эрвина Панофски, двух великих продолжателей дела Рёскина, будет драматичным и интересным, когда у нас будут такие же полные их биографии, как хилтонская Рёскина, но пока мы не прочитаем их книги, наше знание о них будет немногим лучше, чем невежество. Любопытно, что мы в это не верим. Я знаю нескольких интеллигентных людей, которые читали биографии Джойса и Витгенштейна, но не самих Джойса и Витгенштейна. Исключительно читабельную и тщательно исследованную биография Рёскина в исполнении Хилтона будут читать сотни людей, который никогда не прочли ни слова Рёскина и, наверное, не прочтут.

Чего они себя лишат, так это голоса Рёскина. При всей его ворчливости и проповедническом тоне он не пишет, а говорит. Это в самом замечательном смысле слова мысли вслух, максимальное духовное родство, разговорность, богатство занимательных деталей, и всегда наблюдательность. Он – лучший спутник в мире, когда глядишь на венецианское здание или готическую резьбу. Он может

вам рассказать, что каменные цветы, кажущиеся простым украшением на верхушке колонны собора, растут на воле в окрестных полях. Он ничто не принимает как само собой разумеющееся; его читатели – это дети, которых следует учить, очаровывать учением. На одну из своих оксфордских лекций он привез плуг, чтобы убедиться, что его студенты знают, как он выглядел. (Это была лекция по скульптуре). Он мог заставить отрывки из Библии звучать, как слова, услышанные впервые. Лекция, которая начиналась с Микеланджело, кончалась тем, какие туфли нужны девочкам, а о пейзажной живописи – промышленным загрязнением рек, и что с этим делать.

Большинство проблем, которыми занимался Рёскин, – это и наши проблемы. Столетие, которое началось в год его смерти, было свидетелем самых ужасных войн за описанные в истории времена, и жестокость, без стыда и жалости, по-прежнему позорит человечество. На протяжении пятидесяти лет Рёскин пытался показать нам, как жить и как воздавать хвалу.

Перевод Алексея Цветкова

ВИТТГЕНШТЕЙН

Подобно деликатному Антону Брукнеру, который коротал воскресные послеполуденные часы, считая листья на деревьях, Людвиг Виттгенштейн в приступах странности высчитывал высоту деревьев, отмеривая шагами от ствола катет треугольника, разворачиваясь и устремляя взгляд на верхушку вдоль трости (по гипотенузе), а затем прибегая к величественной теореме Пифагора. Помимо изобретения швейной машины (еще подростком), проектирования дома в Вене (сохранившегося), который вызвал восхищение Фрэнка Ллойда Райта, и прилежного посещения фильмов с Бетти Хаттон и Кармен Мирандой, это – один из немногих поступков философа, которые были достаточно прозрачны. Тем не менее, ни его жизнь, ни его мысль не покрыты никакой тайной. Если он и не был величайшим философом нашего времени, то наверняка важнейшим. Он основал, по неосторожности, две системы философии и отрекся от них. Когда он умер, он «начинал что-то понимать» – мы никогда не узнаем, что именно. В конце своей первой книги «Логико-философский трактат», законченной в концентрационном лагере во время Первой Мировой войны, он написал: «Мои тезисы могут послужить разъяснением следующим образом: каждый, кто понимает меня, в конечном счете признает, что они являются чепухой, когда использует их в качестве ступеней, чтобы подняться над ними». В начале другой своей книги, «Философские исследования», он писал: «Нет ничего невозможного в том, чтобы этой книге, в ее скудости и во мраке этой эпохи, выпала судьба озарить светом тот или иной ум, – но, конечно, это весьма маловероятно». Однажды, когда, во время одного из его занятий в Кембридже, студент задал вопрос, Виттгенштейн сказал: «С тем же успехом я мог бы читать лекцию этой печке». Среди посмертного имущества Виттгенштейна была найдена коробка с записками, Zetteln. На каждом клочке бумаги записана мысль. Порядок этих клочков, если такой существовал, уже,

конечно, не установить. Что-нибудь в них понять, как ободрил бы нас сэр Томас Браун, не за пределами всех возможностей, но мы должны заниматься этим под шепот духа Виттгенштейна: «Но, конечно, это весьма маловероятно».

Прежде, чем взяться за философию, Виттгенштейн был математиком, музыкантом, архитектором, скульптором, инженером-механиком, учителем начальной школы, солдатом, авиатором. Не подлежит сомнению, что он мог бы посвятить себя любой из этих профессий с блистательным успехом – накануне прибытия в Кембридж (там ему вручили докторат перед входом) он чувствовал сильную склонность «стать аэронавтом». Судя по всем рассказам о его странной жизни, он *пытался* преподавать. Он не обедал с профессурой, потому что профессура в своем великолепии всегда обедает в докторских мантиях, черной обуви и в галстуках. Виттгенштейн вечно был без галстука и носил замшевую куртку, которая расстегивалась и застегивалась посредством замечательного изобретения, молнии, а туфли у него были коричневые. Он читал лекции в своем кабинете, по континентальному обыкновению. Поскольку мебели там не было, кроме армейской раскладушки, складного стула, сейфа (для Zetteln) и карточного стола, студенты приносили стулья с собой. Философские аудитории в нашем столетии часто были не менее драматичны, чем сцена: Сантаяна, Сэмюэл Александер, Бергсон – люди страстной артикулированности, чьи лекции обрушивались на студентов как ветер и дождь. Но Виттгенштейн, съездившийся на своем стуле, время от времени тихо запинаясь. Он был привержен абсолютной честности. Ничему, абсолютно ничему не было позволено избежать анализа. Он ничего не утаивал в рукаве, ему было нечему учить. Мир был для него абсолютной загадкой, большим комом непрозрачного чугуна. Можем ли мы о коме думать? Что такое мысль? Что значит «можем», или «мы можем», или «мы можем думать»? Что значит «мы»? Что значит искать значения «мы»? Если мы ответим на эти вопросы в понедельник, действительны ли эти ответы во вторник? И если я вообще на них отвечаю, думаю ли я этот ответ, верю ли в ответ, знаю ли ответ или воображаю ответ?

Судя по всему, Виттгенштейну совершенно не было дела до того, что Платон уже ответил на определенные вопросы, которые должны задавать философы, или что на них ответили Кант или Менцзы. Иногда ему нравились вопросы других философов, но он, похоже, никогда не обращал внимания на их ответы. Истина была упряма, Виттгенштейн было упрям, и никто из них друг друга не переупрямил. Нам надо вернуться к стоику Мусонию, чтобы найти другого человека, который так откровенно был бы самим собой, который был бы так упрямо искренен. На самом деле, он очень мало преподавал в своей жизни. Он все время отправлялся в норвежские леса, в Россию, на запад Ирландии, где – и это все, что мы знаем об этих уединениях – он учил коннемарских птиц прилетать и садиться ему на руки. Он не освоил никаких условностей, кроме речи, ношения одежды и, неохотно и ворча, математических символов. Будничные хлопоты нашей цивилизации были для него чудесами, и когда он принимал в них участие, они становились не менее странными, чем домашнее хозяйство среди банту. Ему нравилось мыть посуду после еды. Он клал тарелки и приборы в ванну, внимательно изучал моющее средство, температуру воды, и тратил на это занятие часы,

и еще часы на ополаскивание и сушку. Если он был в гостях несколько дней, вся пища должна была быть идентична поданной в первый, будь то завтрак, обед или ужин. То, что он ел, не имело значения, но это всегда должно было быть одно и то же. Он внимательно прислушивался к человеческой речи и на глазах у собеседника разбирал ее на части. Язык, решил он, – это игра, в которую люди научились играть, и он всегда, подобно антропологу с Марса, пытался понять правила. Когда он лежал, умирая от рака, в доме своего врача, добрая жена доктора вспомнила о его дне рождения и испекла ему торт. Она даже написала на нем кремом: «Many happy returns» (еще много раз). Когда Виттгенштейн спросил ее, понимает ли она, что из этого следует, она расплакалась и уронила торт. «Видите, – сказал Виттгенштейн врачу, когда он прибыл на место происшествия, – у меня теперь нет ни торта, ни ответа на мой вопрос». За несколько дней до этого жена доктора, эта терпеливая мученица на алтаре философии, показала Виттгенштейну свое новое пальто, в котором она собиралась в этот самый день пойти на вечеринку. Он молча взял ножницы, молча срезал с пальто пуговицы и молча положил ножницы на место. Эта святая женщина заметила, что, дескать, действительно, если подумать, пальто без пуговиц смотрится лучше, но лишь когда спадут печати в Судный день, откроется смысл снововки философа с ножницами.

Если исключить математика Давида Пинсента, которому посвящен «Трактат» и который был убит на Первой Мировой войне, ему не везло с друзьями; похоже, что женщин он замечал лишь затем, чтобы знать, куда бежать. Идея философа-женщины вынуждала его в отчаянии закрывать глаза. Безумие и самоубийство были в его семье наследственными. Он уговаривал своих студентов заниматься физическим трудом (как поступал время от времени сам, работая школьным учителем и механиком). Жизнь была, наверное, странной болезнью, которую преодолеваешь героизмом, а мысль наверняка была болезнью, которую, наверное, могла излечить философия. Подобно Генри Адамсу он считал, что здоровый интеллект не осознавал бы себя, а просто бы занимался жизнью, создавая прекрасные машины, музыку и поэзию, без рефлексии. В чем бы ни состояла истина мира, она проста в том смысле, что можно, например, сказать: смерть не является частью жизни (одно из прозрений в «Трактате»), мир не зависит от моей воли (другое) и он сложен в том смысле, что все происходит в результате многих причин, не все из которых могут когда-либо стать известными.

Только то, что написано Виттгенштейном в середине его карьеры, может довести до припадка – та часть, которая породила (к его сожалению) лингвистический анализ, эту темнейшую ночь философии. Раннюю работу, «Трактат», отличают прозрачность и мощь. Новооткрытые Zetteln можно сравнить лишь с фрагментами Гераклита. Действительно, всю жизнь Виттгенштейн восхищался эпиграммами злоязыкого Лихтенберга и считал, что мысль – это в основе своей восприятие. То, что философ говорит о мире, не так уж сильно отличается от словословицы, народной мудрости, бесконечно повторяемой поэтической строки. Очевидно, что Zetteln – возвращение к манере «Трактата», назад к архаическому периоду философии, назад к болтливому обаянию Сократа. Философ, как сказал Уиндем Льюис о художнике, берет начало от рыбы. Физика во времена

Виттгенштейна возвращалась к Гераклиту (ключ к разгадке атома был найден Нильсом Бором у Лукреция) – то же самое и искусство, и архитектура. Что может быть более откровенно пифагорейским, чем геодезические строения Бакминстера Фуллера, что – более по-бытовому пещерным, чем живопись Пауля Клее? Одно из определений «современного» – это возрождение архаического (подобно тому, как Возрождение восходило к эллинизму, к Риму, к зрелой цивилизации, а не к ранней весне этой самой цивилизации).

«Пределы моего языка – это пределы моего мира». «Самый прекрасный порядок в мире – это, тем не менее, произвольное собрание предметов, которые сами по себе незначительны». Где здесь Гераклит, а где – Виттгенштейн? «Философ», написано в одной из Zetteln, «не является гражданином какой бы то ни было общины идей. Именно это и делает его философом». И еще: «Как насчет фразы – *Wie ist es mit dem Satz* – «Человек не может ступить в одну и ту же реку дважды»?» Это прозрение Гераклита всегда вызывало восхищение своим спрятанным вторым смыслом. *Человек не может ступить...* – тут ведь не только течение реки делает изречение истинным. Но истинно ли оно? Нет, улыбнется (или нахмурится) Виттгенштейн, но оно мудрое и интересное. Его можно анализировать. Оно гармонично и поэтично.

Чем больше мы читаем Виттгенштейна, тем сильнее убеждаемся, что он до Гераклита, что он нарочно начал бесконечную регрессию (затем, конечно же, чтобы идти вперед, когда найдешь, во что упереться). Он увернулся от традиции, в соответствии с которой все философы переваривают всех других философов, отвергая и обогащая, формируя союзы и соперничества и излучая свою версию того, что они выучили, в завоеванной позиции, которую должно день и ночь защищать. Виттгенштейн отказался рассматривать историю философии. Нельзя даже сказать, что, когда он умер, он пришел к пониманию числа 2. Два чего? Два предмета должны быть идентичны, но если идентичность имеет какой-то смысл, это абсурдно. В одной из Zetteln высказывается недоумение по поводу того, что может означать фраза «дружеская рука». В другой – является ли отсутствие чувства чувством. Еще в одной – есть ли у печки воображение, и что значит утверждать, что у печки нет воображения.

Виттгенштейн не спорил – он просто уходил мыслью в более тонкие и глубокие проблемы. Записи, которые три его студента сделали на его лекциях и беседах в Кембридже, представляют трагически честного и замечательно, поразительно абсурдного человека. В любых воспоминаниях о нем мы встречаемся с человеком, о котором мы жаждем узнать больше, ибо хотя каждое предложение остается для нас темным, очевидно, что архаичная прозрачность его мысли не похожа ни на что, чему была свидетелем философия на протяжении тысяч лет. Очевидно также, что он пытался быть мудрым и сделать других мудрыми. Он жил в мире и для мира. Он пришел к заключению, что нормальный честный человек не может быть профессором. Это ученый мир создал ему репутацию непонимаемости и невразумительности – не было человека, который меньше заслуживал бы своей репутации. Ученики, приходившие к нему, ожидая встретить человека невероятно глубокой учености, обнаруживали человека, который видел

человечество связанным исключительно страданием, и он неизменно советовал им быть по возможности добрыми к другим. Он читал Толстого (всегда застывшая) и Евангелия, и стопки детективных романов. Он покачивал головой над Фрейдом. Когда он умирал, он читал «Черную красавицу». Его последние слова были: «Скажите им, что у меня была замечательная жизнь».

Перевод Алексея Цветкова

ФРАНСУА ОЖЬЕРАС

«В девятнадцатом веке поэты умирали в больницах, а в двадцатом они там просто живут. Видимо, это и нужно считать прогрессом в литературе», – написал под впечатлением от знакомства с Франсуа Ожьерасом (1925-1971) литературный критик Жан Шалон. В хосписах и санаториях региона Дордонь на юге Франции многие запомнили необычного пациента. Вечерами он усаживался на кровати по-турецки, абсолютно голый, окуривал себя дымом благовоний и играл на музыкальном инструменте собственного изготовления: что-то вроде бидона со струнами и дощечкой. Вероятно, далеко не все слушатели тех концертов догадывались, что их экстравагантный сосед – писатель и художник, путешественник и «представитель новой породы людей», как он сам себя определял. «Самouchка, анархист и оригинал», – назовет Ожьераса в предисловии к альбому его картин, вышедшему через 30 лет после смерти автора, писатель Клод Мишель Ключни. К 1966 году, когда Ожьерас после инфаркта оказался в санатории Фужер, были опубликованы две его книги, «Старик и мальчик» и «Ученик чародея». Уже первая из них вызвала восторженные отзывы нескольких известных писателей. Подросток, герой «Старика и мальчика», признается: «я верил, что какие-нибудь писатели обратят на меня внимание; там, в пустыне, в 50-е годы у них был неведомый соперник». Строки, может, и банальные, но в действительности так и вышло. Вообще, лучше сразу предупредить читателя: банальности и повторы у Франсуа Ожьераса встречаются. Стиль у него играет защитную роль. Он описывает и анализирует отношения и состояния людей, которые даже в свободомыслящей Франции в середине XX века воспринимались как скандальные. «Классическая высокопарность его слога усиливает шокирующую красоту сюжета», – комментирует К.-М. Ключни. Альбер Камю передал экземпляр «Старика и мальчика» Андре Жиду, на которого книга произвела сильное впечатление. «Кому я обязан такой неожиданной радостью?» – спрашивал писатель. Дело в том, что первая книга Ожьераса, написанная от лица мальчика-араба, была опубликована под псевдонимом Абдалла Шаамба. Критики поддержали игру, и псевдоним не раскрывался еще много лет. Критик Рене Бертеле впоследствии так отзывался о первой книге Ожьераса в солидном журнале «Нувель Ревю Франсэз» в форме письма к автору: «Когда Вас читаешь, не понять, то ли это пишет уже зрелый начитанный человек, на редкость удачно воспроизводящий детскую интонацию... то ли юный дикарь, который пообщался с несколькими светилами из тех, кто двигает культуру... но все еще остается дикарем и пишет по-прежнему с трудом. Уникальный случай, рафинированное искусство в лучшем смысле этого слова!»

Несмотря на благосклонность нескольких писателей и критиков, жизнь Франсуа Ожьераса складывалась непросто. В большой степени он сам противился «раскрутке» своих книг. Категорически не желал бывать в Париже, с детства ненавидел «затрепанный город», «бедный город, который прикидывается богатым»: «Единственным важным событием моего раннего детства была эта безусловная ненависть». По свидетельству друга и биографа Ожьераса Поля Плассе (письма к нему Ф.О. также недавно опубликованы), после публикации

книги «Ученик чародея» издатель хотел, чтобы автор провел некоторое время в Париже – планировались мероприятия, необходимые для «продвижения» книги – однако уже через три дня Ожье́рас поездом отбыл в Салоники. «Есть во мне обреченность на путешествия и непостоянство, тем более что я вкладываю все лучшее в мои книги и картины, поэтому ничего не теряю, сжигая за спиной мосты; я беру с собой только книги и картины, как кочевники возят с собой своих богов». Ему довелось жить в Греции на Афоне, где он изучал иконопись и мечтал поселиться навсегда, приняв православие (о том времени говорится в его книге «Путешествие на гору Афон»), бывал в Мали и в Тунисе – там проходила выставка его картин. Большую часть жизни он провел в южной части Франции, в Перигоре, на берегах реки Везер, «в краю призраков, прохладных пещер и лесов». Порой он и сам жил в пещерах, в пещере же написана его последняя книга, названная по имени близлежащего городка: «Домм» – местные жители не раз жаловались в полицию на необычное поведение нового «пещерного человека» и на странные ритуалы, которые он практикует. С деньгами у него было плохо, многие его картины написаны на кусках фанеры, отодранных, по свидетельству очевидцев, от кроличьих вольер, другие – на лоскутах материи и дощечках, украденных у матери. С ней у писателя отношения не сложились. Мать для него – «идiotка без всяких признаков человечности, без тени привязанности ко мне или к кому бы то ни было, она – страшной чумы, полное ничтожество». Она со своей стороны боится, что ее сын – «просто никчемный человек».

Франсуа Ожье́рас родился в США, его отец был пианистом и умер вскоре после рождения сына, а мать, художница польского происхождения, уехала во Францию и поселилась в семье покойного мужа, зарабатывая росписью по фарфору. Детство Ожье́раса пришлось на предвоенные годы. В 1941 году в 16 лет он вступает в молодежную организацию под эгидой маршала Петэна, но движут им не политические мотивы. «У меня не было отца, и я искал общества мужчин, мужской защиты. Брата у меня тоже не было, и подростки моего возраста притягивали меня, как мощный магнит», – объясняет он в книге «Отрочество во времена Маршала», опубликованной в 1968 году. «Я понятия не имел о преступлениях фашистов, об их расизме и антисемитизме. Когда я услышал об этом, то быстро с ними распрощался».

Важным звеном, связывавшим Ожье́раса с чуждым его натуре литературным миром, был известный парижский критик Жан Шалон. Он предлагал книги Ожье́раса разным издательствам, вел с ним дружескую переписку (которая тоже недавно опубликована), регулярно помогал деньгами, а после смерти писателя стал его литературным душеприказчиком. Любопытный штрих: Шалон ни разу не виделся с Ожье́расом – как сказано в критической статье, посвященной выходу в свет их переписки: «опасаясь, что возникнет слишком поглощающая дружба или из страха открыть неизвестный для него мир...» «Кто знает Франсуа Ожье́раса? Никто, и я тоже его не знаю, хотя и пытаюсь вам о нем рассказывать. Я никогда с ним не встречался. Просто прочел его книги» – комментарий самого Жана Шалона.

Для большинства читателей книги Ожье́раса остались незамеченными. Его языческие ритуалы, тяга к природе, к перигорским лесам и болотам, к тишине

пустыни не снискали ему читательской любви и среди свободомыслящей публики шестьдесят восьмого года, хотя в тот момент тысячи приверженцев первобытной жизни, подобно ему, устремились прочь из городов. Ожьерас, так и не дождавшийся понимания от своих единомышленников, писал, что его интересуют другие горизонты, полное слияние с природой: «Не вырождение, а добровольное перерождение... Я чувствую, как во мне рождается Новый Человек, которому предстоит вернуться во Вселенную, в царство планет, этот Новый Человек еще подросток, но он уже мудрей, чем Человек Сегодняшний».

В одной из вышедших за последнее время книг, посвященных писателю, среди писем и других документов приводится заключение психиатрической экспертизы Ф. Ожьераса, проведенной, вероятно, по требованию полиции и властей города Сарла. В заключении говорится, что «неизвестная науке психическая деятельность в данном случае не является основанием для принудительного лечения».

Он служил в армии в Алжире, во Франции был пастухом. Все его книги, кроме последней, опубликованы при жизни автора. Тем не менее, когда в 1971 году он умер в больнице города Перигё от третьего инфаркта, на свидетельстве о смерти поставили надпись «без определенных занятий». Сам он в одном письме дает такую попытку автопортрета: «Иногда он представляется мне странной звездой. Скажем, квазаром, – бывают такие звезды, положение которых трудно определить, они шлют загадочные сигналы, и о них можно строить любые гипотезы».

Алина Попова

СТАРИК И МАЛЬЧИК

Зирар

Думаю, наши союзники из местных были, как и я сам, не слишком уверены в своей правоте: они колебались, им было стыдно сражаться против своих братьев по крови. Нам, правда, нравилось носить оружие, но не очень-то хотелось выходить с ним на противника, который, может статься, давно следит за нами с вершук окрестных скал: никто из нас на самом деле не хотел выгонять отсюда этих людей, мы вообще не спешили с ними встречаться. Считалось, что мы контролируем перемещения в определенной зоне, хотя наше присутствие там было чисто символическим, ведь Зирар – просто укрепленный пост чуть в стороне от дороги на древнем караванном пути в очень красивом месте поблизости от оазиса Эль-Голеа. По существу, мы представляли собой всего лишь флаг на вершине скальной гряды.

Не зря говорят, что пустыня отбивает охоту делать что бы то ни было в полную силу. Два-три семейства кочевников, всегда одни и те же, являлись к нам, чтобы набрать воды и, не проронив ни слова, отправлялись восвояси; теперь они в точности знали, сколько нас и как мы вооружены, а мы не имели никакого представления о том, что против нас замышляется. Кочевники из более отдаленных районов, когда встречались с нашими усердными патрулями, не могли не видеть, как вязнут наши грузовики, и на все вопросы отвечали, что

знать ничего не знают, хотя наблюдатели с воздуха сообщали о перемещениях вооруженных отрядов с севера и о том, что партизаны Белуни¹ опять готовятся к бою, поднакопив оружия и снаряжения; кстати, многие из этих разрозненных отрядов были не прочь сдаться на милость победителя, от них остались жалкие кучки людей, которые бродили, не зная, куда податься, готовые отбиваться или сдать оружие, если их пообещают не расстреливать.

Все это казалось неправдоподобным в безукоризненной тишине пустыни в разгар сахарского лета; единственным напоминанием о противнике были следы на песке, наполовину заметенные ветром. Тем не менее, полностью исключить возможность нападения мы не могли.

Что такое Зирар? Представьте себе форт (здесь говорят: бордж) с ярко-белыми зубчатыми стенами на вершине скальной гряды. Кругом – пустыня. Колодец на равнине, несколько верблюдов. Зирар – форт, уменьшенный до минимума, сведенный к абстрактной идее, и жизнь там была ничуть не похожа на казарменную, наоборот, царила непринужденность, обычная для колониальных войск: в свободное от караулов и патрулирования время каждый был предоставлен самому себе, с виду – никакой дисциплины, даже некоторая беспечность, в которой ничто не мешало мне сосредоточиться на собственных мыслях.

Как-то утром, оставив грузовики под охраной нескольких солдат за песчаной дюной, мы цепочкой двинулись вперед с ручным пулеметом и стали медленно взбираться по длинному склону к нагромождению скал на вершине. Тяжелый патронташ бил по ребрам, я шел босиком, загорелый, мышцы напряглись на тяжелом подъеме, воздух был по-утреннему невинен и свеж; меня убьют на этой бессмысленной войне, вот что меня ждет, повторял я себе, карабкаясь по склону впереди товарищей, которые молча следовали за мной. Добравшись до самого гребня, мы ничего не увидели, кроме бескрайней пустыни; осмотрели в бинокль безлюдные просторы, потом возвратились к грузовикам.

Обратно вернулись уже к ночи. Фары грузовиков осветили склон у подножия поста, потом из темноты выступили наши белые стены, потом – большие ворота, которые мы заперли, как только въехали во двор. Я поднялся на крышу, заступил в караул, отстегнул патронташ и положил его между двумя зубцами стены рядом с винтовкой, с резким щелчком вогнал в винтовку патрон; гильзы мягко поблескивали в свете первых звезд. Само собой, я не нарушу своих обязательств перед Францией, но все-таки здесь, в Африке, я служу, в первую очередь, своей собственной судьбе. Что это – тяга к приключениям, путь одиночки? Пока я сражаюсь непонятно с кем на этих бесконечных рубежах, партизанская война уже охватила весь мир.

Из-за скал за фортом встала луна. Все вокруг было погружено в сон, один я не спал и сжимал в руках винтовку. Наши крыши ярко белели во мраке ночи, составляя резкий контраст с темным двором. В этом выбеленном известью мире тут и там виднелись серые пятна одеял, прикрывавших неразличимые под ними

1 Мохаммед Белуни в 1955 г. основал военизированное крыло Алжирского национального движения. (прим. перев.)

тела арабов, которые спали на крышах. Я сделал несколько шагов в тихом и жарком воздухе, накинув через плечо патронташ и стараясь не наткнуться на спящих: кто-то невнятно бормотал, кто-то во сне выбрасывал из-под одеяла руку, а лица у всех были закрыты, как у покойников.

От их безмятежности мне только сильнее хотелось разобраться в самом себе. Сон глубоко религиозных людей – зрелище впечатляющее, но не хуже действуют и бесконечные раздумья о своей судьбе; там, на крышах Зиара, среди спящих, я один бодрствовал, моя тень медленно двигалась по их телам. Тут были одни арабы, все свободолюбивые, все – одиночки, все – верующие, одержимые верой, подобно тому, как сам я был одержим своим приключением, а еще сильнее – судьбой своих разноцветных книжечек, которые я разослал из пустыни, ничего не зная о том, что значит быть писателем. Я обдумывал свою жизнь, сам себе выносил приговор перед лицом ночных светил, и моя судьба, на которой нечто непоправимое, близкая опасность, уже как будто поставили крест, представлялась мне чем-то вроде схемы, последовательности знаков.

Когда-то давно я жил к северу от оазиса Эль-Голеа, между пальмовых рощ, в форте, превращенном в музей, у отставного полковника, который обращался со мной почти как с рабом.

Полковник, в общем-то, был не таким уж и жестоким, порой он даже удостоивал меня чести беседовать с ним и выслушивать его рассуждения на разные темы, чаще всего – о том, как презренно желание остаться в людской памяти или, хуже того, в памяти Божьей. Он был по-своему добр и стал учить меня французскому, но в те самые годы зазвучали глухие раскаты алжирского бунта; как-то вечером я увидел в его глазах страх, и с тех пор наши уроки прекратились.

Тогда во мне и зародилась непоколебимая вера в силу слов; я догадался об их власти и могуществе в дни своего унижения. Я понял, как мне одержать верх; я решил поведать всему миру о странных делах, которые творились в музее среди пустыни, рассказать обо всем, прокричать о своем отчаянии; так я отомщу наконец бездушному отставному полковнику.

Я осваивал искусство обвинителя; неразборчивые каракули, целые страницы, исписанные под звездным небом в какой-то скальной расщелине, были обращены не просто к людям, не просто ко всему миру, но главное – к моей собственной бессмертной душе и к Богу. Я писал, чтобы писать, чтобы объяснить перед лицом моего Творца, моего Судьи; я был невероятно унижен, я не верил в свою способность писать, я остался совсем один и у меня почти не осталось надежды, что люди когда-нибудь примут меня. К тому же, я был чуть ли не преступником, и это окончательно отрезало меня от мира; я писал для Бога, для самого себя. Я рассказывал обо всем без утайки и не обращался ни к кому.

Пока не наступил день, когда мне стало стыдно быть таким несчастным. Мои кошмарные блокноты, явившиеся из самых глубин африканской тьмы, показались мне не такой уж безделкой, эти страницы, привычные к свету звезд, могли кому-то понравиться. Бог безмолвствовал; оставались люди.

Эти скромные блокнотики из пустыни, тайно переправленные на почту, едва различимо отпечатанные в Бельгии на разноцветной бумаге, синей как

ночь, желтой или розовой, отосланные из Уарглы, из Туггурта, из Гардаи – в Европу, Азию и даже на острова Океании; ну какие это книжки – просто блокнотики, протертые резинкой до дыр, засалившиеся от моих рук, неумело запакованные в толстую синюю бумагу, в которую здесь заворачивают кусковой сахар: эту оберточную бумагу я добывал в лавках в оазисах и одновременно выписывал адреса из литературных журналов, которыми обзавелся заранее.

На первый взгляд, все обстоятельства были против меня: положение мое было странным и скандальным, свои книжечки я рассылал наугад, моя нищета и уязвимые места тоже не улучшали дела. Но мне казалось, что только в таком одиночестве, в такой безысходности и стоит писать: я ждал чуда, ждал, что сама пропасть между моими ничтожными блокнотиками и литературой того времени сослужит мне добрую службу; как бы я не был несведущ, я понимал ценность своего неотесанного текста. Я верил в то, что он останется, победит все ночные опасности; кто-то ведь должен на него откликнуться, и хотя я был просто мальчишкой, но верил, что какие-нибудь писатели обратят на меня внимание: там, в пустыне, в пятидесятые годы у них был неведомый соперник.

Итак, ход сделан, – и никакой реакции. То был отчаянный рывок к ночным светилам – кажется, я замахнулся на невозможное. Под звездами проплывали густые облака, я больше не писал, и никакое эхо не откликнулось на мой голос. Я прокричал о своем отчаянии впустую. Я уже решил, что сам Бог закрыл мне путь к людской памяти, ведь это прежде всего к нему я обращался, это в его руках была моя судьба, ведь то, что ждет мою душу, чем кончится эта история в пустыне, зависело только от Него и от меня. Я совсем отчаялся, а мои книжечки тем временем уже жили своей, неизвестной мне жизнью.

А всё потому, что они уцелели, вырвались из забвения, как я и рассчитывал. Странная им выпала доля: разноцветные, еле читаемые блокнотики явились из Африки, словно жалкие выброшенные морем обломки, по невероятной случайности всплывшие и опубликованные¹. Я был слишком юн для такого великолепного сюжета; потом, четыре года спустя, мне стало ясно, что те выжившие блокнотики были только криком о помощи, а настоящую книгу еще нужно написать. Имел же я право оживить в своей памяти истинную глубину той трагедии, рассказать все как было, ничего не упустив, и, сохранив дикарскую наивность первого текста, переписать его внятным простым языком, хотя бы ради тех, кто мне тогда помогал.

Сколько в нем лишнего! Это ведь был просто выплеск гнева, панический порыв писать в непосредственной близости к Богу под звездным африканским небом и просто трагедия ребенка, низведенного в рабство; вот сюжет для небольшой книжки, думал я, неся свой караул на крыше Зираара. Тогда, в дни унижения, я открыл для себя силу слов; теперь же, когда мне грозит смерть, я решил внятно пересказать ту историю.

Крыши Зираара, август 1957 г.

¹ Первый вариант текста, который вам предстоит прочесть, наскоро составленный из содержимого блокнотов, опубликован в 1954 г. в изд-ве «Editions de Minuit».

Глава I

Я увидел в пустыне странное место: заросли светлого кустарника, через них текли ручейки, было там и болото, и еще я услышал журчание источника. Под ночным небом в конце длинной дороги за зубчатой стеной располагался просторный двор, окруженный постройками ярко-алого цвета.

На одной крыше поблескивала в лунном свете железная кровать.

Я крикнул кого-нибудь, стоя спиной к пустынным скалам, пытаюсь перекричать лай собак, разбуженных моими шагами – по песку босиком – и потрогал рукой деревянные ворота, замкнутые для надежности цепями, тогда негр зажег лампу и под звездным небом появился старик.

Он не слишком церемонился, просто велел мне сесть к столу, открыл какой-то шкаф и дал мне то, о чем я мечтал. Он сел по другую сторону накрытого клеенкой стола и, молча меня разглядывая, выложил передо мной хлеб, сардины, тетрадь в клеточку, перо и чернила; когда я подобрал последние крошки, он стал диктовать мне французские слова, потом проверил, знаю ли я географию и историю Франции. Набросал в тетради несколько задачек, какие решают в начальной школе, и вышел.

Комната была бедная, почти без мебели, и там, в ночной тишине, мне стало ужасно грустно. На стенах развешаны фотографии мальчиков моего возраста в деревянных рамках, память о временах, когда он служил офицером. Он вернулся, открыл сейф, вмурованный в стену, достал какой-то ключ.

– Что это за ключ?

– Ключ от кладовки с продуктами.

Когда он прошел мимо, я встал, чтобы уйти и поблагодарил его за щедрость.

– Так я и думал, – сказал старик, – ну-ка, садись.

Я вернулся на свое место перед недорешенными задачами.

– Задачи мне не так уж и важны, главное – оправдать доверие, ты скоро поймешь. Я наблюдал за тобой: ты порядочен и неплохо воспитан, образования тоже хватит. После этого он дал мне пару одеял и вышел из комнаты.

На дворе зима и в его печальном жилище непрерывно горит огонь. Каждый вечер он прижимает мое красивое нежное плечо к своей груди. Старик засыпает, а я не сплю. Он говорит, что он мне как отец, но я люблю только Бога и поклоняюсь ему одному – он мой Создатель и Судья.

У нас в хлеву волнуются козы; мне нравятся в их сарайчике, нравится, как тепло в стойлах, а вот его я ненавижу. Он идет через двор под шквальным ветром; он гладит меня по голове и тут его осеняет. Он идет к себе, достает из футляра циркуль и замеряет мой череп:

– Ты интересней всех, кто здесь жил. Твои предки – из Ирана, а глаза у тебя голубые, как у берберов. – И он зарисовывает форму моего черепа в почти полностью исписанный блокнот, где полно имен:

– Иди, посиди со мной у камина.

Дым ест глаза; но снаружи жуткий холод, к тому же там я бы помер с голоду. Я слежу за огнем, ворошу пальмовые ветки в камине. Мне плохо, слезы наворачиваются на глаза; я выдумываю какой-то предлог и выхожу.

– Не задерживайся! – кричит старик.

Плачу, припав к стволу эвкалипта у клеток с горлицами, в темноте, уткнувшись лбом в кору между нижних веток. Совсем рядом – клетки, в них, посаженные на цепь, спят обезьяны. Слышны только мои всхлипы да птицы шуршат на жердочках. Возвращаюсь назад, к нему, дверь рвут из рук мощные порывы зимнего ветра.

Он дал мне солдатскую форму, и я ношу ее, стянув веревкой, чтоб не болталась.

– Сегодня будешь пасти коз.

Я гоню свое стадо к саду засохших деревьев – их ветки словно из соли или из снега. Между перламутровыми скалами ветер намел и утрамбовал мелкий золотистый песок. На нем бороздки, как волны.

Свежий ветерок шуршит в кустах под синим бездонным небом, уходящим в бесконечность. Несколько птиц, обитательниц этих бесплодных и ясных склонов, выпорхнули из углублений в камне и взлетели, пронзительно крича. Я пасу коз под самой белой луной: до нее мне куда ближе, чем до дома, где живет мой «отец». Потом я спускаюсь на равнину, отыскивая тропки в лабиринте скал, прямо у их подножия – оазис и пальмовые роши.

Сам старик обходит свои заросли кустарника с западной стороны; упрется железной тростью в землю и смотрит, как исчезает солнце.

Я во дворе в углу жду, пока сварится суп. Старик запирает кладовку с продуктами и спрашивает, вернулся я или нет.

Негр несет тарелки и велит мне идти в дом моего отца. Там всего одна дверь, я стучу и вхожу, толкнув дверь босой ногой. Перед ним на столе на клеенке – шахматы; я старательно играю с ним партию и засыпаю у огня в солдатской форме, которую он мне дал.

На исходе ночи я уже шагаю навстречу рассвету, к белым холмам, – к вечной невинности мира. Шаг у меня размеренный, ровный, мне хорошо в шерстяной одежде, иду себе в пустыню, на голых плечах – солдатская шинель, переступаю в утренней благодати с камня на камень по безмолвным долинам. Ни единого облачка не видно на каменистых склонах, протянувшихся на восток куда дальше, чем я мог представить, гравий перемежают полосы прохладного сырого от росы песчаника; нигде ни звука, разве что ястреб крикнет над пустынным простором.

Снимаю и ставлю на песок сандалии из травы альфа, наматываю на голову свою выгоревшую на солнце голубую рубашку, разодранную о колючий кустарник. Там, в сопках у гранитных откосов на ветру, я преклоняюсь перед Богом, который дал мне душу. Ни перед кем другим я не буду держать ответ – только перед Всевышним, моим единственным Господином и Судьей.

Я веду свое стадо по пустыне с розоватым отливом к здешним скудным пастбищам, за спиной у меня винтовка, под шинелью – широкие голые плечи.

Здесь повсюду тишина и покой, на песке – ни одного отпечатка: ветер каждый день заметает следы недавних путников, оставляя на песке только невинный рисунок из бесчисленных бороздок.

На закате я медленно возвращаюсь назад; за кустами Шира всплывает луна. В моих каменных долинах воцаряется холод.

Вот стадо загнано в хлев, а я сажусь на ступеньки у входа. Я вижу, как он читает у камина. Он выходит, зовет меня, дает мне хлеба и мяса – среди зимнего холода и тишины.

Я сделаю то, что он хочет; запускаем граммофон; я вставляю швейную иглу, и мы слушаем музыку, сидя за столом. В карманах моей шерстяной шинели – песок, я утыкаюсь головой себе в ладони и закрываю глаза в ночной темноте.

Дует шквальный ветер. Строения проветривают: двери оставили открытыми, а чтоб не хлопали, подсунули под них сучья. Длинные серые облака бегут над пустыней, над пальмовыми рощами, в сторону болота – там повар зарезал попавшегося в силки гуся из Швеции, окольцованного в зоосаде Стокгольма. Полковник пишет в Стокгольм: хочет известить их о том, что птица добралась до юга Алжира. Он просит меня для тренировки надписать конверт – идем в дом, потолок поддерживают грубо вылепленные из глины разрисованные колонны. Потом он возвращается к трактату по геологии; разливаем в чашки и пьем кипящее какао, жжем пальмовые ветки, пламя в камине вспыхивает, потом быстро гаснет, и я подбрасываю побольше сучков.

– Я наблюдал за тобой с крыши; в пустыне было грязно и сыро. Ты играл. Бегал навстречу ветру; так и быть, не стану тебя ругать за игру, но жалко, что ты плохо стережешь моих коз. Кстати, ты не сбежишь? Один маленький хулиган, которого я приютил, от меня удрал.

Не отвечая, сажусь на корточки перед камином. Целый час старик молчит. В его владениях теперь полный покой; слуга ушел; остались только пальмы да небо.

За столом меня знобит; он берет мою руку и наклоняется ко мне через стол.

– Ты сам виноват; бегаешь полуголый – продуло, наверное. Иди в мою комнату. – И сам очень быстро приходит туда же, в руке у него лампа, он ставит ее на ночной столик. Он ощупывает стекло, опасаясь, как бы абажур не лопнул, прикуривает пламя; подходит к узкому окну, выглядывает во двор, где все кажется белым в звездном свете, потом подходит ко мне, а я уже лежу на шершавых простынях, укрывшись нашим влажным одеялом. Он ставит мне банки. Я дрожу от холода, потом – от жары, и засыпаю в его кровати у стенки, пахнувшей мочой и мылом; в комнате свалена старая одежда, стоят разлезшиеся от песка ботинки и деревенский буфет, едва освещенный лампой. После одного или двух часов затишья над пустыней снова поднимается ветер и гремит по железным крышам.

Если старик ночью проснется, начинается настоящая тоска. Садится писать до самого рассвета. Резервуар в лампе наполнен до краев. Точит карандаши, чистит резинки – трет их об стену. Он набрасывает в тетрадке первобытных

людей, распростертых у входа в пещеры, под звездным небом, в первые ночи этого мира.

Ему нравятся гнусные детали, зверские лица, а меня он заставляет копировать свои рисунки, рисовать как он. Потом, утром, мы отправляемся в пустыню, в сторону Большого Эрга. Полковник говорит, что камни, ограничивающие его владения, раскатило ветром; велит мне разглядывать камни на дороге и подбирать те, в которых видны окаменелые остатки древних ракушек. Я гоню мое стадо к серым скалам, к далеким орошенным дождем пастбищам, там и провожу весь день.

Вернувшись, я приношу ему в кровать хлеб, шахматы, чай; потом греюсь, прижавшись к нему. Спит он в засаленных, прогоркших от влаги кальсонах. Я шевельнул коленями под одеялом, доска наклоняется, шахматные фигуры соскальзывают и расстановка меняется в мою пользу; он замечает эту хитрость и не на шутку расстраивается. Мы пытаемся расставить фигуры как было перед тем, как я смухлевал; только я точно не помню, в какой момент наклонил доску, в ту зимнюю ночь мы оба ни в чем не уверены. Договариваемся продолжить партию, начав со случайного расположения фигур. Потом я готовлю уроки, он дает мне книжку, которую самолично переплел, выглядит она довольно неаккуратно, это – «Мир до сотворения человека», Камиль Фламарион, 25 сантимов, 1886 год, издание Национальной Библиотеки, издательство «Дебюиссон и К», улица Кок Эрон, 5 и Люсьен Марпльон, 4-7, галерея Одеон, Париж. Сам он читает тоненькую школьную астрономию. Тусклая лампа гаснет. Я хочу встать и зажечь ее снова.

– Не уходи, – говорит он в темноте.

Я закрываю глаза, песчинки из моих волос сыплются в щель за кроватью, он обнимает меня, а наши оцинкованные крыши поблескивают в лунном свете, который постепенно заливает весь двор.

Меня изводит тоска. Я делюсь своим горем с поваром; если б мы не были в пустыне, он бы мне помог, ведь я прикрываю его делишки: у меня есть ключ от кладовки с продуктами и мне поручено каждый день отвешивать порции риса и муки.

Ветер пробирает до костей, и я прячусь в хлеву, в сырой теплой соломе; потом вхожу в дом, не говоря ни слова, словно посторонний, и сажусь у огня. Он минуту глядит на меня, потом встает, захлопывает дверь и меня бьет. Я засыпаю среди бела дня на диване в гостиной, как озлобленное хрупкое животное, заливая свои худые руки в прилипшей грязи и соломе. Когда я открываю глаза, негр вытирает мне кровь и слезы; ласково обмывает тряпочкой все мое тело. Мне становится лучше, мы отсылаем повара, и старик ложится рядом со мной. Пасмурно: небо в облаках; порыв ветра раздул золу из гаснущего камина – словно ткань в цветочек, французская шерсть. Он роется в шкафу, находит какую-то железную банку, откручивает ржавую крышку, там корпия и всякие мази, он натирает мне ноги. Пьем кофе с молоком, играем в гусек, бросаем фишки. Ему нравится мой интерес к астрономии; он говорит, что это добрый знак.

Потом он рисует землю после сотворения мира. Цветными карандашами – блестящие ледники, зеленые луга, озера и пещеры. Кусочком мела – снег на горных

вершинах, тем временем гаснет лампа и пламя в камине. Он ставит перед камином таз, наливает теплой воды, и я моюсь. Он трет меня мочалкой. Я открываю дверь. В саду я достаю свою флейту и играю на ней при мерцающем свете звезд, пока не вылетят на песок штрихи тростниковых листьев. Оросительные каналы поблескивают под скалами, до которых в тишине ночи, кажется, рукой подать. Не слышно ни птичьих голосов, ни лая собак. В безоблачной прозрачно-ледяной синеве высоко-высоко в бескрайнем небе над нашими выбеленными известью крышами плывет белесая бледнолицая луна.

– Иди сюда, – зовет полковник.

Но я беру винтовку, патроны и ухожу за ограду, накинув на голые плечи одеяло. Я бегу к горам, в пустыню, где властвует Бог. Это его я люблю, а не того человека; один Бог мне хозяин, и больше никто; один Всевышний – мой Бог и Господин, один он, Всевышний – мой Создатель и Судия. Тоска заставляет меня шагать и шагать хоть сотню лет. Я топчу ничем не запятанный песок, чистейший, как в первые дни творения. Мои смуглые длинные ляжки дрожат от холода. Патронташ на поясе, складки одеяла и винтовка у самого уха раскачиваются при каждом шаге; я так несусь, что вот-вот взлечу на ветру; мне слышно, как гудят у меня в крови десять веков войны. Я одет, вооружен, я вижу синеву неба, гигантские белые каменные глыбы в прожилках, как у мрамора, нависшие над равниной. Я глотаю слезы, призываю в свидетели небо: я тоже человек, обладатель бессмертной души, и ухожу все дальше по розовым утесам, в каменистые долины, похожие на лунные кратеры.

Когда я возвращаюсь, он говорит:

– Зажги лампу, вот тебе спички.

Когда пламя разгорается, он заходит в дом вслед за мной, откидывает створку секретера, садится перед зеркалом, неподалеку от расшитого жемчужом абжура, и чертит карту своих владений; каждый месяц он рисует ее заново: меняются размеры болота, они зависят от того, много ли воды дает источник, нам как раз слышно его журчание. До меня тут жил молодой солдат-немец из разбитой армии Роммеля; он писал в пустыне в блокнотах и прятал их под камнями. Красным карандашом полковник обводит берег, а я тем временем засыпаю на диване в гостиной, такой вечер в Алжире.

Глава II

Каждое утро на рассвете я вижу со своей крыши синее небо, темные утесы на фоне солнца и золотистую пустыню, высокие зеленые пальмы усеяны птицами, до меня долетают их крики. Я завязываю сандалии; спускаюсь во двор; так каждый день.

Мы узнаем время по солнечным часам и ставим лестницу, чтобы добраться до ходиков, висящих над камином. Стоя на верхней ступеньке, – мой отец тем временем держит лестницу внизу, – я завожу часы, стараясь не сдвинуть тряпочку, подсунутую в механизм, чтобы они не били: «тогда нарушится безмолвие пустыни».

Умываюсь у родника. Капли воды на моих голых плечах высыхают на солнце. Уже три дня, как ветер стих и наступила весна. В теплой безмятежной сини кружат хороводом наши голуби.

Мы отвешиваем кило ячменя, старик посылает меня наполнить кормушки в птичьих вольерах, я захожу туда через низкую дверцу. Он вытаскивает из кармана листок и протягивает мне сквозь решетку:

– А что если я тебя не выпущу, пока не разгадаешь загадку?

Читаю:

	А		СТА	
СК и Ф	—	05	—	СОЛОНКА – К
	ХАРСИС		ВИЛ	

Возвращаемся в дом.

– Не могу похвалить тебя за сообразительность. Вот решение ребуса:

1. СК и Ф = Скиф

2.

А		
—	=	А на Харсис: Анахарсис
ХАРСИС		

3. 05 = Опять

4.

СТА		
—	=	Под СТА ВИЛ :
		подставил
ВИЛ		

5. СОЛОНКА – К = СолонКа без К, получается: Солона.

Скиф Анахарсис опять подставил Солона.

– Остается выяснить, в одно ли время жили эти античные мудрецы и встречались ли они друг с другом.

Захожу в пруд. По бедра в воде между нижних ветвей фигового дерева прислоняюсь нежным виском к глинистому скосу берега. На крыше я подставляю тело лучам солнца, циновка защищает спину от белой пыли, которой покрыта вся площадка, – известковая пыль, словно снег. По моим округлым широким плечам струится пот, солнце, стоящее в зените, обжигает смуглое пахучее тело, из-за толстых горячих губ лицо кажется шире, под ними видны белоснежные зубы. Полковник, в знак восхищения, весело хлопает себя по широченным брюкам: давай-ка я тебя здесь сфотографирую!

Он показывает мне летящих *рябков*. Эти сахарские голуби живут стаями сотен по пять в пустыне по ту сторону утесов. Раз в день, сделав круг на огромной высоте, птицы опускаются на болото, высматривая места помельче: несколько секунд они пьют, погрузив лапки в воду, потом взлетают с пронзительными криками.

– Если хочешь, возьми какую-нибудь из моих книг...

Я выбираю «Одиссею» в переводе Виктора Берара.

– Я не покупал эту книгу, это подарок книготорговца из Алжира, он раз в три месяца присылает мне ящик новых научных книг и бесплатно добавляет еще несколько книжек, которых я не заказывал, я их ставлю на полку и все. Дарю тебе «Одиссею».

Открываю ее на скамейке. Все утро мы придумываем, как ее надписать. Сначала все просто: «Моему дорогому Абдалле», решаем, что дальше напишем: «дарю поэму о море, прочитанную в сердце Сахары», а слово «бесчисленный», которое Гомер так часто применяет к волнам, подходит также и к дюнам, раскинувшимся в нескольких километрах от наших деревьев. К одиннадцати часам готова фраза, которой он очень доволен: «дарю эту поэму о море, прочитанную в сердце Сахары, у берега бесчисленных дюн».

В невозмутимой пустыне.

Яркое солнце. Бассейн, выложенный мозаикой, – без воды; там блаженствуют ящерицы.

– Ладно тебе, подойди, сядь поближе.

Ирисы и метелочки тростника.

Птицы.

Малюсенькие рыбки.

– Солнце слишком печет, чтобы сидеть в саду.

Перед музеем проходит длинная центральная аллея, там, у ворот, я жду, когда принесут продукты; к полудню из оазиса вернется негр с корзиной на голове.

В павильончиках выставлены коллекции: «Охота», «Этнография», «Я вспоминаю», а в бывшем хлеву – «Первобытные времена», из всех коллекций вместе сложился маленький сахарский музей. Газельи рога приделаны к цементным подставкам; в одной витрине выставлен колониальный шлем, в другой – верблюжье седло с пояснением: «Этим седлом я пользовался с 1923 по 1927 гг.»; фотографии – абсолютно белые, как будто в кадр просто ничего не попало, – сделаны в те времена, когда *бордж* еще строился; под всеми этими экспонатами стрелка с надписью: «От военной жизни – к размышлениям; геодезические приборы, сыгравшие свою роль в истории французского освоения Сахары».

– Смотри как тебе нравится, не хочу портить тебе удовольствие.

Вот уже и туристы приехали. Визит проходит так: автобус останавливается у ворот, собака рычит и люди не решаются войти. Полковник не выходит из дома. Повар успокаивает собаку и спрашивает у путешественников, есть ли среди них важные особы. Путешественники дают свои визитки, и повар относит их полковнику, который иногда принимает кого-нибудь лично, а иногда – нет. Если он никого не счел достойным особых почестей, негр вводит всех во двор, раздает билеты,

которые мы нарисовали сами, берет с них двести франков – он получает десять с каждой сотни, – потом идет с ключами к павильончикам и открывает двери. Для тех, кто хочет оставить мнение в Золотой книге, готовы перо и чернильница; промокашка, как будто невзначай, указывает на строку с автографом Великого Генерала¹. Сквозь маленькие окошечки в доме полковник из-за занавесок наблюдает за людьми; потом он отправляется читать в Золотой книге, что они о нем думают.

В тишине комнат раздается:

– Помнишь, ты как-то сказал, – ведь это твои слова? – что еще неизвестно, понравится ли твоей сестре, которая живет во Франции, как я с тобой обхожусь. Много ей дела до моих церемоний с мальчишкой-туземцем; однако от этой фразы пахнет шантажом; поэтому ты сможешь остаться у меня, только если подпишешь вот это, одиннадцать слов, повторяй за мной: «Клянусь честью, что офицер, у которого я живу, – мне как отец». Писать будешь там, в конце галереи. Я опускаюсь на колени и медленно пишу, повторяя слова вслед за ним, подписываю.

Он закрывает дверь. Наши козы уходят вдаль через заросли светлого кустарника, больше напоминающие суданский пейзаж, а не виды Сахары. Мне поручено беречь от них несколько экспериментальных участков: дело в том, что ему втемяшилось в голову растить пшеницу. Я оглядываю местность; у меня с собой камешки для пращи; скучно мне не бывает: читаю, смотрю на птиц, пою просто так, для себя; танцую; я счастливей этого человека.

Берега озера, возникшего от разлива вод по золотистому песку, пустынные и розовые. Мне нравится это место. Всюду посажена пшеница, тропинки выше уровня болота, похоже на шахматную доску, оросительные каналы придают особый облик этой экспериментальной ферме у края пальмовой рощицы, над которой возвышаются крыши павильончиков, утыканные голубыми, почерневшими на солнце, бутылками. Ветерок несильный: на песке остались птичьи следы.

На краю зарослей кустарников среди сухой травы у него уже выстроена бетонная пирамида.

– Моя могила, – говорит он, медленно склоняясь над пирамидой, и поглаживает седую бородку.

Его клонит в сон. В экспериментальном саду – тишина. Вокруг безлюдно, спокойно и белым-бело. Ветер, деревья, бетонный мавзолей. Иду вдоль оросительных каналов легким шагом – через водяной лабиринт. Солнце посылает кожу и обжигает. Сверкание бутылок, воткнутых в глиняные стрелки на павильончиках, указывает время: скоро полдень.

Подхожу ближе и уже по звуку его шагов понимаю, что будет дальше. Он идет через двор, захлопывает за собой деревянную дверь, запирается, ударяет по ней кулаком, чтоб убедиться, что дверь закрылась. Слышу его хриплый

¹ Имеется в виду генерал Шарль де Голль, глава временного правительства Франции с 1944 по 1946 гг., президент страны с 1958 по 1969 гг. В 1954-1958 гг. (а в этот промежуток и попадают события, описанные в романе) устранился с политической сцены и пишет «Военные мемуары». (прим. перев.)

бесцветный голос, который дрожит от гнева на провинившегося слугу. Потом он стреляет из револьвера по старым бутылкам в углу двора. Белое, палящее небо.

Ослепленный полуденным солнцем, захожу к нему в комнату, в полумрак. Там, рядом с буфетом из Франции, мягко поблескивает фаянсовая раковина. Когда глаза у меня привыкают к сумраку, сажусь на кровать полковника. На прошлой неделе на столике у изголовья появился «Робинзон Крузо» – я спросил у него, зачем. «Тут важная для меня деталь: он вкапывал в землю столбы и каждый день делал зарубки; каждая неделя, месяц были у него отмечены: он не хотел терять Время», – отвечает старик. Отдохнув после обеда, он в один прыжок вскакивает с постели, совершенно голый; из деревянного футлярчика с крышкой на медных шарнирах, которые он укрепил маленькими гвоздиками, достает пенсне, водружает на нос, надевает колониальный шлем; постукивает пальцем по стеклу барометра, так что стрелка падает до отметки «переменно», одевается, затягивает ремень, просит меня подтвердить, что все в порядке и говорит:

– Какие красивые в пустыне сумерки; пойдем, прогуляемся.

– Я тебя люблю, – говорю я, когда мы подходим к красноватым в лучах заходящего солнца дюнам.

– Ты заметил, – спрашивает он, – что я не хожу в оазис, я решил удалиться от мира. – И потом, через несколько шагов. – Подростки, которые жили со мной, меня разочаровывали; они бегали в деревню покупать сигареты, болтали с местными и сговаривались с моим поваром меня обворовывать. А ты – нет. Ноздри у тебя округлые и нежные, как у зверей; когда я целую твои губы, я думаю о кротости чувственных животных – они грустные, переменчивые, бывают смиренными, а бывают и не в духе.

Мы ужинаем перед верандой при свете лампы, которая стоит на столе, вынесенном во двор к самым деревьям. По ночам уже так жарко, что полковник ложится на крыше, на большой железной кровати. С тех пор, как потеплело, он спит там голый, чтобы быть поближе к пальмам и длинным розовым скалам. В лунном свете ясно видны наши белые крыши, – я сплю на них, где вздумается, обычно на башне, с восточной стороны, в тени зубцов, – видно и огромное небо, чистое или расчерченное белыми облаками, и все ночные светила.

Глава III

Как-то вечером в ужасную жару я выхожу за ограду и направляюсь к источнику. Развязав кусок ткани, прикрывающий бедра, вхожу в воду там, где начинается болото. Меня останавливает какое-то бормотание. Трава шевелится. Мой старик сидит в теплой воде, развалившись, словно животное. Складки жира хлопают о голые колени, а теперь он откинулся в берег болотца, чтобы вода, текущая из родника, массировала ему живот. Намокшие волосы прилипли к черепу. Он показывает мне живот, до невозможности белый в вечернем свете:

– Это я тут купаюсь. Давай, залезай в воду.

Я уже привык к нему, но все равно убегаю, запах мокрой болотной травы бьет меня по губам, и они кривятся от подступающих слез.

Он зажигает лампу.

– Хочу тебя измерить.

Ставит меня к раскрашенной колонне, проверяет, ровно ли стоят на полу мои босые пятки и отмечает высоту, на которой находится макушка.

Когда старик засыпает, я перебираюсь с крыши на крышу, слезаю со стены, иду вдоль лилейного поля, вдоль нежных кустиков, которые скоро zalьет лунный свет. Прислоняю голову к дереву, отдыхаю. Слушаю птиц, которые поют в этот вечерний час. Кругом рыщет остромордый белый пес, страдающий по какой-то собачьей красотке, мы сталкиваемся с ним на перекрестке тропок. Когда под ногами оказывается мягкий нежный песок, меня начинает клонить в сон.

– Заниматься любовью без любви – ужасная тоска, а ты меня любишь.

– Я тебя люблю, – говорю я на краешке матраса при свете звезд. Помнишь тот вечер у источника... Когда я тебе признался, что я сирота; и как я тебя обнял и плакал, потому что нашел себе отца.

– Я всю жизнь буду вспоминать об этом.

– Какое красивое это болотце в лунном свете: высокая трава, и в ней полно зеленых лягушек, а в двух шагах – пустыня.

– Дарю тебе это место, где ты признался мне в любви.

– Тогда пошли, напишешь мне бумагу.

В комнате я ставлю на клеенку лампу, и старик встряхивает огонек в сосуде из огнеупорной глины. Когда лампа разгорается, он выдирает листок из тетрадки и пишет дарственную. Я вижу, как слова, которые родились у меня в голове, появляются на бумаге под его пером. До тех пор, пока не поставлена подпись, я обнимаю его с потрясенным и взволнованным видом. Выхватываю бумагу и сушу чернила, помахивая листком в раскаленном воздухе.

В чулане на задворках павильонов я разыскиваю свой чемоданчик, расстрескавшийся в передрыгах. Встав на колени, проверяю замки и прячу в него этот тетрадный листок, стоивший мне стольких страданий.

Поднимаемся на крышу.

– Я думаю о тебе, о твоём будущем. Получше учись и найди себе какое-нибудь место.

Но какое место я могу найти? Разве только место в людской памяти.

Он зажигает свечу, освещая одну сторону всех построек во дворе, и восседает на трон: это насест с дыркой, на который нужно взбираться по ступенькам. По понедельникам он нарезает бумагу квадратами; пачка уже кончается, ведь сейчас вечер пятницы. Рядом с его отхожим местом – вольера с птицами; падение человеческих экскрементов тревожит горлиц и они удивленно воркуют. Потом он широким шагом пересекает двор, который из-за соляного осадка под ясным небом выглядит невероятно белым и запирается у себя. От двери в один прыжок отделяется остромордый пес и уносится в сад.

На крыше дома, окруженного темными равнинами, я стою перед кроватью и смотрю на голого старика, спящего на белой простыне в безмолвии ночи.

В артиллерийский бинокль мы разглядываем Марс. Подношу бинокль к своим голубым глазам и вглядываюсь. Сквозь линзы я вижу сияющую планету.

– Иди сюда, ко мне в кровать.

Но я иду на свою крышу и ложусь там, где мне нравится спать, у самого черно-белого неба.

Старику приходится кричать: между нами метров пятнадцать. Потом он облачается в желтый халат, надевает сандалии.

– Давай спустимся в дом, поедим.

Это неожиданное предложение подкрепиться перед рассветом мне нравится. Когда мы расставили тарелки и разложили вилки, мой старик говорит задумчиво:

– Покорми меня.

До меня не сразу доходит, и он объясняет мне как нельзя понятней.

– Почему ты плачешь? – спрашивает старик.

Проявляем фотографию, сделанную утром. При свете лампы я узнаю на ней себя.

– Ты очень красивый, – говорит старик и ведет меня на террасу. Его обещания сверкают, как блестящие бутылки, из которых выложены стрелки между павильонами. В постели, обняв меня, он говорит: Ну разве тебе плохо со мной? Каждый день ты пасешь моих коз, играешь, смотришь, как пролетают самолеты.

Я просыпаюсь от холода, небо затягивает. Облака стали густыми-прегустыми. Неожиданный дождь сгоняет нас с крыши в дом.

Негр на короточках перед патефоном. «Это малоприятная, но необходимая мера», – несется из громкоговорителя. Ява, которую танцевали лет двадцать назад, и весь репертуар Монпарнаса звучат в нашей кухне. Мы идем в заросли кустарника, ставим патефон на красную землю всю в трещинах от жары; я танцую. Полковник согласился нам дать всего один диск. Для разнообразия мы меняем число оборотов. Вот «Летучая мышь» в исполнении оркестра Балтимор-Променад. Я осторожно цепляюсь рукой за ветку большого эвкалипта, мои ступни отрываются от песка; с ветки на ветку забираюсь подалее в листву и сажусь на развилке серых веток, выбрав место поближе к луне.

В одной из клеток с горлицами яйцо упало у самых прутьев решетки, так что мне удалось его вытащить, помогая себе прутиком. Бесшумно поднимаюсь по маленькой лестнице, ведущей на наши террасы. Прикладываю яйцо под простыней к самому горячему месту на теле; смотрю на спящего старика. Глаза у меня наполняются слезами, они текут по щекам, я захлебываюсь рыданиями. Иду к повару, в его хижину. Я плачу, а он слизывает слезы с моих глаз. Ласково обхватывает руками мою шею. Гладит по волосам. От моих слез остаются мокрые следы на его широченных плечах.

– Ненавижу его! – всхлипываю я.

– Да нет, он тебя любит, и зря ты себя плохо ведешь.

Он заставляет меня любоваться коллекциями, а ему самому – поклоняться, словно богу, сам-то он просто трясется, до того ему нравятся собственные

выдумки. На двери павильона «Я вспоминаю» предупреждение для посетителей: «Я никого не заставляю сюда входить, некоторые сцены могут шокировать». Путешественники увидят там спаривающихся обезьян, которых он заставил меня выпить.

После ужина огонек лампы перемещается из комнаты в комнату. Я-то знаю, что означает это брожение. Огонек наконец останавливается в гостиной, где мой старик рисует, ему это дается с жутким трудом. Я говорю, что с пейзажами я, пожалуй, мог бы справиться и получше. Становлюсь на его место и быстро заканчиваю картину, которую он начал.

– Невероятно, – шепчет он, – ну-ка, нарисуй мне еще.

Рисую, раз уж он так хочет; потом намекаю ему, что хочу пойти спать, а старик требует: «давай еще один!» – и, заметив на моем лице страдание, добавляет:

– Если любишь, можно ведь и постараться.

Вечно ему в голову приходят какие-то гнусности. Меня качнуло, я вцепляюсь в стол, чтобы не свалиться на утопанный земляной пол гостиной. Я вою и не могу остановиться, словно собака по мертвецу. Упрямо зажмуриваю глаза. Чувствую, как моего лица касаются осторожные руки старика, его холодные губы. Не открывая глаз, я проваливаюсь в темноту, и меня тошнит под стол.

Меня пригласили на свадьбу в пальмовую рощу в оазисе, это довольно далеко от нас. Я прохожу между группами людей туда, где светят огни, там я узнаю слугу моего отца, и он мне советует быть осторожным: церемониться со мной здесь не будут, ведь я – причина скандала. Многие сочтут мою смерть справедливым наказанием за этот скандал, который из-за меня разразился; французы не станут искать мое тело; приговор мне был вынесен с самого первого дня и рассчитывать на жалость не приходится.

Я вхожу в сад жениха; в этот момент в мой локоть ударяет камень, я не видел, кто его бросил. Второй камень попадает в лицо. У костра, за которым присматривают дети, я нахожу слугу полковника; он вернулся назад, потому что беспокоится за меня.

– Почему ты здесь?

– Чтобы тебя защитить, – отвечает он.

Отсылаю его домой и подхожу ближе к огню. Когда приглашенным разнесли первые угощения, жених ведет меня на крышу, где он ест почти один в окружении слуг и детей. Меня еще раз предупреждают, что мне грозит опасность. И я решаю рискнуть, погибну так погибну – донесу запах смерти еще тепленьким до губ моего старика. Выхожу через низкую дверь, которой редко пользуются; от толпы отделяются несколько человек и начинается погоня в лабиринте жарких улочек, между пальмовых рощ, по песку, который гасит звук наших шагов.

Возвращаюсь в бордж, сердце у меня выпрыгивает, плечо в крови: его пропороли ножом, – мне просто чудом удалось ускользнуть от преследователей; старика я нахожу в шезлонге, где он ждет моего возвращения. Мои губы, пропитанные запахом смерти, прикасаются к его губам, он стонет. У него вырывается что-то вроде хрипа. Он берет ключи и идет через двор.

Он не понимает, что с ним, не знает, что я хочу его смерти.

Он зовет меня со своей большой железной кровати.

– Ну что, малыш, не выспался, и все твой отец виноват?

Мой рот сам собой выдает ответ:

– Я хочу остаться с тобой.

По ночам в темноте я вою от ненависти и не могу остановиться. Лезу по скалам к самому небу. В один прыжок перемахиваю разломы в скале. Вершины скал – лабиринт под открытым небом, я плачу в нем, опираясь затылком о ствол винтовки, изорванная одежда подвязана к телу кожаными шнурками. Мои глаза, и винтовка, и патроны в патронташе на голых плечах поблескивают в лунном свете. Я прихожу в себя в этих каменных залах, укрываюсь в гранитных коридорах; мелом оставляю на скалах еле заметные знаки. Там, в вышине, среди скал – свои проулочки и постели; О, моя бессмертная душа под черным небом в восхитительном нагромождении звезд! Я оплакиваю тебя, сжимая в руках винтовку. Вдруг мне становится не по себе; мне страшно одному так далеко от дома моего отца.

Я часто возвращаюсь в этот лабиринт среди скал. Тут я слово за словом изучаю французский, я впервые в жизни пишу. Тут я – один-одинешенек в такие теплые синие ночи, высоко над равниной, выше пальмовых рощ, выше розоватых утесов. Тут слышно, как воют шакалы. Я беру с собой наверх блокнот и чернила; опираюсь голым локтем о камни, ставлю рядом с собой свечу и ее пламя колышет легкий ночной ветерок, тут я впервые в жизни слышу собственный голос; я бормочу и чувствую, что свободен, когда я пишу под звездным небом, на скалах, в пустыне Бога. Облака дробятся огромными кусками, отделяются от белых туч и плывут в сторону луны.

В предзвездной тишине он зовет меня со своей большой железной кровати. Я притворяюсь, что сплю и не иду к нему. Но он опять зовет. В полумраке он изучает мое лицо, глаза. Может, ему пришло в голову, что я все запоминаю. Я тоже смотрю на него под звездным небом. Судороги, старик кричит, словно в агонии, и хрипит так громко, что вся пустыня отзывается эхом.

– Не могу не кричать. Наверное, далеко слышно.

Позже в ту же ночь я спрашиваю его:

– Почему ты не хочешь оставить меня в покое?

Едва подали голос первые ночные птицы, я ударяю в чан, звук получается чистый и красивый; сначала – осторожно, со вкусом, легкие быстрые удары, потом, после долгой паузы, – с размаху; перед садом я перестаю барабанить и только снаружи расхожусь снова. Прохот, который я устроил, отражается от стен, усиливается; я теперь весь превратился в звук: нежный, взбудораженный, опасный уже и для меня, и для них.

Они включают фары машины. Негр связывает мне руки и швыряет на песок. Француз лупит меня ногами.

– Не зря я тебя ненавидел, – кричит он.

Они не знают, что со мной делать. Я закрыл глаза и слушаю их голоса, хриплый рык отца слышится в темноте моей ночи. Они крепко держат меня, не давая встать со скамейки; если бы кто-то наблюдал за нами из зарослей кустарника, он бы здорово удивился. Я приоткрыл глаза, и меня ослепил свет фар, бьющий прямо в лицо.

Лают собаки, мой отец отгоняет их ногами, они с негром выносят лампу. Я еще дрожу, когда они открывают ворота, повисаю у них в руках без чувств, и они бросают меня во дворе в углу на растрескавшуюся от жары почву.

На крыше хлева на белом известняке я черчу что-то вроде шахматной доски; играю, вместо фигур у меня камешки. И записываю то, что вижу. Когда стихают стоны и старик отпускает меня, я сижу с карандашом в руке, на темных холмах стучат невесомые африканские барабаны, и кто знает, что будет со мною дальше: я брошен на произвол судьбы, лицом к лицу со всеми опасностями ночи.

Глава IV

На этой кровати, в темноте, я вижу белый матрас с железными пружинами, на меня наваливается старик. Мне жутко больно, от тяжести его тела ноет лицо, обожженное навеки, только голубые глаза все еще живы и широко распахнуты. Скоро раздастся его крик: то ли хрип, то ли вопль наслаждения в тишине безлюдных просторов: может быть, его даже слышат в христианском селении за два километра отсюда, – особенно последний сверхъестественный стон, в котором изливается вся его радость.

Наконец он оставил меня в покое, я смотрю вниз на сарай без крыши, где хранят инструменты, похожий на заполненные мраком пчелиные соты, и меня с небывалой силой тянет к блокноту, я ныряю в чулан для балок и лопат, вытаскиваю из тайника блокноты, и вот мои руки прикасаются к растрескавшейся глине, в этих движениях – отчаяние всей моей сумрачной жизни.

Он меня сфотографировал; для него одного я появляюсь из темноты, на глазах у этого человека проступает мое изображение. Для него я оставил свои нескончаемые скитания по каменистым холмам, и вот теперь стою у его кровати, а он злится. Мое поведение его бесит, он так глупо кичится своим чином и возрастом, что хочется выть прямо в черное небо, под которым уже десять веков – война, обман и насилие.

Лежу без сил на кровати под открытым небом, и ночь освежает мне лицо. Что общего у меня с этим человеком? – думаю я, пока он пыхтит сверху, и от боли вцепляюсь ногтями в матрас; из насилия во мне рождается какой-то невероятный текст, – может быть, моими первыми буквами были бороздки, процарапанные ногтями по белой простыне; этот человек утоляет свою похоть, и, сам о том не догадываясь, обучает меня искусству письма – лицом к лицу с черным небом. Если бы я согласился рисовать, как ему хотелось, – а его бы это действительно порадовало, – он обходился бы со мной по-другому, повесил бы мои акварели у себя в музее, у меня ведь, на самом деле, способности; но как мне рисовать по его указке,

какими цветами сопротивляться этому человеку? Тут годится только текст, текст моей бессмертной души и моей свободы.

Прикасаюсь к его лицу; он начинает дышать глубже, дрожащие холодные губы пытаются поймать мой язык, но я прячу его глубоко в горле. Мои губы целуют только скалы; мое лицо открыто ему только на той фотографии; потом он ее порвал.

Он тоже смотрит на меня, облокотившись на край матраса; в его глазах я вижу, что мое лицо проявляется на темном фоне этой жизни ровно настолько, чтобы радоваться уже тому, что я существую: ведь стоит мне захотеть, и я сгину навеки или останусь жить в человеческой памяти.

Мой голос превратился в сиплый и грубый хрип; ну чего стоит моя голова, кому придет в голову читать книги, которые я пишу? Если бы он узнал, что я делаю, он запытал бы меня насмерть. Иногда искусство выбирает для тайной мести неожиданные средства; чем заняты мои дрожащие руки перед лицом ночных светил? Сомнений нет: я родился заново из желаний этого человека; плевать мне на дурацкие акварели, которые он заставлял меня рисовать, – какая удача выпала моей ничтожной судьбе, какой стиль я нашел себе у него на крыше, смертельно измотанный от близости смерти и кромешной нищеты; продвигаясь от страницы к странице, подставляя обожженное, уставшее до изнеможения тело золотистым ночным лучам.

При свете луны я пишу мелом на скалах у самого неба. Мы, дети этой пустыни, ненавидим вас; вы хотели утолить нами свои желания, искали Божий лик в наших лицах бродячих животных; все это вы найдете у нас в объятиях, но заодно – и свою смерть. Я лежу на спине и плачу, как не плакал ни разу в жизни, и все небо вместе со звездами отражается в моих слезах.

Что за текст явился мне там, на крыше хлева, и вместе с ним – обещание, что я останусь в человеческой памяти! Книги, которые я пишу во мраке моей жизни, как будто погружены в черное небо и полны смертельной угрозы. Может, он догадался, что я могу все запомнить: в этот вечер он колотит меня что есть мочи. Вместе с ударами его палки я получаю свободу на веки вечные, сейчас в этом уголке пустыни, когда он бьет меня в лицо и кричит:

– Тоже мне, невинное дитя!

Сквозь облака пробивается лунный свет, и все больше огромных облаков сливаются в сухие серые волны и безмолвно плывут в ночной синеве. Изю всех сил напрягаю зрение и разглядываю дом и крыши, принадлежащие этому человеку; он останется в памяти людей только благодаря мне, потому что я бесконечными летними ночами возрождаю все то, что знают о нем мои глаза, голубые, меняющие цвет глаза, вечно разглядывающие камни и светила. По чистой случайности он встретился именно со мной, именно с тем, кто был способен написать о нем, и обрел свой единственный шанс на бессмертие, хоть и такой туманный, неверный шанс. В моих блокнотах на той белой крыше были и моя судьба, и судьба этого человека – все, что разыгрывалось там, под проплывавшими белыми африканскими облаками.

Он знает, что я слоняюсь под стенами форта и не может удержаться и не позвать меня в свою большую железную кровать. Негр подзывает меня тихим свистом и дает поесть; я целую его широченные плечи и глаза с голубоватыми переплетениями сосудов; он одалживает мне расческу, свою я потерял, потом доводит до середины лестницы с глиняными ступеньками, ведущей на террасу, где старик уже на взводе ждет меня в нетерпении под самым Млечным Путем, пересекающим небо прямо над его кроватью.

Свеча в медном подсвечнике, поставленная на выступ стены, гаснет, а я слышу у самого уха дыхание старика, он ворочается, скрипят пружины. Мои мокрые и жесткие губы раскрываются, и он слизывает их соленый вкус. Его руки обнимают меня под голубой рубашкой, выцветшей за долгие ночи. Он часто пользовался мной вот так по вечерам и, хотя мне по-прежнему было страшно, я уже привык; прижавшись лицом к железным прутьям кровати, я говорю со своей бессмертной душой. Мне кажется, это последний человек, которого я вижу перед тем, как умереть; он пыхтит на мне, задыхается, словно хочет меня убить, закрывает мне все небо. Он смотрит мне в глаза, а в них пляшут ночные отблески; ищет мои губы, и как только добирается до них, его сотрясают спазмы, он кричит от невиданной силы этой волны, извергая, изливая ее на меня. И кровь этого человека – моя кровь, боюсь даже сказать, до какой степени моя. Когда он перестает кричать, я кладу ладонь ему на лицо; он не возражает против этого жеста, против того, что я прикасаюсь к нему; рука у меня смуглая и легкая, под ногти забились немного сухой розовой земли.

– Я – как ты, – говорю я ему, – я тоже один на свете.

Высвободившись из его рук, ухожу к себе на крышу. Какой прекрасный между нами установился договор. Свои блокноты я показываю только черному небу: они явились из темноты и скоро снова уйдут в темноту, если я умру.

Вопреки его воле, я обрел свою душу и бессмертие. Как хорошо мне теперь спится самым сладким на свете сном, даже изорванная одежда кажется мягкой, когда я засыпаю в ночной тишине, умиротворенный под легким ветерком, точно этот безупречный двор может защитить меня от смерти.

Я тогда нарисовал у себя на крыше клетки: эта легкая сеточка на белой известью площадке продолжает притягивать мой взгляд и теперь, когда я уже далеко оттуда; нехитрая схема, в которую я заложил свой способ остаться в человеческой памяти. Я бросаю камешки, заново проигрывая ходы: этот камешек – он, а этот – я; о, эти ночные расстояния, которыми я отгораживаюсь от него на крыше хлева.

Совсем рядом со мной пустыня и бесконечное небо. В лунном свете я вижу на крыше свои блокноты, податливость и силу слов. Они объясняют, с какой трагедией смирился мой разум. И что я нашел на шахматном поле своей судьбы в черно-белых квадратах, начерченных углем и подправленных мелом. Кто и над кем одержал победу. Ночной спектакль из отдельных сцен, похожий на шахматную задачу, которую снова и снова проигрывают в темноте ночи.

Я отправлю свои блокноты наудачу; в Азию, в Европу, на острова Океании и станцию в каменистых долинах.

Голубые и черные облака. О великая победа блокнотиков, которые камня на камне не оставят от славы Завоевателей.

Этот человек ни о чем не догадывается, но только мои невзрачные блокнотики могут подарить ему бессмертие; он, дошедший в своей гордыне до того, что построил себе мавзолей при жизни, будет обязан всем мальчишке, который едва умеет писать; это битва с ангелом и я выйду из нее победителем; ни от него самого, ни от его музея не останется ничего – только то, что я спас от забвения в своих разноцветных блокнотах, охристо-желтых, синих и красных, тайно отправленных почтой из этой пустыни.

И ночь, и все разыграно, как я придумал; бросаю пригоршню камней на клетки, прочерченные на крыше – в пустыне, здесь ничто не отвлекает меня от диалога со своей судьбой, и никакой надежды на хоть какой-то человеческий отклик.

Свеча в подсвечнике из меди погасла, вечером, среди теней, я на своей белой крыше бросаю камешки на шахматные клетки, чтобы отвести смерть. Что за обрывки я пустил гулять по свету, есть там такие, что трудно разобрать написанное; да и кто будет читать блокнотики, пронизанные светом звезд, кому захочется смотреть моими глазами? Вот что я сделал, и хотя от писателей моего времени меня отделяет пропасть, в Африке у них обнаружился неизвестный соперник.

Звезды скрылись за облаками, а я все-таки поднимаю голову: в эту ночь движение звезд все больше отдаляет от меня угрозу смерти, мне становится радостно, спокойно, теперь что-то происходит уже отдельно от меня.

Ночь за ночью ветер высушивает мои слезы. Просыпаюсь по какой-то счастливой случайности задолго перед рассветом, стою на крыше над восхитительной геометрией двора и не знаю, а вдруг моя боль – просто безумный крик о задуманной под звездным небом победе. Что за детство мне выпало, вдалеке от людей и от мира, на службе у вечности. Из какого безмолвия я родился в этом оазисе с согласия ночных светил. А для старика я, быть может, просто сон, явившийся в эту пустыню из далекого прошлого. Теперь, когда я смирился с ужасом моей жизни, мне все кажется прекрасным, даже жестокость этого человека. И моя собственная. И ничего мне не нужно, только бы опираться вот так на локоть, почти засыпая, на волоске от смерти, и говорить со своей душой, писать под утренними звездами, перед Всевышним, моим единственным Судьей и Господином.

УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ

Жил в Перигоре священник – в деревушке из двадцати полуразвалившихся домов под серыми каменными крышами; с одной стороны деревушка упиралась в старые сады, заросшие ежевикой, с другой на утесе над рекой Везер, отражаясь в ее водах, стояла церковь и тут же – дом священника. Деревушка была малолюдна, и священник, поставленный на несколько приходов сразу, постоянно ходил из деревни в деревню, возвращаясь к себе только под вечер. Это был человек лет тридцати пяти, неприятный до крайности; ему-то мои родители, не долго думая, и доверили мое воспитание, попросив быть со мной построже, а как он это исполнил, вы скоро узнаете.

В тот вечер, когда я попал к нему, небо было ясным и золотистым – не предложив даже поужинать, он сразу отвел меня в мою новую комнату. В коридоре, таком же кошмарном, как и владелец дома, он приоткрыл одну из дверей и оставил меня в одиночестве, пробурчав пару невнятных фраз, вроде: вот и на нашей улице праздник; кто рыл другому яму, сам в нее попадет; а теперь будь что будет; спите спокойно в объятьях Морфея; и тому подобную чушь. Я слышал, как он зашел в соседнюю комнату, что-то там двигал, бормотал сам с собой, потом замолчал.

Я успел проспать не больше часа, когда меня разбудил жуткий вой. Натянув на себя простыню, я лежал с круглыми от ужаса глазами, больше всего на свете боясь, что этот дикий вопль повторится. Но ничто больше не нарушало ночной тишины. В лунном свете из темноты выступали несколько ветвей одичавшего сада позади дома священника; широкие полосы света проникали в окно комнаты, освещая угол стола с моими синими школьными тетрадками, беленую известью стену, и робко дотягивались до краешка кувшина с водой. Хотелось спать; я заснул, не слишком задумываясь о странных привычках священника: это ведь он кричал в соседней комнате, которую отделяла от моей только тоненькая перегородка.

Утром, выйдя из комнаты, я нашел моего аббата в неплохом расположении духа; он варил кофе. Справедливости ради надо сказать, что у него мне довелось пить самый вкусный кофе на свете, крепкий и бархатистый, с загадочным привкусом жара и золы. Варил он этот кофе с особой тщательностью по собственному рецепту, вполголоса что-то приговаривая, – слова были обращены не ко мне, а к огню, на который он то дул осторожно, то ворошил поленья, разговаривая с ними, как с человеком, – а едва кофе закипел, снял его с огня и на мгновение поставил на раскаленные угли, которые выхватывал прямо пальцами, словно ради забавы, и, кажется, даже не обжегся; так прошло больше четверти часа, и все это время он провел на корточках у очага, зажав полы сутаны между коленей.

Выпив кофе, мы вышли в сад. Сели на ступени там, где лестница спускалась к аллее, и он велел мне переводить с латыни какой-то текст из моего учебника. Как мне показалось, сам он латынь знал неважно. У него была неприятная привычка запускать пальцы в свои кошмарные черные волосы и с упоением

чесаться, меня это раздражало. Хуже того, он все повторял, как я должен быть благодарен родителям, которым пришла в голову великолепная мысль поручить меня его заботам. Стоило мне хоть на секунду отвлечься, он хватал меня за ухо, и я чувствовал, как в него вливаются два крепких и острых ногтя. Одеванием ему служила кошмарная грязнущая сутана, поскольку он был скуп и считал, что сойдет и такая. Он обращался ко мне в самых приятных выражениях, но все это с какой-то издевкой; был вежлив, словно обедню служил: то и дело называл меня «Молодой Человек», будто совал кусок пирога, а по существу звучало: «Мое дело маленькое, мне положено быть с вами любезным, что ж, нате вам, и скажите спасибо, дорогуша». За тот урок латыни, перемежавшийся любезностями, мы одолели не больше страницы; он встал, я тоже, и мы с ним оба радовались, что все закончилось: мне надоела латынь, ему – любезность. Честно сказать, в те июньские дни своего шестнадцатого лета я предпочел бы урок совсем другого наречия – языка любви, того, что даже древнее латыни, хотя говорят, уже и латынь пренебрегала приличиями.

Предоставив меня Сенеке и Цезарю, он широким шагом отправился в другую деревню. У него ведь несколько приходов; ну и пусть оставит меня в покое, вот будет славно: я уж сумею приятно провести время и легко обойдусь без священника.

Как только он скрылся из виду, я отложил книги и не стал разбираться с победами Цезаря, а начал присматриваться к своей новой жизни. У меня перед глазами на том берегу Везера раскинулись могучие холмы Сарлатского края, поросшие густыми лесами. Вокруг меня – наш сад, расчерченный бордюрами из дикого камня, аллеями и ступенчатыми спусками. Свободно разросшиеся деревья и кустарники оттеняли его чуть ли не античную строгость: парк был разбит совсем неплохо. Шиповник и ежевика, цветы, травы, фруктовые деревья – все это разрасталось как придется. Из беспорядка рождалось особое очарование сада, но и растерянность: невозможно было сориентироваться в этом хаосе, который венчала, возвышаясь над зарослями цветов, странная бледно-голубая гипсовая статуя Девы Марии. Вид у нее был немного глуповатый: вылинявшие от дождя глаза, подслеповатое и бессмысленное лицо под накидкой и округлые дрябловатые руки; она парила над буйной растительностью, выпятив живот. А за ней – пустота; сад, разбитый на утесе, был окружен синевой: внизу, с одной стороны, катил воды Везер, с другой виднелись крыши деревни.

Солнце освещало нашу церковь – бывшую монастырскую часовню с толстыми стенами и узкими, как бойницы, окошечками. Меня же привлекал дом священника, накануне я успел разглядеть его лишь мимоходом. Дом с большой каменной крышей и надоконными поперечинами выглядел очень старым. Мне никто не мешал, и я решил осмотреть его получше.

На первом этаже массивный камин окуривал дымом кухню, где мы пили кофе. Я открыл маленькую дверку за каким-то шкафом и с удивлением обнаружил, что она вела в хлев, откуда доносилось блеяние нескольких овец. Еще я нашел чуланчик с дровами и что-то вроде кузницы.

Каменная лестница вела на второй этаж. Накануне, ложась спать, я заметил в своей комнате большую красивую раковину, а под кроватью – морячки

сабли и луки со стрелами. Неужели мой священник тосковал о море? Я открыл дверь в его комнату; любопытная особенность: в ней вовсе не было кровати. Для сна служило устроенное в углу ложе из одеял. В остальном все в комнате соответствовало моим ожиданиям: там царили аскетизм и набожность; удивили меня только оружие на стенах и большая коллекция бабочек. Бросилось в глаза еще отсутствие часов, календаря, газет – в этой комнате неоткуда было узнать, какой нынче час и какое число.

Остальные комнаты – дальше по коридору – служили кладовками, в них было темно и трудно передвигаться из-за всякой всячины, нагроможденной там поколениями священников. Чтобы пробраться вглубь, потребовалось бы несколько дней.

Я открыл ставни в первой комнате, чтобы лучше видеть; там были свалены скамеечки для молитвы, аналои, сломанные стулья, а сверху до потолка громоздилась другая развалившаяся мебель и подпорки для гороха.

Во второй комнате, побеленной известью, как и все комнаты в доме священника, тоже обнаружилось нагромождение мебели, ящиков и корзин, наполненных старыми тряпками. Я видел там платье служанки и кюре, полотняные сутаны и нижние юбки, пучки лаванды, белье, летние шляпки, белые панталоны с разрезами по бокам, – такие бывают на девушках, приподнимающих юбки воскресным утром за деревенской церковкой, пока звонит колокол, зовущий к мессе. В одном сундуке я насчитал больше пятидесяти пар таких штанишек, белоснежных и совершенно новых. Дальше в ивовой корзине были сложены выцветшие юбки, солдатская форма, театральные костюмы – хватило бы на тысячу переодеваний. В углу рядом с аккуратненькой колыбелькой пылилось «Положение во гроб», а в шкафу, не смолкая ни на минуту, гудел рой диких пчел.

В третьей комнате прямо на полу сушились кукурузные початки. Я уже собирался закрыть дверь, не заходя внутрь, когда заметил, что початки разложены геометрическим рисунком: безукоризненно ровные круги, квадраты, солнца и более сложные фигуры, к тому же початки были подобраны по цветам и оттенкам – на все это моему священнику должно было понадобиться много дней работы и прорва терпения.

Наконец, последняя комната в глубине коридора была просто сушильной для табака. С потолка свисали связки длинных листьев; их сильным и сладким ароматом пропитался весь дом.

Приставная лестница и люк в потолке вели на чердак, тянувшийся на всю длину дома. В дневном свете, который сочился между плитками крыши, сквозь переплетение балок и поперечных досок, можно было без труда разглядеть валявшиеся на полу старые книги: полный Вергилий, Лукреций, «Метаморфозы» Овидия, Сервантес, «Жизнеописания» Плутарха, богословские наставления. Полусгнившие портреты священников, составленные на полу без рам, взирали на меня широко раскрытыми глазами, как судьи – кто благожелательно, кто сурово, кто добродушно, а кто и сердито – они наблюдали за мной, следили за каждым моим движением. Поначалу это меня смущало: куда бы я ни ступил, тут же оказывалось, что их взгляды снова устремлены в мою сторону.

Я читал, примостившись поудобнее, насколько это вообще возможно в духоте под крышей, когда на лестнице слышались шаги. Мой священник открыл люк и просунул голову на чердак. Меня он не заметил: глаза не сразу привыкают к чердачному полумраку. Я не двигался. Горло мне сжал упоительный страх. Он одолел верхние ступеньки:

– Ты тут, черт бы тебя побрал?

Я не отозвался. Чтобы не зря подниматься на чердак, он стал стряхивать пыль со старых книг, с размаху ударяя ладонью по фолиантам и браня меня на чем свет стоит, так что, в конце концов, прямо на меня и наткнулся.

– Аа! – воскликнул он, – так мы все-таки тут.

– Ну да, – отвечал я в том же тоне. Разглядел ли он мою улыбку? Но он уже тянул меня к себе. Я стоял на коленях, и он тоже опустился на колени, чтобы сподручнее было задать мне трепку. Сдернув с меня штаны, он с силой, как до того фолианты, отколотил и меня. Наверно, ему было тяжело меня держать. Он велел подняться и лечь поперек низкой балки, тянувшейся вдоль всего чердака, и пригнув мою голову вниз, закончил экзекуцию со всеми удобствами. Потом он ушел, и я остался один – полуголый, еле дыша, весь в поту, на обжигающей жесткой балке. Люк захлопнулся, и я приходил в себя, внашал себе, что моя судьба не так уж и сурова, что в древнем Риме мальчики терпели такие же наказания и ничего, жили же; наконец, я довольно бодро слез со своей балки с черными от пыли ногами и пунцовой спиной, и, приведя себя в порядок, вернулся к чтению Плутарха.

Когда же я наконец слез с чердака, по тишине, царившей в доме, мне стало ясно, что я опять один. Я зашел в свою комнату, вымылся холодной водой, да так тщательно, что израсходовал всю воду из небольшого кувшина: я был весь черный от пыли. Потом выглянул в окно: передо мной были деревья и небо. Пели птицы, по двору расхаживали куры, особый тонкий запах свидетельствовал о том, что где-то поблизости живут ласки. Я был еле жив после перенесенной взбучки, все тело лихорадило, и мне захотелось спуститься в сад.

В конце аллеи журчал родничок, я попил. Меня опьяняло июньское буйство зелени; запах гвоздик и роз отзывался в каждой жилке. Прохладный ветерок гладил меня по лицу. Стемнело. По неистовому грохоту кастрюль я понял, что вернулся мой священник. Огромная охапка хвороста, которую он швырнул в очаг, затрещала и разом вспыхнула. Он позвал меня два или три раза, но я нагло не отзывался, тогда он вышел на порог ярко освещенной кухни, где его высокая худая фигура была хорошо видна в свете пламени, и даже сделал несколько шагов к зарослям, в которых было мое укрытие. Он просунул руку в листья самшита, где я прятался, и рука коснулась моего лица.

– Пошли, – закричал он, – марш в дом, узнаешь, что бывает с нахалами, которые меня не слушаются.

Чем я его разозлил? Вслед за ним я поднялся из залитого лунным светом сада в мою комнату, там он привязал меня к стулу и задал новую трепку, но уже розгами. Потом, опустившись рядом со мной на колени, долго ласкал, тоже не без странностей: нежно баюкал, так что сухие стебельки, застрявшие в одежде, впились мне в кожу, а после потушил свет и, вернувшись к моему стулу, молча

целовал мне лицо в крошечной темноте; прошло не меньше четверти часа прежде, чем он меня развязал.

Было уже девять вечера, когда мы решили спуститься вниз. Наскоро поужинали чечевичной похлебкой, выпили кофе с галетами, и я пошел спать.

Сквозь узкое окно моей комнаты виднелись деревья. Простыни пахли свежестью. Среди ветвей слышались мелодичные птичьи голоса. К их зову примешивалось пение лягушек из прудика в саду, и в нем тоже звучали любовь и соблазн. Зеленые заросли пели под звездным небом. Издалека им вторил другой лягушачий хор, звуки невыразимой нежности, протяжные трели. Иногда какая-то часть зарослей вдруг целиком замолкала, а в других продолжали петь, потом все стихало и снова распевало без устали. Этот зов не давал мне уснуть. До моей постели доносился цветочный аромат, освежавший очарование ночи. В роскошном июньском небе мигали россыпи звезд; из сада чувствовался запах пыльцы и роз. Я ничего не мог с собой поделать. Спина горела и спать не хотелось совсем, а хотелось, наоборот, туда, в гущу прохладной листвы и теней.

Босиком, так тихо, как только мог, я прокрался по лестнице и открыл дверь. Казалось, я попал в райский сад. Темная каменная крыша дома четко вырисовывалась на фоне неба. Неподвижный пруд поблескивал в тени елей. Под луной белели цветы. В великолепии и неподвижности ночи я медленно прошагал по светлым камешкам одной из аллей и вышел на поляну; там, среди тысяч листьев я остудил горящую исполосованную спину, от души понежившись на зеленом ложе. Порой взмах крыльев в темной листве заставлял мое сердце биться чаще. Овцы толкались в стенки хлева; эти неровные удары раздававшиеся в ночи, перемежались такими соблазнительными паузами тишины, что мне захотелось довести себя до пика блаженства; под конец я откинулся на нижние ветки деревьев, и они заботливо меня поддержали.

Потом, немного усталый, я пошел в дом, надеясь, что мой аббат уже видит десятый сон.

Стены дома были невероятно толстыми, и утром я устроился прямо в глубокой оконной нише, где царили прохлада и покой. Окно выходило на север – в сторону церкви. Солнце стояло уже высоко, и всё вместе – солнечные лучи, прозрачный воздух, кусочек холма, который мне было видно, а заодно и развлечения, которые обещала жизнь у священника, только усиливали мой аппетит, тем более, что вчера я не особенно наелся за ужином.

В саду я видел зеленый горошек и виноград, которые орошал ручеек; и ни одной живой души. В этот час мой священник, наверно, давно уже был в дороге. Я спустился вниз, отрезал себе хлеба и набил им карманы. В то утро я не нашел никакой другой еды в этом беднейшем доме, где меня уже начинал мучить голод, но с удивлением обнаружил, что бедность доставляет мне удовольствие, так же, как и несправедливые наказания священника. На самом деле я легко мог питаться и получше, ведь в середине июня в огороде уже созрел и горошек, на который никто не обращал внимания, и черешня, и восхитительная спелая земляника, и никто не мешал мне наведываться туда каждый день. Счастливым от этого открытия, я радостно предвкушал будущий набег на огород; настроение у меня было

отличное, ведь в воображении я уже насытился черешней, и я тут же уверил себя, что в нескольких запертых шкафах у священника припрятаны роскошные яства.

Не составило большого труда отыскать ключи, которыми я открыл почти все дверцы, какие только смог обнаружить. Никакой еды я не нашел, но в одном чулане наткнулся на странный предмет: бревно примерно в метр высотой с чертьмя плохо обструганными ветками, слегка похожими на руки и ноги. На верхнем конце этого полена было ножом вырезано женское лицо, увенчанное соломённой шевелюрой. Кое-какие детали дорисованы карандашом. Может, это жена моего священника? Красная тряпка служила ей юбкой. Перед этим отвратительным идолом в нескольких ракушках жгли фимиам. Не зная, что и думать об этом видении, я закрыл чулан и положил ключ на место в баночку на этажерке в кухне. Этот необычный дом опьянял меня, будоражил, выводил из себя, изменял мой характер до такой степени, что абсолютно все казалось возможным, все было мне нипочем: я мог бы даже украсть деньги, если бы нашел. А пока я наведалься в комнату, где сушился табак, стащил и припрятал для себя в укромном месте приличную порцию сухих листьев, завернул их в платок, наломал на кусочки и измельчил в труху – табак был готов к употреблению.

Мой чудо-аббат вернулся ровно в полдень, я как раз ел черешню. Я видел, как он взбирался по тропинке, высокий, широкоплечий, узкобедный. Он торопливо переодел ботинки: те, что уже пропахли, затолкал под кухонный шкаф, а на ноги надел свежие. Похоже, его правилом было ни секунды не сидеть на месте: он уже снова куда-то собрался, и, вот так история, предложил мне пойти с ним.

Мы обходили фермы под предлогом сбора денег для бедных. Нам всюду предлагали выпить – вежливый способ извиниться за то, что денег не дают. Очень скоро дворы начали нам казаться недостаточно просторными для наших нетвердых шагов. Мы побывали не то в семи, не то в восьми домах, садились за столы из потемневшего дерева, пропахшего хлебом и дешевым вином, выпивали стаканчик. Сквозь хмельную дымку в памяти у меня всплывает девушка лет двадцати, которая все то время, что мы пробыли у ее родителей, просидела на каминной подставке для дров и грубо ответила нам, что денег у нее нет; она была хороша собой, но изможденность лица выдавала в ней сластолюбие; не знаю, сама ли она доставляла себе удовольствие или у нее были любовники; все в ней дышало чувственным опытом, опытом наслаждений, неистовой, ненасытной радостью; кажется, она была немного похожа на меня.

Мой кюре, вместе с ключами от нашей церкви, показал мне ключи от нескольких священнических домов в других своих приходах.

– Вот мои гарсоньерки, – сказал он, – входи, входи.

Мне вспоминается незнакомая деревня, наша быстрая неловкая ходьба, палящее солнце, опьянение, которое мы старались скрыть от старух, вязавших длинные носки на приступочках у своих домов, и сад, полный ежевики и пчел. Он завел меня в старый священнический дом, служивший ему для наслаждений. В полутемной гостиной с закрытыми ставнями он (...)¹ на разлезшемся диване;

1 Слово опущено самим Ф.О. или изъято во французском издании 1964 г.

потом, разомлев от вина и грубого наслаждения, я позволил ему овладеть мной; это было не так больно, как взбучки, которые мне уже не в новинку, и я заснул на ковре, как только он закончил свою оргию.

Пора было возвращаться: «Ты еще не все видел», – сказал мой священник; вечером, когда небо уже золотилось, а вести меня в другие «гарсоньерки» не было времени, он дотащил меня до разрушенных ферм на краю небольшого лужка – дома, казалось, вот-вот обрушатся в протекавший тут же ручей. Они тоже принадлежали священнику – перешли к нему по наследству. Он схватил меня за руку, сорвал пучок крапивы, распахнул какую-то дверь и прикрыл ее за нами. И вот он уже хлещет меня крапивой, к нему возвращаются силы; вот я, чуть живой от усталости и боли, прислонюсь к какому-то комоду в заброшенной комнате, где нету кровати, а пол завален обломками, отвалившимися с потолка; мне виден только застывший маятник, да лемех плуга, да проломанный стул, да ящик комода, который я выдвигаю, чтобы удобнее за него ухватиться, и мне страшно, что священник в запале обрушит этот ветхий домишко, и тогда все, что осталось от потолка, обвалится нам на головы, или он сам сквозь трухлявый пол угодит в подвал.

Потом мы возвращаемся той же дорогой, отряхивая колени, перепачканные пылью и штукатуркой. Мое королевство, – сказал священник, имея в виду дома при церквях и разрушенные фермы, ключи от которых он перебирал в своих глубоких карманах.

Когда мы вернулись, он дал мне хлеба. Ласково, почти по-братски, в вечерней тишине он пододвинул ко мне стакан вина, чтобы я справился с усталостью, накопившейся от дневных блужданий, а из сада к нам долетал чудесный свежий ветерок. Я так устал и был так счастлив, что, как только оказался в постели, погрузился в глубокий и прекрасный сон, лучший за всю мою жизнь.

Утром я, как и прежде, остался в доме один. Он снова предоставил меня самому себе. Я думал, исповедуется ли он, и если да, то обо всем ли рассказывает на исповеди. Я подозревал, что может быть он и несколько других молодых священников из того же теста признались друг другу в своих грехах и никому другому не исповедуются. Мой-то, судя по всему, что я о нем знал, наверное просто ни в чем не признается – даже таким, как он сам. Итак, меня занимал только мой священник, больше я ничего не различал впереди и не догадывался в то утро моей жизни, что меня ждет счастье и оно все ближе. Подозревал ли я что-то такое? Неужели никакого предчувствия?

Лучи солнца высушили в саду росу, но в моей комнате с белеными известью стенами все еще сохранялась тень, свежая и прозрачная, словно голубая вода, в которой отражается небо. На дом падала тень от церкви; к тому же окна выходили на север, а от источника так тянуло сыростью, что подгнивал пол, стены покрывались зеленой и разрасталась крапива, которой по вкусу старые сады и священники. Яркое июньское солнце тут же разогнало остатки сна, увлекая меня прочь из тихого прохладного дома.

Я вышел наружу. Передо мной был прекрасный сарлатский пейзаж. На лугах начинали косить. Вдалеке косари срезали высокие зеленые травы; точили

под деревьями косы, отбивали их молотками, и эхо от ударов отдавалось в скалистых утесах, окаймлявших Везер.

Я сел на ступени церкви, положил рядом свои латинские книжки. Наша церковь, окруженная полуобвалившейся каменной кладкой, которая ужасно нравилась змеям, поглядывала сверху вниз, словно хищная птица, на тропки, ведущие в деревню. У людей в XI веке были странные понятия, и лепной фронтон церкви мог бы придать духу любому робкому юноше.

Я читал. Мальчик лет тринадцати, не ожидавший кого-нибудь здесь увидеть, прислонил велосипед к стенке. Отдать хлеб, который он привез, мне или положить на порог дома священника? Он распустил веревки, которыми буханки были укреплены на багажнике.

– Можешь отдать хлеб мне, – сказал я.

Весь его вид, движения, улыбка показались мне самым прекрасным на свете порождением весны. Он порылся в кожаной сумке, висевшей у него на боку, вытащил блокнотик с карандашом, ловко прислонил карандаш о кончик языка.

– У меня тут список...

Он сорвал пару черешен.

– Вы еще будете здесь?

– Все лето, – смущенно, как и он, произнес я.

И он уехал, не задержавшись больше ни на минуту, так и забыв о своем списке.

Я расспросил моего священника о мальчике и узнал, что тот привозит хлеб дважды в неделю. Через несколько дней наш хлеб начал черстветь, и как-то раз, когда я читал на ступеньках церкви, а пчелы сердито гудели в поисках пыльцы, я увидел, что тот же мальчик говорит со священником. Он жил в деревне и развозил хлеб по окрестностям. Какой взгляд, какое страстное ожидание радости! Если бы только он осмелился, если бы сделал шаг мне навстречу, – думал я, не догадываясь, что скоро он отзовется на мое чувство, что мы уже связаны друг с другом, что все случится само собой, как это бывает в любви, если ей угодно.

День был ясный и теплый. На горизонте над лесами поднимались к солнцу струйки дыма. На полях кипела работа, виднелись стога сена: лето было в самом разгаре. Мы постояли немного в смущении, ничего не решили и побрели по зеленому лугу в сторону небольшой лощинки у реки. Там была просторная пещера, намытая проливными дождями, и нас непреодолимо влекло в ее прохладу; мы проникли в темный лаз, в глубине журчал по камням родничок. Мы двигались от расселины к расселине, освещая себе путь спичками; чем дальше мы удалялись от свежего воздуха, тем быстрее они гасли, и вот уже пропали последние отсветы дневного света, а мы шагнули на влажную почву пещеры. Я взял его за руку. Я тебя люблю, – сказал я. И он ответил: Я тоже, я тоже вас люблю. Мы обнялись. Никогда еще не было на свете таких нежных и пылких объятий. Ему нравилось любить и быть любимым. В тишине среди камней его поначалу неуверенные губы раскрылись и, словно восхитительный цветок, принимали мои самые долгие поцелуи. Мы вышли из пещеры и оказалось, что родник, который мы слышали, бьет из под земли тут же рядом и превращается в ручей. Мальчик ничего не сказал, но

явно обрадовался чистому ручейку, который там, в пещере, пробежал неподалеку от нас, и стал пить долгими, аккуратными глотками.

С нежной улыбкой он сжал мою руку и поехал дальше развозить хлеб. Я остался на лужке у ручья, и в каком-то опьянении вдыхал запах свежескошенной травы. Я пробыл там целый день, на меня словно снизошла благодать. Вечером я вернулся к священнику.

Теперь я думал только о мальчике. Утренние часы лучше всего отвечали духу нашей зарождавшейся любви. Однажды я читал в саду священника; заложив пальцем «Комментарии» Цезаря, я поднял глаза на тропинку, и мне показалось, что я вижу мальчика. Мне был примерно известен его маршрут. Я не выдержал и отправился на поиски. На дороге мне то и дело чудился в воздухе его запах, еще не рассеянный слабым ветерком. Лужайки в тени высоких утесов были свежи, как его губы. От одной мысли, что он проходил здесь, у меня колотилось сердце. Инстинкт вел меня прямо к нему.

Я нашел его спящим у ручья в той самой лощинке, где мы были с ним в прошлый раз – ее называли Чертовой лощиной; велосипед валялся в кювете, на багажнике еще оставались пара-тройка буханок. Я подошел ближе. Пели дрозды. Густые заросли, кишевшие птицами, отделяли лощину от серых скал, которые четко вырисовывались на фоне синего июньского неба. Над ними парили сарычи. Юные змейки свивались в зеленой траве, еще сырой от росы. Он спал. От его волос шел аромат духов, усталость слегка исказила прекрасное лицо. Он спал, вытянув руку; эту маленькую ладонь я уже держал в своей, и казалось, она ждет меня со всей силой любви и бесхитростностью дружбы.

Я сел с ним рядом. Черты его лица немного напоминали мои; мы были одного пола, поэтому я и был так счастлив в то безмятежное утро. Я взял его руку и осторожно сжал.

– Я заснул, – сказал он.

– Ну да, ты заснул, а я тебя разбудил.

Я знал силу слов. Мне кажется, его соблазнило само звучание моего голоса. Даже о самых невинных вещах я говорил с ним совсем не так, как он привык. Трепет, который охватывал меня в его присутствии, сам собой менял тембр моей речи: чуть хрипловатый голос волновал его, внушал ему мою волю. Тон моих слов был таким необычным, что он забывал, кто он и откуда.

– Я еще не развез весь хлеб.

– Я знаю.

Он поднялся. Мы пробрались в тот же темный лаз, что и в прошлую встречу. Под землей во мраке и тишине я спросил: Ты где? Мои пальцы нащупали его лицо, его нежные губы. Коридор этот когда-то давно проделали водяные потоки, мальчик прошептал: «Я Вас люблю». И шагнул ко мне в объятия, взволнованный, как наши с ним голоса в этой пещере. На свету он отлично владел собой, даже немного хитрил, а здесь проявлялась его истинная природа – нежность и страстность. Он утомился за день и, казалось, немного охмелел от усталости. Я обожал его, в темноте мне не было видно его лицо, но оно представлялось мне зеркалом самых

тайных желаний моей души. «Я буду твоей девушкой», – сказал он. Мне нравилось в нем все. От девушки в нем было больше чем в любой из них, в сумраке пещеры он перевоплощался в восхитительную подружку. Я забрал в руку его волосы и осторожно потянул; там у влажной холодной скалы в тишине пещеры, где слышалось лишь тихое журчание подземных вод, мне казалось, что я прижимаю к груди самую любовь и вот-вот умру от счастья.

Мы вышли на луг, и к нему опять вернулись мужественность, задор, достоинство. Я не напоминал ему о том, что он называл себя девушкой; мне кажется, ему нравилось, что я умею то обращаться к его душе – как там, в глубине пещеры, – то видеть в нем мальчика. Он достал из кармана нож, отрезал от одной из буханок большой ломоть и протянул мне.

– Съешьте и вспомните обо мне.

И освященный хлеб не растрогал бы меня сильнее.

Я вернулся к священнику и сел в тени под стеной. Наша церковь хорошо защищена: в ней были только окошечки-бойницы, да узкая дверь. Два рыцаря верхом на одном коне, высеченные из серого камня, – явно произведение тамплиерского искусства. Добропорядочный кюре содрогнулся бы, подними он глаза на эти странные скульптуры под самой крышей. Но даже и без этих безобразий, повсюду здесь читалось отчаянная приверженность скандальному убеждению, что Мужчина сотворен, чтобы быть с Мужщиной, а не с Женщиной, что Женщина – Враг. Я угадывал истинные тайны, истинное наслаждение. В этих краях оставили свой след тамплиеры. Вороны планировали на скалистых утесах, испещренные дырами и проломами; необычные чары исходили от огромных холмов, поросших кустарником и молодыми каштанами. Июньское солнце выжигало луга, сено убирали в тень скал, подмытых водой. Летняя жара, стрекотание насекомых в лугах, кишаших змеями, обостряли мою любовь к мальчику, который сам, как тот родник, бессловесно отдавал мне себя.

Летние грозы гремели над лесами посреди безоблачного неба. Лето нас опьяняло. Он чувствовал то же, что и я. Европа и в ней – жатва, пещеры и мальчики-содомиты – от всего этого у меня в крови пульсировали чудовищные мысли. В прохладных церковных залах я отдыхал от неистовства дня. Когда глаза привыкали к полумраку, я садился на скамейку и открывал молитвенник. Мне нравилась латынь; мужская мощь этого языка была созвучна биению моего сердца, моей страсти. Я был молод; меня восхищало, что в церкви, где нет ни души, меня никто не тревожит, тут можно сколько угодно грезить о любви. И все же, мне было страшно; гроза, глухо рокотавшая вдалеке, не предвещала ничего хорошего.

Несколько дней жизнь наша текла восхитительно. Он был весь мой, и никто в деревне ни о чем не догадывался. В пещере я лепил его, как лепят из глины, из прекрасной податливой глины. Какое чудное занятие в летнюю жару! На лугах убирали сено, а я в пещере восторгался мальчиком. Он рождался заново у меня в объятиях, под звуки моего голоса, казавшиеся почти пением. Там под землей я открывал ему его душу, и маленькие губы шепотом благодарили меня в темноте пещеры; там он давал волю своей тоске по нежности, по любовным объятиям. Как-то я зажег спичку, чтобы увидеть его, и он сам захотел раздеться; все

тело его было белым. Одежда упала к его лодыжкам, и передо мной оказалось самое лучезарное видение на свете. Он переступал с ноги на ногу на сырой земле – неспешный хмельной танец без музыки вдали от дневного света. Я зажег новую спичку, чтобы еще раз посмотреть на него, и почти сразу задул, благословляя сумрак, швырнувший его в мои объятия.

Мы вышли наружу. После восхитительной тьмы – жар и слепящий свет, день был в самом разгаре. Я предпочел бы вовсе не возвращаться в эту жизнь, остаться в пещере.

Как-то в двадцатых числах июня, когда мы с моим священником обедали, он вдруг сказал: «В деревне полиция».

У меня замерло сердце.

– Жуткая история, – продолжал он. – Мальчик, которому нет еще и тринадцати, отдавался кому-то из здешних. Кому – неизвестно. Сейчас парнишку допрашивают – надавят как следует, и придется ему в конце концов все рассказать.

Новость сразила меня наповал, я был убит. Мы сидели с ним за столом. Я не мог проглотить кусок хлеба, который уже положил в рот. Я представил себя в тюрьме. В эту самую минуту тот, кого я люблю, тоже страдает, что они с ним делают? Я думал о том, как ему страшно, как ужасен допрос. Первый удар молнии вонзился в него, второй предназначается мне. Я вышел и побрел, ничего не видя, по кукурузным полям, выжженным солнцем. От стрекотания насекомых сжималось сердце; тревога, охватившая меня за столом, превратилась в острую боль, которая навсегда поселилась в моей груди, а страх, словно удары ножа, только ее усиливал. Вечером меня арестуют, я в этом не сомневался. Вдалеке по-прежнему рокотала гроза. Я почувствовал, как жестока жизнь: крестьяне, вострявшие косы под скалами, кукуруза, пронзительный треск насекомых. Раскаты грома отражались от серых скал, изъязвленных вороньими гнездами. Я брел вдоль реки. Преступник! – повторял я. Мое наиглавнейшее счастье – преступление. В конце концов я свалился в канаву, точно слепой или пьяный.

Пора было возвращаться. Единственное место, куда я мог пойти в таком состоянии, была церковь – я открыл дверь из грубых почерневших неизвестно от какого пламени досок с массивными гвоздями. Я увидел свечи, приготовленные для покойника, и возвышение под гроб; прошел к алтарю, открыл наставление для певчих и прочел эту фразу: «*Sanctum et terrible nomen ejus, initium sapientiae timor Domini*»¹. Я прошентал молитву, и боль моя утихла. Потом я мерил шагами церковь, в которой никого кроме меня не было. Прохладные сводчатые залы, где мои шаги гулко отзывались в плитах пола, напомнили мне пещеру. Я ополоснул лицо холодной водой из кропильницы. Неужели за нами подсматривали? Кто мог догадаться о нашей любви? Теперь она умрет, и земля будет ей пухом. Мальчик чувствовал приближение грозы. Вчера на лугу в его взгляде мелькнула какая-то необузданная страсть, он с болезненной нежностью стиснул мою руку, и ушел, не выдав своего страха, он был как будто уверен в

1 «Свято и ужасно имя его, страх Божий – начало мудрости». (лат.)

себе и надеялся, что ему, как и прежде, удастся обмануть родственников. Но ему пришлось отвечать не им, а полицейским. Должно быть, наша деревня заявила в полицию соседнего городка; я представлял себе ужас тринадцатилетнего мальчика, который видит, что полицейские явились в деревню из-за него и все пронохали. Может, его пообещали простить, если он оговорит меня; может, пригрозили исправительным домом, если скажет полицейским неправду; что он вообще знает о законе, о родительских правах?

Над холмами сияла июньская луна, была ночь полнолуния.

А вдруг меня арестуют? Я решил спастись от тюрьмы при помощи магии, слиться с моей вечной душой; и ругал себя за то, что до сих пор ничего для этого не сделал. Скорей, скорей, я спустился к реке. Чаща, огромные, подгнившие в половодье таинственные стволы, которых никогда не касались лучи солнца, и самшитовые заросли под скалами, где издавна дремали вместе вода и тени. Я был молод, а это по нраву духам. Чуть не увяз в глине, еле выбрался из глубокой жижи и палых листьев и со свечой в руке дошел до естественного углубления в форме чаши, где из родника по капелькам сочилась вода. Я увидел свое лицо в зеркале вод. На моих губах играла улыбка, в которой хитроумие соперничало с удовольствием видеть самого себя и знать, что я вечен. Я замутил воду; лицо исчезло и появилось опять, когда зеркало успокоилось; я подул на воду и исчез, а через несколько секунд появился вновь. Я повторял это снова и снова, выдувая весь воздух из легких, выбивался из сил, задыхался, и наконец вытянул из себя душу, а потом, не открывая рта, быстро отошел от источника.

Теперь, когда я это сделал, душа моя спрятана в зеркале вод, где служителям закона не придет в голову ее искать, мое истинное я сокрыто от преследователей, и я вернулся к священнику.

Следующий день я провел у очага, время от времени поправляя горящие поленья. Я знал, что расследование продолжается, что мальчик ни в чем не признался, а я, получается, могу при помощи магии отводить грозящую мне беду. Вечером священник взял меня с собой проверить сети на острове посреди реки вверх по течению от деревни. Мы переплыли на лодке бурный поток и причалили к галечному мыску, которым оканчивался остров, – похоже, он был мало к чему пригоден, потому что весь порос густым лесом. Когда мы проверили сети и вынули рыбу, мой священник достал из кармана хлыст и повел меня дальше в лес. Я нервничал, все чувства обострились, мое внимание привлекал то подгнивший пенек, то запах палых листьев, то особая мягкость воздуха. По обеим сторонам острова течение было быстрым, в обоих рукавах плескались волны. Ни одно место не уступало моему юре. Когда мы обошли уже весь лес, он велел мне снять рубашку и лечь на поваленный ствол в самшитовых зарослях. Прижав кулаки к глазам, я решил, что буду стойко терпеть, и все же меня била дрожь; я ждал, но ничего не происходило, слышались только взмахи крыльев, да внезапный хруст веток. Я открыл один глаз; священник обламывал ветки вокруг, они мешали размахнуться. Наконец, первый удар, за ним – другие. На пятнадцатом он остановился, не решаясь продолжать. «Кровь пошла», – признался священник, слегка пристыженный,

что обошелся со мной так зверски. Я гордился тем, что лишь немного постонал под кожаным хлыстом, и дрожащим голосом отвечал, что заслужил больше сотни таких ударов. Мы покинули остров.

Он убрал хлыст в свой бездонный карман. Мы перебрались через реку и прошли к дому священника окольными тропами, чтобы не появляться на деревенских улицах.

В тот же вечер я вышел из сада и добрался до самых вершин утесов, мое внимание привлекла небольшая полянка в сухой траве; трудно было придумать более приятное место. Наверно я грезил: мальчик поднимался за мной по тропинкам и победно улыбался: в этой улыбке была и его грация, и привычка к независимости. «Я люблю вас больше, чем себя самого», – сказал он, садясь в Кресло Фей, выдолбленное в скале. Смотрите, вот ваше место, а вот мое, они тут испокон веку, – и он показал мне два углубления, вытесанных в сероватом камне. Я был зачарован его словами. Прозрачный, чуть золотистый свет лился на бесконечные Сарлатские холмы.

– Дело плохо, – продолжал он.

– Ты им рассказал?

– Я наврал. Если все обернется совсем плохо, я вас спасу.

– Как?

Он улыбнулся краешком губ. Я знал, что он очень сообразительный, да и сам я не дурак. Мы перекидывались вопросами-ответами, которые могли прийти в голову полицейским, это было как птичий пересвист в подступающей тьме. Когда мы обсудили все уловки, он встал и исчез в зарослях вместе с вечерними тенями.

Я, не спеша, вернулся к дому священника и уже собирался взять ключи, спрятанные под кустом ежевики, но застыл от удивления, заметив непонятный отблеск в саду. Священник распростерся на земле и, не догадываясь о моем присутствии, поклонялся стоящему в траве камню, который освещали язычки пламени небольшого костра – огонь выхватывал камень из темноты под деревьями. На лице священника застыло огромное и безутешное горе. Вдруг он откинулся назад и исторг жуткий вопль, от которого у меня кровь застыла в жилах. Потом с невероятным смирением и нежностью он прижался губами к камню, который, едва догорели поленья, опять окутала тьма. Сгорбившись и не заметив меня, священник ушел в дом. Когда я тоже решил войти, он не сказал ни слова, продолжая сердито готовить ужин. Что ему известно о моих делах? Догадался ли он, что я видел его поклонение камню? Мы с ним никогда ни о чем не говорили, так что я поднялся к себе и лег.

Неужели меня посадят в тюрьму? Сперва пещера, потом – тюрьма. Скоро зима, мальчик, несмотря на наши уловки, во всем сознается, и меня осудят. Я представлял себе жизнь как большую игру в «гусёк» с фишками, ходами и клетками: пещера, тюрьма, река, церковь. Окажусь ли я в тюрьме этой зимой и только ненадолго, как в игре? Станные слова мальчика «я вас спасу» давали мне повод надеяться, но ни в чем не убеждали. Страх еще продолжал терзать мое сердце, но я уже смотрел на вещи более уверенно. Стоит ли скрываться от тюрьмы или наоборот – отправиться в камеру, принять подобие смерти: как и сама

земля, она ведь зимой только притворится мертвой? Я любил духов и источники, даже брачным ложем мне стала пещера; что уж тут сетовать на судьбу? Монахи, колдуны и бароны Перигора тоже знавали проблемы с правосудием. В этом месте мои горестные раздумья прервал ужасающий вопль из соседней комнаты. Что там делает мой священник? Я задул свечу. В дверь постучали.

– Пошли, – крикнул священник, и в ту же минуту я услышал, что он уже сбегает по лестнице.

Я оделся. Положил в карманы несколько кусков хлеба и пошел за ним в лес. Когда мы зашли уже далеко, он забросил сутану под куст ежевики и продолжал путь в крестьянской одежде. В свете луны и звезд по пустынным полям.

– Защищайся!

Что ему взбрело в голову? Он поднял камень и, отступив на пару шагов, швырнул мне его прямо в лицо. Приступ боли, из губы потекла кровь, а он, воспользовавшись моим замешательством, набросился, стиснул мне горло и я потерял сознание. Очнувшись в мокрой от ночной росы траве, он сидел рядом и держал меня за руку.

– Вставай, пошли, я тебя спасу, – сказал он.

Те же слова, что я слышал от мальчика: «Если дела обернутся совсем плохо, я вас спасу».

– Боюсь я за тебя, – продолжал священник. – Давай скорее, помоги мне. Его слова долетали до меня словно издалека. Давай скорее, – повторяло эхо, пока я бежал вслед за ним по лесным тропинкам.

Мы оказались в заброшенном саду. Разожгли костер из досок и балоков, которые собрали там же среди развалин дома. Скоро по зарослям крапивы и ежевики, по кучкам камней побежали яркие отблески. Мой священник встал на колени и голыми руками поправлял поленья в огне. Вот распалась в пламени какая-то балка, и показалось докрасна раскаленное железное кольцо; он поддел кольцо палкой и повесил на стену прямо перед нами, там оно продолжало светиться и лишь потихоньку темнело от соседства с холодным камнем: кольцо остывало, пульсируя, время от времени снова озарялось, словно звало.

Я до смерти перепугался; в раскаленных угольях сияло второе кольцо, зубчатое: я не заметил сразу, что бросил в костер обломки телеги, это был стопор.

– Давай, бери его.

Я медлил и он схватил меня за волосы.

– Бери, тебе говорят.

Я подчинился и повесил кольцо на гвоздь рядом с первым, там оно стало остывать: сначала было прозрачным, потом ярко-алым, багряным, темно-бордовым – остро-зубчатое далекое солнце, самое страшное и сияющее видение на свете, обращенное ко всему Сарлатскому краю, к темным лесам, которые четко вырисовывались на ночном небе.

– Посмотри, что там в саду, у тебя за спиной.

У развалин, где мы расположились, несколькими каменными ступенями ниже, был старый-престарый фруктовый сад, освещенный нашим костром. Какая-то необыкновенная сила наблюдала за нами оттуда, из темноты. Я ничего не увидел.

– Посмотри под яблоню. – Тут я заметил среди травы и зарослей ежевики молодой и прекрасный белый цветок с раскрытыми, несмотря на темноту, лепестками. Хороший знак.

Душистая струйка дыма поднималась от нашего затухающего костра. Большие облака проносились над нами человечества. Мы улеглись поближе к углям, облокотившись на плиты, оставшиеся от внутреннего дворика. Спешить нам было некуда. Он снял куртку и набросил мне на плечи, а я придвинулся к нему поближе. Когда костер догорел, стали лучше видны развалины, где мы расположились; крыши из черного камня, зелень лавров, на горизонте – холмы, поблескивающие в лунном свете. Он нежно гладил мое лицо, лежавшее у него на груди, и от этой ласки я успокоился, мне стало легче. Я-то думал, что он грубый тип, а он оказался простым и благородным, он так добр ко мне, ни в чем не упрекает, никакой бессмысленной жестокости. Он давал мне отдых от меня самого, и я был счастлив в его объятиях. С ним рядом я погружался в блаженное забытие и покой – со всеми закоулками моей дикарской и нежной природы, которую он убаюкивал и не осуждал никаких ее проявлений. В тот раз в лесу это чувство первобытного братства наполняло меня счастьем, оно вело меня в глубины моего «я», к самому давнему, к тому, что я любил в себе больше всего. Его большие ладони гладили мои губы; недавно прогоревшие пахучие дрова опьяняли меня в окружении теней и деревьев. Я был теперь просто духом в объятиях моего священника. Мое одиночество кончилось. Он положил мою голову себе на колени, словно укачивал новорожденного младенца. Я закрыл глаза и слышал только его нежный шепот: теперь, когда преступление отделяло меня от остальных людей, он отгонял мои страхи. Он нашептывал мне что-то непонятное, от чего моя душа наполнялась радостью; потом стало тихо.

Я открыл глаза. Ярко-белые и прозрачные облака проплывали по темно-синему ночному небу. Меня познабливало. Закричала сова. Мы долго лежали в тишине, не двигаясь. Там в лесу мы были счастливы. Он поднялся: «Пошли, возвращаемся».

Утром, усталый после той ночи, я принес из хлева вязанки и швырнул перед очагом. От дождя природа помрачнела. Робкий дневной свет проникал сквозь каминную трубу и освещал золу и подставку для дров, так что они казались белоснежными; осторожно тронув золу ладонью, я ощутил нежное прикосновение, она была бледная и чистая, хрупкая и несказанно мягкая, как истинная любовь. Отпечаток моих пальцев остался в той мелкой теплой пыли райской белизны. Я не зажег спички, не стал разводить огонь; я пил холодный кофе на низкой скамеечке и смотрел, как льет дождь, словно слезы по моей утраченной любви.

Может, магия поможет мне не только отвести от себя опасность, но и вызвать в памяти мальчика, которого я люблю? У нас была кузница; сильными ударами молота я выковал подобие шпаги, короткой, легкой и выгнутой, как юная змейка – таким мне представлялся мой мальчик. Я бросил шпагу в Везер. Взял нож и воткнул себе в руку, рассекая ткани. Сначала был только глубокий порез, который почти не кровоточил; потом кровь крупными каплями потекла в реку, где бурные серые волны волокли мокрые ветки.

Через несколько дней я каким-то чудом нашел свою шпагу ниже по течению: ее вынесло на галечные отмели. Я покрыл ее поцелуями; я нашел ее после того, как чуть было не потерял в бегущих волнах; она вернулась, неся на себе прохладу реки и моей крови, прекрасная и юная, как мой мальчик, который теперь тоже должен был вернуться и слиться со мной, как бывало раньше. Я жил этим ожиданием, я думал только о мальчике, о его трепетных безумствах в моих объятиях, о его губах. Придет или не придет? Хлеб развозил другой. Я редко выходил из дома и не решался спускаться в деревню. Раз в пещеру больше ходить нельзя, мне нужно было отыскать прямо здесь новое укрытие, которое бы нам подошло; я обследовал дом, ризницу, церковь, заглядывал даже в просторный шкаф, ничего лучше лестницы на колокольню мне в голову не приходило – у этого места было одно преимущество: нас не могли застать врасплох, потому что каменные ступени гулко отзывались на любые шаги.

Как-то утром он вошел без стука, как дождь падает в золу:

– Вы один?

Я улыбнулся ему. Он сел со мной рядом на низкую скамейку перед каминном. Закрыв глаза и обнял меня. Я целовал его нежное лицо, мокрое от дождя, маленькие губы. Я приготовил ему кофе, который он пил мелкими глоточками из банки от варенья – моей чашки. Он отпил совсем немного.

– Ты еще вернешься.

– Да, – выдохнул он, подставляя мне губы.

Когда он ушел, я допил его кофе. Значит, он вернулся. Каким вкусным был этот кофе, сваренный на углях. У него был вкус любви, вкус его губ, он был нежным, как дождь, падавший на большие каменные крыши и гнившие во дворах стога соломы.

Церковь стояла недалеко от деревни. Однажды тихим и ясным вечером я узнал его голос, раздававшийся чистой победной нотой среди других голосов деревенских мальчишек. Похоже, он нарочно привел их играть на нашу дорогу, чтобы напомнить мне о своей любви. Я даже надеялся, что мы сможем снова встречаться, как и раньше, только теперь – на лестнице колокольни.

Наступила ночь, но мне не хотелось уходить в дом, не хотелось разрушать чары этого голоса, который я так любил. Над зеленью мокрых после дождя деревьев всходила луна; она сияла меж редкими облаками. Я вдыхал ароматы сада и грезил о любви, пока не вернулся мой священник.

Я приготовил ужин – только повар из меня никудышный. В остальном природа наградила меня весьма щедро, но в этой области не дала ни малейших способностей. Я раздувал во всю мощь адское пламя, выкладывал в кастрюльки все лучшие продукты из наших запасов, добавлял соли и перца, перемешивал снова и снова, но результат оставлял желать лучшего. Мысль о чудесном кушанье преследовала меня изо дня в день, а поскольку жили мы бедно, я мечтал приготовить невероятное вкусное блюдо почти что из ничего, чтобы раз и навсегда утолить терзавший меня голод. Однако каждый вечер варево оказывалось ничуть не вкусней, чем накануне.

Мы поднялись в комнату священника, где он, потушив свет и закрыв двери, по обыкновению привязал меня к стулу, чтоб я был полностью в его власти. На этот случай он держал целый ящик веревок.

С хлыстом в руке он сел на соседний стул. Брюки у меня были спущены до лодыжек, и когда он полосовал мне спину, казалось, что он буквально пожирает мою плоть, а она отходит ломтями и ложится на сковородку, как будто, раз ужин мне не удался, он решил съесть меня самого. Он положил хлыст себе на колени; в темноте я ощутил прикосновение его рук к моему обнаженному телу. Он ласкал меня, как женщину, широкие ладони неторопливо спускались вниз по бедрам. Уже некоторое время как я стал его служанкой, и делал все то, что, как мне казалось, делают служанки, а также и то, чего они, пожалуй, не делают, и мой священник был доволен мной больше, чем любой настоящей служанкой; кроме приготовления нашей нехитрой еды, мне полагалось убирать в доме, а иногда по вечерам не только ложиться под хлыст, но и быть ему нежной супругой. Это новое положение дел мне нравилось, и не потому, что у меня извращенная природа или мне милей женская роль – я мужчина в полном смысле слова и горжусь этим, – просто я хотел таким способом приобщиться к его силе. Перед тем, как избить, он обнимал меня, нашептывал мне на ухо, и я чувствовал, как пробуждается все, что было во мне женского; наедине с собой я, конечно, иногда бывал сам себе супругой, но от этого во мне мало что менялось, а в объятиях моего священника, под покровом ночи, я оказывался рядом с другим человеком, который хотя бы приблизительно разделял мои грезы и в ответ сам расплял их во мне. Поэтому, мне казалось, что я не столько отдаюсь ему, сколько открываю под его ласками другую половину моего существа – половину, которая была супругой мне самому. Я рассуждал в таком духе, что раз у меня впереди вся жизнь, чтобы быть мужчиной, в шестнадцать лет можно и проверить, какая из меня получится очаровательная и бесстрашная служанка священника. А служанка была лучше некуда: нежная, сильная, знающая толк в наслаждениях; после побоев я жалел ее и любил даже сильнее; после экстаза я удивлялся и восхищался тем, сколько энергии она вкладывала в эти радости; и от такого общения с самим собой я бывал совершенно счастлив.

Темнота и страх перед ударами делал меня чутким к малейшим шорохам: я замечал, как под дверью скреблась мышь. Шепот листьев, колеблемых ветром, доносился из сада сквозь запертые ставни. Идет ли там дождь, как бывает каждую ночь? Теперь он покрепче ухватил плетку и держал ее над самыми моими ногами, собираясь безжалостно их исхлестать; связка ремешков, отягощенных в придачу узелками, шлепнула по полу – звук был такой, будто просыпалась кучка черешневых косточек. Он потряс плеткой, чтобы она распуталась и можно было приступить: для этого он, как мне показалось, хлестнул плеткой по краю стола; и я, надо думать, испугался меньше, чем сложенные там книжки и перья. Он занес хлыст, а дальше, как я уже говорил, мне казалось, что меня поджаривают, обжигают, что он пожирает меня вместо ужина, что я попал на огонь. Я слышал свист ремешков, их щелканье по моей коже; в темноте удары иногда приходились по башмакам, тогда я переводил дух, но другие, более меткие, снова обжигали огнем.

Вот он перестал меня хлестать. Я вдруг почувствовал, какой холодный в комнате пол; веревки стягивали мне тело, горевшее от ударов хлыста, я приходил в себя, прижавшись к спинке стула. Так продолжалось долго: он всегда садился рядом, ни слова не говоря, и больше не прикасался ко мне и даже не глядел в мою сторону. Поясница все еще горела; удар плетки содрал мне кожу, и я мучился в темноте от боли, которая не торопилась утихать. Он развязал веревки, по-прежнему не зажигая света, и растянулся на своем ложе из одеял в углу комнаты. Я привел себя в порядок и лег рядом с ним. Здесь в углу он устроил что-то вроде логова; я нащупал скомканные одеяла, охотничий нож и патроны в кармане куртки. О чем он думал, пока обнимал меня? Сам-то я от сладкой усталости погружался в полудрему. В этой маленькой комнатке я был счастлив, счастьем было наше со священником полное взаимопонимание – он, как я догадывался, тоже погружался в мечты. Может, он и любил меня за это понимание, которое нас объединяло, нам ведь ни разу не пришлось что-то объяснять друг другу. В лесу завывал ветер; я различал редкие капли дождя; по коридору пробежала мышь. В темноте он ласково отодвинул меня и на коленях двинулся по полу в другой конец комнаты; я слышал, как он взял там что-то и, задев стул, вернулся назад. Он чиркнул спичкой, и я увидел, что принес он бутылку рома, маленький металлический чайничек и спиртовку, которую тут же зажег. Он налил в чайничек рома, добавил сахара, который достал из кармана, и лег со мной рядом на одеяла: огонек спиртовки был слабенький, в темноте мы не могли отвести от него глаз. Когда ром начал кипеть и потрескивать, он нагнулся и бросил туда горящую спичку, которая тут же погасла. Он зажег еще одну, и над ромом вспыхнуло синее пламя. Он снова придвинулся ко мне и мы еще подождали. Похоже, была уже глубокая ночь. Я совершенно не представлял себе, сколько времени. Бесконечная нежность охватила меня, я изо всех сил сжал его руку, а он притянул к себе мою, так что чуть не сломал. Я поцеловал его руку. В саду лил дождь. Он быстрым движением накинул на чайничек крышку, и пламя погасло, он нашел под одеялом рюмки, задул спиртовку и в крошечной тьме поднес к моим губам кипящий сладкий напиток. Вскоре я погрузился в полное блаженство и был ему нежной обворожительной подругой. Логово из скомканных одеял возвращало меня к самым первым ночам на земле, к первобытности, ко всем необычным наклонностям древних. Уткнувшись лицом в куртку моего священника, отороченную мехом, словно в шерсть животного, я захмелел от удовольствия и разнежился в тепле. Мне нравилась эта берлога.

Он ласкал меня, прекрасно понимая мое тело, ловко, как врач, и не произнося ни слова – из страха развеять мое опьянение. Его длинные руки, казалось, знали меня в совершенстве, от головы до лодыжек не было ни одной косточки, ни одной мышцы, которую бы он не вылепил с чарующей уверенностью. Он вылечил меня от одиночества, как вправляют вывих. Больше всего мне нравилось, что он так хорошо меня знает, как будто ему хотелось доставить мне бесконечное, божественное наслаждение, заставить запеть на коленях в его объятиях; как будто он был знаком со мной целую вечность.

Наверное, я заснул. Проснулся часа в три ночи, и мне уже не хотелось оставаться с ним рядом – я решил уйти в свою комнату. В коридоре меня замучила

изжога после рома, и я спустился на кухню выпить воды. Хотелось есть; странное желание перерыть весь дом заставило меня пооткрывать шкафы, я должен был что-то взять, украсть, присвоить что-нибудь, что под руку попадет, неважно что именно. Я успокоился на том, что напился воды, поразмышлял о многогранности своей натуры, а потом поднялся к себе комнату и тут уже заснул по-настоящему.

Я открыл глаза, точно на дне моря и обрадовался, что вижу свет. В мою комнатку не проникало солнце, в ней было прохладно и влажно, из-за перламутрово-белых стен с разводами, похожими на тени волн, да еще из-за прекрасной раковины на ночном столике казалось, что находишься в глубокой и чистой воде. Мне нравилось лежать под прохладной простыней, она приятно касалась бедер. Со своего океанского дна я видел буйную зелень сада, где распевали птицы. Я не был «жаворонком», но в то утро, не раздумывая, встал с постели сразу.

Меня давно удивляло отсутствие часов и календаря, но теперь я знал дом достаточно хорошо, чтобы утверждать, что в нем нет также ни одного зеркала. Конечно, аскетичное духовенство привыкло пренебрегать мирскими излишествами, но все же в домах священников обычно бывает хоть одно зеркало и расческа, чтобы мало-мальски привести в порядок волосы, здесь же ничего такого не было, абсолютно никакой возможности посмотреть на себя; я привык жить без календаря – ориентировался по погоде, без часов – узнавал время по оттенку воздуха, и даже без зеркала – просто перестал умываться, плесну в лицо воды, да и все.

На кухне я сварил себе кофе. Как обычно, я был в доме один. Мой священник ушел на рассвете. В здешней церкви у него была только одна служба в год, да еще если кто-нибудь умирал. Он просто жил здесь, выбрав именно эту деревню, чтобы его никто не тревожил. У нас в церковь никто не заглядывал, и я нисколько не жалел об этом. Жалел я, скорее, Монсеньера епископа Перигорского и Сарлатского – выбор священников для местных приходов был у него невелик: старенькие, воплощенная святость, были немощны, а молодые все время бродили по окрестностям и давали пищу для слухов. Мой, например, мог бы кормить меня и лучше: сам-то он обедал в других приходах, а иногда ничего не ел по три дня и явно не слишком страдал от такой диеты, но к ней никак не мог приспособиться мой шестнадцатилетний желудок. Священник оставлял мне провизию, годную только для легкого завтрака: кофе и сахар в железных банках на камине, хлеб, печенье – рацион старушки. Я не сетовал на эту нищенскую жизнь только потому, что меня спасал огород. Сладкий горошек с хлебом в июне – пальчики оближешь.

Большой огород окружали невысокие бордюры из камней. Когда-то здесь было кладбище для духовенства, достаточно копнуть – и на свет покажутся кости. Огород в зеленых джунглях ежевики, кое-где вскопанный как попало моим священником, расцветал на солнышке. Растения здесь были на удивление сочными; может, память о душах святых отцов повышает плодородность почвы или это чары покойников? Неизвестно почему все тут росло лучше, чем в других местах, и я нигде не ел земляники вкуснее здешней, созревшей на черехах.

С прутиком в руке я устремился туда, в гудение пчел. Больше всего меня пугали змеи. По моим голым ногам скользнул уж и скрылся в высокой траве.

Когда-то здесь был монастырь, а теперь змеиное царство. Змеи свивались и дремали на солнышке. Змеи охотились на птиц. Змеи нападали на жаб и лягушек из пруда. Змеи линяли и сбрасывали кожу. Они плодились в развалинах стен, пожимали друг друга, и еще они были холодные. Злобные глазки следили за каждым моим шагом. Огород и притягивал меня, и пугал одновременно.

Гораздо больше мне нравилось в церкви, ключ от которой я носил в кармане. Открываю узкую дверку. Старые заплесневелые стены, кропильница с прохладной водой, темно и сыро – мне всегда казалось, что я вхожу в пещеру. Перед алтарем горит золотая лампада с красным огоньком. Я закрыл за собой дверь. Мне нравилась тишина сводчатых залов с вымощенным плитами полом, по которому гулко разносился звук моих шагов. Сквозь узкие бойницы просачивалось немного света. Покой церковных залов – словно в пещере, – напоминал мне о коридоре в скале, где я так часто бывал: та же глубокая тень, тот же запах старого камня. Я с удовольствием проводил время в церкви. Тишина прохладных залов, лампада, горевшая перед алтарем, запах ладана каждый день влекли меня к себе. В ризнице стоял шкаф, набитый стихарями и разноцветными, словно времена года, ризами, расшитыми золотом и серебром. Старинные каменные драконы, изображения людских пороков. Мне нравились эти священные потемки, где достаточно было закрыть глаза, чтобы увидеть моего мальчика. Лето уносило меня к нему; голубой утренний воздух, вода из реки, темень в пещерах, массивные утесы – все покровительствовало любви. Я думал только о его губах и ладонях, нежно охватывающих мое лицо.

Семь или восемь веков запечатлены в этой церкви, где с римских времен остались только стены, мощеный плитами пол и крипта. Лепные украшения на алтаре сделаны в восемнадцатом веке, изящный бледно-голубой с позолотой престол и деревянные панно с трогательными ангелами – в семнадцатом, крыша и неф – в четырнадцатом. Вот этим эпохам и принадлежит мое сердце. На самом деле я уверен, что уже когда-то жил в этом краю; в каждом веке мне снова и снова виделись мой священник и мальчик, и сам я вместе с ними. И грозящее мне сейчас столкновение с правосудием бывало в каждой из моих жизней. Я убежден, что был знаком с моим мальчиком уже в стародавние королевские времена. У нас с ним обычай – встречаться в каждом веке. Благодаря этому ощущению протяженности за пределы единственной жизни, обилию времени, моя любовь чувствовала себя привольно.

Я поднялся по витой лестнице колокольни, она – словно спираль, вырезанная из сердцевины башни. Нежно прикоснулся губами к камню, запечатлевшему и осеннюю сырость, и что-то одновременно ледяное и обжигающее, летний жар, зимнюю стужу, тяжесть земли и неба. Так я сообщил мальчику о моем плане снова увидеться – в этом самом месте; чего бы я только не дал, чтобы услышать его легкие шаги по старым плитам. Но ответом мне было лишь загадочное безмолвие церкви, в которую в жизни не заглянула ни одна прихожанка.

Он всегда появлялся неожиданно: часто я мог лишь догадываться, что он где-то рядом. Ни малейшего шороха – а он уже тут, в нескольких шагах от меня; оглянувшись, я вдруг видел его улыбку. Ему нравилось делать мне такие

сюрпризы. Он как будто говорил мне: видишь, не так-то я прост; ему хотелось убедить меня, что все кончится хорошо: для этого он каждую нашу встречу показывал мне свою ловкость.

Я поднялся на несколько пролетов и через узкое окошко увидел прекрасный Сарлатский край в синеве лета. Из всех сил прижавшись лицом к кирпичам, я мог разглядеть пятьюдесятью метрами ниже край деревни, крыши из плитняка – плоских камней, уложенных внахлест, излучину Везера. С лестницы колокольни обзор был небольшой, но часть окрестного пейзажа, открывавшаяся оттуда, была так хороша, дышала таким простором, что я смотрел и не мог насмотреться. Видно было далеко, холмы, над которыми навис летний зной, сменялись лесами.

На берегу реки, у глубокой зеленой воды в тени утесов, сидел рыбак с удочкой; другой рыбак медленно скользил в лодке вниз по течению, и его тень скользила следом. Сарлатский край вставал передо мной чуть ли не вертикально, даже голова кружилась, по вертикали располагалась деревня, над нею – река и засаженные поля, один только горизонт выглядел как обычно, бескрайний горизонт, за которым, казалось, уже не могут жить люди.

В Сарлатском крае – а его еще называют Черным Перигором за то, что он весь порос темнолиственными дубками и орешником, – немало безлюдных мест: то тут то там раскинулись кукурузные и пшеничные поля и узенькие плантации табака. Дикий край, и людям, которые умеют видеть, понятно, что это край духов. Край чародеев. Тамплиеры, бароны, священники, крестьяне – все тут были так или иначе связаны с колдовством, а здешние черно-зеленые просторы еще помнят первобытные заклинания и сохранили частичку души тех волшебников.

Я любил этот край, где живу уже четыре или пять веков, край призраков, прохладных пещер и лесов. Я любил пьянящее лето, стрекот насекомых, кружение воронья. Закрыв глаза, опять открыл и снова увидел прекрасный Сарлатский край, стога сена, телеги и острова; Везер по-прежнему струился в обрамлении скалистых утесов; я снова закрыл глаза, открыл: в небе парили птицы, рыбак закидывал удочку – наверное, тот же самый, а может, уже другой.

Я отошел от бойницы, вернулся в неф и присел на один из певческих стульев.

Была середина дня, самое подходящее время, чтобы в одиночестве подумать обо всем, что нам дорого. Безмятежное утро кончилось, жара бедит душу. Я спрашивал себя, какая страсть в моей душе самая жаркая, и получалось, что это любовь ко всему, что растет и зеленеет. Начинался июль, меня зачаровывало неудержимое и незаконное буйство зелени. Я не мог смотреть без восторга на деревья и травы. Даже в церковной тишине воспоминание о них приводило меня в волнение. Я жил чуть в стороне от цивилизации, вот и вышло, что для меня больше, чем для других значило лето, оно отзывалось во всем моем теле и я хмелел от счастья. Густые кроны, беспорядочное переплетение трав и кустарников наводили на меня сладкий ужас. Деревья и листья завораживали меня, подобно змеям; я был пронизан магией и буйство зелени меня соблазняло.

Мальчика я любил с такой же летней одержимостью. Все мое существо рвалось к нему. Как полуденные лучи, от которых поневоле жмуришься, эта любовь меня ослепляла и затмевала опасность, нависшую надо мной из-за желания снова

его увидеть. Нас связывало волшебство; оно отгородило нас от других людей и защищало от пагубных последствий нашей любви. Мальчик это чувствовал, и кто знает, что привлекало его больше: я сам или эта безнаказанность и волшебство? Как бы там ни было, он ни в чем не признался, и мы могли снова встречаться здесь. А если бы удача нам изменила, я решил бы, что это любовь ослабла, и отказался бы от этой связи – не из трусости, просто понял бы, что чары больше не действуют.

Лицом я был немного похож на него. Это сходство сразу сделало его для меня объектом желания. Тело его было таким же страстным, как мое – и я влюбился. Сходство лиц и тел подогревало во мне страсть к нему, желание получить его в безраздельную собственность, по крайней мере, добиться его любви. Я старался доставить ему удовольствие именно так, как ему это больше всего нравилось, и по моим движениям он быстро почувствовал, что я – просто второй он сам, только более опытный. Я любил его потому, что еще не знал как следует себя самого, а он был похож на меня, близок мне – с ним я опять пытался разобраться в себе. Я склонялся к мысли, что любовь рождается только в том случае, когда мы не до конца понимаем себя и поэтому видим себя в других людях; кажется, любовь невозможна без этого чудесного заблуждения.

Изо дня в день я проводил время как мне вздумается. Говорят, что праздность – мать всех пороков. Как обычно, я вернулся в дом примерно к полудню, судя по солнцу. Хотелось пить, и я напился остывшего кофе, разбавленного водой. Я взял пачку голубой папиросной бумаги без клея марки «Иов» и поднялся в комнату, где сушился табак. Я сел на пол, прислонился к белой стене, достал из кармана свой запас табака, завернутый в носовой платок, скатал папироски и стал нарочно курить там, в сушильне, где так сильно пахло сухим табачным листом, что начинала болеть голова.

Утренний шум сменялся давящей тишиной. Унылое полуденное безмолвие, когда исчезают змеи и тени. И птицы умолкают, остаются только слепящее солнце и неподвижность. От летней жары в сушильне, от лучей яркого света, пробивавшихся между закрытыми ставнями, и мощного аромата подгнившего табака хотелось растянуться на полу и проспать до вечера. Но я не закрывал глаз: потолочные балки, деревянные планочки, облупившаяся штукатурка и самая основа под ней складывались в загадочную картину, от которой я не мог оторвать взгляд; так хороша была эта композиция из глины, штукатурки и ароматного дерева, пропитанного запахом табака; тут была и плавность и особая нежность – образы упадка, забвения, непредсказуемости, смена сезонов, столетия заброшенности, прорыва времени. Как и у меня.

Я пошел в соседнюю комнату, где, как вы помните, мой священник выложил на полу из тщательно подобранных початков кукурузы изображения солнц, окружностей и глаз. Я бы спросил его, почему он взялся за это изящное и кропотливое рукоделие, если бы не наше соглашение молчать о серьезных вещах. Этот человек избегал сообщать что-то значимое о себе самом или слышать от другого; стоило мне заговорить с ним откровенно, как он уходил. Он ни разу не заикнулся о странных наклонностях, которые я за ним знал, несовместимых с

его саном, причем, он не спешил отказываться ни от сана, ни от своих греховных привычек. Вдумай я разрушить кукурузный шедевр, пнув початки ногой, он не стал бы мне выговаривать, просто запер бы крепко-накрепко дверь сушильни. В этом уговоре молчания была и своя положительная сторона: мы могли целиком отдаваться нашим страстям, не вынуждая друг друга смотреть на них трезво, говорить о них и даже просто знать об их существовании. Точно так же я не мог вести долгих разговоров с мальчиком – из-за разницы в возрасте, которая нас разделяла, поэтому мы почти всегда молчали; мне это невероятно нравилось, и я с каждым днем привязывался к нему все больше. Сдержанность, о которой мы условились с моим священником, у него объяснялась остатками стыдливости и приверженностью к тайне – а для меня тайна значила не так много, ведь решился же я все это записать. В моем священнике было много крестьянского: и желание избежать ответственности, и мысль, что молчание прикрывает все, обеляет любые делишки, а единственное, чего не поправить, – это написанное на бумаге; вот и мой мальчик верил, что безнаказанность означает невиновность, а я, наоборот, старался все-все записать, не без задней мысли о том, что перо оправдает все. Мой священник уже довольно давно не читал книг, он брал их в руки с ужасом, будто предвидел в моем безмятежном взгляде наклонность к воспоминаниям, которая его пугала, чрезмерную радость от умения ничего не забыть и вкус к писательству. Он теперь читал только книги по судоходству, их простодушие его успокаивало; он не открывал ни одной серьезной книги, прятал ручки, подливал воду в чернила – из скупости, но заодно и надеясь, что написанное станет нечитаемым, прозрачным; он делал вид, что интересуется только грандиозными морскими путешествиями и островами.

Тяжелый, гнетущий, отнимавший силы полуденный зной, вкупе с запахом табака, наводил на меня тоску. Я ненавидел полдень, его неподвижность и белесый свет, сочившийся из сада.

Я поднялся на чердак. Мне нравились балки восемнадцатого века, напоминавшие шпангоуты опрокинутого судна. В щели между разъехавшимися плоскими камнями на крыше проникали солнечные лучи и, как всегда на чердаках, меня охватило приятное томление. Чтобы спокойно почитать, я сел на пол. Меня вечно тянуло сесть, а то и лечь на пол; по этому неприятию стульев мало-мальски искушенный наблюдатель сделал бы вывод о порочности моего характера и не слишком бы ошибся: в самом деле, я часто чувствовал непреодолимое желание делать все не так, как другие; что и проявлялось то и дело, ведь мои хорошие манеры и учтивость приказали долго жить, как только я ненадолго оказался в одиночестве и во мне возобладали дикарские наклонности.

В старых книгах, валявшихся на полу, – на некоторые из них я просто опирался для удобства – обнаруживалась жестокость вперемешку с неловкостью, опытом и простодушием. Четкая печать, переплеты из той же красной кожи, которая шла на ремешки коллежеских плеток, приятный запах старых чернил, – тут были и трактаты по греческому стихосложению, и наставления в набожности, плававшие любовью, и мощные, как атлетические мускулы, тома на латыни, и маленькие книжечки любовных историй – как хорошо было читать их на чердаке у священника!

Я взял «Каприччо» Гойи и коротал утомительные полуденные часы, рассматривая по сто раз гравюры, которые имели отношение и ко мне. Я – часть этой безумной Европы; мне не в новинку ни бесы со священниками, ни страх тюрьмы – уж с ним-то я хорошо знаком. Открыв эти книги, я погружался в воспоминания о нескольких моих юностях, о провинциальных коллежах, священнических садах, солнечных веснах у тихих рек. Отзвуки моего же Прошлого зачаровывали меня: я с радостью понимал, что живу в этой части Франции дольше, чем сам мог подумать.

Я пристрастился к одному любопытному способу получать удовольствие: я заметил, что от большого числа ударов хлыстом становлюсь будто пьяный, а когда опьянение доходит до высшей точки, теряю сознание. По опыту я знал, что в начале можно бить несильно, – так, чтобы боль оставалась терпимой; потом, после сотни ударов, уже ничего не чувствуешь и можно продолжать до бесконечности, были бы смелость и упорство, хоть бы и больше пяти сотен ударов, даже очень хлестких, – ничего страшного, только бока опухают и чернеют, и одежда немного пачкается кровью; причем, когда бьешь себя сам, одному боку достается больше: ремешки закручиваются и попадают только по одной стороне. И дальше опьянение, переход за грань.

Я открыл запертый на ключ шкаф в глубине одной из комнат. С внутренней стороны дверцы висели на гвоздиках плетки-многохвостки: с красными или желтыми ручками, купленные на ярмарках, старинные плетки из коллежей с витыми деревянными ручками, похожими на ножки стульев, и множество хлыстов, сделанных собственноручно моим кюре, с длинными ремешками и узелками на концах. Я стал на колени на моленной скамеечке. Привычка исповедоваться смешивалась с моими особыми наклонностями, с той лишь разницей, что я не испытывал, как это бывает при покаянии, ни угрызений совести, ни чувства вины, только остревелое желание жить и страдать. Я закрыл ставни, запер дверь и стал себя хлестать. Полураздетый, в темной комнате, я стоял на коленях на моленной скамеечке – полумрак будто был со мной в заговоре и помогал мне причинить себе боль. После ста ударов я сделал передышку: так устал, что не мог больше терпеть; я прислонился лицом к стене. Где-то вдали слышались шум и крики; проезжали крестьяне в телегах; во дворе кто-то разговаривал. Я снова взялся за плетку; без поблажек однако не обходилось; после сильных ударов я стегал послабей; когда же боль становилась невыносимой, останавливался; мой азарт все-таки не мог пересилить некоторую жалость к себе. Кто же, как не я сам, знает, когда пора себя побережь, кто же, как не я сам, в крови от собственных ударов, догадается, что надо дать себе передышку? Я подолгу лупцевал себя со всей силы, зато потом, когда уже совершенно выдыхался, можно понежиться и бить еле-еле. Я вкладывал в это занятие все чувства, которые в моем полудиком житье не находили себе выхода. Так я давал себе почувствовать любовь и доброту, ведь их в моей жизни было не слишком-то много, пока наконец не валился на пол, пьяный от жалости и нежности к самому себе, это бывало где-то после тысячи ударов.

Я как раз приходил в себя после этих уединенных радостей, когда оглушительный удар грома сотряс дом. Потом, после длинной паузы, я услышал шум

дождя, настоящий летний ливень забарабанил по листьям и по камням на крыше. Чтобы защититься от сквозняков, которые, говорят, притягивают молнию, я закрыл двери и несколько окон. Сверкнула молния, и над соснами громыхнул второй удар грома, раскаты неторопливо вторило окрестное эхо, потом все стихло в густой листве. Деревья покачивали ветвями; вода потоками сбегала с крыши, вымывая под стенами канавку и обнажая камни садовой дорожки. Дневной свет сменился необычным зеленым свечением. Молния начисто срезала верхушку одного кедра. По всей округе слышался глухой рокот. Гроза продолжалась с жуткими вспышками, иногда слышались и раскаты; они слетали с небес и неуверенно, неторопливо докатывались до верхушек деревьев; чаще гром ударял над деревней, звук был такой, словно оземь с размаху швыряли поленья. Гроза то откатывалась, то возвращалась, и мне опять становилось не по себе. Реку тоже вспучило от грозы; потом все стало успокаиваться. Грохот смолк и опять установилась тишина. Временами ее нарушали последние капли дождя, соскальзывающие с крыши.

Я поел хлеба. Все вместе: тишина и прохлада, ароматы разоренного ливнем сада и этот хлеб – были восхитительны. Пора было заняться овечками моего священника. Мы держали их в стойле, куда вела дверь, расположенная в глубине кухни, и слышали, как они бьются лбами в эту дверь и томятся у нас под боком, словно заблудшие души, а их робкие стычки и блеяние, случалось, мешали нашим нечастым разговорам. Там, во мраке за дверью они рождались и умирали на своих подстилках, тоскуя по зеленой траве. Из стойла струился овечий запах и кротость праведников. Другие ворота из стойла вели в сад; каждый вечер я открывал их, и овцы с радостью устремлялись на лакомые полянки.

Я пошел за ними и сел на опушке леса. Ничто не напоминало о грозе, безукоризненный лунный диск вставал из ясной лазури и пронизывал ее своими лучами; другое дитя ночи, единственная звезда, взошла и мигала над Сарлатскими холмами. В лесу уже было не разглядеть отдельных стволов. Холодный, как родниковая вода, воздух наполнял меня радостью, касался моих губ и глаз. В темных ветвях запела птица. Я хорошо ее видел. Шорох крыльев – и она выпорхнула из листвы и тяжело пролетела у меня над головой; это была большая голубоватая птица с хохолком, она летела и кричала, будто звала кого-то.

Наши овечки возвращались, когда им нравилось. Они подолгу паслись на полянах, под низкими ветками деревьев, и лишь к полуночи я слышал, как они торопливо бегут по дорожкам к дому. Осмелев, они даже бродили под окнами, опрокидывая лейки и стулья, и только потом возвращались в стойло. Я предоставил их самим себе и пошел назад к дому.

Мне нужна была крапива. Она росла под стеной в сырых уголках с северной стороны дома. Там были и высокая крапива, и осока, – этим растениям нравилась молодая плоть, как и кровь малолетних деток. Я смешивал толченую сухую крапиву с табаком, мне нравилось курить эту смесь, не из экономии, ведь табака в моем распоряжении было сколько угодно, просто дым сухих листьев крапивы обладает особыми свойствами. Обернув руку платком, я рвал листья и складывал их в карман.

Мой священник до сих пор не вернулся. Я не очень-то ждал его: не так уж мне и хотелось его видеть, ведь я любил одиночество. Я ушел в свою комнату, накрылся простыней, положил крапивные листья сушиться под подушку, и, не зажигая света, неторопливо покурил смесь, которую приготовил несколько дней назад. Крапива опьяняет быстро, это запах травы, смерти, сна, любви и тихих вод в лунном свете. Я курил в постели, прикрыв глаза. Я задремывал и подолгу не затыгивался, а крапива гаснет быстрее табака и надо, чтобы затыжки были частыми; сознание уходило, на губах оставался кисловатый вкус травяных соков и дыма; я чувствовал, как моя душа выходит из тела; я отделялся от самого себя, осталось мое лицо, глаза и руки, но меня в них уже не было – я держался от себя чуть в стороне.

В этом измененном состоянии я с невероятной чуткостью улавливал тайные движения жизни, чувствовал рост деревьев, брожение стоячих вод, вот – неуловимое колебание воздуха, вот – где-то хрустнула ветка. Когда овцы уже протопали по дорожкам к дому, установилась тишина, раскрывались цветы, с деревьев падали сливы. Чары, будто живые существа, каждый вечер спускались с верхних листочков по веткам деревьев, и с их помощью разрастались ночные травы, разворачивались листья, а горошек тянулся вверх по своим подпоркам. Вдали, за каменным бордюром нашего огорода, весь Сарлатский край распевал под звездным небом лягушачьи арии.

Мне захотелось увидеть, как растет трава, слиться среди ветвей с чарами сада, которые звали меня к себе. Я побаивался выходить в темноте. С удовольствием остался бы в постели, но зов этот звучал все настойчивей. Я встал, оделся. Страх все же остался, поэтому я прихватил с собой в соседней комнате длинный штык. У моего священника были луки и отравленные стрелы из Африки и Океании, морские шпаги, кинжалы из Индокитая, малайские ножи. Штык был явно французский, времен войны тысяча девятьсот четырнадцатого года, он не слишком заржавел и без большого труда вынимался из железных ножен – как раз то, что мне надо. Я сунул его за пояс, вышел из дома и пошел, выбирая освещенные луной дорожки.

Небо было усыпано звездами. Поблескивал мой стальной штык; до меня долетал шум Везера. Другие каменные бордюрики огораживали другие сады. Человеческие жилища спали, захлопнув ставни. Я презирал людей и боялся их. Выбирая между великолепием ночи и тяжелым сном мужчин в объятиях собственных жен на огромных деревенских кроватях, где рождаются и умирают в крови и в поту, я выбрал ночь. Цепные собаки, учуяв меня, зарычали. Меня притягивал размеренный гул Везера; я направился к реке, но решил обойти деревню по лесу.

Я побежал. Бодрой рысью я бесшумно продвигался в высокой прохладной траве. С мокрыми от ночной росы ногами, со штыком в руках, я бежал, оставляя за собой полосу примятой травы, и не чувствовал усталости. Луна освещала лощины; я пересекал прозрачные тени, освещенные поляны и остановился только в лугах.

Там, между утесов с заросшими зеленью расселинами, буйно колосилась отава. У меня перед глазами лежал целый Мир, мир планет и листьев в Великое Время Ночь. Земля медленно вращалась в ясном небе, расчерченном розовыми,

остроносыми, как лодки, облаками. Лес и скалы жили при свете луны своей настоящей, далекой от людей, жизнью. И сам я жил рядом с ними настоящей жизнью; я питал свою душу, упивался счастьем, вбирал в себя мировую силу; именно это было подлинным, стойким, незабываемым. Неуловимое живое присутствие, чары космоса просачивались сквозь кроны. Я стоял, широко раскрыв глаза, и у меня было одно только желание: никогда не возвращаться к людям. На самом деле, я быстро о них забывал: не было ни одной частички моего существа, моего истинного «я», которая бы не погрузилась всецело в этот бесконечный праздник ее величества Ночи.

Пропела птица. Ночью птицы поют чаще, чем кажется людям. Я любил эту душу, хоть и не понимал сейчас ее языка, языка радости и любви. На лугу росло четыре дерева, они стояли так близко друг к другу, что кроны сливались в один блестящий шар. Там и пела птица. Я положил свой клинок в траву. Стал тихонько насвистывать, подражая птице, и она ответила мне, словно я тоже был птицей. Я повалялся в траве под деревом.

Мне хотелось уйти еще дальше. Внизу, метрах в двадцати, струился Везер. Я сразу вошел бы в лес, чтобы спуститься к воде, но меня остановила какая-то неуверенность. Я вернулся, взял штык, и ко мне тут же возвратилась безмятежность, лезвие из стали и меди в моих руках притягивало силы, которые направляли меня в полумраке, защищали от ночного холода и вселяли уверенность. К тому же штык раскачивался под собственной тяжестью, как балансир, и помогал мне бежать. Я спустился с сияющего луга и углубился в сумрак леса. Отсекая штыком ежевичные ветки, которые цеплялись за одежду, я пробивался в чащу, высматривал еле заметные тропки в сторону реки, манившей меня своим блеском; я не просто расчищал себе путь сквозь каштановые поросли в окруженьи теней, а познавал свои тайные инстинкты; я ведь выбирал себе путь, руководствуясь чарами и страхами: то меня завораживало сверкание воды под ветками, то нагоняла ужас сырая пещера, то я восторгался при виде каменной россыпи, а от другой шарахался – только потому, что одно пробуждало во мне любовь, а другое – враждебность. Общаясь с людьми, я почти всегда оставался безразличным, а той ночью мне выпало пережить самые разные, невероятно сильные чувства; то мне нравилось какое-то дерево, то ветка, которую я пригнул острием штыка, казалась родной, то хотелось прижать к глазам какой-то лист, то пугало нагромождение скальных обломков под утесом. Тяжесть холмов и река, которая с трудом тащила обломки ветвей, играла бликами, бежала вдаль к низовьям, и лунный свет, и все очертания окрестного пейзажа – представлялись мне разными силами: в каких-то из них таилась опасность, в каких-то – нет; осколки Прошлого, память о том, как здесь жили люди, отпечаталась в лесной чаще, в расселинах скал, и неведомые силы любви и снов тревожили мне душу.

Я отодвинул какую-то ветку и увидел невероятно красивое молодое деревце с гладкой блестящей корой. Оно выросло уже довольно высоким, и я сразу его полюбил. Я прижался к нему щекой. Я любил его самой настоящей любовью. В темноте женственность взяла во мне верх над мужественностью, я ведь хотел приблизиться к истокам и чарам, отказаться на эти ночные часы от всего людского.

Я стоял перед деревом на коленях, прикасаясь губами к нежной коре, и то ласково нашептывал, то напевал ему что-то, идущее из самых глубин моего существа. Чуть хрипловатое пение переливалось в горле, словно звериный рык. Я расстегнул ремень, обнял деревце, сплелся с ним, как женщина, снял рубашку, обнажив грудь и бока, и сжал ствол бедрами. Это было чистое и простое чувственное наслаждение, глубокое, бесподобное. Я любил это дерево, хотел его. Мое существо рвалось к абсолютному счастью, безо всяких запретов. Здесь, в краю пещер с наскальными рисунками, мне приходило на помощь самое давнее Прошлое. То женское, что проснулось во мне тогда рядом с деревом, явилось из самых первых ночей Земли; эта любовь к листьям родилась в те первобытные вечера, в том изначальном Раю, и она превращала меня в загадочную чародейку. Глубинное воспоминание вернулось ко мне с волной наслаждения.

Потом волна отхлынула, ко мне вернулась мужественность, и я загляделся на прекрасное звездное небо. Мне хотелось быть ближе к нему; я застегнул ремень и стал взбираться на дерево, с ветки на ветку, пока моя голова не оказалась выше его макушки. А время шло. Много звезд уже скатилось за горизонт. Все казалось сумрачным и опасным, кроме неба и реки, от которой исходило сияние. Сарлатские холмы, еще недавно залитые светом, погрузились во мглу. Меня опять мучил холод, и единственное, чего мне теперь хотелось – это как можно быстрее добраться до постели.

Я спустился с дерева и не смог найти дорогу назад. Мрак надвинулся со всех сторон, низкая луна уже ничего не освещала. Везер тек в сторону деревни, и, раз я не мог вернуться тем же путем, каким пришел сюда, я решил, что лучше всего поплыть по реке, словно валежник, и так вернуться в мир живых людей.

Я ступил в воду и удивился: по сравнению с прохладным воздухом, вода была почти теплой. Я разделся, прикрепил одежду к вязанке хвороста, которую крепко стянул своим ремнем, туда же воткнул штык и пошел по камням, а когда зашел поглубже, поплыл. Мощное течение Везера несло ветки и листья, пену и мусор. Я испугался, а вдруг вязанка не удержит меня на воде. Река возвращала мне желание жить, несла меня к людям. Журчали источники, пели птицы, а я плыл по течению.

Рыба плескала и тяжело уходила в воду в самых спокойных, тихих и глубоких местах, где воды Везера казались неподвижными. Я представлял себя крысой, которую уносит река. От болотистых берегов, поросших темным кустарником, шел запах гнили.

Над водой витала молочно-белая дымка. Ко мне обращались неприметные взгляды птиц; я плыл и слышал то тут, то там взмахи крыльев, писк, потасовки. Меня несло течением, даже не приходилось грести, так я и плыл среди теней. Внизу было десять метров воды и она вместе со мной катилась к низовьям, неся меня все ближе к моей постели. Я задерживал дыхание, жизнь во мне еле теплилась: я был просто взглядом, как взгляды птиц в ночном безмолвии.

Я доплыл до какого-то островка. Растянулся на траве, которая пробивалась среди белых камешков, покрытых тонким слоем высохшего серого ила в трещинах, он остался после половодья; там я отдохнул. Это был маленький

остров, залитый светом белой и круглой луны. В этом месте Везер пересекали отмели, доходившие почти до самой поверхности воды, и река вскипала на них бурнами и журчала.

Я смотрел вниз по течению. В просвете между деревьями виднелись три высоких скалы с кустарником на вершинах, они возвышались над рекой метров на двадцать; скалы эти стояли здесь вечно, с тех пор, как существует Земля и Человек; они были так хороши под звездами в обрамлении листьев, словно огромные белые пятна, гигантские полотнища, которые сушились в лунном свете. Я закрыл глаза, опять открыл и удивился, что снова вижу такое величие и покой.

Слабые лучи освещали мой штык на камнях и промокшую вязанку неподатку. Я вошел в воду, меня снова захватила чувственность; я довел себя до вершины блаженства среди водяных цветов, покачивающихся в болотистой заводи. Я ополоснулся в реке и уже сам не знал, кто я: мужчина, женщина или нимфа.

Поперек течения шла каменистая отмель, и мне пришлось пробираться среди травы, которая колыбалась на волнах, словно клубок зеленого шелка разматывали по круглым гладким камням, на них я поскользнулся, потом снова встал. Я прошел немного, опять погрузился в реку, и она понесла меня вместе с плывавшей на волнах вязанкой, которую я не отпускал, а она все быстрее тащила меня к моей кровати.

Наконец я лег, трясаясь от холода и озноба. В постели мой крепкий организм быстро совладал с усталостью, и я пришел в себя, как только немного согрелся и отдохнул от бега. Было часа три ночи. Священник похоже еще не вернулся, и я был совсем не против оставаться в одиночестве. Спать не хотелось абсолютно, зато желание взяться за перо поддерживало во мне бодрость. Я был счастлив, и хотя устал до невозможности, но с той минуты, как вернулся, думал только о том, чтобы сесть и писать.

Ночной воздух овеивал пламя моей свечи, но оно даже ни разу не колынулось. Чудесные мгновения на исходе ночи. Нигде ни ветерка. В Мире ничегошеньки не видно. Полная пустота; минуты сотканы из ничего; кажется, что все застыло. В неподвижном воздухе не качнется ни одна ветка; ни одна птица не запоет. Чувствуешь только мощные чары независимой жизни земли и неба, такие сильные, что достаточно к ним прикинуть – и добьешься всего, чего хочешь. Через открытое окно комнаты я чувствовал близкое соседство деревьев – по слабым запахам древесных соков, и присутствие всего Сарлатского края – по другим запахам, которые приносила река, – до меня долетало ее журчание.

От свечи шел тихий ласковый золотистый свет. В моих бдениях я сам себе казался похожим на этот маленький огонек, сияние которого упорно противостояло застывшему мраку.

Может быть, книга рождается в тот момент, когда мысли о ней уже способны отогнать сон? Мое одиночество и сумасшедшинка, которой я обязан своим необычным наклонностям, не предвещали ничего хорошего. Насколько я знал свой характер, все должно было выйти как нельзя хуже. Я прочитал в жизни мало книг и все – наспех; я отлично сознавал, что мой французский довольно слаб;

говорил я по слуху, доверяясь звучанию, музыке – не задумываясь об орфографии или грамматике. Я жил в царстве источников и лесов, а моего образования едва хватало на то, чтобы кое-как писать; нечего было и мечтать, что у меня получится книга, которой я смогу гордиться, которая понравится, привлечет читателей.

Старинные фразы, вычитанные из старинных книг, смешивались у меня в голове с деревенскими выражениями, забавными провинциальными оборотами, простонародной искренностью. Напластование слабых мест, одобренное безумием и наивностью, – вот и все, чего я мог добиться как писатель.

Такая радость была мне дарована, так хочется отвоевать ее у забвения, но мне казалось, что я этого ни за что не сумею. Я впадал в отчаянье от своего одиночества. Бывает же такое: совсем один! Со мной ведь дружили только такие же пропащие создания, как я сам: священник и мальчик, да еще какой священник! Может, этот древний край призраков и фей взял меня в плен? Может, за такое счастье как раз и нужно платить одиночеством? Я бы и согласился, если бы не страх, что все, о чем я хочу рассказать, умрет вместе со мной.

Когда я думал об этом, мне казалось, что всё в мире против меня: и сам я со своей необразованностью, которая меня пугала, и остальные люди, не знавшие жалости. На что мне надеяться, от кого ждать помощи такому отщепенцу-одиночке? Никакой опоры, только черная и тоскливая тишина. Я казался себе отвратительным и таким непохожим на других людей, что уже никогда не смогу к ним вернуться.

И вдруг в этом мраке забрезжил свет. Я сказал себе, что старинные фразы из королевских времен вкупе с деревенской простотой, умело приправленные моим безумием, составят необычную ткань, которая уже будет чего-то стоить. Небольшая книжица, написанная сразу и хорошо, и плохо, похожая на прекрасное деревенское полотно, – вот что могло бы у меня получиться. Такой гобелен. Я задумал выткать его из толстых шерстяных ниток, смешанных с тонким шелком. Замысел такой книжки, устроенной, как необычно сотканное полотно, мне понравился. Мое одиночество тут же показалось мне интересным, да и мои прегрешения тоже. Я представил себе, что выполню свой замысел как можно быстрее; я уже предвкушал, какими уловками и хитростями начину свой текст, мечтал, что он будет весь пронизан лукавством и моими маленькими слабостями. В нем звучала бы вся радость жизни, и любовь, обжигавшая мне сердце, и моя подлинная сущность, и душа, и бурная река, и мой священник, и мальчик. Я еще не брался за работу, но уже видел все это, ведь замысел – в основе всего, а потом нужны только терпение и внимательность, потом – просто ткать, водить челноком, ведь придумывает всегда ночной человек, а человек утренний – всего лишь переписчик.

Мое одиночество теперь казалось мне привлекательным. Зброшенность, на которую меня обрекли, я теперь любил, как лучшее во мне, самое подлинное и волнующее. Тишина меня не пугала. Я снова ощущал присутствие Мира, тут, неподалеку, словно нетронутый запас чудесных сил, и достаточно к нему припасть, чтобы написать книгу, не похожую ни на какую другую. Но что за странная книга должна была получиться у такого подростка, как я, который, ко всему, еще и живет у священника! Фривольная книжица, якобы о магии, какой никто никогда

не писал. Эта редкая возможность пьянила меня среди тьмы и тишины, которые раскинулись не только над спящими окрестностями, но и над всей моей бедной и одинокой жизнью. На губах у меня уже зрели целые предложения, но тут меня сморил сон; я закрыл глаза, пригрелся в постели, в первый раз слушая собственный голос, словно бы затерянный в далеком лесу, но все равно в нем было больше человеческого, чем во многих других, куда менее скромных голосах.

И все же я не забыл ни о мальчике, ни о своей душе, спрятанной в источник. Я положил камень на порог церкви, когда входил в нее: это был знак, что я один. Витая лестница, устроенная в стене и слабо освещенная узенькими бойницами через каждые десять ступенек, поднималась к массивным балкам; они были расположены таким образом, что скрещивались и множились чуть не до бесконечности под полутемной каменной крышей с привидениями, которую поливало дождем. Еще раз осмотрев это убежище, которое, как мне казалось, могло нам подойти, я уже собирался спускаться, и вдруг, кинув взгляд сквозь самое верхнее окошко, увидел как по тропинке поднимается мой мальчик.

Как он отлично сложен, на лице – дерзкая улыбка, в глазах блеск, словно пламя. Походка легкая, будто идет на носочках. Вид у него ангельский; это шел мой друг, вот и всё, и я любил его. Меня пьянила мысль, что, быть может, он сейчас представляет мое лицо, что он хочет видеть меня и хочет, чтоб я его увидел. Он вошел во двор, увидел камень, сделал несколько шагов и скрылся из виду. Я спустился на пару ступенек, надеясь увидеть его в другое окошко. Я был влюблен в него еще сильнее, чем обычно.

Ни в церкви, где пол вымощен плитами, ни на узкой лестнице не слышно ни звука. И все равно я был уверен, что он близко: такое меня охватило невероятное волнение. Ну да, вот и легкий шорох шагов; и снова тишина. Теперь шаги по ступенькам. Тишина. И тут он появился, как обычно спокойный и безмятежный, сжал мне руку и произнес:

– Я снова пришел.

От дождя волосы у него налипли на лоб. Я целовал его лицо. Спокойствие его было показным: маленькое сердечко билось так, что вот-вот выскочит. «Я вас люблю», – сказал он. И обнял меня крепко и нежно. Он – живое божественное воплощение духа дружбы и отваги. Все было на нашей стороне: и место, и обстоятельства; всю жизнь я буду вспоминать, как это было, – думал я; в моем сердце отпечаталось это лицо, которое я любил и на котором читалась любовь ко мне. На неудобном повороте лестницы, прислонившись плечом к холодному камню, я прижал его к себе. Его промокшая одежда, шея в расстегнутом вороте рубашки дышали нежным теплом. В нем было очарование Франции, французской старины. Я соблазнил существо, достойное любви как никто другой. Он, по обыкновению, надушил себе волосы.

– Тебе надо уходить.

– Вот видите, мы победили, – ответил мальчик.

Он поднял ко мне свое ясное лицо. Он научился целоваться; никогда в жизни меня больше не целовали с такой нежностью и страстью; я чувствовал

его нетронутые свежие губы; он делал это в первый раз и вложил в поцелуй всю душу. Он ушел, а я так и стоял на лестнице, на том же месте, где он ласково высвободился из моих объятий. У меня на лице еще оставалась его энергия, его очарование; сердце еще билось в ритме любви; так продолжалось долго: я пришел в себя только через несколько часов.

Я не разжег огня и не решился поесть. Взял большой котел супа и поднялся к себе в комнату. Шел дождь. Я лег и остаток дня провел в постели, счастливый, еще чувствуя на лице его нежный аромат. Достаточно было закрыть глаза, и передо мной оживали блаженные воспоминания, я слышал его голос, говоривший: «Вот видите, мы победили». Я до вечера оставался в тепле под одеялом и слушал стук дождя, вдыхал аромат листьев, иногда, свесившись с кровати, зачерпывал себе поварешку супа, читал сказки. Запах сырых табачных листьев, пропитавший весь дом, потихоньку опьянял меня; вдали рокотала гроза. Она гремела в стороне, но все еще близко, по-прежнему не оставляла нас в покое.

Настал вечер. Вернулся мой священник, и его суровое лицо не предвещало ничего хорошего.

– Не знаю, понимаешь ли ты, как для тебя опасно снова видаться с мальчиком, он ведь заговорит. Мне за тебя страшно; идем, я могу спасти тебя от людской мести, но ты умрешь. В эту ночь ты покинешь мир живых и перейдешь в наши владения.

Желание убить меня читалось в его взгляде. Если ему суждено ради тяги к убийству лишить кого-то жизни, то это буду я. Странная ночь. Он взял весла и ушел в сторону реки, вздувшейся от дождя, который лил уже несколько дней. А что делать мне – идти ли за ним к темному Везеру, бурлившему под ветками? Грозная река стремительно неслась к низовьям. Нашу лодку болтало на цепи, она с глухими ударами билась в берег. Он ступил в бурную воду; забросил цепь на дно лодки и попробовал вытолкнуть ее на стремнину; казалось, лодка вот-вот перевернется, но течение просто отшвырнуло ее на нижние ветки деревьев, где она так и осталась лежать на одном борту. «Иди сюда!» – бросил священник и крепко ухватил меня за руку. Мы влезли в нашу тяжелую лодку, и я веслом оттолкнул ее от берега. Священник пришел к реке, чтобы она решила мою судьбу; я понимал это примерно так: он знал, что мы чем-то провинились, хоть и не знал толком, чем именно и обрекал меня на смерть, втайне надеясь, что если мы выйдем из этого испытания живыми, наши грехи нам отпустятся; причем сам он рисковал утонуть вместе со мной, что снимало с него вину за это убийство. Испытание рекой, а может, Суд Божий, ордалия – это было вполне в его духе, соответствовало его обыкновению ничего не решать самому.

Об этом сплаве по течению у меня остались и самые жуткие, и восторженные воспоминания, а можно вообще сказать, что я ничего не запомнил, потому что побывал и в двух шагах от своей души, и в двух шагах от смерти. Как только мы немного отплыли от берега, течение подхватило лодку, она задергалась, завертелась, заплескала на крутых волнах и чуть не опрокинулась; я стоял на коленях на дне лодки, орудуя веслом, и мне еле-еле удавалось держать ее в равновесии. Разлившийся Везер хлестал нашу лодку и волок нас прямо на страшные

камни и отмели. Нос суденышка то задирался на здоровенных волнах, то тяжело обрушивался вниз; резкий, хоть и тепловатый ветер дул прямо в лицо; нас несло и мы не могли ни направить лодку веслом, ни ухватиться за ветки: течение было быстрым, лодка – тяжелой, и ветки вырывало у нас из рук. В любую минуту острые сучья, на которые нас тащило в темноте, могли выколоть нам глаза.

Течение по-прежнему было быстрым, но мне показалось, что вода уже не так бушует. Шлепки невидимых волн по нашим бортам стали реже. Река утихомиривалась. Я положил весло поперек бортов, и лодка просто поплыла по течению. Скоро наступила тишина и почти полная неподвижность. Мы тихонько плыли в темноте, теперь только легкий плеск сопровождал наше медленное скольжение во мраке по глубокой воде мимо огромных утесов, которые, словно своды, нависали у нас над головами. Было совсем ничего не видно, так что нам понадобился фонарь. Священник пристроил на носу лодки старую каску времен войны тысяча девятьсот четырнадцатого года, продырявленную при помощи молотка, набросал в нее сучков и древесного угля – их он достал из карманов – и не без труда зажег. Мы продолжали медленно плыть; горящие палочки падали в воду, какое-то мгновение было слышно, как они потрескивают; ярко-алое пламя от углей, которое хорошо обдувалось воздухом сквозь дырочки в каске, прекрасно освещало нам путь.

Но вот огонь стал гаснуть и почти совсем потух. На небе всходила луна, прозрачные белые облачка одели ее самым прекрасным ночным нарядом; из каски на носу лодки тянулась теперь только тоненькая струйка голубого дыма и плыла над Везером, словно туманная дорожка. Слабый удар, толчок; наше суденышко развернулось по течению и встало посредине реки, тем временем плывшие вокруг листья понемногу нас обгоняли. Среди ночных теней мы шепотом советовались, что делать дальше. Опустили в воду длинный шест, но до дна не достали. Под скалой журчал ключ и впадал в Везер. Похоже, мы наскочили на верхушку скального обломка, который отвалился от утеса и доходил почти до самой поверхности воды. Мой священник слез в воду; он с первой же попытки столкнул плечом наше утлое суденышко; тут я увидел, что очертания скал двигаются на фоне неба: нас снова подхватило течением. Священник плыл следом за лодкой. Судя по бурлящей воде, мы опять приближались к порогам; на всякий случай я кинул священнику веревку и он привязал лодку к стволу дерева, у которого я причалил. Мы вылезли на берег и, раздвигая ветки, стали наощупь искать убежище от ночного холода. Нам подвернулось сухое дерево и мы разожгли костер, не очень понимая, какой инстинкт помог нам найти топливо в полутьме.

Пламя костра осветило большую пещеру, вытесанную в скале, – размером с комнату, там можно было поспать на чем-то вроде лежака, если только удастся туда залезть; в пещере были доски, сухая, как пыль, земля, настоящий очаг, вязанки хвороста. Мы разложили у огня наши вещи, получилась подстилка из одежды и одеял, которые мы взяли с собой. Место было довольно сырым, и мы бы замерзли в этом царстве мертвых, если бы не сложили большой костер; священник торопливо, без передышки, рубил дрова: он забрался в самую чашу, нагибал к себе спутавшиеся деревья, длинные ветки, и все это летело к моим

ногам, так что скоро у нас уже была целая куча сухого дерева – перед этим шел дождь, но те заросли прикрывал выступ скалы.

С громким треском и всполохами наш костер осветил весь берег. Священник стоял у огня, накинув на плечи одеяло, ноги у него были все в земле и водорослях, он молчал и о чем-то думал. Потом взял нож, глубоко рассек себе руку на запястье и стряхнул кровь на ветки, пылавшие в костре. Мы были с ним за гранью реальности, в измененном состоянии, и я хорошо понимал, как это опасно в компании такого непредсказуемого существа: то подобие любви, которое он питал ко мне, могло кончиться очень скверно. Непреодолимое желание убить меня ожесточило его лицо. Он стоял с застывшим взглядом, в накинутом на плечи одеяле, которым он прикрывал еще и ноги, и темную от крови руку, и неотрывно смотрел в огонь. Я не сомневался, что он думал обо мне.

– Придется тебе выдержать вот это, – сказал он, после долгого молчания, и показал мне длинный глубокий шрам у себя на икре – след, оставленный раскаленным на углях лезвием.

Я с радостью согласился. Выть от прикосновения огня – это принесет мне счастье. И тогда возобновится тайное соглашение, связавшее нас друг с другом и я буду спасен от тюрьмы.

– Пусть лезвие накалится на угольях, – продолжал он и положил нож в костер.

От костра шел такой жар, что он опалил окрестные кусты, а нам обжигал лица и руки. Наши тени плясали вокруг. В пещере мой священник лег на яркое покрывало не то из Африки, не то из Океании. Я сворачивал ему сигареты, нам обоим хотелось спать – то ли от жара костра, то ли от нашего путешествия по реке; тут налетел ветер и раздул огонь. Я был за гранью страха, за гранью самого себя, мой рассудок помутился от журчания реки, от мыслей о смерти, я вспоминал, что уже когда-то прожил жизнь, а теперь я – просто дух. Я смеялся над собственными страхами, словно замечтавшийся бог, и на меня напало непреодолимое веселье. Наши деревца уже прогорали и валились в костер. Священник обжег бы меня острием ножа, если бы чудесное спокойствие ночи не окутало нас полудремой. Среди чувств, которые шевелились в моей душе, было и сладкое томление: меня начинал отпускать страх, – и признательность этому человеку, который, чтобы меня спасти, привел меня сюда, в царство теней.

Наверно я долго лежал, закрыв глаза, а когда открыл их снова, увидел, что наш костер потух, а низкая луна заливает светом Везер, который струится по камням мимо острова, и на них под ветками вскипают бурунчики. Тысячи бабочек-поденок с прозрачными крылышками летели вверх по течению, словно дыма, блуждающие души. Я лежал под одеялом, не шевелясь, и только мой взгляд был прикован к реке, побелевшей от брачного перелета поденок.

Священник спал рядом со мной. Может, все это мне приснилось во мраке, пронизанном лунными лучами? Казалось, это был просто сон. От сгоревших деревьев остался только пепел среди зеленой травы, и над ним поднимался легкий серый дымок; там теперь были одни лишь контуры веток, в которых мерцали яркие угольки. Получается, суд реки нас помиловал; но мне придется отказаться

от мальчика; я явственно слышал голос, который сказал мне об этом; мне придется остаться без него, прямо сейчас, начиная с этой ночи, и до какой-нибудь следующей жизни.

Я откинул одеяло, встал, взял мою коротенькую железную шпагу и забросил ее далеко в реку, представляя себе, что погребая мою любовь к мальчику на десятиметровой глубине, в самой тьме на дне Везера, где уже никто ее не найдет. После этого я выплыл на спокойный светлый участок реки, я неслышно рассекал воду руками в тишине ночи перед нависшими скалами, источенными эрозией, околдованными журчанием реки. Воспоминание о моей утопленной любви пронзило мне сердце, как огненный след; я хотел бы камнем пойти на дно, чтобы найти ее и сжать в объятиях – там, на самых глубинах смерти; я хотел бы погибнуть, но тот же голосок настойчиво повторял мне: в другой жизни, в другой жизни ты встретишься со мной снова.

Священник ждал меня на берегу, все так же завернувшись в одеяло. Он вернулся в пещеру, раздул головешки и, когда мы чуть-чуть согрелись, я увидел, что он окровавленной рукой разгладил золу и стал рисовать в ней какие-то клеточки и заполнять их камнями. Может, он составлял мой гороскоп? Посадят меня в тюрьму или нет? Вот вопрос, который меня мучил. Я попросил его посмотреть на мое будущее. «Попробую», – сказал он. Взял один камешек, закрыл глаза и бросил его в золу; потом – другой, и вот уже несколько камешков разбросаны по клеткам. Он посмотрел, как они расположены, подумал и бросил еще несколько, чтобы лучше видеть будущее.

– Вижу процесс, судей, полицейских.

Он еще подумал, как будто его мучили какие-то сомнения. Потом все стер и снова начал чертить клетки и бросать камешки.

– Невероятно. Я вижу мальчика, суд, судей; вижу все, что там происходит. Мальчик заговорит, стараясь не очень тебе навредить – им движет оставшаяся любовь и просто осторожность; потом – можешь успокоиться – я вижу оправдательный приговор; но вот кого я не вижу, причем не вижу абсолютно, – так это тебя.

Я спросил, часто ли он составляет гороскопы?

– Бывает, – буркнул он таким тоном, будто я сказал, что он не умеет их составлять. – В жизни не встречал ничего подобного: чтобы не было видно кого-то, кто еще не умер, его судят, и в то же время, его там нет.

Он бросил в клетки другие камни, еще раз, просто для очистки совести, внимательно изучил как они упали и раздраженно все стер.

– Ты не умер, но тебя как будто нет на суде, где тебя судят.

Тут в моем взгляде что-то промелькнуло.

– А если бы я был на этом суде, меня бы осудили?

– Естественно, ведь твоя вина очевидна.

– Тогда где же я?

Я взял его за руку:

– Вот сейчас где я?

Он вырвал у себя волос, привязал к нему камешек, набросал в золе примерную карту наших мест и прошелся по ней с этим маятником.

– Мы здесь, на Везере.

– Нет, это ты здесь, на Везере, а я – нет; поищи, я в другом месте, посмотри вверх по течению.

Маятник остановился чуть выше деревни.

– Я вижу источник, – сказал священник, – и вижу тебя.

– Туда я и спрятал свою душу.

– Туда, в источник?

– Да.

– Ну ты силён, – пробормотал священник. А потом добавил: Тебе надо забрать ее оттуда после суда, смотри не забудь.

– Думаешь, я могу забыть свою душу? – спросил я, ласково прижавшись к нему.

Он встал. Мы свернули одеяла, затоптали последние головешки, переплыли на лодке реку, долго шагали через лес и дошли до дома.

Было три часа ночи, и мы валились с ног от усталости. Все же, перед тем как отправиться спать, мы устроили праздник. На кухне священник дал мне немного хлеба и вина. «Держи», – сказал я, наливая вина в его стакан, после долгого молчания. Он выпил, не ответив, но мне показалось, что я видел, как у него на губах мелькнула дружеская улыбка. «За тебя!» – сказал он, и я понял, что он говорит об успешном исходе суда. Еще немного и я бы поднял бокал за магию, которая меня защитила. А в моем сердце звучали бы слова мальчика: «Вот видите, мы победили».

Перевод Алины Поповой

РОБЕРТ ИРВИН

ПОСТОЯНСТВО ЛОЖНОЙ ПАМЯТИ

Разве не прекрасно бы было, когда б могли мы прочесть в одной книге всё то, что из всех иных книг (прошлых, нынешних и тех, коим только предстоит появиться) узнавали, узнаём и будем узнавать и находить вне их.

Летом 1311 г., незадолго до открытия Венского Собора, кардинал Модерацио сел на корабль, идущий в Пальму. Он был призван, да, призван, философом-отшельником с Майорки Раймондом Луллием. Послание Луллия доставил Модерацио в Брешию нищенствующий монах. В своём письме Луллий сообщал (слегка туманно) о новом изобретении, которое наверняка избавит сарацин от их еретических заблуждений и, следовательно, приблизит Второе Пришествие Спасителя, чего каждому следует ожидать с нетерпением. С нелёгким сердцем размышлял Модерацио о том, чем может оказаться изобретение. Возможно, просто новым опровержением Корана? Но нет, это должно быть что-то более серьёзное. Быть может, проект могучей дамбы, которая отклонит течение Нила от магометанского Египта и направит его дарующие жизнь воды в христианскую Абиссинию? Или, возможно, хитрый план обучения французских проституток христианской теологии и последующая отправка их на Восток, в гаремы султанов, после чего коварные наложницы, оказавшись в постели, легко обратят своих заблудших повелителей в истинную веру. В прошлом Модерацио выслушал и отклонил множество таких схем. Но изучение письма Луллия породило в нём ощущение некоего обещания или, может, угрозы, чего-то, что непросто было понять и потому непросто отвергнуть. Цитата в письме казалась Модерацио знакомой, но он никак не мог её идентифицировать. Возможно, это была одна из собственных работ Луллия, *Fama Fraternitas? De Modo Auditu Angeli?*

Сойдя с корабля в Пальме, Модерацио провёл ночь в маленьком порту в гостях у арагонского сенешаля. Вечером, пока кардинал с сенешалем ужинали, слуги кардинала были заняты поисками мулов и заготовлением провианта для предстоящей на следующий день поездки. Кроме слов о том, что самый знаменитый гражданин Майорки вряд ли переживёт ещё несколько зим, сенешаль не мог сообщить кардиналу о занятиях Луллия в его горной хижине ничего интересного. Наутро караван мулов отправился в путь, чтобы доставить кардинала со свитой к подножью горы Ранда. Модерацио оставил спутников в лагере на нижнем склоне горы, где оливковые рощи уступали место еловым зарослям. Дальше, по лесной тропинке к хижине на самой вершине горы, он пошёл один. День был знойным и на щеках кардинала выступал пот, собирающийся в идеальной формы слёзы. Убежище Луллия оказалось маленьким потрескавшимся домиком каменной кладки. Перед дверью пробивалась сквозь сухую почву одинокая сосна. С одной из её ветвей свисал на цепи рог. Модерацио поднёс его к губам и дунул. Эхо ещё перекатывалось по холмам, когда Рамонд Луллий, *Doctor Invincibilis*, появился в дверях. На нём был византийского стиля тюрбан и малиновый халат, украшенный языками пламени. Из-под халата выглядывали турецкие шлёпанцы с загнутыми носами. Увидев кардинала, Луллий закрыл глаза. Потом, после долгой паузы, произнёс:

– Кардинал Модерацио. Добро пожаловать.

Дальнейших приветствий не последовало. Луллий стоял, заполняя собой дверной проём и не делал никаких движений, чтобы пропустить кардинала.

– Зачем ты пришёл? – потребовал ответа старик.

– Я получил твоё письмо.

– Ты получил моё письмо, но понял ли ты его?

Модерацио понял, что с ним обращаются как со школьником, но отнесся к этому довольно спокойно.

– Ты писал о книге, которая включает в себя все книги. Думаю, ты имел в виду Библию. Ты также ссылался на Ангельские Ключи и на образы, слишком ужасные, чтобы их забыть, и, наконец, ты, кажется, пообещал продемонстрировать изобретение, которое обратит сарацин. Из-за этого последнего я и приехал, и, если мне будет позволено, я надеюсь написать о нём благосклонный отзыв Папе.

– Ты не понял моего послания.

– Значит, схемы по обращению сарацин не существует.

– Существует, и ты увидишь её прежде чем уедешь отсюда. Но ты должен увидеть её понимающими глазами, а не понимаешь ты многого. Воистину, мне следует сказать, что не понимаешь ты ничего. – Луллий помолчал. – Изучал ли ты когда-нибудь Искусство Памяти?

Кардинал покачал головой.

– Мои парижские учителя не сочли это необходимым, кроме того, память моя и так неплохо мне служит...

– Тогда твои парижские учителя сослужили тебе плохую службу, – преврал его Луллий, – Искусство памяти это – ... Знаешь ли ты, что есть искусство памяти? Это самое мощное оружие в арсенале христианства и одно из тех, о коих Калиф с его магометанами не знают ничего.

Старик раскачивался в дверях.

– В правильно обученном христианском уме содержатся могучие силы. Я вижу, что необходимо провести демонстрацию. Но сперва, давай попробуем вот что. Откуда я знаю, что твоё имя – Модерацио и что ты кардинал?

Кардинал тщательно обдумал это. В Париже его научили не доверять обманчиво простым вопросам. И, тем не менее, откуда Луллий знает, кто он? Они встречались пять лет назад, в Гаэте, потом ещё дважды в Падуе. Потом, совсем недавно, Луллий написал ему, и вот он явился в ответ на письмо. Кем же быть кардиналу Модерацио, как не кардиналом Модерацио? Но, сообразно осторожный, кардинал не дал никакого ответа, а лишь пожал плечами.

Луллий продолжил:

– Я старый человек, почти втрое старше тебя. Я видел как папы, короли, кардиналы, князья, священники, бароны, капелланы, купцы и все остальные приходят и уходят из моей жизни. Никакая нетренированная память не смогла бы справиться с таким количеством, не потеряв большую часть. – Луллий постучал себя по лбу. – Но я освободил палаты своей головы и превратил её дикий сад в искусственную память поразительной мощи. Я создал в своём черепе палаты, и в каждой из палат ниши, и в каждой нише образы памяти. Ты, например, когда я хочу тебя вспомнить... – (Тут у кардинала создалось впечатление,

что Луллий не слишком часто хочет его вспоминать.) – ...ты находишься в сто восемьдесят четвёртой палате Дворца Памяти, в шестой нише. Поскольку ты добродетельный кардинал, я представил тебя в виде кардинальской добродетели, крылатого ангела. Поскольку тебе тридцать три года, а это возраст, в котором умер Христос (прекрасный, кстати, возраст для смерти), я вообразил распятие у твоих ног. Поскольку ты итальянец, я сделал тебе спагетти вместо волос. Наконец, потому что Moderatio – анаграмма английского I Dream Too – я тоже мечтаю – я представил всё это в облаке, выходящем у меня из головы. Это просто, и это сообщает мне всё, что мне нужно о тебе знать.

Кардинал был очень вежлив и ничего не сказал, но Луллий заметил в молодом человеке сомнение.

– Это только начало. Пройдём внутрь.

Старик взял его за руку и втянул в хижину. Модерацию чувствовал, как дрожа-ла стариковская рука у запястья, но, посмотрев вниз на эту узловатую руку, понял, что то, что он принял за старческую дрожь, на деле было чем-то неистовым и полным жизни. Будто под кожей у философа трясся и извивался какой-то мощный дух.

Хижина оказалась тёмной и прохладной. Вся комната была завалена книгами и диаграммами. Мебели не было, лишь соломенный матрас и нечто, возвышавшееся в центре комнаты и накрытое большим куском парусины.

– Возьми книгу, любую книгу, – потребовал старик. – Возьми книгу в любом месте, открой на любой странице. Скажи мне, какую главу ты открыл, и я скажу тебе, что написано в этой главе – слово за словом и буква за буквой.

Модерацию подошёл к куче книг в углу и заколебался. Несомненно это гадание по книгам несколько походило на *Sortes Virgilianae*, достойную порицания практику библиомантии? Кроме того, книги были весьма странными. *Turba Philosophorum*, *Tractate Middoth*, *Necronomicon* Аль-Хазреда. Он выбрал книгу, дал ей раскрыться и поспешно закрыл снова. Страница была заполнена выполненными в мельчайших деталях схемами женских внутренних органов, разрезанных и изображенных под незнакомыми созвездиями. Кроме того, текст был как-то зашифрован. Он взял другую книгу, название которой было по крайней мере ему знакомо.

– *Picatrix*, часть четвёртая, глава двадцать третья.

Закрыв глаза и плотно прижав руки к бокам, Раймонд Луллий начал декламировать: «Адепт должен знать, что он восседает на высочайшей из всех ветвей знания. Поскольку узнает он, что он есть человек, и что человек есть мир в миниатюре или сокращение целого. По этой-то причине и сформирован череп его как небо над ним и нет под небом ничего, что человеческий разум не смог бы объять. Но прежде чем проследовать дальше, адепт должен быть предупреждён также об определённых ловушках и западнях, кои, не будучи распознаны, неизбежно приведут к...» и так далее и так далее.» Луллий открыл глаза.

– Довольно ли ты услышал? Я могу вспомнить каждое слово на этой странице. Более того, могу сказать тебе, какие буквы начертаны чёрными чернилами, а какие красными. Разве ты не впечатлён?

– О да! Это что-то изумительное, – вежливо ответил кардинал. Но про себя подумал, как это поможет обратить сарацин? Калиф вряд ли обратится при виде того, как стареющий отшельник вспоминает его имя.

Луллий издал сухой смешок.

– Но это пустяк, сущий пустяк. Я бы не вызвал тебя сюда из Неаполя из-за такой мелочи. Сейчас я покажу тебе что-то воистину изумительное.

С этими словами старик наклонился и принялся стягивать парусину. Кардинал попытался было ему помочь, но был остановлен властным движением руки. А потом он и впрямь замер от изумления. Он не мог подобрать имени к тому, что появилось из-под брезента и стояло теперь в центре комнаты, поблескивая в скудном свете. Это походило на каркас бронзовой сферы, вмонтированный в дубовый стол. Или, немного, на модель планетной системы. Или на астроблюбу с алидадой. Или, возможно, на армиллярную сферу. Но на самом деле это не было похоже ни на что, прежде виденное кардиналом. Он провёл над устройством руками, не решаясь до него дотронуться.

– Что это?

– Это машина, которая обратит сарацин и евреев. Это ответ на всё. Это моя машина *Ars Combinandi*. Это воплощение каждой книги, которая была или будет написана. Я сам, написавший столько книг, не стану больше писать, потому что *Ars Combinandi* знает всё и при умелом обращении может всё сообщить.

Кардинал внимательнее посмотрел на прибор. Тот воистину был произведением необыкновенного мастерства. Два набора из девяти больших бронзовых колец каждый, размеченные латинскими буквами и арабскими цифрами, висели одно в другом, соединённые лишь скользящими штифтами, охватывая центральную сферу тремя сегментами. Всё это было окружено вертикальным деревянным обручем, на котором были начертаны знаки зодиака, к нему был присоединён скользящий серебряный указатель. Указатель, в свою очередь, был соединён элегантным набором передач с большой осью, которая поддерживала внешнее из бронзовых колец.

– Его Святейшество будет рад это увидеть! Что она делает? Может ли она показывать время?

– Она может сказать нам, что есть Время, – величественно ответил Луллий. Если хочешь, можешь пообщаться с ней.

Кардинал поднял руку и очень неуверенно сказал:

– Приветствую.

Машина не ответила.

Луллий, не заметивший этого, продолжал:

– Это внешнее воплощение моей работы с Искусством Памяти. Это искусственная память. Все человеческие знания заключены здесь в абстрактном виде. Центральная сфера разделена на три части, символизирующие три активные свойства – Волю, Интеллект и Чувство. Внутренний из двух наборов колец соответствует Девяти Именам Бога, а внешний – девяти уровням существования, от Божественного к Неорганическому. Таким образом, у нас есть три и девять и девять переменных, и, если мы прибавим эту движущуюся стрелку, которая называется квестор или дознаватель, всего у нас их будет двадцать две. Итоговая сумма – два в двадцать второй степени минус один, что составляет четыре миллиона, сто девяносто девять тысяч триста три. Как тебе должно быть известно, это число отдельных вещей и явлений, существующих во вселенной.

Полагаю, твои парижские преподаватели научили тебя этому? Каждая вещь во вселенной может быть найдена путём правильного манипулирования и комбинирования этими колёсами. И даже это ещё не всё, потому что память *Ars Combinandi* – не пассивная. Это знание, потенциально активное и мобильное, потому что с помощью корректной манипуляции кольцами и перемещений квестора, оно может производить силлогизмы, рассчитывать человеческую судьбу и опровергать ереси. И всё это – с помощью твёрдой логики! Теперь, если ты назовёшь мне вопрос, я сделаю так, что машина на него ответит.

Мысли кардинала заматались. О машина, довольна ли ты своей работой? Будет ли завтра дождь? Правда ли, что кошки умнее собак? Но он не хотел показаться легкомысленным.

Итак, наконец:

– Спроси, существует ли Бог?

Луллий принялся настраивать кольца, пока они не оказались в удовлетворившем его положении. Затем он переместил квестор в предназначенную позицию. Кольца начали вращаться, сфера поворачиваться и квестор на обруче стал перемещаться вслед за ними. Наконец, он остановился на закодированном наборе символов.

Луллий достал свою кодовую книгу. Он и кардинал вместе вели взглядами и пальцами по колонкам зашифрованных фраз. И, наконец, нашли ответ машины.

«ЕЩЁ НЕТ!»

* * *

Четыре способа Мышления (Тождество, Отрицание, Взаимность и Перестановка) взаимозависимы с тремя активными силами интеллекта и эти зависимости в свою очередь могут быть рассмотрены в свете записей, создаваемых подмножествами двадцати двух букв кабалистического алфавита. Единая совокупность суеты и качеств произведённых в результате таких вычислений наверняка должна существовать. Длинные цепи абстрактных мыслей змеились сквозь его череп.

Луллий лежал на соломенном матрасе в мыслительной агонии. До того как вежливо проститься и отправиться в свой обратный путь к подножью горы, кардинал не сказал ни слова. В этом не было необходимости. Оба знали, что машина *Ars Combinandi* никогда не будет показана Папе. Она несомненно была еретической. Я предам дьявольский прибор пламени, думал Луллий. И сожгу свои книги. Книги, шифры, алфавиты, силлогизмы, всё, что когда-то варилось в его голове, теперь казалось ему ужасной лихорадкой, болезнью, от которой будет сложно когда-либо оправиться. Я погибаю от размышлений, подумал он. Я превратился в камень. Камень должен быть классифицирован как Неорганическое. Он является выражением качества минеральности. Поскольку он сух и холоден, его руководящим астральным влиянием является... Стоп. Стоп. Он подумал, что сейчас хотел бы увидеть настоящий булыжник и почувствовать тот отчётливый запах, что издают мокрые камни на солнце. Он хотел бы... Чего бы хотел он? Он подумал, что хотел бы вернуться в мир, каким тот был, когда он был моложе, мир, чьи контуры были яснее и чётче, а свет ярче. Время, когда он воспринимал

всё таким, каково оно есть, а не посредством серой мысли. Он хотел бы посмотреть на человека и дотронуться до плоти.

Была одна девушка, вспомнил он. Он не мог вспомнить её имени. Они лежали вместе в саду на окраине Пальмы, на обочине идущей вдоль побережья дороги. Его рука покоилась на её бедре. Синее пятно, должно быть, было её юбкой, хотя кроме этого он не помнил ничего из её одежды. Она смеялась, и он смеялся. Он помнил этот момент лишь по одной причине, потому что он был началом его новой жизни, последним весёлым вздохом его старого грешного Я и зарождением карьеры *Doctor'a Invincibilis*. Потому что в тот момент, почувствовав присутствие в саду кого-то третьего, он внезапно оторвал глаза от хохочущей девушки, поднял глаза и в ужасном изумлении узрел над собой Христа, нависающего над садом, склонившись с Древа Адама, на котором был распят. Луллий закричал и раскаялся. С этого момента он стал избегать женщин и других земных явлений, думал лишь о Боге и работал над своей философией. Что же до неё, – девушка, имени которой он не помнил, наверняка вышла замуж и стала старой и уродливой, вынашивая детей. Было бы бесполезным искать её теперь. Вполне возможно даже, что теперь она (но не её имя?) существовала только как кучка зеленеющих костей в каком-нибудь поле.

Потерянные воспоминания часто незвано возвращаются к мужчинам и женщинам, впадшим в старческое слабоумие. Это хорошо известно (Хотя ничего не могло появиться без спроса в памяти Луллия). Ничто, однажды виденное или слышанное, не может быть утеряно окончательно. Где-то в памяти оно продолжает храниться. Нужно лишь найти к нему дорогу. Странно, что он, мастер *Ars Memorandi*, не мог вспомнить её имени и даже лица. Он лежал, напрягая мысль. В конце концов, он вспомнил, что он забыл то, что он запомнил забыть. В первые дни его штудий мнемонического искусства, он научился вспоминать все сцены и лица своей юности в мельчайших подробностях. Добродетельных друзей и душеспасительные сцены он мог восстановить в памяти почти мгновенно. У них были свои постоянные места в открытых частях Дворца Памяти. Но сейчас он вспомнил, что собрал все воспоминания о каждом постыдном инциденте, каждой сцене искушения и каждом беспутном приятеле и заточил их в башню в редко посещаемом закоулке Дворца Памяти и, сделав это, замкнул дверь башни и никогда больше к ней не подходил.

Так что было очевидно, что девушка находилась в башне, сохранённая во всей красе своей юности, каждый дюйм её плоти, каждая пора её кожи, каждая ресница были на месте и нетронуты временем. Она будет в идеальном состоянии – как гомункулус в банке с маслом или розовый лепесток, зажатый меж страниц забытой книги, или любовное письмо, хранящееся в запечатанной шкатулке. Но войти в башню, вызвать память о ней – всё равно, что оживлять мертвецов, грешное воскрешение. Луллий поиграл с искушением, поиграл и поддался ему. В конце концов, в этом не должно быть никакой опасности, поскольку он уже очень стар и искушен во всех дисциплинах, которые может предложить христианство. Будет даже полезным рассмотреть капризы юности в свете опыта. Он почувствовал смутное возбуждение.

Несколько минут спустя он закрыл глаза и начал концентрироваться. Он вступал во Дворец Памяти. План дворца был сделан по подобию Папского Дворца

в Авиньоне, – самого большого здания, когда-либо виденного Луллием. Он замешкался у алькова в первом вестибюле. В нём стояла телега с сеном, а над ней колыхалось полупрозрачное бесплотное привидение. Он улыбнулся. ВОЗДУХ, первый из четырёх элементов. В следующем алькове, разумеется, была ВОДА – Волк, бросающийся на Оленя, стоящего под Деревом, на котором росли Апельсины. Такие же яркие образы заполняли альковы, предназначенные ЗЕМЛЕ и ОГНЮ. Главный зал собраний, часто использовавшийся Луллием в ежедневных вычислениях, был заполнен беспорядочными картинами. Оратор, Можжевельный Куст и Свора Псов отмечала путь к силлогизму Аристотеля. Крылатое яйцо... Слон, несущий Обелиск... Петух... Король, Королевич, Сапожник и Портной, играющие в карты... Омертвевший Агнец... Качели, на которых восседал Пламенеющий Менестрель. На расшифровку всего этого сейчас не было времени. Отшельник устремился сквозь зал и из него, через спрятанную за троном дверь.

Найти запертую башню оказалось делом быстрым. Время от времени ему приходилось останавливаться и заново знакомиться с созданным им Дворцом. Но, как только она была найдена, несложный трюк памяти успешно открыл запертую дверь. Стелла обитала на верхнем этаже Башни. (Да, он вспомнил её имя, лишь только прошёл через дверь.)

С нарастающим возбуждением поднимался отшельник по лестнице. Лестничный пролёт был заполнен людьми, и Луллий почувствовал, что с него катит пот. Толпящиеся вокруг беспутные друзья прошлых дней пытались удержать его, но он не обращал на них внимания.

Наконец, он открыл дверь палаты. Крохотная комната была почти полностью занята сияющей звездой, висящей в её центре и освещающей своими лучами странные объекты, которые, десятками и сотнями, покрывали пол и стены – якорь, прицепленный к отрубленной руке, растущее вверх корнями Древо Иуды, ряд вырезанных из дерева искусственных зубов, ждущий повешения человек с петлёй на шее, заросшая мхом пентаграмма... Луллий принялся наводить порядок в этом хаосе. Он легко разобрал множество запутанных анаграмм и акростихов, расшифровал обманчивый ребус и, наконец, превратил звезду в Стеллу.

Лучи втянулись, и фигура Стеллы нарисовалась перед ним в сумраке во всём своём объёме. Что за женщина! Что за женщина? В иерархии сущностей женщина, как и мужчина, находится между Ангельским и Животным. Но есть некие важные качества, отличающие её от мужчины. Во-первых, Женский Первоисточник пассивен. Во-вторых, астральное влияние, руководящее *femininitas* – это влияние Венеры, которая является влажной и горячей. Соответствующий каballистический знак – *Гимель*, тоже горячий и влажный, но это лишь *Гимель* в своём пассивном аспекте, что легко увидеть из функции *Гимеля* в его активной мужской роли с Древом Зефира. Но есть в ней также и качества наслаждения и родов, кои следует рассматривать во всём множестве их аспектов...

Тут Стелла заговорила.

– Как здесь жарко! Ничего, если я ослаблю корсаж?

– В аду будет жарче, – пробормотал философ рассеяно.

ИНТЕРВЬЮ С РОБЕРТОМ ИРВИНОМ

Остап Кармоди: Откуда у вас такой интерес к арабскому миру?

Роберт Ирвин: Господи, ну и вопрос! Я учился в Лондоне и там встретил одного студента, который в весьма юном возрасте решил стать крупным преступником. Ещё школьником он начал воровать и пускаться во всевозможные аферы. Но в какой-то момент ему в голову вдруг пришла мысль, что за это придётся платить и, возможно, гореть в адском огне. Он порвал с прошлым и решил обрести спасение. Он изучил все основные религии и понял, что истинной религией является ислам. Лет в 15 он обратился в ислам и исправно молился в мечети на юге Англии. Но, обратившись в ислам, он захотел найти само сердце этой религии, и, в конце концов, решил, что это суфизм. Есть великолепная книга Мартина Лингса «Мусульманский святой двадцатого века» – очень сильный религиозный текст об алжирском святом, жившем в небольшом городке на северо-западном побережье Алжира. Так вот, мой друг решил, что нет никакого смысла быть мусульманином второго сорта, надо ехать туда, где сердце, и отправился в монастырь дервишей. Там он принял посвящение от шейха, а потом вернулся в Оксфорд для обучения, где и встретил меня. Там же я познакомился с его девушкой. Это была исключительная женщина, она выступала на Олимпиаде, была профессиональной пианисткой, имела чёрный пояс по дзюдо, говорила по-хорватски, на санскрите и ещё Бог знает на каких языках. Суперженщина, даже страшно. Нет, она была очень приятной, но становилось страшно, когда ты представлял себе, что она может и сколько всего знает. Я был просто захвачен их историями о том, что там происходило. Я решил, что как-нибудь летом тоже туда съезжу, нельзя дальше жить той скучной жизнью, которой я жил до сих пор. И я поехал. Это была страна волшебства и чудес, в Оксфорде я изучал средневековую историю, раннюю историю ордена францисканцев, раздоры в этом ордене, чудеса, которые тогда происходили и всё такое, и я увидел, что всё это снова происходит прямо сейчас, на северном побережье Африки, в невыносимой жаре.

ОК: Другая сквозная тема вашего творчества – сны. Почему вы пишете о снах?

РИ: Я жил весьма комфортабельно на юге Англии, в буржуазной семье, не видел никаких войн, никакой оккупации. Мне пришлось создавать собственные проблемы, среди прочего – через сны. Так что в возрасте тринадцати лет я начал собирать свои сны. У меня где-то лежит целая коробка моих ранних снов, которые я записывал в дневники. Проект, который мне только предстоит осуществить, – что-то типа автобиографии, которую я планирую назвать онейрография, история моей жизни, прожитой в снах, в которой моя настоящая жизнь – так называемая настоящая жизнь, – это сон, а на самом деле реально то, что происходит ночью, когда я вижу сны. Но, как бы то ни было, я уже давно не занимаюсь снами. После того, как я работал с ними на протяжении десятилетий, я в

конце концов утратил веру в сны. Приходится признать, что я так и не знаю, для чего существуют сны, я не считаю их важным источником литературного вдохновения, я думаю, что сны – хорошие рассказчики, я не думаю, что есть смысл их записывать. Но, Бог мой, я записал тысячи, возможно десятки тысяч снов, прежде чем пришёл к этому печальному и запоздалому пониманию.

ОК: Вы говорили, что были хиппи и принимали наркотики. Что вам дал наркотический опыт?

РИ: Прозвучит странно, но он дал мне душевное здоровье. Возможно благодаря им, сегодня я здоровый человек. Потому что когда я поступил в университет, я был в ужасном психическом состоянии. У меня были галлюцинации, я был на грани нервного срыва, а, возможно, и перешёл эту грань. Наркотики тогда дали мне какую-то цель в жизни, а то, что я принимал их в компании, дало мне своего рода общество, группу единомышленников, я почувствовал себя спокойнее. Все принимали ЛСД, все курили опиум из больших кальянов, и я, наконец, почувствовал себя членом общества, в котором у меня было место. Наркотики дали мне стабильность, я многим им обязан. Это, конечно, было очень невинное время – шестидесятые. Такие вещи как крэк и кокаин ещё не появились, клубной наркокультуры ещё не было, не было драгдилеров в современном понимании. Сейчас мне очень грустно смотреть на жертв дилеров в южном Лондоне, я вижу, как люди месяц за месяцем медленно продвигаются к смерти. Но в шестидесятых всё было не так. Мы не знали, что за этим последует наказание. Скоро мы открыли это для себя. Некоторые мои друзья умерли или сошли с ума, один прыгнул с моста и остался парализованным – всякое бывает. Но тогда мы этого не подозревали. Это были дни смехотворной надежды на то, что наркотики – это ключ к чему-то, как кто-то сказал: «путь в рай для ленивых».

ОК: Вы считаете, что для наркотиков есть определённый возраст? Что в таком-то возрасте их стоит принимать, а в таком-то надо остановиться?

РИ: Знаете, что поразило меня с ЛСД – первый трип всегда не представляет собой ничего особенного, значительного. Второй трип – очень правильный и плодотворный, во время третьего начинают появляться нехорошие вещи, и большая ошибка принимать ЛСД в четвёртый раз. Что касается возраста – я смотрю на ребят, выходящих из клубов в южном Лондоне, где я живу, и думаю, что с удовольствием принял бы экстази или любой из наркотиков, которые я любил, когда был молод. Но мой возраст, моё артериальное давление... Я слишком стар. Я бы ещё справился с небольшим количеством опия, но не со всеми этими новыми штуками. Они, возможно, убили бы меня.

ОК: Насчёт духовных практик – восточных духовных практик, да и западных тоже, – вы практиковали какие-нибудь из них?

РИ: Я перепробовал всё, всё, что было. Я занимался буддизмом Теравады, дзен-буддизмом, йогой, разными формами восточных боевых искусств,

сайентологией, недолго увлекался сатанизмом, плюс психогруппы, которые были квази-мистическими и разные другие группы, даже названий которых я не помню. Я посещал их все, но только суфизм оказался серьёзным.

ОК: Что вы нашли для себя в суфизме?

РИ: Я нашёл в нём экстаз, но не в этом главное. Экстаз очень неверно понимают. Это лишь побочный эффект определённых медитаций или танцев, это весьма приятно – экстаз по определению приятен, но это не имеет никакого отношения к тому, куда ты движешься, и мои учителя относились к экстазу весьма пренебрежительно, говоря, что это лишь то, что случается по дороге, это надо оставить позади, не в этом смысл, а в том, что тебе предстоит открыть. Господи Боже, вот сейчас начинается самое сложное! Это – это находится за пределами литературы и почти за пределами слов, – сильное... нет, не сильное, неоспоримое чувство того, что существует что-то кроме этого мира, что-то, что присматривает за миром, настолько чужеродное человечеству, что это слегка пугает. Да, что-то невыразимое словами.

ОК: Если оно настолько чужеродно человечеству, зачем нам беспокоиться об этом?

РИ (смеётся): Потому что это Окончательная Реальность. И единственный наш шанс на загробную жизнь, как я думаю. Но об этом очень сложно разговаривать. Давайте поговорим о чём-нибудь другом.

ОК: Как вы думаете, новые суфийские школы продолжают традицию старых школ? Или это всего лишь слабые их подобиya?

РИ: Есть суфизм и суфизм и суфизм – много разных его видов. И почти всё, что доступно на Западе – это дешёвый суфизм в пастельных тонах для улучшения настроения. Суфизм для повышения ваших успехов в бизнесе, суфизм для того, чтобы примириться с собственной жизнью. Дерьмо. Пенсионный суфизм, феминистский суфизм, а... полная ерунда. Есть ещё дыхательный суфизм, юмористический суфизм – попытки взглянуть на жизнь с забавной стороны, и другой подобный нонсенс. Любой суфизм, который не связан напрямую с исламом, суфизмом на самом деле не является. Некоторые из этих течений весьма приятны, но они не являются суфизмом.

ОК: А тот, который связан с исламом, тот, который сейчас практикуется в тех исламских странах, где он не запрещён?

РИ: Суфизм был запрещён во многих странах. Орден, в который я вступил, был в Алжире, и Алжир управлялся ФНО после ухода французов. Исторически суфийские ордена в Алжире сотрудничали с французскими колониальными

властями, французы использовали суфийских шейхов в качестве посредников при общении с арабами и берберами. Так что когда ФНО пришёл к власти, они стали преследовать суфийские ордена. Мой орден выжил предположительно потому, что в своё время спрятал Бен Беллу от французских парашютистов. Но очень многие пострадали даже несмотря на это. Моего шейха, например, пытали, я видел следы пыток на его ногах. И, в конце концов, их выдавили из Алжира, теперь они базируются в Париже. Опять же, турки запрещали все суфийские ордена. Кемаль Ататюрк, когда пришёл к власти вскоре после первой мировой войны, запретил суфизм, так что вертящиеся дервиши отправились в изгнание. Сейчас они вернулись в Турцию, в Конью, которая была их историческим центром, но лишь для того, чтобы стать приманкой для туристов. Насколько танец дервишей, ежегодно показываемый в Конье, находится в русле настоящей мевланитской традиции – вопрос спорный. Я этого не знаю. Думаю, что есть одна очень большая и важная вещь, о которой надо здесь сказать: суфизм находится под двойной атакой. С одной стороны он столкнулся с миром западного рационализма, с МакДональдсами и глобализацией. С другой ему противостоит исламский фундаментализм, исламисты. Исламисты ненавидят суфиев. Так что суфии оказались между молотом и наковальней. И, тем не менее, думаю, что они являются главной надеждой ислама.

ОК: Вы считаете свои книги суфистскими? Я имею в виду не только Ваши «арабские» книги, но и всё Ваше творчество.

РИ: Ни в коем случае! Я очень тщательно слежу за тем, чтобы не обсуждать самые важные вещи в своих романах. Мне не кажется, что романы – по крайней мере, мои романы, – должны писаться об этом. «Арабский кошмар» выглядит так, будто он весь набит эзотерической мудростью. Конечно, не всё там подложное, я вставил туда кое-что о снах, о секретных орденах в средневековом Каире, но я не хотел, да и не осмелился бы вставить в роман настоящий суфизм. Я не могу рассчитывать на то, что адекватно его представлю. Мне не кажется, что это цель моей работы писателя. Мои романы – развлечение, а не части культа. Культ производит плохие романы. Когда Толстой начал воспринимать христианство всерьёз, он сделался плохим писателем. Роман не является естественным средством обучения мистицизму. Мне не приходит в голову ни один великий буддистский роман и ни один великий христианский мистический роман. Ни один. Роман существует не для этого. Роман – это как игра в теннис, он помогает неплохо провести время.

ОК: Вы пишете, чтобы убить время?

РИ: Во многом да. До некоторой степени я пишу романы, чтобы убить чужое время, – это то, что я предлагаю читателю. Но да, день за днём я сажусь и начинаю думать – как мне пережить этот день? Вечером будет вечеринка, главное дожидаться вечера. Но за писанием время проходит очень быстро, очень

эффективно, очень легко. Особенно если пишешь роман. Ты садишься, ты начинаешь писать, ты придумываешь фразы, ты смотришь на часы – Господи, уже и утро прошло, – спасибо тебе за это!

ОК: Вы говорили, что в определённый период жизни очень хотели вернуться к нормальности. Во-первых, чем именно нормальность так привлекает вас, а во-вторых, считаете ли вы вообще возможным вернуться к нормальности?

РИ: Да я хотел, когда мне был 21 год. Чем привлекательна... Она была великолепна: большая грудь, широкие бёдра, прекрасное лицо. Очень добрая, как мне тогда казалось. Это была женщина, и я готов был выбросить свой мозг и отрезать себе правую руку, только ради того, чтобы существовать в лучах её сияния. И я проиграл, я не смог удержать эту женщину, я казался ей слишком странным, я не мог превратиться в нормального человека. Она исчезла, и я неохотно расстался с этой мечтой. И вернулся к своему первоначальному проекту – стать писателем. В чём и преуспел, но этот успех до сих пор кажется мне утешительным призом, который ничего на самом деле не компенсирует.

ОК: Почему и в ваших книгах, и в книгах Пола Боулза западный человек... Вижу по вашему лицу, что вы не любите Боулза.

РИ: Нет, я не люблю Боулза.

ОК: Почему?

РИ: Я не то, чтобы так много его читал, но есть в Поле Боулзе что-то очень уж отстранённое... Я окружен людьми, которые любят Боулза, но я не могу к ним присоединиться. Это какие-то экспатские романы.

ОК: И вы не любите экспатов?

РИ: Мне нравится «Александрийский квартет» Лоренса Даррела, – а это очень экспатская книга, – она очень мне импонирует, но эта книга кажется мне очень человеческой, я чувствую, что она написана о людях из плоти и крови, – очень необычной, конечно, плоти, но тем не менее.

ОК: Тем не менее, как мне кажется, в Ваших романах и в романах Пола Боулза есть одна общая черта: западный человек приезжает в исламский мир в качестве своего рода завоевателя. Но постепенно исламский мир полностью подчиняет его себе, не подчиняет даже, но полностью включает его в себя.

РИ: Да, это справедливая аналогия. Это верно.

ОК: Что есть такое в исламском мире, что даёт ему такую власть над западными людьми – некоторыми западными людьми, по крайней мере?

РИ: Это... Я не уверен, что у него есть эта власть, но если что-то такое и есть, то это его способность сопротивляться модернизации, глобализации. Ислам почти не затронут ими. Не то, чтобы совсем не затронут, но... ислам всё ещё растёт. Это, возможно, единственная из крупных мировых религий, которая продолжает расти, и его основа не воспринимает западную секулярность и демократию как серьёзную угрозу для себя. Она даже не воспринимает их как вызов.

ОК: Вы разочаровались в снах, не пишете о суфизме, больше не принимаете наркотиков. Что является вашим нынешним наваждением?

РИ: Сейчас я пишу две книги. Одна из них – скорее игра, чем наваждение. Это роман о современной математике, её опасностях и тёмных сторонах. О трудностях современной математики – и для человека, вроде меня, это действительно очень трудно. Неевклидовы пространства, канторова теория бесконечных чисел и другие подобные вещи. На заднем плане происходит работа над другой книгой, которая является для меня большим наваждением, и темой которой является сокращение возможностей, вплоть до полного конца. Не то, чтобы это был мой последний роман, но это роман о ком-то, кто стареет, терпит поражение, разваливается, как великая империя...

ОК: Что вы думаете о старении?

РИ: Я надеюсь, что старение заставит меня примириться со смертью. Должно же так получиться. Но когда я смотрю на людей, которые старше меня, то понимаю, что старость – это совсем не весело. Поэтому я и пишу этот роман, о нехороших предчувствиях, о том, как закрываются двери и сжимается территория, о том, как затуманивается взгляд.

ОК: Вы думаете, что старость сужает не только физические, но и ментальные границы?

РИ: Парадокс состоит в том, что когда я закончил школу, я перестал заниматься какими бы то ни было физическими упражнениями. А сейчас я очень много занимаюсь, я как маньяк катаюсь на роликах, я много плаваю. Так что сейчас я в гораздо лучшей физической форме, чем когда мне было 25. Во-вторых, я сейчас значительно умнее. Когда я был молод, я был очень глуп. Но, хотя Джулиан Барнс говорит, что люди становятся с возрастом умнее, я считаю, что это неправда. Количество нашего интеллекта фиксировано. Сейчас я не чувствую никаких очевидных эффектов старения.

ОК: Но я спрашиваю не о чувствах, а о мыслях...

РИ: Остановите же его кто-нибудь!

ОК: Совсем ничего хорошего нет в старении?

РИ: На самом деле нет. Возможность стать патриархом, которого все слушают с уважением... но на самом деле нет, ничего хорошего.

ОК: Что вы думаете о русской литературе в общем и современной русской литературе?

РИ: Я почти не знаком с современной русской литературой, но я являюсь совладельцем издательства и мы недавно опубликовали Андреева и очень заинтересованы в переводе и публикации работ серебряного века русской литературы. Мы хотим опубликовать Брюсова, Мережковского и Белого. Эта литература, с одной стороны, находится на грани фэнтези и хоррора, с другой стороны это интеллектуальная глубокая литература. А я лично сейчас интересуюсь Достоевским, его взаимоотношениями с математикой. Он был на удивление хорошо осведомлён о современных научных теориях и о неевклидовой геометрии.

ОК: А что вас заинтересовало в современной математике?

РИ: Честно говоря, мне заплатили, чтобы я подумал об этом романе, что, конечно, очень странно. Мне никогда раньше не платили, чтобы я просто сел и подумал о чём-нибудь.

ОК: Вам заплатили, чтобы Вы написали роман о математике?

РИ: Нет, чтобы я просто *подумал* об этом. Другим стимулом оказалось то, что писать о том, о чём никто до меня не писал, стало неожиданным освобождением. Я обрёл полную свободу. Мне не надо бояться, что вот этот трюк кто-то уже использовал до меня – потому что все трюки новые. И это очень весело.

КОЛЛЕКЦИЯ

АЛЕХАНДРО ХОДОРОВСКИЙ

ОБЩЕСТВО ЦВЕТУЩЕГО КЛУБНЯ

(глава из романа «Попугай с семью языками»¹⁾)

Я признаю одну истину: истину иллюзии.

Хумс, из разговоров в кафе «Ирис».

Сантьяго-де-Чили, Акк, Га, Деметрио и Толин членствовали в некоей литературной академии; им доверили подколоть Ла Роситу. То был здоровяк лет пятидесяти, который водился с молодыми литераторами: пил с ними, щупал им бицепсы и топил в океане своей эрудиции. На заседаниях Академии он сравнивал стихи своих коллег с творениями сотен иностранных авторов. Бесконечно цитируя разные имена, он на корню губил любое оригинальное творчество, и не существовало книги, журнала или автора, неизвестных ему. Он жил одиноко в бараке крестообразной формы, ежедневно ходил в Национальную библиотеку, проводя за чтением восемь часов подряд. Академики подозревали, что три четверти его эрудиции – чистый блеф.

Решили выдумать некоего итальянского философа. Так появился на свет Карло Пончини, родившийся в Ареццо в 1893-м и таинственно исчезнувший в Риме в 1931-м. Впятером приятели сочинили его биографию, а затем принялись набрасывать трактат «О триполярности метафизики». При встрече со своей жертвой все стали дружно принижать роль Пончини в истории философии. Ла Росита в негодовании встал на защиту принципа триполярности, как ведущего прямоком к онтологическому замораживанию, и связал Пончини с Мастером Экхартом. Он сравнил своих противников с Мастером Рейнером, Пьером д'Эстатом, Генрихом II Вирнебургским. Бич инквизиции! Закончил же он свою речь небольшим очерком о влиянии аретинских пейзажей на творчество Пончини.

Все захохотали. «Да мы только что выдумали этого Пончини!» Не говоря ни слова, Ла Росита отвел их в Национальную библиотеку, открыл «Ревиста философия де Рома», номер 163 за 1935 год. Там имелаась статья, посвященная Пончини и его труду «О триполярности метафизики»!

Тремя месяцами позже служка в церкви святого Франциска уверял журналистов, что Ла Росита вошел в храм, преклонил колена перед алтарем, пробормотал что-то неразборчивое, посинел, взмыл в воздух, подобно святому Иосифу Купертинскому², и оказался на острие копья святого Георгия, как цыпленок на вертеле. Там, в пяти метрах от пола, его и нашли. Изо рта свешивался серый язык.

1 Перевод книги выйдет в 2005 году в издательстве «Kolonna».

2 Святой Иосиф Купертинский (1603 – 1663) – итальянский священник из ордена францисканцев. Согласно преданию, во время проповедей он часто приподнимался в воздух (на высоту до 20 метров) и парил над кафедрой.

Собака с лицом влюбленной женщины преследовала Деметрио уже довольно долго. «Зачем искушаешь меня, шлюха?» Животное поджидало его у входа в бар, где он только что выдал признание: «С каждым днем я все больше похож на пса». Он терял связь с действительностью, прошлой ночью, сам того не сознавая, взял из-под кровати горшок и утолил жажду собственной мочой... Деметрио выделял зигзаги вдоль улицы с криками «Да умрет Бог!», проститутки кидались в него грязью, встав на защиту Господа; псина бежала следом. Наконец, он уселся на тротуаре, напротив черной стены санатория. Собака с лаем терлась о его ноги; Деметрио испытывал внутреннюю борьбу, как тот, кто больше не верит в любовь и не завязывает новых интрижек, но его чувства еще были кое на что способны: он поднял передние лапы, засвистел «Грустный вальс» Сибелиуса и затанцевал с собакой – черной, как стена больницы. Подойдя к дому, он подхватил животное под мышку, ударами кулаков снес садовую ограду, пошел к двери, давая незабудки, улегся в постель, обнял свою возлюбленную, и так они – морда к лицу – лежали до утра, пока не явилась мать Деметрио, устроила скандал по поводу ограды и избивала собаку красным зонтиком – а он, сжав материнскую руку до посинения, вместо ответа залаял, выражая тем самым твердое намерение оставаться псом до конца своих дней.

Дом Деметрио был погружен во мрак. Из-за плотно закрытых дверей и окон комнаты хранили следы недавней ссоры. Толин постучал в знак приветствия, не ожидая ответа... Ему открыл Ла Росита!

– А, Толин, прекрасный и загадочный! Ты к Деметрио? Его нет. И родителей тоже, они сейчас в Вальпараисо. Я высадил раму и забрался в дом полюбопытствовать. Сеньора не желала принять меня по причине моих наклонностей. И вот, как видишь, я обследую содержимое шкафов, впитывая слабый запах бездушных вещей – запах звезд. Хочешь поглядеть на спальню своего друга?

Ла Росита сказал «друга», имея в виду «любовника». Комната была невелика и оклеена желтыми обоями.

– Смотри сколько душе угодно...

Тетради, заполненные угловатым почерком Деметрио; грязные листки со стихами; фразы, записанные на билетах в кино; стены, сплошь покрытые рифмованными строками; заметки на обложках книг; мысли, набросанные второпях, словно Деметрио стряхивал с себя пиявок. Толин под грубые насмешки Ла Роситы попытался навести порядок.

– Чего ты добьешься? Он пишет даже на туалетной бумаге. Сейчас он бродит возле порта, пряча в карманах пальто лучшие свои вещи. Скоро он пойдет под гору и никогда уже не поднимется на теперешнюю высоту. Ты будешь наблюдать его упадок, попробуешь дать ему новый толчок, отучить от пьянства; но все без толку. Поэзия – это дар. А он из гордости, не желая признаться себе в своем завтрашнем ничтожестве, сожжет сегодняшние творения. Он знает это и потому страдает. Он, домосед, ленивый медведь, не покидающий берлоги, трется около золотой молодежи, став для нее шутком; он участвует в литературных конкурсах, таскается по барам, лжет себе самому, бежит от себя. Ты тоже, Толин, будешь

страдать. Он заразит тебя своей тоской. Не знаю, освободишься ли ты когда-нибудь. Смотри! Вот три строчки на автобусном билете:

Невидимый,
ненужный никому,
лучший из алмазов...

Пойдем, Толин, я покажу тебе мое логово.

В первый раз скрипач переступил порог крестообразного барака, где обитал Ла Росита.

– Входи!

Книги от пола до потолка, то и дело падающие, изгрызенные крысами.

– Это мое любимое: Алоизиус Бертран, Марсель Швоб и особенно «Повелитель Фокеи» Жана Лоррена¹. Я тоже, как он, искал скорбные изумруды, притаившиеся в глазах помпейских статуй, в водянистых зрачках Антиноя. Гляди, вот мое сокровище. Ты никогда этого не забудешь...

Он открыл ящик. Человеческая голова внутри сосуда...

У Солабеллы была длинная огненная шевелюра. Голова, аккуратно отделенная от тела, плавала в прозрачной пахучей жидкости. Губы приоткрыты; тонкая кожа казалась живой и теплой. Глаза остановились на Толине, словно изучая его.

– Он жил в средневековье, на Балканах. Жидкость, в которую помещена голова, создана усилиями алхимиков. Если присмотреться, можно увидеть, как пробиваются волосы на подбородке. Это мужчина. Раз в месяц я кладу свой член ему в рот. Завтра вернется Деметрио. Прощай...

Деметрио, вылитый персонаж Эль Греко – тощий, непреклонный, высокомерный, подобно графу Оргасу² присутствующий на собственных похоронах, окруженный сотоварищами в строгих черных одеждах, погребенный под собственными изображениями, все чаще впадающий в бешенство, с завываниями читающий повсюду длинные поэмы (и с тайным наслаждением наблюдающий, как они исчезают в миг своего рождения), мастерски изображающий на запотевшем стекле гравюры, чистота линий которых приводила на ум скальпель Везалиуса³, способный плясать с быстротой вращения электромотора, напевая пошловатые арии, исполняющий номера танцовщиц из мюзик-холла, долго рассуждающий об абсурдности мира или причинах бессознательного уединения, – этот самый Деметрио медленно и мрачно сходил в могилу, губя свой гений завистью к себе самому.

Он знал, что не в состоянии повлиять на процесс творения – «я не создаю то, что выходит из меня, оно зреет само; все делается через меня, но не мной», – и ненавидел собственные таланты. Главной его мечтой был успех у женщин, такой,

1 Алоизиус Бертран (1807 – 1841), Марсель Швоб (1867 – 1905), Жан Лоррен (1855 – 1906) – французские писатели. Упоминание всех троих в этом контексте подчеркивает окружающую героя атмосферу интеллектуального декаданса.

2 Имеется в виду картина Эль Греко «Погребение графа Оргаса».

3 Андреас Везалиус (1514 – 1564) – известный бельгийский врач и анатом.

который достается боксерам и кинолюбникам, — однако тело Деметрио могло вызвать только лишь смех. Когда он прогуливался по лесопарку, читая на ходу гелевскую «Эстетику», — «...поднять сознание на высоту духовных интересов» — за ним стала увиваться муха. Деметрио заметил, что на него смотрят несколько студентов. Поэтому он решил отогнать муху и перейти на элегантную походку, чтобы отвлечь внимание девушек. Муха села ему на щеку, а потом закружилась рядом с головой. «Святые в нимбе из мух» — громко произнес Деметрио и представил себе рай, населенный гниющими ангелами, что сидят на кучах дерьма. Муха, однако же, не отставала. Забыв о всяческом достоинстве, Деметрио спрятался в кусты, снял кальсоны, — и насекомое бросило его преследовать. «Следить не только за действиями, но также за чувствами и мыслями, проверять построение каждой фразы, сохранять чистоту дикции. Повелевать собой», — так говорил Деметрио.

18 сентября, в день национального праздника¹, повелевающий собой спит в машине на берегу океана. Машина понемногу тонет в песке. Шины раскалены. Он ехал трое суток, напившись. Он неподвижен. Он — пес. Люди открывают дверь, вытаскивают его; он испражняется, утыкается лицом в трясику, чтобы задохнуться; его тянут за ногу, но слова ему не даются, он падает на все четыре лапы и умирает, отравленный алкоголем, лает на луну, подбирает кость, начинает рисовать что-то с невероятной быстротой; остальные замирают, а он, как в старые времена, двигаясь почти на автомате, не приходя в себя, чертит линии на сыром песке, и возникает его лицо, затем скелет с женской прической; он одет по моде девяностых годов и танцует со смертью, как на картине Дюрера; остальные хотят запечатлеть рисунок на пленку, но он бросается на него, катается по песку, рыдает, стирая рисунок руками, — и наконец, засыпает и храпит.

— Пока они пытаются воскресить Деметрио, пойдем покакаем!

— У тебя есть бумага, Акк?

— Нет, Толин. Если мы устроимся вон под тем деревом, то сможем подтереться его гладкими листьями. Меня научил Хумс. Когда он устраивает вечеринку, то кладет в туалет листья фигового дерева. Гости пользуются ими, потому что это так необычно, а Хумс подглядывает через дырку. Толин, заняться этим вместе с тобой, созерцая гибель юного гения, — это блаженство, достойное нирваны! Отсчет начался. Кто из наших умрет первым? Я надеюсь пережить их, разбогатеть и ходить на все похороны. Как можно пропустить хоть один такой праздник?! Буду читать надгробные речи тонкой фистулой. А потом плясать ночь напролет, обнимать трупы и опорожнять свой желудок им в лицо.

У Хумса была женская кожа и срезанный подбородок. Из пятидесяти лет, которые он признавал за собой, тридцать Хумс прожил в Париже. Он был инженером и садоводом, получил премию за выращенную им толстолистную орхидею. Хумс не представлял жизни без икры, божоле и слив в рассоле. Руками он вечно хватался за лацканы пиджака или поднимал их к небу, чтобы кровь отливала и они

1 18 сентября отмечается День независимости Чили.

оставались безупречно белыми, – две прозрачные стрекозы, что летали на его выступлениях, садились на щеки какого-нибудь простодушного слушателя и снова взмывали вверх, подчеркивая самые выразительные места переведенных с французского стихов.

У Зума, пузатого обжоры, имелся свой ответ на бархатные шляпы Хумса, – мягкая панاما, которая вместе с подтяжками служила чем-то вроде сумки. Стоило Хумсу прочесть перевод из какого-то автора, как он погружался в полное собрание его сочинений и, воодушевленный легкостью такого предприятия, мечтал приохотить чилийцев к лирике, дать им насладиться красками Боннара¹, красотой «Умиряющего юноши», творениями Гюстава Моро и прелестями галльской кухни; окруженный каменщиками и запахом извести, он поглощал в благоговейном молчании приготовленный Хумсом заячий паштет, а затем, раскрыв почерневший от непрерывных возлияний рот, он – завистливый обожатель – заводил с мэтром спор, подражая его профессорскому выговору. Эти сражения начинались обычно с обсуждения вечных ценностей, а приводили к тому, что, мол, ты, жирный ленивец без подбородка, да к тому же горбатый, сын неаполитанского лавочника, – как же ты намерен проникнуться Прустом, вонючий педик, неподъемная туша, гад ползучий? Все заканчивалось слезами Зума, ибо Хумс, несомненный победитель, в какой-то момент прижимал ладонь к уху, симулируя глухоту, и уже ни на что не отвечал.

Несмотря на постоянные бури, восхищение Хумсом со стороны Зума не знало границ. Когда его кумир, накачанный вином, шатался, пытаясь не выставляя на всеобщее обозрение невыносимый образ себя, рухнувшего без чувств, Зум подхватывал его, дотаскивал до туалета с ампирной отделкой и усаживал перед служившей унитазом фарфоровой жабой, – единственный сосуд, куда Хумс опорожнялся раз в четыре дня.

Преданность Зума не вознаграждалась должным образом: в конце каждого месяца, с ревом, от которого звенела посуда, по приказу Хумса приглашенные им гости набрасывались на Зума, резали ему брюки сзади, так что показывались кальсоны кальсоны в цветочек, мочились на него и бросали его на милость бродяг, которые длинными иглами берут кровь у мертвецы пьяных, продавая ее в больницы.

Акк пролезал на банкеты, щедрый на двусмысленные речи и многообещающие взгляды, заводил доверительные беседы, умел обернуться, когда было нужно, то хозяином, то слугой, – и наконец, стал для всех желанным гостем. Его дружба с Хумсом стала такой тесной, что даже Зум мог позавидовать.

В ночи полнолуния маэстро обычно испытывал тягу к вину и тошнотворным закускам и потому выбирался в бедные кварталы, обонял на пустырях запах мочи и не мог удержаться, чтобы не отдаться каким-нибудь подонкам. Акк сопровождал его с револьвером тридцать восьмого калибра в кармане, следил за ним, пока орава простонародья с непристойным хохотом наслаждалась нежным телом Хумса.

1 Пьер Боннар (1867 – 1947) – французский живописец и график.

Позже Акк издал роман, где поливал грязью своих покровителей. «Да, – отвечал он на упреки, я – вампир. Вы для меня были только *материалом*, я вас *использовал*... И что? В начале было не Слово, но насмешка. Земли, воды, леса, звери, люди, – все это отзвуки того жестокого смеха. Если ехидный Бог использует нас, занимаясь онанизмом, я, созданный по его образу и подобию, имею право убивать скуку, распиная вас точно так же, как он меня».

Толстяк Га увидел, что его лицо и руки в крови, что кровоточат тела друзей, деревья, асфальт... Весь город был окровавлен. Под красным дождем, разя перегаром, он добрался до того дома, где жила мать Толина. Эта седоволосая женщина, всегда одетая в жреческую тунику, заново разыгрывала историю Эдипа, ложась со своим сыном. Га – слон с кошачьими манерами – кружил возле ее жилища, надеясь подцепить ее либо кого-то из трех сестер Толина, сонных весталок, которые также принадлежали к гарему скрипача. Они слушали его разглагольствования о Рамо, пили мандариновый ликер, пока разгоряченный и потный мастодонт не выпускал из виду входную дверь.

Га обнаружил изъян в Эдеме, деталь мелкую, но полезную для спокойствия известной части тела: младшая сестра была девственницей и косила на левый глаз. Толин, которому хватало трех остальных женщин, берег ее до наступления полной зрелости. «Да она же косоглазая!», – орал он в кафе «Ирис», даже не пытаясь скрыть свою эрекцию.

(Для Толина матрас, покрытый лиловым шелком, был зачарованным царством, где еженощно он проникал в роскошное тело матери, которое она посыпала гипсом, а в глаза вставляла белые линзы, чтобы походить на греческую Венеру. Этот пустой взгляд, окрашенный пламенем очага, где сгорали листья лавра и вербены, призывали его, полного почтительности, он давал довести себя до влажного порога, исчезая затем в объёме пламени тоннеле, пока ночь не прекращала свой ход и вместе с ней – часы, капли, возглашавшие обескровливание мира, увеличение чисел, скольжение пустоты в сторону пустоты. И снова став зародышем, в буйных зарослях сладкой гардении он ронял светлую жемчужину – свою душу – чтобы потом заснуть, не выходя. Но его уже искали две другие руки...

Жреческая тень растворялась между цветов выюнка, и к Толину прижималось иное тело, но теперь уже жаркое и требовательное, окутывая его, словно кокон. То была Терпсихора, старшая из сестер. Она знала толк в ароматах, и при каждом выдохе из ее рта вырывался новый запах. Толин спускался от подмышек к лобку, к ступням ног, – от мятной поляны к лавандовому полю; от глубокого колодца в его центре веяло кипарисом. Его встречали ладаном и миром, ему предлагали невинность фиалок, гелиотропов, жасмина, и все неизменно заканчивалось теплыми волнами иланг-иланга. Ароматические масла между ее нижних губ распространялись дальше вглубь, образуя пахучую раду, тугая кожа щедро дарила ему благовония, пока не исторгалось семя, не взрывался ночной сад под напором света, и каждый цветок тогда отдавал сполна свой запах... И тогда он засыпал.

Акробатка Мелопея, вторая сестра, также будила его среди ночи, желая взять свою дань. Скрещивая ноги за головой, так, что они смыкались где-то у пояса, девушка путешествовала по его рукам, по бугристым мускулам, награв-

дая свои лоном, многоцветным, точно готический собор. Он продвигался до предела и оставался неподвижной осью внутри тела, непрестанно менявшего форму. Облако плоти отдавало кончикам его пальцев и губам все, до самых отдаленных своих краев, не позволяя ускользнуть. Толин растворялся в звездном танце, становился Вечным Словом, посылая вихрь галактик в божественную тьму... И тогда он засыпал.

Но когда косоглазая Альбертина, младшая, приходила в подвенечном платье будить его, Толин, бог знает почему, выгонял ее).

Небольшой магазинчик. Га безжалостно смотрит на нее в упор и говорит: «Я всегда замечал это вот уродство в твоём лице. Ты смотришь на север и на юг сразу, поэтому Толин тебя не хочет». Она плачет у него на плече, он обнимает ее за крепкую талию, ведет ее на холм Сан-Кристобаль, согласно заветам Фрейда слюнявит ей ухо, бормоча «Сестра моя», тискает ее, убеждает, что все будет в порядке, показывает презерватив, мощным рывком разрывает плеву, словно хочет переломать ей кости, рычит, кончает; женщина больше ему не интересна, и он размышляет о начальных словах «Мифа о Сизифе»: «Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства», его разум готов к смерти, пока тело извергает последние капли семени в резиновый мешочек; Га выбрасывает его в кусты и уходит не прощаясь, разговаривая сам с собой.

Девушка вытирается травой и медленно бредет к себе, не замечая идущего следом карлика. Когда она толкает дверь, человечек трогает ее за плечо. Она оборачивается, и тот, двигая руками перед ее животом, показывает использованный презерватив, угрожая все рассказать, если она не пойдет с ним. Вещественное доказательство кладется у дерева, кошмар повторяется и гном уходит, швыряя кусок резины ей в лицо. Она закапывает опасный предмет, входит в дом, ложится, пьет мандариновый ликер, слушает Вагнера, улыбается, все предстает перед ней в розовом свете: принесенная жертва все оправдывает, косолазие теперь искуплено и этой ночью она сможет наконец-то посетить Толина.

Так и происходит: опьяненная голубка, она вытягивается на кровати, ожидая, что брат проникнет в нее с бесконечной нежностью. Оказавшись внутри, он остается недвижим. Они обнимаются до рассвета. С первым криком петуха Альбертина уходит, чтобы брат мог поспать. Днем, колышась, как лепесток, у нее понемногу вырастает новая плева...

Вот так Толин разрывает тонкую перегородку больше тридцати раз, и каждой ночью все повторяется, будто впервые.

А теперь – похороны Ла Роситы!

Для этого организовали денежный сбор. Поскольку шла Святая неделя и все напилось, то собранных средств не хватило для вывоза тела из морга – только для покупки места на собачьем кладбище. Там, из уважения к усопшему другу, решили похоронить его Солабеллу.

Для головы соорудили памятник: металлический фонтан, бьющий из восьмиугольного куска дерна. Вода, источаемая ангелом Умеренности, падала на семь листьев акации, и те, склоняясь, наигрывали арию из «Мадам Баттерфляй».

Хумс заставил Симону де Бовуар, свою ручную шимпанзе, нести гроб на плече. Ла Роситу засыпали землей. Умеренность пролила слезы под бурым небом, листья склонились, и послышалась музыка – грустнее, чем нужно, потому что один листок оказался неисправным и не хватало ноты «соль». «Царственное светило покинуло небеса, песнь и наши души», – сказал Хумс и, обнимаясь с Зумом и Симоной де Бовуар, оплакал смерть пронзенного насквозь Ла Роситы.

– Что ты сделал с алхимической жидкостью, в которой хранилась голова? – спросил Зум.

– Оставил у Ла Роситы. У меня на носу появились от нее черные точки, придется идти к косметологу.

В полночь Хумс, одетый в пальто из мешковины, перелез через кладбищенскую стену с намерением откопать Солабеллу и сделать его своим любовником.

Там был Зум, рывший землю, будто одержимый. Они принялись биться на лопатах и сильно оцарапались, плевали в лицо друг другу, потом тянули гроб каждый на себя, пока крышка не открылась и голова не упала прямо в скопище червей; сквозь гниющую плоть просвечивал череп.

Оба издали протяжный крик на ноте «фа» и, спотыкаясь, побежали прочь, преследуемые Анубисом. Измазанные глиной, они прибежали к Хумсу. В углу гостиной был хрустальный сосуд с алхимической жидкостью, а в нем – задушенная Симона де Бовуар.

Хумс посмотрел на приятеля откуда-то из галактики беспредельной грусти и, подражая кукле чревоушателя, заговорил, сбиваясь на разрывающий кашель:

– Больная Курица, любимица петуха, насмерть была заклевана своими бывшими подданными, и воробьи не отказались отведать от ее плоти. О, всполошенные серые птицы и голубки цвета жженой сиены, вырывающие друг у друга куски мяса, пока жертва, уже лишившись глаза, подобно тонущему судну, ждет спасительного кукареканья – или последнего удара! Но тут самец покрывает свою новую подругу! И вот наша птица медленно валится на землю – крыло, нога, грудь, горло, голова, предсмертный хрип! – и победительница, окруженная слабыми и льстивыми спутницами, вскрывает ее, роняя яйцо прямо во внутренности... Ты поступил со мной как эта победительница, Зум!

Рыдающий Зум стал биться головой о стенку, ненавидя себя за вечно присутствующее ему чувство вины.

На следующий день, желая отвлечь Хумса от мыслей о гибели обезьяны, Зум ворвался к нему. «Меня научили новому способу онанировать!» – выкрикнул он с порога и увидел двадцать глубоко возмущенных джентльменов. «Невежа, ты забыл, что сегодня – заседание Общества любителей полупариков? Доставай свой и проси прощения!» – «Но у меня нет с собой!» – «Неважно, ты можешь пожертвовать частью волос, чтобы искупить свою вину».

Зум, ворча, вырвал прядь волос и преклонил колена перед каждым членом общества. Когда все двадцать показали свои экземпляры, принявшись

обсуждать цены и места покупки, Хумс крайне церемонно снял со своей головы накладные волосы, обнажив лысину, украшенную блестками, так, что они воспроизводили гравюру Хокуся.

После поедания сахарных буклей заседание объявили закрытым. Зум остался наедине с мэтром и смог наконец показать ему свой новый способ. На пожарной лестнице продавец жвачки показал ему, как мастурбировать при помощи подмышки. «Ты не представляешь, что за наслаждение: нежная кожа, глубокая впадина, тепло, волосы, естественное увлажнение, мmmm...»

Хумс достал дезодорант из ванной, заткнул ноздри и вытолкнул Зума за дверь:

– Не возвращайся, пока не опрыскаешься весь! Что это такое – инструмент, пахнущий подмышечной впадиной!

Оскорбленный Зум преодолел больше двух километров, когда наконец Хумс настиг его, угостил коричневым мороженым и утер ему слезы.

– Отгони же прочь ангела одиночества, и да окрасится твоя аура золотом доброты...

Зум, поглощенный лизанием, пробормотал с обидой:

– Говори сколько угодно о доброте, старый обманщик, но... Какого цвета была твоя аура, когда Канфре покончил с собой?

(Канфре был из семьи стальных фабрикантов. Все его родственники по причине наследственного заболевания рано или поздно слепли. Когда Канфре заметил, что теряет зрение, он изучил каждый сантиметр своей квартиры, запомнил детали картин, тексты книг и их место на полках, расположил всю мебель с математической точностью и – уже слепой – пригласил к себе друзей. Притворяясь зрячим, он показывал ковры, листал альбомы, отпускал комментарии по поводу работ Макса Эрнста, смешивал коктейли, рассаживал всех на диванах.

Поведение его было безупречным, но иногда он забывал зажечь свет, и тогда комедия разыгрывалась в потемках. Наконец, Хумс воскликнул:

– Канфре, дорогой, нет ли у тебя свечки? Из-за проклятой темноты я споткнулся об это кресло в стиле Людовика XIV, которое ты мне предложил! Должно быть, оно из железа, потому что теперь у меня ноет мозоль!

Под звон разбитого хрусталя зажгли свет, но Канфре уже выпрыгнул в окно!)

Зум, достань блокнот и запиши то, что я скажу. В «Авадхута-Гите»¹, принадлежащей Даттатрее, есть такие слова: «Гуру может быть молодым, он может наслаждаться мирскими удовольствиями; он может быть неграмотным, слугой или домовладельцем; но всё это не должно приниматься во внимание. Разве лодка, даже если она не окрашена и некрасиво сделана, не способна при этом переправить своих пассажиров через океан?» Хватит споров, познакомь меня лучше с продавцом жвачки. Сколько штук надо у него купить, чтобы он все показал?

Ла Кабра родился в Вальпараисо. Его отец честно воровал бананы. Его мать, «Альбакора», поливала кока-колой моряков в баре «Семь зеркал».

1 «Авадхута-гита» – один из основных индуистских трактатов.

Когда он приехал в Сантьяго, приятели из столярной мастерской повели его на одно из представлений Хумса. Он понюхал правую руку Ла Кабры и взволнованно объявил, что именно такой запах исходит от великих художников. Хумс заставил его писать натюрморты по восемь часов кряду, читать, попивая божоле, тоже по восемь часов, а когда тот приходил в бессознательное состояние – употреблял его, одетого, как Сабу¹? в «Багдадском воре», на протяжении двух часов. Через три года Ла Кабра окультурился и, украв деньги у своего покровителя, сбежал, попытавшись поступить в Католический университет. Ему было отказано в приеме на философский факультет из-за отсутствия школьного аттестата, хотя он в знак протеста, сидя на корточках напротив кабинета декана, прочел на память платоновский «Пир».

Его не трогали, пока он не помочился на притолоку. Тогда проректор сломал об его голову стул, вытолкал прочь, угрожая забить до смерти, если тот вернется. Ла Кабра принял побои без единой жалобы; из носа хлестала кровь, и, лишившись трех зубов, он все же повторял вслух слова Карло Пончини:

«То, что вне времени, достижимо только через настоящее; только овладев временем, мы придем туда, где кончается всякое время. Каждый день бесценен, и одно мгновение может стать всем».

Так Ла Кабра решил сделаться писателем.

Председатель Поэтического общества дон Непомусено Виньяс кинул головку чеснока в соус из угря, попробовал его и с пылающим языком прочитал вслух заявку Ла Кабры, составленную в виде венка сонетов.

В белой тоге и лавровом венке, стоя под портретом президента Республики, Ла Кабра ждал, пока пятьдесят академиков, надушенные, в вытуженных костюмах, вымытые из уважения к музам, закончат аплодировать речам каждого из членов, которые в самых изысканных выражениях, составленных из малоупотребительных слов, приветствовали нового барда, – чтобы затем, после многочасовых ораторских упражнений, принять из рук дона Непомусено петушее перо и лист пергамента, на обороте которого бросалась в глаза огромная надпись: «Спонсор: лимонад «Лулу»».

Поэты рукоплескали, чокались пивными кружками, и наконец, с факелами в руках, торжественно затянули национальный гимн. Завернутый в чилийский флаг, председатель процитировал Рубена Дарио:

Божественная Психея, незримый мотылек,
Поднялась из глубин и стала всем на свете...

Пока Виньяс экстатически выкатывал изо рта строки языком, лоснящимся от маринованного лука, Ла Кабра подобрал тогу и наградил его жестоким пинком в зад. Председатель по инерции произнес еще несколько слов – «Психея, ты паришь и над собором, и над кладбищем язычников» – и замолк. Чилийский герб слетел, словно сухой листок. Все замерли. Ла Кабра принялся топтать флаг.

¹ Сабу Дастигир (1924 – 1963) – индийский актер, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Багдадский вор» (1940).

Поэты забыли о прекрасном, о декламации, о музах, вспомнили свое прошлое боксеров, водителей, картежников и набросились на ла Кабру с намерением переломать ему кости. Но он, похоже, не ощущал боли. Со всех сторон слышалось: «пошел на хрен», «козел», «сука», «пидор», «дерьмо», Ла Кабра же ограничился следующим высказыванием:

– Я думаю о Лотреамоне, о Руми, об Экхартe, о Беме, о Рильке, о Басё, о Халадже. Я показал вам сокрытую доселе зарю, но вы предпочли мрак. Вы не пожелали поведать своему сердцу сокровеннейшие тайны. Ваши души наглухо запечатаны, и вина лежит на вас самих...

Кто-то схватил бюст Уолта Диснея с автографом киномагната – благодарность обществу за «Оду Бимбо» – и с размаху опустил ему на череп. Ла Кабру вырвало на собрание сочинений Гарсиа Лорки, и он впал в беспамятство. Он вновь стал тем же неотесанным парнем, который приехал в Сантьяго работать плотником. Из-под града ударов его вызволил лишь охранник, пришедший с обходом.

Рука и нога загипсованы, лицо раздуто, раны на голове кое-как залатаны, костюм порван в клочья: в таком виде Ла Кабра появился у Хумса и, не вдаваясь в объяснения, вынул из шкафа мандолину, положил на нее кисть винограда и курицу, взял чистый холст и засел за натюрморт.

Испуская радостные возгласы, все подняли бокалы за возвращение блудного сына.

Зум был того мнения, что в литературе уже ничего нельзя сделать: «Невозможно превзойти великих». Он сознательно ограничил свой мир: «Пишу о том, что вижу», – но при этом пытался доказать, что в области *видимого* ему нет равных. Он проводил целые часы перед бутоном розы в метафорических размышлениях о потаенном цветке, о притягательном стебле, об их готической страстности, – но в самый ответственный момент его заставала врасплох вылетевшая оттуда пчела, из-за которой розе уже не остаться в вечности, ибо насекомое унесло с собой ее тайну. Хумс говорил ему: «Как можешь ты говорить о видимом, если *видеть* значит расчленять произвольным образом, вонзать нож в невидимое целое?» Зум мог только преклоняться перед недоступными его сознанию качествами, пытаться удерживать в своих стихах кратковременный восторг мгновения. В итоге предметы от его дифирамбов выглядели жалко. Плод гнил прямо в руках.

Когда Ла Кабра пролил буйабес и зарыдал, уткнувшись лицом в омлет по-нормандски: «Зачем надо было делать из меня художника? Черт бы побрал эту мандолину, виноград и мертвых куропаток! Хочу жениться и успокоиться!» – Хумс, как бы не слыша, продолжал:

– Если правда то, что Искатели истины, приходя в деревню, первым делом снимали комнату и подвешивали к потолку картофельный клубень на нитке, а затем выходили на улицу, преследуя две цели: заработать денег и встретить кого-нибудь, дабы поведать ему истину (клубень усыхал, потом падал, и тогда у искателей было два часа, чтобы покинуть это место, новых друзей, учителей и приобретенное там имущество), то, как я считаю, есть и другой выход. Прибыв в

деревню, необходимо поместить клубень в сосуд с водой. Если на нем появятся глазки, ростки, листья, то в этом месте следует остаться навсегда.

Месяцем позже Зум устроил Хумсу и приятелям небольшое представление. За обедом у каждого прибора стоял сосуд с водой: в нем помещался клубень с длинными ростками. Подняв бокал, Зум предложил всем назваться «Обществом цветущего клубня». Все зааплодировали, но под конец банкета Ла Кабра взобрался на стол, топча зеленые листья, и поимел Хумса, крича ему сзади: «Ты – сухой клубень! Зачем говорить о цветении? Здесь никто не пустит ростков! Мы уже упали с потолка!»

Зум помог Хумсу спуститься – тот кряхтел и шатался, – уложил его, поставил у кровати горшок и убаюкал товарища, напевая некую смесь из стихов Фариуддина Аттара¹ и Хань Шаня², положенную на мотив танго Гарделя³:

Ты не мертвый, ты не спящий, не живой:

больше нет тебя!

Вот дорога в облака

в пустоте, тра-ля-ля-ля!

Светало. Хумс свернулся клубком и, засыпая, вздохнул:

– Свет зари... Большая черная бабочка, – обломок ночи, которой никак не уйти.

Перевод Владимира Петрова

1 Фариуддин Аттар (ок. 1142 – ок. 1220) – персидский поэт и суфийский мистик.

2 Хань Шань, по прозвищу Холодная гора, – китайский поэт, живший, как полагают в VII-VIII вв. н. э.

3 Карлос Гардель (1887 или 1890 – 1935) – аргентинский музыкант, певец и актер, прозванный «королем танго».

ПЬЕР ГИЙОТА

МОГИЛА ДЛЯ ПЯТИСОТ ТЫСЯЧ СОЛДАТ

(отрывок из романа)

В то время война захлестнула Экбатан. Множество беглых рабов переметнулось к победителям, но когда те попытались заговорить с ними о подавлении сопротивления оккупантам, рабы отказались выдать своих прежних хозяев, впадая в еще большее холопство. Экбатан оставался самой большой столицей на Востоке: он раскинулся на пятнадцать километров вдоль берега. Каждый день пляжи напротив приморского бульвара покрывались трупами юных бойцов сопротивления, высадившихся ночью и расстрелянных морской стражей. Победа досталась без особых хлопот: победители овладели городом, отринувшим своих богов. Экбатан предался Септентриону, откуда захватчики, упакованные в каски, сапоги и броню, принесли снег на подошвах и лед на ресницах. Сто лет продолжалось похолодание; ученые Экбатана втайне разработали оружие, способное привести к потеплению, но оно было перехвачено завоевателями. Был построен самолет, на него погрузили оружие и ученых и отправили в Септентрион. Захватчики преследовали всех, кого столица выплескивала из своих недр: авантюристов, скоморохов, солдат. Несколько семей в центре города не пожелали подчиниться порядку, основанному на доносах и пытках: их отроки по ночам сбежали внутрь страны или отплывали из подземных бухт на юге, стремясь соединиться на архипелаге Букстехуде, еще не завоеванном, но день и ночь накрытом тенями вражеских бомбардировщиков.

Молодой офицер армии Экбатана, прежде терпевший притеснения со стороны Генерального штаба за то, что хотел ускорить военную реформу, в день капитуляции сбежал на архипелаг Букстехуде под предлогом дипломатической миссии в этой союзной стране. Экбатан вскоре осудил мятеж своего полномочного посла, изо всех сил старавшегося убедить правительство архипелага в необходимости и величии своей борьбы. Правительство выделило ему сначала комнатуху в приморской гостинице, где он повесил на стену портреты своей жены и детей, оставленных в Экбатане, затем крошечную студию на национальном радио, откуда он посылал воззвания к родине, призывая сограждан к сопротивлению, к обновлению, к политической прозрачности; и, наконец, заваленную зарядными ящиками заброшенную казарму с разбитыми стенами. Вскоре весь Септентрион, весь Запад и часть Востока были объаты пламенем. Завоевателю не хватало огня, чтобы осветить потемки своей души, не хватало крови, чтобы разбавить ею свои слезы. Он вошел в покорный Экбатан на заре дня капитуляции, сел в галерее триумфальной арки и посмотрел на спящий город; его подошвы скребли цементный пол; крыса пробежала по балюстраде – он прижал ее голову сапогом и раздавил; кровь просохла на ветру; стражник встал перед ним на колени и вытер сапог, потом завернул в платок крысу. Завоеватель похлопал по колену поднявшегося стражника:

– Вели отнести крысу на кухню, мы скормим ее этим псам после подписания мира.

Старцы, священники, патриоты выбрали вожака, чтобы тот предстоял за них перед захватчиком. Этот вожак выигрывал сражения, отведав солдатского супа. Экбатан еще недавно трепетал от наслаждения после своего триумфа. Его поэты, его музыканты сдохли под бичами в лесах Септентриона. Глубокие глаза его женщин окаменели.

Экбатан был уязвлен речью старого вождя о традициях и национальной гордости: накануне он вновь приобрел универсальное сознание. Это время отмечено появлением новой добродетели по имени здравый смысл – ослабленной формы первобытного обряда. Поэты воспевали орудия труда: лопаты, вилы, животных и людей; за заслуги перед отечеством короновали быков, ленточки с цветами национального флага повязывали на самый тяжелый колосок; старый вождь лично желал награждать детей, спасших из огня или из воды братишку или бабушку: малыша вталкивали в приемную, тот прижимал к груди бумажный флажок, о котором нужно было не забыть сказать старику, что он день и ночь хранится под рубахой; наконец старец выходил, лобызал, нагнувшись, ребенка в лоб, затем, по его знаку, адъютант открывал картонную коробку и вынимал жезл из ячменного сахара, раскрашенный в национальные цвета:

– Прими этот символ моей власти, пусть он растет вместе с твоим мужеством!

Вот так и сына раба, освобожденного священником (после совратившим его в качестве платы за благодеяние), однажды привели к вождю; он громко объявил, что от старика воняет мочой, вождь был туг на ухо, потрепал малыша по щеке и всучил ему жезл, который тот тотчас вставил промеж ног:

– Мой быстро вырастет, Ваше Превосходительство, а ваш потеряет в размере и в силе.

Заметив, что парень не прочь с ним поболтать, вождь приказал подарить ему два агатовых шарика, которые тот тут же пристроил по бокам жезла, зажатого между ляжками.

Вождь, жмурясь от яркого света, отвернулся и, опираясь на руку адъютанта, исчез в толпе вдов. Ночью, навалившись на мальчика, священник душил его, бил кулаками по вискам; мальчик кусался, плевал ему в глаза, тот, сидя на краешке кровати, грозился снова обратить его в рабство, мальчик сказал ему, что он голоден, священник сгреб его в охапку и потащил на кухню; юноша пересек садик и постучал в стеклянную дверь:

– Откройте, откройте, за мной гонятся.

Мальчик потянулся к замку, священник потащил его к себе; выстрел, юноша рухнул на освещенное стекло, в комнату врывается патруль, кровь вокруг головы мертвого юноши блестит в лунном свете, священник наливает выпивку, солдат видит кольцо в губе ребенка:

– Этот тоже из них? Выпейте с нами, священник. Эй ты, налей.

И тут же хватает мальчика за талию, привлекает к себе, колет голое тело кончиком кинжала, щиплет и крутит его соски большим и указательным пальцами, ребенок вырывается, падает в открытую дверь, его волосы пропитались кровью; священник гладит солдатские медали, спрашивает о значении символов,

его рука дрожит на холоде металла, затылки и щеки солдат пахнут морозом и ветром.

Мальчик поднят, стоит за священником, грудь исцарапана, в руке кувшин холодного вина, на висках – кровавые колтуны.

– Священник, продай мальчишку.

– Он свободен, он не продается уже.

– Он прислуживает тебе на твоих ночных мессах.

– Я еще не расковал его кольцо. Но я могу вам показать акт об освобождении.

– Отдай мальчишку, священник, или я крикну, что ты прячешь партизан, и ты загнешься от холода в Септентрионе.

Священник встает, вытянув руки, отступает, мальчик ставит кувшин на пол, священник прижимает его к стене.

– Отдай мальчишку, я его хочу.

– Только через мой труп.

– За этим дело не станет.

– Убейте меня.

– Вам, попам-расстригам, героизм не к лицу. Ну же, опусти руки, освободи своего любовника и найди схоластическое обоснование своей трусости, как вы все делаете с тех пор, как ваш бог умер.

Священник опустил руки, склонился к ребенку.

– Аисса, ты свободен, выбирай.

Ребенок дрожит, вцепившись в бедра священника, касаясь босой ногой ледяного кувшина, округлившиеся глаза блестят, офицер берет его за плечо, притягивает к себе, пальцем раздвигает его губы, разжимает кольцо на деснах, сдавливает горло и поднимает мальчика, как рыбу за жабры:

– Что ты умеешь делать, малыш?

Ребенок задыхается.

– Аисса играет на скрипке, как и все из его племени.

Солдат пинает тело юноши – тот еще дышит.

– Возьми свою скрипку. Я тебя покупаю. Священник, даю тебе гарантию безопасности.

Священник с ребенком поднимаются в комнату, на корточках перед комодом они собирают вещи Аиссы, священник втискивает их в чемоданчик, они спускаются, офицер берет ребенка за руку:

– Ты взял свою скрипку? Если мы вернемся в Септентрион, ты мне понадобишься, чтобы прогнать мою меланхолию.

Священник склоняется к мальчику, но солдат поднимает оружие.

Партизан хрипит; три танка остановились перед садиком, солдаты в касках играют на губных гармошках в свете луны, офицер забирается на башню, мальчик, внизу, опирается на гусеницы, офицер сверху протягивает ему руку, мальчик цепляется за нее, взбирается на башню, офицер прижимает его ногой, танки трогаются с места, они едут по приморскому бульвару, офицер смотрит на отражение звезд в бурлящей воде:

– Куда ты спрятал свою скрипку?

Он сдавливает кожу чемодана, мальчик открывает его, скрипка на мгновение блеснула под лунным светом, офицер трогает ее, гладит, щиплет струны; сука, лежа на боку, кормит щенков, танк надвигается, давит ее, кровь брызжет на фары; на лестнице Аисса падает на ступени, розовая пена брызжет с уголков его губ; поднимающийся по лестнице солдат наступает на руку потерявшего сознание ребенка, и она раскрывается на доске, увлажненной снегом.

На рассвете офицер, обнаженный, встает, откидывает простыни, пронизанные розовыми бликами; ребенок спит у двери, закутанный в попону цвета хаки, голова на чемодане, офицер идет к окну, выплевывает жевательную резинку, гладит нагретую черепицу, закуривает сигарету; проходят две женщины под синими зонтами; офицер свистит, одна из женщин поднимает голову, видит обнаженного молодого мужчину, сидящего на окне, дымное облачко над головой, тени от стены сеткой на животе и бедрах, офицер улыбается, достает новую сигарету, проводит большим пальцем по верхней губе; женщины поднимаются в садик, разбитый на террасе, усаживаются на стулья, мокрые от росы, одна из них бьет в ладоши, появляется девочка, босые ноги под короткой, шитой золотом туникой, верх туники мокрый, женщина трогает:

– Кто избил тебя до крови? Ладно, молчи, принеси кофе и тосты.

Девочка убегает, на груди – свежая кровь.

– Поваренок ее избил, потому что она ему отказала. Я поощряю связи между слугами.

Она вновь поднимает глаза на обнаженного молодого мужчину, его ягодицы касаются свежей черепицы, он улыбается, видя полуоткрытую грудь той, что помладше, блестящие капли росы на перламутровой коже, жесткой, как шкура зверя, легкий пушок над верхней губой, он нашаривает ногой сандалии из ослиной кожи, немного опускает голову, подсиненный лучами солнца дымок сигареты запутался в ресницах, ест глаза; она видит поднимающийся от линии бедра член, отворачивает голову, соскребает ногтем следы птичьего помета со стола, зонтик раскрывшись, скатывается по ее ноге, которую она открыла до колена большим пальцем, она поднимает глаза к молодому офицеру:

– Нынче заря занялась раньше и ближе к кварталу завоевателей. Ты по-прежнему любишь лейтенанта Иериссоса? Говорят, его подозревают в организации взрыва поезда из Уранополиса.

Но вождь его защищает: еще до войны вождь увидел его среди наряженных детишек на званом ужине в честь лауреатов; он затащил его в парк, усадил на каменную скамью у фонтана, целовал его ноги, его губы поднялись до колени мальчика, покрасневшего под кружевом воротничка:

– Ты сирота? Твой отец погиб в битве, которой командовал я, твоя мать – на военном заводе. Ты станешь солдатом, я так хочу. Я дам тебе раба-оруженосца. Пойдем в мой замок. У тебя будет оружие под подушкой.

Мальчик с пожитками сел в джип; машина въехала на брусчатку внутреннего двора, солдаты старой гвардии вождя, сидевшие на корточках под бойницами, поднялись, мальчик высунул ногу из джипа, это движение приоткрыло под

короткой штаниной пушок на лобке, вождь уже на ногах, он видит, ему сдавило горло; рядом с ним мальчуган с окольцованной губой гнет о мостовую ясеневый дротик:

– Вот твой оруженосец Аравик, он будет служить тебе днем и ночью, спать у твоей двери; вот кнут, чтоб его хлестать, вот ключ от темницы.

Мальчик смотрит на Иериссоса, его ресницы касаются шрама, пересекающего лоб по линии бровей, он протягивает дротик Иериссосу, его босые ноги испачканы лошадиным пометом и кровью.

Вождь обнял Иериссоса за плечи, мальчик взвалил на спину его багаж и зашагал по мокрой мостовой – с начала войны льет круглый год. Вождь ведет Иериссоса в центральную галерею замка; на полу у окон расставлены небольшие пушки:

– Это чтобы защитить Королеву Ночи. Ее бывшие любовники каждую ночь осаждают замок.

Молодая женщина ведет Иериссоса в приготовленную для него комнату; она склоняется над комодом, куда Иериссос бросил верхнюю одежду; Иериссос видит ее груди, его ладони сжимаются и разжимаются, женщина поднимает глаза, улыбается:

– Ты можешь их погладить, если хочешь – я рабыня.

Иериссос присел на колени, шорты из серой фланели рвутся, женщина просовывает руку в прореху между его ног, мальчик тянет руку к груди, позолоченной заходящим солнцем, трогает ее, его пальцы сжимают сосок, капелька молока выдавливается ему на пальцы, он ее слизывает, женщина, откинув голову, отталкивает его руку.

Иериссос целует эту руку, целует грудь, солнце на его губах, ресницы щекочат соски, женщина склоняет голову к его виску, целует его волосы, ухо, Иериссос ощущает кольцо, скользящее по складкам ушной раковины, он резко выпрямляет голову, хватает губы рабыни, впивается в кольцо, его язычок обшаривает kloчующее небо, скользит по зубам, разбитым плетью или кулаком; его кулак опускается между грудями под платье, рука Бактрианы роняет одежду в комод, возвращается на плечо Иериссоса, тянет за ворот рубахи, скользящим кольцом обвивает шею; вот облако укрыло солнце, они поглощены друг другом; дверь в прихожую распахнута, на пороге возникает Аравик, в башмаках из ослиной кожи на деревянной подошве, он держит на вытянутых руках поленья и кору; Иериссос, лежа на постели, согнув ноги в коленях, смотрит на розовеющее облако, Бактриана на короточках укладывает белье, она поднимается, подходит к Аравику, сгружает поленья на мрамор пола; на коре – кровь от пальцев Аравика, который все так же стоит на пороге, вытирая пальцы о бока; Иериссос вскрикнул, Бактриана, поднявшись, подбежала к постели и зажала его рот рукой:

– Жар в твоих глазах, облака проплывают, смешиваясь с дымами, золотые отточенные диски срезают ирисы...

Колени Иериссоса прижаты к животу, Аравик удирает, начальник стражи хватается его на лестнице, прижимает его голову к бронзовому шару, а руки к перилам; во рту стражника оскомины от тутового сока, его дыхание на лице Аравика –

росистая свежесть, смешанная с грязью; после он освобождает руку и голову Аравика, указывает пальцем на расстегнутую ширинку, выдвигает ногу в расстегнутом башмаке, Аравик присаживается на корточки:

– Я видел на кухне женщину, похожую на тебя, я взял ее на циновке в мясном цехе.

Аравик, зашнурав башмак, поднимается, его пальцы трогают пуговицы на ширинке, ногти впиваются в подрубленный край материи, обшитый галуном.

– В самом деле, она на тебя похожа.

Пальцы Аравика дрожат на горячих бедрах стража.

– Падая, я ранил ее ножом. Застегивай.

Пальцы Аравика хватают пуговицы, испачканные спермой.

– Пошли со мной.

Стражник ведет Аравика в подвал, где расположена кухня, посреди восточного фасада – окно, завешенное алой узорчатой тканью.

– Вождь ночевал у Королевы Ночи.

Во внутреннем дворе остановился грузовик с дымящимся навозом, стражник запрыгнул на подножку; за рулем – девушка со слюдяным козырьком на лбу, стражник хватает ее голову, целует ее в губы, его пальцы тонут в пыльных волосах рабыни, опускаются под платье, на спину; Аравик прижался животом к колесу машины; по четырем сторонам кузова на бортах, скрестив руки на лопатах, сидят четыре парня, уставившись в небо, на поросший мхом портал, где грызутся багрянородные под защитой сонных стражей, застывших на корточках под своими бойницами; стражник на сиденье подминает под себя девушку, мотор гремит, дрожит, подгоняя оргазм, стражник слезает с рабыни, ее руку свело в перчатке, голова подпрыгивает на пружинах сиденья, стражник выходит из машины; рабыня какое-то время остается неподвижной, ее платье завернуто до пупа, парни, опершись на борта, заглядывают через стекло в кабину, девушка вновь берет руль, трогается с места, грузовик пересекает двор, два стражника вспрыгивают на подножку, сопровождают рабыню до огорода, грузовик останавливается у подожженной свалки: стражники велют парням спускаться, те прыгают со своими лопатами:

– Навоз сгружайте здесь. Сначала погасите огонь. Воды нет.

Рабыня вместе с парнями идет на свалку, парни сбивают огонь, плашмя шлепая лопатами, затапывают угли своими кедами, стражники, сидя на подножке, пьют спиртное из горлышка, члены под ширинками набухли, взгляды сонно блуждают по талии, груди, животу рабыни и только одинокий звук падающего яблока порой нарушает их семенные сны; парни топчут костер, искры, разлетаясь, прожигают их легкие шорты; парни сжимают пальцы на черенках лопат, один вдруг присел на корточки: колечко, сверкнув, прокатилось по лопате, парень схватил его, стражник заметил, он приближается, бьет парня прикладом, тот валится на липкие угли, стражник ставит ногу ему на живот, бьет, еще, по горлу, нагибается, берет кольцо, прячет в нагрудный карман, потом поднимает винтовку, поглаживая спусковой крючок, направляет оружие на работников:

– Вы ничего не видели, даже под пыткой...

Подходит другой стражник, разжимает ладонь первого, шарит по его карманам:

– Это кольцо Королевы Ночи, я видел его вчера у нее на пальце, когда они с вождем пробовали яблоки под луной.

Оба стражника вернулись на подножку. Начальник стражи подтолкнул Аравика к кухне; в цехах женщины и мальчишки готовят мясо, рыбу, фрукты, сласти; стражник идет, одна из женщин в мясном цехе в испуге выронила нож; стражник останавливается у дверей цеха, Аравик бросается вперед, утыкается лицом в живот женщины, она гладит его по голове, Аравик обнимает ее, его руки смыкаются на спине женщины, лампа, забрызганная кровью и ошметками мяса, качается, отбрасывая тени на ноги и бедра мальчика, его спину, сотрясаемую рыданиями, стражник подходит, отдирает мальчика, толкает вглубь цеха, хватая женщину за шею, гнет, она встает на колени, Аравика душит кровавый смех, его ноги скользят в луже, отбитые почки лезут из штанов, двумя руками он держится за живот; стражник вынимает член и проводит им по губам женщины, выкатываются яйца, цепляясь за пуговицы ширинки, ударом колена стражник опрокидывает женщину на циновку, в которую ногтями вцепился Аравик, становится на колени, подбирая окровавленную униформу и ложится на женщину; после совокупления он встает, запихивает член в ширинку, женщина поворачивается к разделочному столу, руками, влажными от пота и спермы, пальцами, на которые накрутились черные волоски, давит, рвет мясо, стражник одной рукой поднимает Аравика, тащит его к выходу, женщина отложила нож, гладит мальчика по окровавленным волосам, стражник берет со стола тесак, хватая девушку, склонившуюся над плитой, ее лицо и открытая грудь увлажнились от пара и розовой крови:

– Раздевайся.

Девушка расстегивается до пояса, стаскивает, бросает под ноги, наступая на платье, смятое от бесчисленных объятий стражников; обнаженная девушка прислонилась к ограде плиты, стражник расстегивает пояс, продевает его в петли тесака и застегивает на талии девушки; тесак сверкает между бедрами, над ним выделяется прядка волос, стражник поправляет тесак, погружает ладонь между ног девушки, вынимает влажную ладонь, вытирает об ее грудь и лицо, Аравик вцепился в живот женщины, мясо, которое она режет, давит, кромсает, отражается в его глазах красными бликами, брызжущие ошметки липнут на губах мальчика; стражник покачивает тесак между ног девушки.

– Я хочу, чтобы ты весь день работала голой, чтобы тесак болтался у тебя между ног.

Стражник берет Аравика за плечо; на лестнице сидит молодой стражник.

– Если девка снимет тесак, побей ее.

Молодой стражник вскакивает, отдает честь, член под холстиной напряжен, в уголках губ розовая пена, руки на прикладе автомата дрожат, уши в песке; начальник склонился над затылком солдата, вдыхает запахи соли и водорослей:

– Ты видел, Королева Ночи купалась?

– Нет, она не хочет появляться обнаженной перед вождем. Говорят, он взял маленького Иериссоса для ее улады, в утешение за этот отказ. Он теперь в ее спальне, парнишка бьется на койке, припиленный, как мотылек.

Вечером Иериссос разбитый, с воспаленным членом, бродит по саду, деревья в испареньях навоза, в копоти горячей свалки, скрипят под тяжестью плодов. Шаги, он обернулся – женщина, высокая, светящаяся – он видит изда- лека ее грустные глаза – подходит к нему; он хочет спрятаться в цветнике, но надушенная рука тотчас хватает его за плечо, он застывает пред женским чре- вом, его губы следуют за пульсацией этого чрева; они направляются в оранже- рею, укладываются на подстилку из теплой соломы, обнимаются, упиваются сво- ими слезами, смешивают свою слюну; ночь навалилась на стекла парника, соленое дыхание, прилетевшее с моря, окутало сад, два стражника проснулись, первый тянется на деревянной ноге, его спина трется о дверь, холодный пот сте- кает по лбу, как плевко; шрам, пересекающий его белобрысую голову в ночи, пробуждающей от бреда, сочится кровью, толстые красные губы разомкнуты, десны кровоточат, он плетется по плитам, пересекает двор, толкает дверь столо- вой, опускается на скамью, испачканную кровью, с приклеившимися к ней клоч- ками ваты, на стене, беленой известью, висит большой портрет вождя, юный страж слышит кухонный шум, крик, смех, плач рабынь, он роняет голову на руки, деревянная нога толкает ножку стола, кровь, стекая по волосам, обжигает кожу на лбу, другие стражники входят, садятся, встают, идут на кухню, тискают рабынь, задирают платья или расстегивают шорты, шарят по бедрам, по заду, крутят ра- быням руки, шпарят их кипятком, бьют, швыряют в них черпаки и скалки, в сто- ловой светловолосый страж спрятал голову в руках, рабыня приносит из кухни, минуя стражников, миску мяса с капустой, ее рука на мгновение задерживается на столешнице, стражник берет ее, целует, его глаза поднимаются на лицо ра- быни:

– Моя нога болит весь вечер. Я хочу умереть.

Она раскрывает ворот платья, кровавая рана пронизывает плечо, рабы- ня запахивает платье и смотрит на солдата.

– Кто тебя ранил?

Он встает.

– Не знаю, он налетел сзади, задрал мне платье на спину, его член тыкал- ся у меня между ног, я вырывалась, он вынул нож и вонзил мне в плечо. Сани- тарка не хочет меня лечить, потому что я отказала ей прошлой ночью.

Стражник трогает плечо рабыни, прижимает свои губы к ране и отсасыва- ет кровь, затем ведет рабыню в коридор, достает платок, открывает кран, смо- чив платок, накладывает его на рану, рабыня обнимает стражника, рыдает у него на груди:

– Купи меня. Купи или меня разорвут на части, вчера они меня схватили и зашили в циновку, прорезали дырку, и все по очереди... я задыхалась, пот разъе- дал глаза, циновка вокруг дыры почернела и прилипла к животу; я не вижу их, а различаю по членам. Освободи меня, я верну тебя к жизни.

Стражник ласкает ее волосы, виски, гладит страдальчески сморщенный лоб, трепещущую шею, своим животом касается ее постоянно влажного живота, рукой – ее постоянно раскрытой вагины, его деревянная нога давит на ногу ра- быни, а та молчит, дрожа и прижимаясь к стражнику.

В оранжерее под стеклами, сверкающими, как зеркала, Королева Ночи, на коленях, вцепившись руками в колени Иериссоса:

– Убей меня, убей всех рабов в замке, освободи меня и их, маленький раб без кольца, с голыми губами. Он взял меня в Опере, где я тогда пела, его солдаты пили и творили насилие на окровавленном снегу, освещенном огнями Оперы, они швыряли куски мяса в высокие окна, он взял меня за руку; солдаты делили танцовщиц и мальчиков из obsługi; весь город в огне, солдаты выбросили труп короля в окно, принца, в пижаме, растерзали в его постели, раздавили решетками красного дерева, куски тела раскидали по углам детской. Два года я не давалась ему, днем сидела взаперти, ночью убегала, босиком по блестящим камням, он кидался на меня, обнимал, мои глаза сверкали, он отпускал меня, врывался в казарму, ударом каблука будил спящую рабыню, тащил ее в свою спальню, наваливался на нее, потом душил, открывал окно ледяному ветру и высовывал руки в мятущийся мрак: «Видишь эти руки, ты мертва, задушена».

Ветер обвеивает труп рабыни на разоренной постели; я иду в сад, мои губы блестят под луной, я рада, что тело и душа отпущены на волю. Он зовет стражников, приказывает выбросить труп на свалку и засыпает; я ощущаю себя богиней, ради меня человек истязает и убивает жертву, как если бы он хотел убить бога; как богине, эта жертва мне приятна, она освобождает для меня наперсницу моего одиночества. Убей меня, убей руками, ногами или зубами. Ночью он поднимается и рыскает под моей дверью, рабыни разбегаются, тогда он выбегает во двор, пряжка расстегнутого пояса блестит на боку, выбившаяся рубашка раздувается ветром, он спускается в кухню, путается в занавеске, сгорбившись, на ощупь, бредет во тьме, шарит по циновкам, где спят, нагие или накрытые передниками повара. Его рука хватается ступню, голень, поднимается к бедру, сжимает член, мальчик просыпается, вскакивает, пьтается к краю, но вождь дергает за член, удерживая мальчика на подстилке:

– Выходи, выходи, я тебя вижу.

Он отпускает член мальчика, сжимает и разжимает мокрую от пота ладонь, мальчик встает, идет по циновке, лунный луч пронзает занавеску, освещает живот мальчика, мутит тенью вмятину пупка; мальчик откидывает занавеску, заходит в кухню, вождь обнимает его за плечи, толкает к отдушине, мальчик прислонился к стене, по хребту к ягодицам стекает сеитра, глаза полуприкрыты веками, голова склонена на плечо, вождь поднимает ее, ласкает напряженные мышцы шеи, его глаза устремляются на живот, на курчавый лобок, на бедра, на лоснящиеся колени; он берет мальчика за руку, выволакивает из подвала на двор, ветер овеивает заспанного ребенка, его голова болтается на шее, широко раскрытые глаза залиты луной; в спальне вождя сон снова настиг его, он весь обмяк, бронзовая кожа стала бархатной; всю ночь до рассвета вождь, рыдая, причитая, бросает, крутит, раскрывает, поддерживает, рвет это сонное тело, и лишь один слабый вздох, в момент оргазма, исторгает оно в полумрак и разор простыней.

Иериссос отталкивает Королеву Ночи, она хватается его руки, сжимает их на своем горле, он прерывистым движением, как большой кузнец, отскакивает от нее, песчаная струя царапает стекло, ее тень пересекает открытую грудь

Королевы Ночи. Иериссос поднял глаза вверх, она вновь хватает его руки и сжимает ими свою шею, пока не умирает, Иериссос вырывается, безжизненное тело, холодным потом омывая покров, падает к его ногам; Иериссос бежит к выходу, открывает дверь, на пороге большая неподвижная черная птица, подняв голову, смотрит на Иериссоса; мальчик делает шаг, птица кидается на его голую ногу, Иериссос бежит, птица вцепилась в его колено, бьет по нему клювом, разрывая плоть, расширяет рану когтями, Иериссос выбегает в сад, кровь течет по ноге, пропитывает носок. Иериссос подбегает к portalу, будит светловолосого стражника, спящего у каменной тумбы, солдат выпрямляется на деревянной ноге, заряжает автомат, птица, услышав клацанье затвора, поднимает голову, стражник бьет ее прикладом, птица сжимается, когти еще глубже вонзаются в мясо, до кости, Иериссос стонет, солдат снова и снова бьет птицу, ее голова разбита, веки залеплены кровью, от очередного удара она отцепляется от колена Иериссоса, падает на плиты, стражник топчет ее сапогами, мальчик вытирает рану ладонью, стражник, присев, отрывает клюв и лапы птицы, раздирает ей грудь, ногтями вскрывает зоб, на его ладонь, сверкая в кровавом месиве, перьях и обломках клюва, выкатывается кольцо, стражник, при свете луны, крутит его на пальце:

– Кольцо Королевы ночи.

Стражник берет Иериссоса за руку, ведет на кухню, поднимает занавеску алькова, будит рабыню, Иериссос в белье будит Бактриану; светловолосый стражник подгоняет джип, они с Иериссосом поднимают тело Королевы Ночи; стражник вышибает маленькую дверь в дальнем углу сада, джип мчится, с рассветом останавливается на песке; на заднем сиденье рабыня и Бактриана вытирают лицо Королевы Ночи; Иериссос вбегает в бурун, макает платок в розовую пену, Бактриана кладет его на лицо Королевы Ночи; светловолосый стражник спит, уронив голову на руль, банда маленьких оборванцев спит за грядой водорослей, с вершины мыса доносятся выстрелы: солдаты бывлой армии Экбатана продолжают войну два года спустя после ее окончания, правда, на сей раз, против правительства, под знаменами которого они сражались – поражение не отстранило его от управления страной: солдаты думали уничтожить внутреннего врага, истребляя врага внешнего, большинство из них было рабами, сыновьями рабов – власти и не подумали отменить рабство.

Солдаты жили на скалистом мысе Лектр; ни армия, ни правительство, ни обыватели не пытались их оттуда выкурить: иногда они спускались в город, в полном обмундировании, увешанные оружием, маршировали по улицам, полицейские сбегали, граждане рукоплескали, женщины трепетали, дети, с криками или молчком, бежали следом. Иериссос, две рабыни и светловолосый стражник поднимаются на Лектр, дети и солдаты бросают цветы на капот джипа.

Вождь частенько навещает Иериссоса на Лектре, Иериссос носит на пальце кольцо Королевы Ночи. Юношей Иериссос спускается в Экбатан, вождь производит его в лейтенанты. При возвращении в замок, Иериссос находит всех рабов вождя мертвыми: лежащие, сидящие на корточках, прислонившиеся к тумбам скелеты, кнут обернут вокруг шеи, нож торчит из челюсти. Иериссос идет в сад, толкает дверь оранжереи, встает на колени, целует утопанную землю в том

месте, где упала Королева Ночи; стекла залеплены песком, с каждым дыханием моря дверь, колеблемая ветром, качается на петлях; вождь ждет во внутреннем дворе, пиная ногой скелеты. Иериссос сидит на каменной скамье под пыльными пальмами и крутит на пальце кольцо Королевы Ночи, у надкушенного яблока привкус крови, он проводит пальцем по пушку, пробивающемуся над верхней губой; он напевает баркаролу, которой выучилась Бактриана у Королевы Ночи, когда та спрятала ее у себя в комнате от преследовавших ее стражников. Вождь подходит, раздвигает ветки, гнилые яблоки лопаются под его сапогами. На пустынном Лектре дети играют в войну; однажды Лектр открылся для беглых рабов и соблазненных сирот, а потом закрылся за ними, Экбатан присмирел. Обитатели Лектра практиковали совместные трапезы, летом у обрыва, зимой в старой разрушенной церкви под остовом корабля, все садились за стол, даже младенцы. Иностранные корреспонденты взбирались на мыс снимать дикарей; светловолосый стражник жил с рабыней в деревянном доме; всю ночь он корчился и стонал на постели, днем заводил джип, подгонял его к обрыву и смотрел на море, рассеянно лаская детей, приходивших потрогать его деревянную ногу; если ветер доносил до него шум города, на его губах выступала пена, он не знал, куда деться от своих рук, словно руки, как бичи, хлестали его.

Однажды он направил свой джип на скалы под обрывом и умер, голова раздроблена колесом, оторванная рука зажата рулем. Он мог заниматься любовью лишь стоя, у дверей или заборов.

Вождь подсаживается к Иериссосу:

– Лишь одна маленькая рабыня осталась мне верна. Экбатан забыл меня. Еще немного, и вы меня позовете; в Септентрионе вынимают оружие из льда, женщины и дети закаливают пули, орошают раскаленную сталь пушек. Здесь женщины волочат шлейфы платьев по подножкам лимузинов и покупают малолетних рабынь для своих развратных сынков. Нынче рынок раскинулся на берегу лимана, множество азиатов закуплено торговцами Септентриона и перепродано в приграничные города Экбатана; рабы закованы в цепи и брошены на пол в бараках и ангарах, построенных в конце войны, торговцы покупают их задешево целыми семьями: одна семья для муниципального туалета: жена сидит у кассы, муж с сыновьями чистят выгребные ямы, дочери надраивают плитки; вторая семья для официального скульптора; третья – для школы: учителя накачивают рабов вином, чтобы внушить детям отвращение к пьянству; еще одна семья – в колледж, где директор, следуя последним септентрионским педагогическим изысканиям, дает своим ученикам уроки полового воспитания: всю семью выводят на эстраду и заставляют отца спариваться со своей женой, потом с дочерью, дочь с братом; потом, чтобы показать все безобразие противоестественных отношений, отца с сыновьями, сыновей друг с другом и с их матерью, затем ее с дочерьми и дочерей между собой, учитель дотрагивается до совокупляющихся тел, напряженных и потных, своей линейкой, объясняет позиции, предупреждает о возможных ошибках, собирает на конец линейки капли спермы и проносит ее по рядам.

По возвращении в растревоженный, переполненный рабами Экбатан, откуда целые семьи уже готовились дать деру, на главной улице города вождь

был встречен рукоплесканиями, его машина медленно прорезает толпу, он сжимает ладонь Иериссоса, в сумеречном свете капот переливается голубым и красным, газеты в руках маленьких рабов пестрят смутными угрозами; наплыв азиатских рабов предвещает продвижение септентрионских армий. Экбатан, связанный союзными договорами со странами, на которые собирался напасть повелитель Септентриона, исподволь готовился к войне, которая, при всей своей неотвратимости, казалась выдуманной, переносилась на неопределенное время; мир сделал реальность вымыслом, Экбатан, чье могущество зиждилось на труде тысяч рабов, убаюканный их заботой, изнеженный излитыми на них похотью и жестокостью, успокоенный и одураченный их лестью, их коварной верностью, Экбатан скользит глазами по этим газетам, проходит и растворяется в осеннем тумане, и вдруг, в толпе невинных рабов, его колени сводит страх.

На рассвете, в то время, как Государство склоняется перед вождем, Иериссос, проходя под портиком Дворца правительства, поднимает глаза на еще освещенное окно второго этажа; появляется вождь, видит Иериссоса, улыбается, Иериссос целует ему пальцы. После освобождения вождь упрятал низложенное правительство в столовой госпиталя, приписанного к министерству, к ним для услуг приставлена рабыня; Иериссос входит, рабыня протягивает ему чашку обжигающего кофе, Иериссос берет чашку двумя пальцами, пар поднимается к его лицу, он трясет ладонью, берет чашку другой рукой, подносит ее к губам; сквозь пар он видит лицо юной рабыни, верх ее блузки в пятнах от кофе и варенья, кольцо, блестящее на верхней губе, Бактриана подходит сзади, гладит его плечи; в темном проеме двери молодые солдаты в распахнутых пижамах, с забинтованными головами, встают с коек, опираясь на стены, плетутся в вестибюль, зовут Бактриану, сдирают окровавленные бинты, издавая короткие слабые вопли, на губах пена, щеки покрыты ночной коростой: слезы, слюни, сопли; Бактриана возвращается в коридор и уводит солдат одного за другим в их постели; Иериссос, попивая кофе, смотрит на юную рабыню, протирающую чашки, ее черные опущенные долу глаза поднимаются, когда обод чашки скрывает глаза Иериссоса; Иериссос возвращает чашку, рабыня, встряхнув полотенце, берет ее, ее пальцы стирают следы, оставленные пальцами Иериссоса; над столом - большая фотография вождя; Иериссос смотрит на юную рабыню, она кладет непротертую чашку в карман передника, Иериссос, повернувшись к вождю, выслушивает угрозы, сожаления, страхи, решимость наступать и склонность к переговорам; юная рабыня заканчивает накрывать на стол, Иериссос, вернувшись на то место, где пил кофе, склоняется к рабыне, ее пальцы дрожат на белоснежной скатерти, где сплетения нитей сверкают, как кристаллы льда:

– Как тебя зовут?

– Мантиня.

– Как долго ты в рабстве?

– С самого рожденья, моя мать пела в Опере, когда ваши солдаты взяли город.

– Мои родители погибли на той войне, что мы вели против вас, мы с тобой брат и сестра.

Он берет руку рабыни, целует ее, поднимаясь до рукава блузки.

– Не трогайте меня, завтра меня продадут вдове вашего прежнего принца, у нее четыре сотни рабынь в ее домах и угодьях, восемь сотен на заводах и в рудниках, они мрут по десятку в день, и их тут же заменяют новыми. Говорят, что она людоедка. Она покупает меня, чтобы сожрать.

Рассеянный отблеск зари смешивается с газовым светом лампы на потолке. Лица бледны, глаза закрыты, кровь струится в венах рук, Бактриана в коридоре отбивается от раненого, она оттаскивает его от стены, он держит ее за плечи, перебинтованными пальцами пытается сорвать с нее блузку, тянется губами к губам Бактрианы; другие раненые, лежащие и сидящие в кроватной полутьме палаты вопят, хрустят суставами, сдирают повязки, смеются, распахивают пижамы, вынимают члены, вливаясь глазами в раненого, держащего Бактриану; Иериссос отнимает руку от руки Мантинеи, выбегает в коридор, вырывает Бактриану, бьет солдата по лицу, рот раненого разорван, на кулаке Иериссоса кровь, раненый плачет:

– Господин лейтенант, вы ударили раненого.

– Не можешь сдержаться – все вы как несмышленные щенки. Иди спать.

Солдат, понурившись, пижама спущена до середины ягодиц, возвращается в палату, закрывая разбитые губы ладонью; Иериссос стирает кровь платком, облакачивается на подоконник; серенькая заря проявляет башни, купола и флаги дворца, по террасе проходят жрецы, их сандалии из ослиной кожи мокнут в ледяной воде луж, листьями их книг играет ветер; внизу, на винтовой лестнице, неподвижно застыли их маленькие рабы с ораями в руках, ожидая конца мессы, ткань рубашек и шортов трепещет на ветру; на углах улиц разворачиваются взводы, наброшенные плащ-палатки трещат на свежем ветру, как горящий бензин; группы рабов, беглых, ищущих защиты, жмутся к воротам дворца; солдаты отсекают, стреляют, топчут, оглушают, рабы рассеиваются, бегут, прижимаясь к домам, залпы сбрасывают их на тротуар или кидают на стену; муниципальные поливальные машины опрыскивают улицы; блестя обмытые трупы с разделенными струей воды проборами; окрашенная кровью вода стекает по мостовой, взбивая пену вдоль тротуаров, дворники наваливают трупы в пасти грузовиков вместе с остывшим пеплом и экскрементами.

Священники спускаются, опираясь на плечи маленьких рабов, отирая ораями холодный пот со лбов. Агония закончена; их свободные руки скользят по перилам лестницы; голуби планируют на балюстрады, скаты, оттаявшие крыши, сливающие дождь, росу, птичий помет, сонные вороны ищут свои щели, натываясь на пасти драконов, груди граций, антенны и стяги, рубашки и шорты маленьких рабов под дождем прилипли к торсам и бедрам; Иериссос возвращается в зал столовой, Мантинея дрожит, Иериссос трогает ее плечо, Мантинея склоняет голову, ее щеки и ресницы соприкасаются с ладонью Иериссоса, который поднимает пальцы к губам Мантинеи; взгляд вождя и порыв ветра из двери застают их врасплох, Мантинея снова берет со скатерти свое полотенце, прижимаясь животом, стянутым блузкой, к столу, Иериссос кладет руку ей на грудь; он догоняет вождя у двери, министры сторонятся, некоторые оглядывают его с ног до головы.

В машине, рядом с вождем, дремлющим в надвинутой на лоб черной шляпе – Иериссос, поднятый воротник закрывает мочки ушей; маленький раб в набедренной повязке из мешковины присел на корточки у кровавого ручейка; его руки шарят в сливе водостока, он вынимает их, перепачканные кровью до локтевого сустава, поднимает над головой, смотрит на Иериссоса блеклыми зрачками, налитыми кровью; Иериссос сжимает подлокотник, мальчик бежит за автомобилем, обхватив руками лысый череп; рука вождя трогает бедро Иериссоса: – И все-таки я разбил этого врага.

Иериссос поворачивает голову, протирает заднее стекло; мальчик бежит, пританцовывая, кровь стекает ему на грудь, заполняя впадину пупка; шофер видит его в зеркале заднего вида; вождь снова засыпает, Иериссос замечает начертанный на блестящем затылке шофера крест, полуприкрытый шарфом; машина замедляет ход, мальчик ее обгоняет, его окровавленная рука скользит по стеклу, шофер со стуком открывает свою дверцу, мальчик прыгает на тротуар, шофер жмет на газ, он видит кровавый крест на стекле рядом с Иериссосом, направляет машину на ребенка, тот, подвернув ногу, падает, правое переднее колесо давит его голову, волочит по шоссе; проснувшийся вождь двумя руками вцепился в спинку переднего сиденья, капля слюны стекла на его подбородок; Иериссос открывает свою дверцу, выбегает, опускается на колени перед ребенком, освобождает его голову, вывихнутые кости плеча перекрещены где-то в горле; машина отъезжает, шофер дрожит, уткнув голову в рукава пальто, размотавшийся шарф висит на руле, Иериссос поднимает тело на руки и убегает.

Вечером:

– Хозяин, лейтенанта Иериссоса видели в руинах Лектра. Арестовать его?

– Нет, после каждого из своих побегов он возвращался еще послушнее, еще нежнее, его щеки и плечи хранили аромат ветров. Пусть он побеждает, покроет потом свой лоб, мороз сделает твердыми его губы, пальцы, его член, а потом весна умягчит его кожу.

Враги вновь вошли в Экбатан. Иериссос спустился с Лектра в предместье рабов, однажды вечером остановился перед одной из лачуг и услышал обращение того офицера, что сбежал на Букстехуде, голос призывал к сопротивлению даже тех, кого Лектр лишь недавно пропустил за свою ограду:

– Эта битва, что ведется против врага, способного поработить ваших хозяев, для своего победного завершения требует вашего участия. Тогда вы избавите своих детей от еще более тяжкого ига, а я обещаю вам, что заставлю ваших хозяев, после того, как вы их освободите, даровать вам волю.

Иериссос входит, видит рабов, собравшихся за столом у транзистора. Солнце освещает вершину Лектра, острия ограды, угли сожженных столбов, вражеские всадники скачут по берегу, копыта лошадей топчут тела юных бойцов сопротивления, расстрелянных ночью, присыпают их песком; всадники поднимаются на дыну, галопом пересекают улочки предместья, топчут детей, играющих на песке в бабки; каска одного из всадников падает на окровавленный песок, всадник спрыгивает с седла, лошадь мчится дальше, всадник с каской в руке бежит за эскадроном, исчезающим за воротами Экбатана в облаке кровавой

пыли и взметенных отбросов; рабы выходят из хижин, подбирают детей, ласкают их раздавленные руки и ноги; один из них держит ребенка за челюсть, выбитую ударом копыта, ребенок кричит, пальцы ног вывернуты; Иериссос в разорванной в клочья униформе, бежит за ребенком, у которого оторвано ухо и выбиты зубы, тот взбирается на скалу Лектра, Иериссос хватает его за плечи и отводит в свою хижину; с полотенцем на шее, он выходит в садик, мыло щиплет ему глаза; два танка ползут по берегу, взбираются на дюну, гусеницы срывают дерн и корни, башня поворачивается, пулемет прошивает буруны, потом вершину Лектра, где на ограде белеет разорванный парашют: партизан прячется в руинах, руками сбивая пепел с обгоревших столбов; Иериссос возвращается в хижину; два раба, посланные вождем, стучатся в дверь; мать прячет в углу раненых детей, Иериссос открывает дверь:

– Хозяин хочет знать, здоров ли ты.

– Скажите хозяину, что я один, что бремя власти переполнило меня страхом, что дворец населен убийцами.

Раб вцепился рукой в член Иериссоса, тот отпрянул, отдирая ладонь раба от ширинки форменных штанов.

Рабы ушли. Они направились в Экбатан, тот, что касался Иериссоса, поднес ладонь к губам вождя.

Иериссос с полудня до ночи готовил выступление тайной армии рабов; одному из них вплавь удалось достичь Букстехуде, он вернулся сквозь пулеметный огонь и упал, истекая кровью, на циновку Иериссоса; в его сжатом кулаке нашли смятый листок, покрытый указаниями и обещаниями оружия.

Рабы понемногу организовывались в отряды: танки поджигались, склады взрывались, свободные бойцы вначале испытывали некоторое отвращение к своим новым товарищам по борьбе, во время привала жаловались на вонь, на неуклюжесть и разболтанность этих рабов, привезенных бог весть откуда.

Однажды вечером Иериссос вошел в спальню вождя, тот сидел в кресле перед освещенным столом, заваленным бумагами, над ним склонился лакей; Иериссос подошел, вождь повернулся в пол-оборота, прогнал лакея ударом кулака по задку, встал, Иериссос подошел ближе, вождь положил ему руку на бедро:

– Я знаю, ты командуешь армией подростков и рабов. Проведи меня как-нибудь ночью в твой лагерь, я хочу посмотреть, как они спят: оружие между колен, в горле трепет, пупок открыт, губы и щеки лоснятся от жира и вина, грудь волнуется, член вздыблен голосами и образами мечтательной дремы. Ты здесь и капитан на Букстехуде – вот две артерии моего сумеречного сердца. Я прикрываю вас с двух сторон, а когда война во всем мире будет закончена, Септентрион повержен и разорен, вы оба приговорите меня к смерти. Ты оставлял меня не раз, чтоб спасти какого-нибудь раба от мучений. Теперь я предаюсь тебе. Ты живешь за меня в свете и суе, из которых я не могу зачерпнуть и горсти. Едва позволяешь ты мне испить с твоих щек, с твоих ладоней пот твоих деяний. Я был рожден даровать волю, а не составлять, день за днем, списки заложников. Они навязывают мне септентрионских лакеев, они выворачивают мои носки, их шпионы смеются за дверью, когда я сажусь на унитаз. Ты воняешь рабом. Они тебе

подчиняются? Сегодня утром я видел одного на крыше дворца, он менял чугунный водосток, кровь стекала с его пальцев на искореженный металл, выпрямившись, он долго смотрел, как дым, выходящий из трубы, на которую он опирался, тает в свете дня; он перехватил мой взгляд, опустил глаза; ветер раздувал его рубаху; он поднял глаза, они были омыты росой и кровью, я едва сдержался, чтоб не столкнуть его в пропасть, как камень. Ты останешься на ночь?

Он накрыл ладонями уши Иериссоса:

– Мои ноги ослабли, мне трудно выпрямить их под умывальником.

Лакей готовит столик у изголовья: флаконы, пакетики, вата, шприцы. Иериссос садится на диван, вождь обнимает его за бедра:

– Только я могу совладать с врагом, но мое правительство ночью или в час моей сиесты подписывает временные договоры, которые я обязан выполнять. Никто из внешних и внутренних врагов не проникал в эту комнату, где я сражаюсь в одиночку. Я приклеиваю мои послания на брюхо пса, подаренного мне крестьянами, у которых я благословлял стада и инвентарь, однажды я выпущу его на волю, мои приказы будут обнародованы – я тоже буду взрывать мосты и поезда. Вот этот пес, крестьяне хотели подарить мне суку, но я предпочел кобеля Што. По ночам я толкаю его, он запрыгивает ко мне на кровать, я треплю его лохматую морду руками, его глаза блестят, я тискаю его брюхо, хранящее мой секрет, его язык лижет мои ладони, мои губы.словно сам Экбатан, взыскующий свободы, смотрит мне в глаза и трепещет под моей рукой.

Он подсаживается к Иериссосу, привлекает его к себе на колени; по улице проходит патруль с шумом гальки, влекомой прибором. Иериссос гладит старца по щеке, на его пальцы накручиваются седые локоны, сквозь них видно, как кровь приливает к губам, его ногти замирают на распечатанных ресницах, из-под которых сияет пара голубых ирисов. Рука вождя проникает меж бедер Иериссоса, ослабленного теплом, ароматами, блеском флаконов; рука вождя, погружаясь до запястья, мнет юное сонное тело, пальцы расстегивают пуговицы, стягивают майку, скользят по локонам; вторая рука сжимает конверт, скручивает его и прячет в паху Иериссоса. На рассвете старец храпит в постели, раскидав волосы по подушке, лакей, склонившись над ним, шарит руками по его шее; Иериссос, вскочив, опрокидывает лакея, вождь, всхрапнув, переворачивается на бок. Иериссос наступает на горло лежащего под кроватью лакея, выходит из комнаты, сбегает по лестнице, под порталом дождь сечет его по лицу и рукам; он проходит по Экбатану, опрокидывает вражеские плакаты и пустые помойные баки, где спариваются кошки, спускается к лиману; под крышами барж речной спасательной службы огромные коты щетинят шерсть, намокшую от спермы и дождя, трут спины о просмоленный брезент и босые ноги моряков; он поднимается к центральному вражескому кварталу, останавливается у стены, поддерживающей террасу дворца вдовы принца Экбатана, слышит крики рабов и пыхтение печей, доносящееся снизу, через отдушину кухни; перед ним заросли террасы, площадки, печные трубы, коньки, башенки; окна, оконца, форточки – раскрытые, запотевшие, затянутые, забытые штанами, рубашками, майками, платками, носками, вывешенными для просушки, скрывают тяжелый сон и смутное беспокойство вражеских солдат и офицеров.

Две женщины медленно поднимаются по улице, где рыба кровь и желчь стекают между плитами; голубой зонт нацелен на струи ливня; они проходят рядом:

– Ты? Пошли во дворец, позавтракаем вместе. Ты?

– Да, ваше Высочество.

Две женщины, покрытые вуалями, поднимаются впереди Иериссоса по маленькой лестнице; пальцы на перилах порхают по лепесткам, одна поворачивается – роза вплетена в локон у виска, принцесса держит за руку молодую женщину, сжимает фаланги, гнет ногти, стягивает кожу, щиплет вены, Иериссос касается бедра молодой женщины, идущей перед ним; наверху два раба, опершись на сырые столбы, запахивают рубахи, ручейки дождя стекают по мышцам шеи: «Теперь лежать!», ткнув в грудь наконечником сложенного зонта; рабы всполошились, две женщины выходят на веранду высотой в пятнадцать метров, бронзовые откосы, витражи в половину высоты; две ели в каменных кадках вытянулись до купола, выше колокольни, в сплетениях ветвей Иериссос замечает сломанные игрушки, обрывки штанишек и рубашек, автоматные магазины, ожерелья из зубов; множество рабов, мужчин и женщин, спует по террасе с полными руками цветов, фруктов, холодного мяса:

– Сегодня я пригласила на завтрак высших офицеров оккупационной армии. Хочу показать им богатства Экбатана. Вождь отказался от участия в празднестве, он предпочитает свое рагу и минеральную воду. Ты останешься здесь на целый день, Иериссос? Как мне надоели вонючие рабы! Эти ели принц привез мне из лесов Септентриона вместе с птицами и белками, изловленными сетями. Тогда ты только-только родился. Эту войну затеяли крысы. Горсть грязи, смерть. Принц бросился в мои объятия, под его бровями бились ночные бабочки, на его лбу я разглаживала метку от смотровой щели. Все рабы погибли на войне, наступившая потом зима прикончила раненых и безумных, вернувшихся по домам, двери дворцов и поместий были распахнуты.

Я танцевала ночи напролет, а днями, нежась под мехами моей постели, по телефону истязала моих любовников. Принц накалывал на булавки своих бабочек. Мы славно ладили с Республикой. Садись. Я скоро вернусь.

Она выходит. Молодая, нарядно одетая женщина сидит на софе, прислонив голову к вазе с гниющей водой:

– Мантинея, я знал ее, тебя это удручает? У нее была тысяча любовников с четырех сторон света, она мазалась ваксой для негра, открывала груди...

– Ночью ее бриллианты крошат мои зубы. Все рабы ревнуют меня, они оживают, когда я прохожу мимо, их кости и мышцы мигот встают на места, кровь наполняет их жилы. Они вбивают гвозди между планок паркета. Свободные меня презируют, рабы ненавидят. В каждой комнате звонок может позвать меня к ее изголовью, звонок на каждом дереве, на ограде каждого фонтана. Тогда рабы высовывают головы, плюют мне вслед против ветра, плевки возвращаются им на лица; они гребут землю, скребутся в паху, кидают к моим ногам бумажные короны. Склонившись над ней, я стараюсь сдерживать грусть, но она видит, как дрожат мои веки, приподнимается на локте, берет меня за подбородок, булавка

от ее парика воткнута в подушку, ее рука касается моих ресниц; я закрываю глаза, я хотела бы любить ее, я трусь щекой о ее ладонь, она улыбается, ее рука скользит к моему горлу, я мягко ее отстраняю.

– Любила б я тебя, будь ты свободна?

– А мертвой вы любили бы меня?

Я примостилась рядом с ней на ее постели, мои глаза считают золотые звезды балдахина, ее рука расстегивает ворот моей блузки, накрывает под тугим шелком мою правую грудь, расстегивает пуговицы до талии, скользит по пуговицам вдоль выреза наверх; из складок портьер летят пылинки; рабыня на цыпочках пересекает комнату, поднимает покрывало с подножья постели, нитки на плече ее платья рвутся, принцесса, увидев обнажившуюся плоть, приподнимается:

– Приведи ее, Мантиней!

Рабыня стоит неподвижно, скомкав покрывало, Я беру ее за талию и веду к изголовью, толкаю, наклонив ее голову к лицу принцессы, руки рабыни обмякли, шея под моими пальцами напряжена, покрывало соскальзывает на пол, принцесса вцепилась рабыне в горло, притягивает ее:

– Поверни ее, выкрути ей руку.

Я выворачиваю руку рабыни, принцесса впивается зубами в прореху платья, прокусывает плоть, рабыня сидит на краешке кровати, платье вбито между бедер, руки прижаты к пупку, шея стиснута руками принцессы, уставилась на меня, плечо и ткань платья на груди и на спине смочены слюной; зубы смыкаются, рабыня поджимает плечо к щеке, ее растрепанные волосы на простыне, сведенный судорогой живот ввалился; с десен принцессы брызжет кровь, руки рабыни, слабея, поднимаются к груди, принцесса запрокидывает торс рабыни себе на грудь, не прекращая грызть плечо, сжав зубы на мышце и дергая ее, как струну, рабыня закусилась губы, запрокинула голову, открывая омытую потом и кровью шею; она кричит, выбрасывает руки вперед, снова складывает их на животе; открытые колени блестят от пота, стекающего по ногам до ступней, платье, прилипшее к телу, топорщится в сухих местах; я глажу лоб принцессы, брови, забрызганные кровью, веки, принцесса разжимает зубы, отпускает шею рабыни, откидывается на подушку, розовый пот смочил ткань у щек и волос; рабыня по-прежнему сидит на краешке постели, я беру ее за голову, поднимаю, запускаю руки под мокрое, липкое платье, она закрывает рукой рану, встает, я толкаю ее к двери, она прислонилась к стене; ее плечо над вазой, полной зеленой воды и сгнивших цветов; я возвращаюсь к постели, сгребая белье, складываю, отношу рабыне, кровь из раны струится на горлышко вазы, стекает, касается воды и алой вуали; я вкладываю белье в здоровую руку, открываю дверь, вывожу рабыню в коридор; когда я закрываю дверь, она кидается на меня, впивается мне в руку, держит ее своими сломанными зубами, я прикрываю рот, слезы стекают на ладонь, катятся по моим ноздрям, рабыня разжимает зубы, сплевывает мою кровь и убегает, волоча по ковру развернувшееся белье.

Когда я вновь возвращаюсь к принцессе, она чувствует, видит кровь на моей ладони, она тянет ее к себе, подносит раной к губам, всасывает кровь, обшаривая рану языком, я укладываюсь рядом, она продолжает лизать рану, запекшаяся

кровь осыпается с ее ресниц, ее глаза закрыты, голова откинута на подушку, моя кровь стекает на ее грудь, смешиваясь с кровью рабыни; она любит кровь рабов, мужчин и женщин, кровь и сперму; потеря крови и спермы выводит нас, рабов на какое-то время из рабского состояния, они насыщают, возвращают к жизни свободное тело, непостижимое для нас. Вы, вольные люди, любите пить кровь и впитывать сперму рабов; небесным огнем они прожигают вас до глубин души: свобода через подчинение силам небесным, перестуженным вашим одиночеством – этим рабам, возлежащим с вами, нечувствительным к силам земным; в их чрево вы вливаете свое отравленное семя, играя, вы убиваете нас, нас, которые уже мертвы.

Принцесса возвращается, садится рядом с Иериссосом; кругом спуют рабы, некоторые, в испачканных вином и воском шортах, прислонившись к стене, открывают бутылки, зажав их между колен; женщины с вцепившимися в подол детьми накрывают на стол; молодой раб с полными руками бутылок с вином и медом толкает ногой дверь веранды, выходящей на двор погребца, колено под закатанной штаниной кровоточит, дождь замыкает кровь; принцесса, рука которой покоится на бедре Иериссоса, а волосы соприкасаются с его волосами, вздрагивает, увидев окровавленное колено, упирается пальцами в пол, раб приближается, она хватается его за ногу, он теряет равновесие, бутылки бьются о плиты, осколки ранят босые ноги детей; раб стоит, руки по швам, опустив голову, принцесса за внутреннюю сторону колена тянет ногу к себе, раб подходит поближе, принцесса набрасывается ртом на рану, кусает до кости, лижет ногу, поднимает ступню к губам, слизывает кровь с большого пальца, раб, стоя на одной ноге, держится за подлокотник дивана, руки принцессы обнимают его ступню.

Иериссос молчит, склонившись к Мантинее, перебирая пряди ее волос. Рабы, собирая осколки стекла, режут себе руки и ноги, винная лужица подтекает под диван, принцесса подбирает ноги, рабыня кидает на плиты большую тряпку; чайки, обосновавшиеся на колокольне собора, бьют крыльями по стеклам; принцесса отпускает омытую ногу раба с раной, смягченной слюной, тот отступает к столу; принцесса поворачивает к Иериссосу окровавленное лицо с открытым ртом, розовая слюна скопилась на деснах:

– Видишь ли, кровь, даже самая подлая, разгоняет мою меланхолию. Когда не льется их кровь, когда, во дворце ли, в саду ли, они работают, не рана себя, меланхолия снова сжимает меня, она дробит мои кости, я встаю с ложа, преследую рабов, мешаю им, чтоб они поранились; я даю острый нож мальчику, иголку или ножницы девочке, сидящей у меня на коленях. А вот кровь животных повергает меня в ужас. Поутру я встаю, бужу Мантинею, мы выходим в Экбатан; на улице я склоняю увядшее за ночь тело к кровавому ручейку; я собираю в ладони кровь рабов или партизан, застреленных ночью, и пью; Мантинея, отвернувшись, дрожит на тротуаре, струя из-под колес грузовика окатывает мое платье, холодит мой лоб и там, внизу, смягчает лихорадку, которая его распирает. Вернувшись во дворец, я ложусь, и выпитая кровь запечатывает мне уста до вечера.

В полдень, оставив спящую принцессу в ее спальне, Иериссос и Мантинея поднялись на крышу дворца; высшие чины выходят из своих авто, толпятся

на маленькой лестнице, ведущей на террасу, их шоферы, развалившись на переднем сиденье, зажигают сигареты, достают из карманов бутылки и фрукты, снимают шляпы, включают радио, свистят вслед девицам, свободным или рабыням, привставая на сиденье и опускаясь, когда они проходят.

Иериссос, вскинув руки, лицо в паутине, падает на Мантинею, запутавшуюся в корзине со старыми шальями, растянувшись на ней, он разрывает покрывающие ее шали, ловит ее губы, прижимается бедрами к ее животу; их слюна увлажняет лоскуты, пряди шерсти застревают в зубах; Иериссос прижимает губы и десны с двумя выбитыми зубами – следствие падения на камень в детстве, когда он вырывался от вождя – к горлу Мантиinei; зубами он расстегивает ворот платья, прикусывает грудь до соска, на который он сплевывает, встряхивает своей пыльной шевелюрой, потом, отступив, на корточках, он задирает ее платье, двумя руками накрывает ее живот, спускается к влагалищу, лижет его, его губы трепещут под прядью волос, колени Мантиinei сжимают плечи Иериссоса, ее руки обвивают его тело, его руки, в складках которых сверкают блески пота.

Посреди пира один генерал по неловкости переворачивает соусник на голову маленького раба, который сидит у его ног, вцепившись в подол материнского платья; она, зажав соусник в кулаке, сидя на корточках, стирает соус с черепа ребенка подолом платья, ребенок задыхается, лежа на спине, ресницы сожжены, глаза залиты соусом, губы плотно сжаты, поднятые колени сведены судорогой, ладони прижаты к бедрам; рабыня, не говоря ни слова, щеки залиты слезами, поднимает ребенка на руки, швыряет соусник на стол и выбегает в вестибюль; принцесса, вся обмякнув, с пылающим лицом, смотрит на елки:

– Этот ребенок умрет; его отец – сын проститутки, принц взял его совсем маленьким из борделя, где тот жил, целый день голый, кости и кровь насыщены желчью, суставы разбиты от выкручивания и пинков; во дворце, несмотря на свои болячки, он очаровал всех девушек, всех женщин, его каморка в погребе до рассвета оглашалась их криками и смехом, это хороший производитель.

Раб, посланный из кухни, склонился и прошептал что-то на ухо принцессе:

– Ладно, принеси его пожитки и закинь на елку.

Раб выходит, потом возвращается, в его руках костюмчик маленького раба и его игрушки: кораблик из коры и волчок; принцесса трогает вещи:

– Они пахнут молоком. Горе мне, пьющей кровь.

И раб забрасывает все на елку.

Мантинея, стоя за принцессой, смотрит на Иериссоса; его пальцы дрожат на полубоглоданной голове перепелки, его зубы дробят глазные впадины, щеки, череп, принцесса замечает его улыбку, адресованную Мантинее, она продолжает разговор с генералом, сидящим напротив, но вечером, когда Иериссос ушел в Лектр, она набросилась на Мантинею, лупила ее кулаками, пинала ногами, потом, увидев ее раненой, избитой, потерявшей сознание, она пила кровь изо всех ран, покрывая тело руками, слезами, волосами.

На рассвете, одна, она идет пить кровь вдоль тротуаров; она рыщет по бойням – чтобы увидеть кровь забойщиков, поранившихся своими ножами, она пересекает мощный двор; ее платье на пояснице надувается свежим ветром,

подол скользит по крови, цепляя отрубленные головы овец, коров, свиней, коз, головы катятся, из них выскакивают крысы, перемазанные кровью; ноги принцессы слабеют, она подбирает платье и становится на рельс; молодые рабочие, опершись на вагонетку, режут кукурузные лепешки, прижимая их к груди, принцесса наблюдает, как нож рассекает хлеб и останавливается на большом пальце; она входит в главный корпус; от криков животных дрожат стекла; принцесса пробирается между вагонетками, подсобники снуют по кровавым лужам, стирая кровь с волос, у одного на щеке отметина от козьего копыта; вода стекает на плиты из загонов, унося клочки шерсти и навоз; два подсобника дерутся между покачивающимися, звенящими крюками, принцесса поднимает завесу загона, где подсобники под предводительством мастера-забойщика – голого по пояс, в переднике, спадающем на бедра – удерживают животных и перерезают им глотки, волосы разметаны в свете неоновых ламп, рога животного упираются в пупок. Лоб принцессы, поддерживающей завесу, покрыт капельками розоватого пота; мышцы подсобников напряжены; ноги парней близ лошадиных ног; подсобник добывает неудачно забитую лошадь, вывалившийся лошадиный язык обвился вокруг запястья подсобника, лошадь упирает копыто передней ноги в бедро юноши, копыто задирает шорты до паха, приоткрывая прядь волос и гениталии; подсобник, склонился к лошади, одной рукой проворачивает нож в ее горле, другой – вцепился в дымящиеся ноздри. После он вынимает нож, лошадь, взбрыкнув, толкает руку с зажатым в ней ножом, лезвие скользит по лобку, оставляя зарубку под волосами, кровь сочится на черную прядь; подсобник, не выпуская ножа, большим пальцем трет пораненное место; принцесса бросается к нему, расталкивая подсобников с мастером, садится на корточки, ухватившись за ногу парня, ее пальцы пробираются к бедру, губы устремляются в проем шортов, язык обшаривает окровавленные волосы у основания члена, грудь упирается в копыто, вывернутые, обкусанные губы блестят; подсобник, не смея шелохнуться, держит нож над головой принцессы, взгляд блуждает, губы трепещут, ноздри дрожат, пот застилает глаза, склеивает ресницы, мышцы ноги и бедра напряжены; принцесса сосет кровь, волоски щекоцут ей ноздри, правый глаз накрыт штаниной, левый впился в подернутый мутью глаз умирающей лошади. Забойщик и его подмастерья сгрудились вокруг них у стены загона; парнишка, которого принцесса держит за колено и зад, положил свой нож на голову принцессы, гладит ее волосы на висках и на плечах, пропускает их между пальцами, накручивает на ладонь, его ногти скребут открытые виски; ноги принцессы под платьем раздвинуты, губы влагилица сочатся смазкой, она сильнее жмет его зад и колено, она прикусывает основание члена, надавливая на ранку, из которой уже не течет кровь, член подсобника твердеет, поднимается к ноздрям принцессы, но, втянув язык в рот, переполненный кровью, она поднимается, скользнув ладонями по его бедрам, вытирает губы его ладонью, окидывает взглядом подсобников и выбегает из загона; парнишка сжимает нож, склоняется к лошади, копыта которой скребут по плитам, ударом кулака поднимает ей голову, вонзает нож рядом с первой раной, лошадь поводит головой, ее спина дрожит под босыми ногами подсобника, ему в глаза брызжет струя крови, стекая на щеки,

на грудь, на живот, на колени, затекая под шорты. Два подсобника, присев, держат ноги лошади, забойщик берет в углу загона свинцовую болванку, высоко ее поднимает; парнишка отскакивает в сторону, болванка падает на череп лошади; ее ноги, сжатые руками подсобников, дергаются, она хрипит, глаза закатываются, пар из ноздрей летит в разорванное горло, рот приоткрывается, кровь, смешанная со слюной, течет между зубов и из ноздрей.

Принцесса в перепачканном платье бежит вдоль стены, из поросших мхом щелей выпархивают трясогузки, задевая крыльями ее волосы и щеки, часовые, навалившись грудью на гранитные бордюры, царапают камень своими ножами. Один из часовых дремлет, уронив голову в каске на гранит, его рот, наполненный сонной истомой, сдувает кварцевую крошку; принцесса спотыкается о клубок водорослей, из него вываливается детская ручка, источенная червями; подол платья, зацепившись за клубок, распутывает его, раскрывая нагое тело ребенка с отметинами от гусениц танка. Крыса, выбравшись из-под останков, вцепилась зубами в край платья; другая крутится в консервной банке, вспрыгивает на живот мертвого ребенка и пробирается к горлу, оставляя на бледной груди ржавые следы.

Старуха – кольцо в губе заросло кожей – присев на корточки у стены, бросает щепки в костерок, разведенный между ногами:

– Пейте, ешьте, малыши, вгрызайтесь в сладкую плоть, пусть его кости и жилы станут клеткой для вас.

Она охотится на крыс: зверьки сбегаются на приманку, прогрызают тело, проникают в раны, мордами поднимая кожу; во рту, под мышками, в паху, между ягодицами и животом, все тело шевелится; увидев, что все крысы достаточно углубились, старуха встает, нагибается над трупом, накрывает отверстия кусками просмоленного брезента; крысы возвращаются к проходам, пытаются вырваться, но старуха, сжимая им головы пальцами, швыряет их, еще живых и пищущих, в костер. Чтобы изловить тех, что засели внутри, старуха шарит по телу, они перекатываются под ее пальцами, она гонит их к суставам, к полостям в животе и горле, там она их давит, прорывая кулаками стылую, забрызганную кровью кожу.

Одна из крыс вгрызается в челюсти и щеки, от ее движений поднимаются веки и шевелятся уши; старуха двумя руками сдавливает виски; десны, разорванный язык, небо – одна кровавая дыра, прикрытая зубами, крыса поворачивает в эту эмалированную кровавую ванну, старуха затыкает рот куском брезента; крыса, увязшая в горле, тянет брезент, вцепившись в него зубами, потом снова поворачивается, проталкивается через горло и выходит в легкие, старуха встает, подбирает в грязи палку, обвитую колючей проволокой, ударяет ею по груди мертвого ребенка; крыса протискивается под легкими, разорванная плоть скрежещет; крыса оказывается в наполненном дождевой водой животе. Старуха бьет по животу, колючая проволока разрывает живот и накаливает крысиную морду, старуха снова бьет, крыса верещит, сучит ногами в крови, прячется под кости таза, палка их дробит, старуха через дыру достает крысу и бросает ее в костер; потом, присев на корточки, она пожирает зажаренных крыс и засыпает до

полудня, прислонившись к стене; когда она просыпается, крысы снова покрывают труп, старуха давит и оглушает их; кровь, зажженная вечерним солнцем, золотым дождем оmyвает ее запястья. Когда труп весь изодран и больше не может служить приманкой, она тянет его на костер и жарит на медленном огне; пожирает и его, отрывая руки и ноги, покрывая зубы теплым пеплом, она растягивается на костях и спит, подставив раскрытый рот ночному дождю, до зари; проснувшись, идет вдоль стены к свалке и, когда видит лежащий сверху или заваленный отбросами трупик с раскрытым ртом, сердце в ее груди учащенно бьется, ее руки дрожат под дождем, когда она подходит к телу, которое треплут за волосы, за пушок под мышками и на лобке крупные крысы; тогда она берет мертвого ребенка на руки, или, если он слишком тяжел, волочит его за ноги к стене; маленький раб пришел на свалку с ведром экскрементов, ручка ведра врезалась в ладонь, босые ноги увязают в грязном снегу.

Старуха видит ребенка, достает из-за пазухи перьевую ручку из фальшивой слоновой кости, крутит ее на солнце, ребенок подходит; его босые ноги разрыганы мочой; его хозяин – старик, свободный, но бедный, имеющий лишь одного раба, вставая с постели, помочился ему на ноги; старуха хватается за плечо; принцесса бежит вдоль стены; ребенок дотрагивается до ладони старухи, та подносит перо к его глазам:

– Посмотри внутрь, там виден остров Энаменас, который отобрали у твоих предков экбатанцы.

Мальчик широко раскрыл глаза, вцепившись в ладонь старухи, та, между тем, подносит ручку к его лицу, поворачивает к губам и вонзает в рот ребенка, мальчик кричит, плюется, сжав ручку зубами, царапает ногтями запястье старухи, ручка раздирает ему небо, кровавая пена стекает на его подбородок, на грудь; принцесса повернулась, бежит назад; старуха вталкивает ребенка в каморку, где хранится инвентарь мусорщиков; мальчик, птясь, вступает в ведро с экскрементами, измазав в них ногу и штанишки; старуха опрокидывает ребенка на инструменты и закрывает дверь.

Принцесса, роняя с губ розоватую пену, обегает вокруг каморки, наваливается плечом на дверь, трется об нее; старуха извлекает ручку изо рта ребенка и втыкает ему в грудь, ручка сгибается, мальчик хрипит, его рот издает звуки перекаत्याющейся гальки, пальцы вцепились в зубья вил; старуха хватается вилы и протыкает руку ребенка; его ноги прижаты к животу. Принцесса, плечо разодрано о набитые в доски гвозди, рычит, стонет, кусает дверную щеколду; до полудня, возбужденная запахом крови, разлитым по примятой траве, она извивается у двери и кровь подсобника под лучами солнца засыхает на ее губах и щеках. Старуха, усевшись верхом на ребенка, пьет его кровь, заглатывает куски мякоти; ребенок свободной рукой гладит ее волосы, но та, присосавшись ртом ко рту мальчика, лижет его губы и щеки и вынимает зубами куски, оторванные пером; ребенок, запрокинув голову, блюет черной кровью, которую старуха тут же выпивает. Наверху, на влажном розовом ветру, звучит труба; мальчик отпускает запястье старухи, пробитой рукой упирается в ее рот, она кусает руку и лижет рану; после, толкнув дверь, прижимая коленом тело ребенка, она высовывает

голову из каморки; она вытаскивает тело, волочит его по грязи вдоль свалки; принцесса насккивает, хватается голову, подпрыгивающую на коробках и обломках утвари, ее широко раскрытые губы трепещут над красными губами ребенка.

Старуха оборачивается, хватается кусок железа и швыряет его в спину принцессы, склонившейся над ребенком, лицо к лицу, рот в рот; руки, впиваясь в шею, подбородок, щеки, царапают бледную кожу, смягченную дождем; старуха стягивает тело на железную кровать с гнутыми решетками, наваливает на живот ребенка матрац; тот задыхается, принцесса глотает отрыгнутую кровь; два здоровенных раба ищут ее – на бойне, где подсобники мечут ножи им в ноги, под стеной, где часовые швыряют в них комья земли и мочатся на них сверху; они находят ее влившейся в рот умирающего ребенка, в сбившиеся волосы впились пружины матраца; старуха бьет палкой по отбросам, выслеживая крыс; рабы подходят, гладят живот ребенка, член, волосы на лобке, где свернулись мелкие слизни, бедра, колени со спущенными окровавленными шортами:

– Ваше высочество, кровь сворачивается, мальчик умирает.

Она открывает глаза, отлепляет свои губы от губ мальчика, ее ладонь, сжимавшая горло, чтобы, ослабляя хватку, направлять порции крови в рот, разжимается, раскрывается, опадает; на щеках и на лбу принцессы – следы губ и зубов ребенка; принцесса протягивает руки рабам, те приподнимают ее; пальцы, вцепившиеся в их плечи, оставляют на них кровавые следы; старуха, сидевшая на ящике, подходит к кровати, вытягивает тело из-под матраца и бросает на отбросы; крысы тотчас набрасываются на него, шевелят голову, ладони, член; одна из них, втискиваясь в рот, кусает десны, ребенок хрипит, крыса подпрыгивает и выскакивает изо рта, зацепившись когтями за ноздри; когда старуха зажарила и съела всех крыс, она втащила тело, волоча запрокинутую набок голову по углям, на костер; подбородок и щеки мальчика в огне, колени прижимаются к животу, он хрипит сквозь зубы, из его рта вытекает струя крови, запекаясь на огне, голова скатывается на тлеющие синим пламенем угли; старуха переворачивает тело, подгребают жар обломком лопаты и набрасывают сверху; зажарив низ живота, она тянет труп за ступни, разводит ноги и, сдувая пепел с бедер, вгрызается в пах.

Принцесса лежит в своей постели, солнечные лучи, просачиваясь через закрытые ставни, жалят ее в лоб, она шевелит губами; Мантинея сидит у ее изголовья, изнемогая от запаха смерти и крови, разлитого по простыням; она держит ее за руку до пробуждения.

Голый септентрионский офицер гладит черепицу, прижимает теплую ладонь к бедру, встает, пересекает комнату, пинает голову Аиссы, спящего у двери, мальчик просыпается, потягиваясь:

– Садись на окно.

Мальчик вскакивает, одеяло соскальзывает с плеч, офицер подталкивает его к окну, тот усаживается; сдергивая с мальчика шорты и рубашку, обвивающую его нагие бедра, ласкает его затылок, не спуская глаз с принцессы, которая сидит с окровавленным ртом в саду, опустив руку на стул, где еще недавно сидела Мантинея.

Когда девушка возвращается, стоящий член офицера упирается в поясницу мальчика; она садится, принцесса убирает руку, склоняется к лицу Мантинеи, та кончиком пальца отворачивает от себя этот рот, дымящийся кровью.

В порт входит военный корабль, его орудийные башни надвигаются на печные трубы и стяги Экбатана; маленькие рабы купаются в лимане под мысом Лектр, вражеские часовые, плечи которых, натруженные тяжелой экипировкой и винтовочными ремнями, залиты солнцем, стреляют в эти маленькие белые тела со следами ногтей и зубов, примостив ствол на камень или дерево; пули, дымясь, ricochetт от блестящей на солнце воды, прошивают тела, брызжет кровь, волосы погружаются, раскручиваясь под водой, обвиваясь вокруг ног, шей и рук, смешиваются с кудрями на лобках, кровь наплывает, скрывает лица умирающих, сжатые кулаками члены; часовые смеются, бьют прикладами по камню или дереву.

Женщины, вцепившись в волосы, бегут вдоль лимана, кричат, натыкаются на пни, падают в ил, поднимаются, входят по пояс в воду, задыхаются, у одной из них в руке черпак, вымазанный овсянкой. Они погружаются с головой, вытаскивают тела детей на сушу и взваливают их на плечи. На берегу они укладывают их на сухую холмистую землю, покрытую опавшими листьями. Часовые стреляют снова, пули взбивают пыль под листвой, разрывают колени мертвых детей и ладони, глядящие их.

От звука выстрелов рука принцессы вздрогнула на царапине, которую Мантинея сделала своей на щеке, поднимаясь с постели. Принцесса прижимается ртом, лижет ранку кончиком языка, Мантинея, положив ладони на грудь, слегка склонила голову на плечо, кровь с губ принцессы, кровь, смешанная со слюной, течет по ее щеке, и принцесса сама слизывает ее вниз до шеи.

Молодой офицер дрожит, прижав Аиссу к животу, мальчик обмяк в солдатском поту, рука офицера, просунутая в шорты, играет с членом Аиссы. Грудь Мантинеи напряглись на безжалостном солнце, кровь горит во рту принцессы, по ноздрям Мантинеи катятся слезы, принцесса собирает их и пьет. За стеклами веранды толпа дрожащих рабов, глаза в коросте, пляшут на принцессу в кровавой тени. Их дети спят у их ног, от их дыхания появляется мутная влага, их губы прилипли к стеклу.

Мантинея с двумя здоровенными рабам ищет принцессу; на берегу лимана, охраняемого отделением, молодой офицер, сидя на подножке бронетранспортера, слушает игру Аиссы; мальчик стоит, прислонившись к крылу; мелкие крысы снуют по гусеницам, волооча хвосты по грязи.

Солдаты видят рабов и за ними Мантинею. Бросаются, хватают их за запястья, подводят к офицеру:

– Кого вы ищете?

– Принцессу.

Рассвет холодит кровь в жилах и края шрамов.

– Подойди, ты.

Он проводит рукой по бедрам Мантинеи, солдаты ставят рабов к бронетранспортеру, руки на капот. Мантинея сидит на коленях у офицера, Аисса положил скрипку на крыло.

– Играй.

Офицер смотрит в белки глаз Мантиinei, его щеки отливают серебром:

– Согрей меня. Вас, женщин, ненавижу. Я промерз. Кровь в моих венах черна, люби меня, пронзи меня, открой меня, пусть кровь моя исходит вместе с семенем. И ночью я плачу, и днем, но слезы мои не мешаются с кровью.

Положив голову на грудь Мантиinei, он кусает верх ее платья, ветер взмывает пыль и песок под днищем бронетранспортера и швыряет их на голые ноги Аиссы. Офицер поднял голову:

– Отнесите ее в кабину.

Солдаты берут Мантинею за голову и ноги, поднимают, бросают ее на сиденье, голова упирается в руль; офицер поднимается на подножку, один из солдат опустил свою холодную руку на открытый живот Мантиinei – задравшееся платье зацепилось о рукоятку переключения передач; офицер бьет солдата по лицу, ложится на Мантинею, разводит ее бедра, сведенные холодом, ловит губами рот Мантиinei, его слюна блестит на ее ушах, на волосах, прилипших к вискам. Когда он поднимается, блестящая на солнце сперма стекает на живот Мантиinei, черная пыль присыпает ее глаза и лоб. Сжав кулаки, он запрокидывает голову, слезы вновь наполняют его глаза, стекая по лицу к волосам; солдаты, вынув ножи, вонзают их в ноги рабов, кровь брызжет, струится по росе; с перерезанными сухожилиями рабы падают на песок.

Аисса играет на скрипке, смычок дрожит на струнах, колени его подгибаются; рабы стонут, их лица бледны, черепа под волосами раскрашивает кровь. Офицер, достав пистолет, бьет их рукояткой в висок. Мантиinea в кабине встает, одергивает платье. Выстрелы в Экбатане: сто пленных, челюсти и колени раздроблены, сердца в огне, падают в грязь центральной тюрьмы.

– Убейте, убейте их всех, пусть кровь их смоев прилив.

Он еще не застегнулся, член свисает из ширинки, крик, сотрясая его, выжимает последние капли спермы, они брызжут на ноги Аиссы. Офицер берет Мантинею за руку, ведет девушку к воде, усаживает ее в пену прибоа, сам садится на корточки, набирает в ладони воду, обмывает лоб и губы Мантиinei, потом показывает на член, девушка соединяет ладони, набирает в них воду, офицер полощет свой липкий член.

Напротив, на берегу Лектра, горит дом, вокруг бегают солдаты, огонь перекидывается на деревья, ползет по траве, полыхает, пожирает снег по бокам лимана; птицы, застигнутые пламенем, вспархивают, и, бездыханные, с одеревеневшими грудками, валяются в снег, лапками вверх; офицер прислонился бедром к щеке Мантиinei; в морозном воздухе поет скрипка; кровь рабов стекает в трещины застывшей земли.

Вечером, по дороге в Уранополис, Иериссос напоролся на отряд вражеского офицера; засада грохочет во тьме, раненные отползают в ельник и прячутся за стволами; Иериссос преследует офицера в высокой заиндевелой траве, тот проваливается в замерзшее болотце, Иериссос вонзает свой кинжал ему в грудь, лезвие пробивает лед, офицер стонет, кровь хлещет из его рта; Иериссос уловил исходящий от раненого тела запах Мантиinei; лед поддается, оплывает под головой

офицера; Иериссос встает, целится в грудь, стреляет, тело на льдине дергается и погружается в черную воду, забрызгав кровью прозрачный лед; на бронетранспортере рабы и солдаты – нож к ножу, тело к телу. Конский волос из подушек обвивается вокруг их ног, раненные грызут окровавленную еловую кору; солдат и раб, по пояс в башне, вцепились друг другу в горло, раб бьет солдата коленом в живот, солдат плюет ему в лицо, слюна течет по кольцу, раб ее пьет; солдат освобождается, воткнув кинжал рабу в живот, потом оглушает раба прикладом винтовки, проводит рукой по его застывшему горлу, проворачивает кинжал в животе раба, вынимает его, вытирает лезвие о волосы поверженного врага; он спрыгивает с брони, Иериссос его видит, стреляет в него, но его ступня скользит по снегу, Иериссос падает навзничь; выскакивают два вражеских солдата, прятавшиеся за бронетранспортером; Иериссос встает, опершись на руку, выпускает очередь в солдат, те падают головами в следы гусениц, их предсмертные вздохи плавят снег под их ртами.

Аисса бежит к болоту, его скрипка падает на лед, скользит в лунном луче; вокруг смычка трепещут стрекозы, вспорхнувшие из тени тростника; Аисса бредет по болоту, его ноздри раздуты от запаха крови и льда, он подбирает скрипку, которую ветер бережно катит по льду; сквозь хрусткий панцирь он видит труп офицера, затаенный под лед, губы прилипли к льдине, блески вместо глаз.

Пленные, взятые Иериссосом, сбежали перед рассветом, уведа с собой Аиссу; поскольку сражение наполнило их желанием, они направились в бордель, толкая Аиссу перед собой; не имея денег, они продали мальчика в обмен на проститутку каждому на все ночи, оставшиеся им до отправки на септентрионский фронт.

Служитель борделя втолкнул Аиссу в каморку, отделенную завесой из волнистого железа:

– Ты будешь любить мужчин и женщин, которые поднимут завесу и сядут к тебе на кровать; ты будешь играть им на скрипке, пока они будут тебя раздевать.

На септентрионском фронте враг втиснут в сукно и железо, вены и губы трещат от мороза, моча и сперма застывают, едва излившись, рваная жесть ранит руки и спины, холодная сталь стволов липнет и сдирает кожу, ноги повешенных стучат по лицам солдат, население гниет на соломе, вгрызаясь в сталь и дерево рам, забрызганных экскрементами. Поверженный, помороженный враг околева-ет в теплых утробах своих жертв; холод и провода ломают ветки, рука полководца дрожит, дрожат и его губы; весной у разрушенной стены осажденного города он гладит щеки и глаза усталых детей, призванных им на фронт, он гладит волосы, выходящие из-под касок или фуражек с синим слюдяным козырьком.

В освобожденном Экбатане капитан, примчавшийся с Букстехуде, установил республику, но за морем народы, подчиненные Экбатану, освободив его, возмнили, что обретут независимость; Иериссос в столице вырывал рабов его былой армии из рук новых владельцев; он тайно встретился с вождем, преданным суду, приговоренным к смерти, после помилованным, на острове, где тот был заточен; Экбатан смеялся, совокуплялся с варварами; в кабаках танцевали

голые парни, мокрые от пота и вина, намотав на живот вражеские знамена, политые кровью патриотов, девки шастали между столами, груди и лобки покрыты свастиками – символом разбитого полководца – и фотографиями истощенных голодных детей; на сцене мальчик из Септентриона, спасенный от голодной смерти, сквозь дым и пар изображал пантомиму бомбардировки его квартала; офицер, которому он принадлежал, продавал его за плоску икры.

Капитан и Иериссос построили укрепленные поселения для разоруженных рабов, отпущенных на волю Экбатаном; у ворот поставлены вооруженные часовые; подростки, дети прежних хозяев этих рабов, приходили кричать у ворот, вызываясь бросать камни в каски часовых; капитан выкупил более двух сотен рабов и поселил их в этих деревнях.

Экбатан, оскверненный, раздираемый чистками, ослабленный, низведенный в ранг подчиненных народов, смотрел на своих патриотов, возвращающихся из септентрионских лагерей с печатью смерти на челе, с бесценным революционным инвентарем; родилось искусство, исключившее, для пущей безопасности, присутствие человека. Мыло, которым в ванной, заполненной вломившимся сквозь стекла солнечным светом, терли себя девушки, воняло и было дряблым, как мертвечина.

Бог, после трехвековой агонии, умер. Тщетно его жрецы, опрощая ритуал поклонения, забеливали стены его храмов. Бог скрывал глубины человеческого сердца, человек познал в сердце своем зверя, с глаз его спала печать, звериный дух теснит его дыхание, Бог умер теперь, когда человек более всего одинок.

Ночью Иериссос с капитаном идут под дождем по спящему Экбатану; песчаная пена лимана бьет в борта сверкающих огнями кораблей; там расстегнутые матросы играют в карты, смеются и ласкают груди девок с губами, лоснящимися от спермы и вина.

Вдоль причала освещенные магазины ломятся от фруктов, металла, зерна; Иериссос с капитаном поднимаются по лесенке, обжитой крысами, в магазинчик на задворках; за запотевшими стеклами, покрытыми плевками и эксcrementами – узкий коридор, разделенный пополам откидной стойкой и заставленный ящиками на салазках; в ящиках и на полу, покрытом опилками и обрывками упаковки -маленькие девочки в лохмотьях, по три в ящике, сидя на корточках ищут вшей, облизывают губы и ладони, растрепанные волосы в резком неоновом свете; на решетках – таблички: стоимость, страна происхождения. Иериссос слышит сквозь стекло, как они шевелят губами, сглатывают слюну, сжимают и разжимают мышцы.

Экбатан правит, подавив восстания колоний. Капитан отстранен от управления государством. Боевая армия становится полицейской. Государство – в руках участников сопротивления, видевших в освобождении Экбатана лишь изгнание и уничтожение внешнего врага; те, кто рассчитывал на освобождение от врага внутреннего, разочарованные, разоруженные, подозрительные даже для близких, нашли прибежище на ниве спорта и образования. Понемногу наименее правоверные из них согласились вернуться в государственные структуры; вскоре им пришлось принять и колониальные репрессии и новых союзников.

Но их пребывание в государстве вызывает чрезмерный рост общественного сознания; рабы освобождены или предназначены только для войны и развлечений. Новые законы защищают их право на труд, на отдых, на обучение их детей; для них одних строятся города; им незачем больше бунтовать; многие бывшие хозяева, разоренные падением патриархального режима, сотрудничавшего с оккупантами и появлением в Экбатане слишком дорогого промышленного оборудования и слишком смелых методов инвестирования, завидуют им.

Иериссос идет по разоренному Лектру, Мантинея сидит на деревянной скамье, он касается ладонью разрушенных палисадов и хижин; внутри разбитых лачуг он пинает, давит ногами сломанные целлулоидные игрушки; на штукатурке надпись: «Равви есть любовь»; горло Иериссоса сжимается: Мантинея в развевающемся на плечах шарфике, смотрит на море и на отраженную в нем пастушью звезду. Иериссос подходит, он гладит ее волосы, под его ногтями – засохшая кровь засады под Уранополисом:

– С радостной дрожью вступаю я в безверие. Пусть сдавит мой лоб перекрестье носилок, пусть плечи мои покроет блевотина. О сомнение, единое вечное.

Потом, проспав до зари меж рук и влажных грудей Мантинеи, он встает, спускается в кузницу, садится, подставив огню обнаженные плечи и ноги и велит вставить кольцо себе в нижнюю губу; после операции кузнец выталкивает его во дворик над лиманом:

– Постой на ветру, пусть серебро остынет.

Его губы распухли; кузнец ставит на кроличью клетку ящик для инструментов, наполненный потемневшими кольцами:

– Эти я вынул из губ освобожденных рабов, мужчин, женщин, детей; после на их грудь стекала кровь, их руки дрожали. Посмотри на это колечко, я вынул его у мальчика, он укусил меня в руку, он потерял сознание, я дал ему стакан вина, я утешал его, я водил его за руку по дворику, кровь забрызгала его рубаху и шорты до бедер; один из моих кроликов, весь белый, выскочил из клетки и извалялся в крови. Иногда я вынимаю за день до двадцати колец; моя ладонь, грудь, когда я ложусь спать, покрыты пеной, кровью и слезами.

Вечером в Экбатане газеты вырывают друг у друга из рук: Энаменас ночью восстал в десяти стратегических пунктах: колонисты вырезаны, их дети забиты ударами топоров или сброшены в колодцы. Правительство издало указ об отсылке войск на остров.

Пароход отходит из Экбатана, солдаты на причале кричат, блют на каналы. Вечером, в открытом море, Иериссос и Мантинея, снова взятые на службу принцессой, разносят солдатам чаны с супом; пьяные солдаты, грудь и воротник пропитаны блевотиной, сбивают Иериссоса с ног и окунают его голову в чан с горячим супом, пока он не умирает¹.

1 Русский перевод романа выйдет в 2005 году в издательстве «Колонна».

архив

ДЖИН ОВЕРТОН ФУЛЛЕР

МАГИЧЕСКАЯ ДИЛЕММА ВИКТОРА НОЙБУРГА¹

(главы из книги)

ПОСВЯЩЕНИЕ ВИКТОРА НОЙБУРГА

Генерал Дж.Ф.С. Фуллер ответил на мое письмо так:

Впервые я встретил Виктора Нойбурга в 1906 году в доме мистера Уильяма Стюарта Росса в Брикстоне... В то время Нойбург учился в Кембридже, и Кроули, тоже закончивший Кембридж, время от времени навещал университет, поскольку знал некоторых студентов; я упомянул об этом в разговоре с Нойбургом... Хотя не я лично представил его, именно через меня он познакомился с Кроули.

Генерал Фуллер ошибся только в одной детали: знакомством своим с Кроули Виктор не был обязан ему. Как не раз рассказывал Виктор, Кроули просто вошел однажды в его комнату в колледже и представился сам. Так как Кроули был в прошлом студентом Тринити, для него было совершенно естественно навещать родной колледж и заходить куда угодно. Он объяснил свой визит к Виктору тем, что читал его стихотворения в «Агностик Джорнел» и они его заинтересовали, так как в них чувствовался опыт астральных путешествий.

Некоторые из друзей-атеистов Виктора говорили, что в их представлении принятие Виктором магической доктрины Кроули с трудом сочеталось с его скептицизмом атеиста. Однако я не вижу никакой непоследовательности в его взглядах. Попробуем избавиться от этого ощущения. Большинство людей полагают, что концепция бессмертия подразумевает веру в Бога, и что эти два положения неотделимы друг от друга. В действительности, их вполне можно различать. Еще в детстве у Виктора возникло ощущение, что он существовал до рождения и что его новое тело и окружение чужды ему. У него не было чувства, что он пришел в один момент, и все закончится в другой. Он родился с идеей перевоплощения. Мистик с детства, он всегда чувствовал, что его мир – всего лишь оболочка реальности; однако та религия, которую старалась привить ему семья, представлялась ему подделкой, как, впрочем, и все прочие традиционные религии. Они казались ему всего-навсего чередой запретов, наделяющих суеверной властью обитающего на небесах тирана, которого – в этом он не сомневался – не существовало.

Эти убеждения привели его к атеизму. Однако «Агностик Джорнел» был чрезвычайно открытым по своей направленности. Листая страницы его выпусков с 1900 по 1907 годы в поисках публикаций Виктора, я обратила внимание

¹ См также главу, опубликованную в МЖ-60. Книга готовится к печати в издательстве Kolonna Publications.

на характер журнала. Меня поразил стремление к тому, что должно было стать новым и более честным миром, вообще характерное для прогрессивной мысли в первом десятилетии века. Новый век должен был возвестить начало мира, свободного от лицемерия. Не должно было больше быть несправедливости, никаких классовых различий, женщины должны восстать и скинуть свои путы. Равенство половой морали отстаивалось с той же уверенностью, что и равенство в общественном положении. Женщины обязательно должны получить право голоса. Выдающиеся женщины в любой сфере почитались чрезвычайно. Упоминания о мадам Блаватской на страницах «Агностик Джорнел» всегда были уважительными; журнал настолько благоволил Анни Безант, к тому времени уже ставшей Президентом Теософского Общества, что уделял немало страниц ее пространной переписке с редактором.

Стюарт Росс не был противником мистицизма, поскольку мистицизм не был догматичен. Единственное, что удручало Росса, это новое желание примириться с христианством, проявлявшееся в высказываниях Безант; возможно, под ребяческими суевериями скрывалась мистическая реальность, которую она не хотела осмеивать. Росс возражал, что ни в одной из известных ему форм христианской религии ничего подобного не заметил. Они продолжали полемику из номера в номер, каждый, в свою очередь, объяснял, что он имел в виду, говоря то-то и то-то. Они так и не пришли к согласию, и все же это был диалог друзей, искателей истины.

Виктор, редактируя номера, изучал дискуссии, так что еще до встречи с Кроули был в определенной мере знаком со взглядами эзотериков. Он и сам уже переживал мистический экстаз. По сути, он уже был готов принять мистическую доктрину, поскольку она не была ни иудейской, ни христианской, еще до того, как Кроули вошел в его комнату. Он читал о Мастерах. И тут явился некто, заявивший, что он один из них. Он поймал этого человека на слове и с радостью ухватился за предложение стать его учеником.

Этот шаг не только не изменил его взгляды, но и был совершенно естественным. Виктор не принимал только создателя, существовавшего до Вселенной, созданной им же; идея была чужда ему не только в силу философских, но и эмоциональных причин, поскольку предполагала присутствие верховного тирана; однако он не возражал против существования иерархий Мастеров и Богов, появившихся внутри Вселенной. Это подразумевает не отношения родителя и ребенка, но братские отношения, в которых разница зависела от возраста. Он не считал зазорным подчиниться руководству более опытных. Его ошибкой была готовность поверить Кроули на слово, что тот был Мастером. Его ввели в заблуждение.

Следует помнить, что за Кроули стоял не только таинственный Орден, в который, согласно его обещаниям, Виктор, в конце концов, будет принят. Кроули был человеком хорошо и глубоко начитанным, в этом он намного превосходил Виктора, такого, каким он был в то время, и, вероятно, представлялся ему неиссякаемым источником информации по любому неясному вопросу. У Виктора не появилось ощущения, что его просят отказаться от свободы мышления, ибо Кроули тоже исповедовал атеизм. «Агностик Джорнел» свел их вместе. Список литературы, составленный Кроули для его учеников, включал «Эссе» Давида Юма,

«Первые принципы» Герберта Спенсера, «Эпоху разума» Томаса Пейна, «Эссе» Томаса Генри Хаксли, рационалистические произведения, по важности уравненные и с более умозрительными «Тремя диалогами» епископа Беркли и «Пролого-менами» Канта, а также решительно эзотерическими работами.

Книги из списка Кроули не были подобраны случайным образом. Пять из них, упомянутые выше, могли бы войти в список для чтения по курсу философии в Кембридже или любом другом университете (хотя и не для студента, изучающего современные языки, французский и немецкий). Список Кроули включал несколько книг по магии, а также произведения замечательных литературных классиков, такие как «Золотой осел» Апулея, «Сон Сципиона» Цицерона, «Сатирикон» Петрония Арбитра, «Похищение локона» Поупа, «Арабские ночи» Бертона, полное собрание сочинений Рабле, «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Алиса в зазеркалье» и «Охота на снарка» Кэрролла, «Смерть Артура» Мэлори, «Свет Азии» и «Небесная песнь» Эдвина Арнольда, «Красная перчатка» Вальтера Скотта, «Там, внизу» и «В пути» Гоисманса, «Ундины» де ля Мотт Фуке, «Шагреновая кожа» Бальзака, «Мудрость Персефоны» Хьюлетта, «Макбет», «Сон в летнюю ночь» и «Буря» Шекспира. Также в списке была представлена и суфийская поэзия.

Что касается собственно эзотерических и мистических работ, я не буду приводить список Кроули полностью, поскольку он включает пару вещей (такие как «И-Цзин» и «Scrutinium Chymicum»), которых я сама не читала и, следовательно, не могу судить об их достоинствах; с другой стороны, я перечислила несколько произведений, не представленных в списке, но которые Кроули и Виктор несомненно изучали. Я поместила в список только те из прочтенных ими сочинений, которые сама прочла целиком:

Элифас Леви (магический псевдоним французского розенкрейцера, кабалиста, и, несмотря на это, приверженца римско-католической церкви Альфонса Луи Константа, любимого писателя Кроули): «Трансцендентальная магия» (*Dogme de la Haute Magie* «Учение высшей магии», 1855, и *Rituel de la Haute Magie* «Ритуал высшей магии», 1856) изданные одним томом в 438 страницы; «История магии» (*Histoire de la Magie*, 1860), 384 страницы; Ключ к тайнам (*Clef des Grands Mystires*, 215 страниц); все книги были изданы на английском Райдером; первые два произведения переведены и снабжены примечаниями Уэйтом, последняя – Кроули.

Е.П. Блаватская: «Разоблаченная Исида», 1877, 2 тома, в целом насчитывающие 1321 страницу; «Тайная доктрина», 1888, 6 томов, в целом – 2653 страницы, «Голос безмолвия», 1889, 289 страниц, «Ключ к теософии», 1890, 370 страниц; первая книга издана в издательстве Теософского Университета, все остальные – в издательстве «Теософискл Пабблишинг Хаус».

Мейбел Коллинз: «Цветок и плод» (Кроули поступил проницательно, внеся в список ее малоизвестный роман, но почему он не обратился к ее более известным классическим работам малой формы: «Свет на тропинке», «Крик издалека» и «Идиллия белого лотоса»?)¹

¹ Кроули заносит в список только короткий «Голос безмолвия» мадам Блаватской, но их с обственные работы доказывают, что и он, и Виктор были знакомы со всеми основными ее работами.

С.Л. Мазерс: «Каббала разоблаченная», 360 страниц.

Гермес Трисмегист: «Божественный Поймандр». Не знаю, в каком издании они его изучали; у меня есть одно, изданное Уоткинсом под названием «Трижды Великий Гермес», переведенное и аннотированное Г. Р. Мидом, в трех томах, насчитывающее 1295 страниц.

«Пистис София», переведенная и снабженная примечаниями Г.Р. Мидом; 1896, 325 страниц.

«Книга Мертвых» – мне снова неизвестно, каким изданием они пользовались. У меня есть издание «Медици Сосайети» 1913 года в переводе и с примечаниями Баджа, 704 страницы, плюс факсимильные репродукции папируса «Ани» на складывающихся листах.

Полное собрание сочинений Платона, за исключением, пожалуй, «Законов», которые так не похожи на все остальные работы, более всего тем, что так скучны!¹

И-Цзин.

Шива Самхита.

Бхагавадгита.

Этот список, возможно, удивит тех, кто считает Кроули всего лишь шутком; но если не признать его способности управлять интеллектуальным развитием тех, кого он приблизил, картина остается неполной. Если он и был сумасшедшим, то только в той степени, какая свойственна людям широко образованным. Если его рекомендации и были в некоторой степени идиосинкразическими, список этот, по крайней мере, содержал либеральный курс гуманитарных наук, противореча основам многих университетских курсов и ни одному из них не следуя. Ни один человек не может прочесть все книги из списка, не расширив чрезвычайно при этом своего сознания. Возможно, Кроули и совращал своих учеников, но, по крайней мере, развивал их. Неудачным для Виктора было то обстоятельство, что этот обширный мир чтения открылся ему как раз тогда, когда ему нужно было читать литературу по гораздо более узкой теме для получения степени.

Кроули, хотя и сентиментально относился к родному университету и имел привычку подыскивать в его рядах новых членов своего Ордена (Мадд, Пинсент, Мертон и Джеральд Йорк – все были студентами Кембриджа) – не признавал ученых степеней и нисколько не интересовался тем, получит ли Виктор свою. Виктор, старавшийся следовать спискам и Кроули, и своего университетского преподавателя, не мог поднять головы от книг.

Мне не удалось отыскать ни одного из Кембриджских преподавателей Виктора; вероятно, они уже умерли. Однако мне на помощь пришел Карлтон Смит-младший, Освальд, который учился в колледже Святого Иоанна. Когда я приехала к нему домой, в Богнор Реджис, он показал мне свои записи в дневнике 1907-08 годов. Согласно записям, они с Виктором встречались, иногда в Тринити, иногда в колледже Св. Иоанна, пять раз, иногда при этом присутствовали и

¹ Кроули не включил Платона в список, как мне кажется, просто по недосмотру, поскольку он требовал ознакомления с гораздо менее оккультным Аристотелем; как бы то ни было, Виктор увлекался Платоном.

другие, включая Пинсента и Мадда. Он не мог припомнить ничего, что бы бросалось в глаза в поведении Виктора. Однажды он упомянул, что Кроули был с ним, и что они курили траву и ушли в астрал, к чему Карлтон Смит не отнесся серьезно.

В 1908 вышла первая книга Виктора, «Зеленая Гирлянда» (ныне раритет). Освальд Карлтон Смит связался от моего имени с другим студентом Св. Иоанна, С.Н. Раадом, написавшим, что богатый студент по имени Шмихен, тоже из Тринити, помог Виктору с деньгами, чтобы опубликовать книгу в издательстве «Пробстейн». В сборник вошло большинство стихотворений, опубликованных в «Агностик Джорнел»; она получила блестящие отзывы в «Морнинг Пост» и «Таймс».

Норман Мадд, изучавший математику в Тринити, стал, как и Виктор, учеником Кроули, а также секретарем Ассоциации Атеистов Кембриджского Университета (CUFA). В этом качестве он был вызван деканом, показавшим ему письмо, полученное руководством колледжа, в котором Кроули обвинялся в гомосексуализме.

Декан попросил Мадда воздержаться от распространения книг Кроули и отменить приглашение прочитать доклад для Ассоциации, посланное ему. Поскольку Кроули был когда-то студентом Тринити, я не могу избавиться от мысли, что декан мог вести себя в этой ситуации несколько смелее и пойти дальше, а не просто показывать письмо Мадду, самому слабому человеку из всех, причастных к этой ситуации. С поразительной твердостью Ассоциация, президентом которой, как я полагаю, был Виктор (ее уже не существует, и мне так и не удалось заполучить список членов ее правления) направила письменный ответ декану, сообщая, что отказывается выполнить его просьбу.

Что Виктор знал о Кроули на тот момент? Летом 1908 года они вместе совершили пеший поход по Испании. В «Триумфе Пана» Виктора (опубликованном некоторое время спустя) имеется раздел, датированный этим периодом и носящий сбивающее с толку название: «Роман Оливии Вейн».

Оливии Вейн

и ее другому любовнику

Париж, март 1909.

Долгое время я искала двух персонажей в этом цикле стихотворений; теперь же я уверена, персонаж там всего один. Второе начинается так:

*Очаровательный колдун, по чьим стопам вошел я
В храм пренепристойнейшего бога...*

«Очаровательный колдун», определение мужского рода, хотя и в сочетании с прилагательным, характерным для описания возлюбленной, – это, очевидно, Кроули. Богом, скорее всего, является Пан, или Приап, но сначала я была смущена тем, что Вики говорит об отношениях, которые он должен был бы почтить священными, как о непристойных. Позднее я поняла: это отражение идеи Кроули о сочетании высокого и низкого, как будто уравнивающих друг друга. Она рождала упоение непристойностью, как если бы была в каком-то отношении здоровой. Для стиля Виктора это было временной прививкой.

Третье стихотворение чередует «мужские» и «женские» категории, которые дополняют, но не противоречат друг другу:

*О, ты, кто выпил мою душу, о, властелин ночей моих и дней,
Мое тело, непорочное и цельное, поглощено путями,
Ведущими к тебе, о королева,*

Восьмым идет сильное стихотворение, описывающее эмоциональную новизну, гордость, те чувства, с которыми он оглядывался на то, что, возможно, сперва было простой случайностью:

*Думаю, что никогда, одинокий,
Не позабуду я моего торжества и позора,
Не позабуду и вспышки молнии, проскочившей между нами*

После нескольких витиеватых штрихов стихотворение заканчивается так:
Дай мне еще раз почувствовать, как твоя сильная рука

*Рисует на мне магические знаки! Подойди
К свету, чтобы мои глаза могли напиться
Великим зрелищем смерти греха!*

Как бы мы ни сожалели, что стихи посвящены Кроули, мне кажется нельзя не почувствовать, как высока любовь, звучащая в этой строфе. Десятым идет еще одно гордое и сильное стихотворение, где строго соблюдена композиция. Он представляет себе, что когда он состарится, молодые люди будут спрашивать его, каким был его возлюбленный, его чудеса, его одежда, его манера. Тогда он улыбнется и воскресит внешность этого великого человека:

*И они узнают, как однажды я отдал,
Жизнь, руку и лиру тебе, сказав
«До смерти не покинет
Образ этого человека
Сокровенных тайников моего сердца»*

Читая эти строки, написанные с таким убежденным благородством, я вспомнила, как позднее Вики отзывался о Кроули; этот ужасный разговор с Кремерс, когда он согласился со всеми ее обвинениями и не нашел ни слова в оправдание преступления своего друга, кроме как «разум покинул его». С другой стороны, правда и то, что этот образ не покинул тайников его сердца; я также вспоминаю слова, которые он произнес на железной лестнице, пытаясь объяснить, что его бывший возлюбленный был именно тем благородным человеком, которого он видел в нем вначале и каким он «предпочитал его помнить».

В тексте есть совершенно случайная, не тягущая ничего строка:

Возьми мое тело, ныне тело гермафродита.

Он верит в то, что Гор воистину возродился, как утверждал его возлюбленный. Приехав раньше его во Францию, он праздно бродит по Люксембургскому

саду и улицам Парижа и ждет, что его возлюбленный придет из Англии через несколько дней, чтобы присоединиться к нему.

Как долго сам Кроули продолжал отношения с Виктором? Я склоняюсь к мысли, что Виктор был гомосексуален, – по крайней мере, в латентной форме, иначе в нем не пробудилась бы такая страстность. С другой стороны, как следует из эмоциональности стихотворений, то, что произошло между ними, случилось с ним впервые и представляло собой совершенное откровение и экстаз. Как девушка, впервые познавшая любовные наслаждения, он одновременно и был застенчив, и чувствовал себя на вершине блаженства.

Несмотря на мою уверенность, что именно Кроули направлял его в том, что касается физических отношений (он был восемью годами старше, и у него уже был подобный опыт), я не сомневаюсь, что Виктор, отрешившись от иудейского закона, уже развернулся к греческому, благодаря Суинберну, Уитману и Эдварду Карпентеру. Не стоит забывать, что классическое произведение последнего «Средний пол», которое оказало на Виктора огромное влияние, вышло в свет годом ранее, в 1908, как раз тогда, когда отношения с Кроули только зарождались.

Карпентер, испытывавший влияние платонизма и восточных учений, призывает признать гомосексуализм естественным и, более того, достойным явлением; он предполагает, что, в то время как плодом нормального союза являются дети, гомосексуальный союз (или, как он его называет – гомогенный или уранический)¹ может быть полезным для общества, поскольку посвящен занятиям, неподходящим для человека семейного из-за невысокого, нерегулярного вознаграждения или из-за опасности, с которыми они связаны, – это поэзия и искусство, крестовые походы, требующие героического характера.

Карпентер говорит, что мы не знаем, чего хочет природа, производя таких людей, и предполагает, что, возможно, грядет новый этап эволюции. Более всего вероятным мне кажется, что Виктор сопоставил эти идеи с намеками из Каббалы, «Тайной доктрины» и других произведений на то, что до грехопадения человек был гермафродитом, и что гермафродитизму суждено вернуться в отдаленном будущем, когда физические метаморфозы откроют путь к способу размножения, отличному от известного нам.

Хотя трудно понять, каким образом гомосексуальные физические отношения могли бы помочь эволюции в буквальном смысле, мне кажется, Виктор думал, что все, что так или иначе способствует возникновению самосознания гермафродита, соответствует конечной цели. Таково было мое первое впечатление о его образе мыслей; позднее я докажу, что на самом деле думал именно так.

Кроме того, существует еще и эзотерическая доктрина, посвященная смене Равноденствий и предполагающая распространение учений каждые две тысячи лет. Согласно этому учению, Иисус был Учителем зры Рыб, а в начале века

¹ Термин, конечно же, взят из «Пира» Платона. Несколько неверно было бы полагать, что он означает «гомосексуальный». Он означает «небесный», обозначает любовь, которая затрагивает интеллектуальные и более возвышенные способности. Верно и то, что участники диалога считают доказанной невозможность разделять такую любовь со своими женами, поскольку такие отношения не имеют интеллектуального продолжения. Жены не получили образования. В современный оборот термин «уранический» ввел Карл-Генрих Ульрихс.

обществом овладело ощущение, что уже должен объявиться Учитель эры Водолея. Водолей – знак, который большинство астрологов связывают с Ураном; однако нет доказательств того, что Кроули или Виктор исходили в своих рассуждениях из ассоциирования Урана с Уранией. Для теософов посредником, которого вдохновил мировой Учитель был Кришнамурти.¹

В этой связи можно отметить, что первые шаги Кришнамурти были омрачены скандалами, связанными с Ледбитером.

Был еще и Инаят Хан; когда он приехал из Индии в 1910 году, проповедуя свободную разновидность суфизма, некоторые из его окружения, думали, что он и есть Предтеча; но тепличное поклонение, возникшее вокруг него, стало причиной изрядного смущения его паствы.

Конечно же, Кроули полагал, что этим божественным орудием был он сам. Развивая первоначальную мысль Liber Legis (Книги Закона), он объяснял, что матриархат был Эоном Исиды; Эон Осириса – Патриархатом, Эон Гора, который собственно начался с его пришествия, подразумевал, что в едином существе должны сочетаться два пола. Он говорил, что маг-мужчина должен, не теряя мужественности, развивать свою женственную сторону.

Я вдаюсь в такие подробности потому, что если этого не понять, флирт Виктора с человеком, которого он почитал своим духовным наставником, может показаться неискренним. Это было не так; даже наоборот. Он действительно верил в то, что Кроули – Мессия новой эры, и полагал, что быть допущенным так близко – исключительная честь.

Повседневная жизнь с подобным человеком, скорее всего, была нелегка; однако поддразнивания Кроули вносили некоторую легкомысленную нотку. Когда они вместе пошли в ресторан в Париже, Кроули стал смеяться над Виктором, оттого, что тот, хоть и изучал современные языки в Кембридже, не смог правильно сделать заказ. Когда еду принесли, Кроули сказал: «До чего ж ты непоследователен! Ты не ешь мяса из соображений гуманности и, тем не менее, ешь *rommes soufflées*». Поскольку Виктор выглядел растерянно, Кроули продолжал: «Разве ты не знаешь, что картофель должен готовиться на горячих древесных углях, которые постоянно раздувают, и что люди, которых для этого нанимают – их называют суфлерами – редко проживают более трех лет с тех пор, как поступили на работу».

Бедный Виктор со стуком выронил вилку и смертельно побледнел. Когда он обрел дар речи, он был уже готов посвятить жизнь проведению закона о зап-

¹ Полагать, что Кришнамурти когда-либо отрицал реальность своих Наставников или собственное предназначение как будущего учителя, – распространенное заблуждение. Наоборот, в критический момент он сказал, что теперь уверен, ему есть чему учить. Но его учение было против опоры на внешнюю власть, поэтому он обходил любой вопрос, касающийся его власти, указывая, что вещь не может быть более или менее верной, согласно тому авторитету, на котором она обоснована. Вся его карьера была крестовым походом против логического противоречия, известного как *Argumentum ad hominem*: настойчивое требование того, чтобы спрашивающий заглянул вглубь себя и попытался ответить на собственный вопрос. Эту технику великолепно демонстрирует Сократ в «Меноне», когда, действуя точно повитуха, он заставляет мальчика-раба открыть для него ответ на волновавшую его математическую проблему.

решении rommes soufflées. Тогда Кроули признался Виктору, что просто дразнил его, чтобы показать, что тому не хватает рассудительности, когда затронуты его чувства.¹

Виктор вернулся в Кембридж заканчивать последний семестр в радостном возбуждении, которое, впрочем, поубавили финансовые и семейные трудностей и необходимость наверстывать упущенное в учебе. За три недели до выпускных экзаменов Виктор на день приехал в Лондон, чтобы пройти посвящение в Argentinum Astrum, открытая часть которого называлась Орденом «Золотой Зари».

По всей видимости, в комнате, предшествующей той, где должна была состояться инициация, его облачили в черную мантию. Почти наверняка в том же самом одеянии был Кроули во время своего посвящения в Послушники, и Виктору сказали об этом, чтобы укрепить его дух. Не считая широких рукавов, расшитых золотом, одеяние было очень похоже на плащ; у него был капюшон с прорезями для глаз, который можно было накинуть на голову. Одетого, его, вероятно, провел Брат, ответственный за посвящение Виктора в Орден, тоже в мантии, в залу, где, расположившись среди странных символов, его ожидали собравшиеся. В центре был Кроули, облаченный в одежды Осириса. Ритуал был чрезвычайно долгим и занял, во всей вероятности, не меньше часа. Приближаясь к кульминационному моменту, Кроули, в качестве Осириса и Верховного жреца, обратился к Виктору:

– Дитя земли! Что привело тебя сюда просить принятия в этот Орден?

Виктор дал ответ, предписываемый ритуалом:

– Моя душа блуждает во тьме в поисках света знания о самом таинственном, и я верю, что в этом Ордене можно познать свет.

Привычный голос друга, ныне искаженный официальной интонацией, спросил, готов ли он «В присутствии этого собрания принять великое и торжественное обязательство не разглашать секреты и тайны этого Ордена?»

Виктор ответил: «Да».

Ему приказали встать на колени между Тремя Братями, олицетворяющими Аруэриса, Гору и Фемиду, и вложить левую руку в руку инициатора, приведшего его, а правую положить на «правый треугольник», символизирующий решительное стремление к его Высшей Сущности. Кроули коснулся его скипетром.

Потом Виктор дал обет «хранить теплые и доброжелательные отношения с Братями и Сестрами Ордена, заниматься с усердием оккультными науками», обет, который необходимо исполнять «под страхом наказания быть подвергнутым ужасному и воздающему по заслугам карающему потоку, приведенному в движение Старейшинами Ордена, который убьет или парализует меня невидимым оружием, как если бы я был ослеплен вспышкой молнии. Итак, помогите мне, Повелитель Вселенной и моя собственная Высшая Сущность». И Кроули прикоснулся к нему скипетром.

1 В этой истории я опираюсь на отдельный, нумерованный листок, обнаруженный в бумагах Кроули. Очевидно, он планировал вставить отрывок в какое-то литературное произведение.

После дальнейших ритуалов, во время которых его водили по залу на запад и на восток, Кроули и двое других сомкнули два скипетра и меч над его головой, создавая Божественную Троицу, и Кроули сказал: «Брат Omnia Vincam, мы принимаем тебя в Орден Золотой Зари». Еще церемонии, и затем его привели к подножиям Исиды и Нефтис, где на него возложили Белый Треугольник.

Имя Omnia Vincam было, вероятно, выбрано Виктором; при любом дальнейшем повышении была возможность его сменить, хотя он и не обязан был это делать.

Что поражает меня и кажется неправильным и пугающим, это не общая форма ритуала, а упоминание о «воздающем по заслугам карающем потоке, приведенном в движение Старейшинами». Оккультное учение говорит, что ошибка сама наказывает своим воздействием на характер того, кто ее совершает, препятствиями его развитию, которые она создает (особенно если он – Послушник, вставший на Путь) и, возможно, другими нежелательными последствиями. Нравственный характер она приобретает только благодаря действию загадочного закона природы. Если слова, подобные этим, произносятся, они остаются всего лишь констатацией того, что на самом деле происходит, или средством передачи последствий потоков, уже приведенных в движение. Хотя даже такая трактовка небесспорна.

Христианская церковь предавала анафеме или отлучала от церкви; строго говоря, это, по сути, было отсечение от себя самой, но верившие, что спасение зависит от их единения с церковью, чувствовали себя преданными в руки Дьявола. Мадам Блаватская подписывается под буддистской заповедью «никогда не проклинать ни под каким видом, ибо проклятье возвратится на того, кто произнес его», и цитирует Афинскую жрицу, отказавшуюся произнести проклятие Алкивиаду даже за осквернение таинств, поскольку «была жрицей молитв, а не проклятий».¹

Виктору нужно было немедленно возвращаться в Кембридж. С этих пор он должен был вести Магический Дневник, но, поскольку приближались выпускные экзамены, решил не совершать ничего, кроме изгоняющего ритуала для очищения атмосферы. Для этого ему нужно было представить своим внутренним взором круг света вокруг себя, и внутри него горящие пентаграммы по четырем сторонам света.² Вне этой фигуры ему нужно было представить четырех архангелов с распростертыми крыльями, причем концы их соприкасались, образуя квадрат над кругом. Затем, над головой он должен был почувствовать

1 «Разоблаченная Исида» стр. 334 и 608.

2 Пентаграмма, пятиконечная звезда, это символ Человека, рассматриваемого как существо, наделенное разумом и этим отличающееся от животных. Иногда в основе рисунка изображают человека; расставленные ноги, руки, поднятые под прямым углом по отношению к телу, и голова составляют пять лучей звезды. Леонардо да Винчи изобразил человека вписанным в круг, символ эволюции. Но человек должен быть изображен в круге головой вверх, иначе символ будет изображать человека стоящим на голове, т. е. все истинные ценности перевернутыми; тогда это – символ деградации. Пятиконечная звезда, повернутая вершиной вверх, – символ Белой магии, пятиконечная звезда, направленная вершиной вниз, – символ Черной магии.

гексаграмму¹ и столб света, спускающийся сквозь нее на его голову. Он делал так каждую ночь перед сном.

Он полагал, что его сон улучшился; в этом отношении астральное видение, сопутствовавшее ему всю жизнь, изменило ему в последний семестр.

Он сдал выпускные экзамены с отличием третьей степени². Оценка оказалась не самой лучшей, зато у него были необычные увлечения. Не имея 12 гиней на взнос, и не считая, что это необходимо, он не пошел в берете и плаще получать диплом.

МАГИЧЕСКОЕ УЕДИНЕНИЕ OMNIA VINCAM

16 июня 1909 года Виктор покинул Кембридж навсегда. Кроули пригласил его в Болескин, и он отправился в Шотландию ночным поездом в обществе еще одного приглашенного – выпускника Кембриджа, Кеннета Уорда из колледжа Эммануэль. Днем 16-го они вышли на ближайшей станции Фойерс, от которой, видимо, добирались пешком. Болескин оказался одиноко стоящим домом, почти на самом Лох-Нессе, смотревшим на озеро из-за высокого берега, настоящего скалистого вала. Уорд заехал только, чтобы забрать пару лыж, обещанных Кроули. И доставая лыжи с чердака, Кроули наткнулся на давно потерянную рукопись Liber Legis, лежавшую под ними. Переживания Виктора в Болескине разительно отличались от того, что с таким удовольствием вспоминал сэр Джеральд Келли.

В ту ночь Кроули сообщил ему, что он должен посвятить десять дней Магическому Уединению и заниматься в эти дни исключительно медитацией, стараясь пробудить Кундалини³ и достичь своего Святого Ангела-Хранителя или высшего уровня своего существа.

На следующий день Виктор проснулся поздно, поскольку устал с дороги. После завтрака, состоявшего из чая и тостов, он принял горячую ванну, и его

1 Гексаграмма – шестиконечная звезда, состоящая из двух наложенных друг на друга треугольников, означающая дух, отраженный в материи «на земле, как на небесах», или более низкое Я, отражающее Высшее, или Божественное начало. Это символ Белой магии. Отдельно взятый белый треугольник, на который Виктор клал руку во время церемонии посвящения и который затем возложили на него, был символом стремления низшего существа к Высшему. Треугольник углом вниз, довершающий гексаграмму, является ответом, вдохновением или спуском высшего существа с вершины. (Все термины, уже упомянутые или последующие, конечно же, метафоричны и предполагают не движение в пространстве, но явления духовного порядка.)

2 Клерк Тринити, раздобывший для меня эту информацию, дал мне ссылку: Исторический Журнал Кембриджского Университета до 1910 года, стр. 956 (CUP, 1917). Именно в весенний семестр 1909 года он сдавал и сдал экзамены.

3 В целом я предпочитаю избегать употребления восточной терминологии, но ни в одном из западных языков нет слова, обозначающего Кундалини, потому что это часть тела, не признаваемая западной наукой. Это едва различимый огонь, лежащий в основании позвоночника, как правило, спящий; однако его можно пробудить духовной волей и сильным желанием, и тогда он поднимется по спине (ощущается, как жжение или сыпь) и овладевает головой, где оживляет шишковидную железу и передает дальнейший импульс. Хотя, если время настало, начальный прорыв может произойти в считанные минуты, оставшаяся работа растянется на всю жизнь.

провели в приготовленную для него комнату. В этой комнате на полу был начертан магический круг. Там был алтарь, где курились благовония; Виктор обнаружил также запас благовоний и угля, магический меч и анх; он был уже облачен в одеяние мага. Его оставили одного.

В комнате было слишком холодно, так что ему было неудобно. Несмотря на все приготовления, атмосфера не казалась ему магической, и ему трудно было устроиться. Он побродил по комнате. И тут что-то нашло на него. Казалось, это память о каком-то забытом ритуале, который он раньше всегда выполнял, в другой стране, в предыдущей жизни. Он начал ходить по Кругу, несколько раз измерил его шагами и повторял английские слова, которые, как ему казалось, были переводом с какого-то другого, неведомого ему, языка; невозможно было сказать, что это за язык. Кажется, речь шла о семи богах вверх, семи вниз и еще одном боге. Позднее он не мог вспомнить ни единого слова, что приходили тогда к нему, за исключением того, что весь отрывок заканчивался словом, или слогом, анх (если я правильно разобрала его почерк), повторенным трижды. (Быть может, египетский анхх?)

Он догадался, что должен совершить ритуал изгнания, с которого, как учил Кроули, следует начинать каждое магическое предприятие. Он решил, что нужно начертить пентаграммы мечом снаружи и вокруг круга, однако его смущало, что между кругом и стеной оставалось мало места. (Позднее Кроули объяснил ему, что он неправильно понял, как это делать.)

Затем он уселся в позе йога и начал медитировать, читая мантру *Aum tat sat Aum* для поднятия уровня сознания. Спустя некоторое время он повторял только слово *Aum*, а его голос все слабел и слабел по мере того, как он чувствовал, что входит в транс.

Он лежал на спине, головой за пределами круга; у него были видения моря и неба, затем прекрасного фиолетового света.

В этом состоянии его привели на обед, состоявший из отбивных с картофелем (Кроули не придавал значения его вегетарианству), тостов, рисового пудинга с тушеным ревенем и воды. Складывается впечатление, что он ел в одиночестве, чтобы атмосфера не нарушалась банальными разговорами.

После обеда он сделал записи в своем Магическом Дневнике вплоть до настоящего дня: описал свои последние дни в Кембридже, утренние занятия и упомянул некоторые мистические переживания своего детства.

В 5.15 он вернулся в свою комнату и снова принял магическую позу, но, хотя он читал *Aum* до 7.00, ничего не произошло. Поскольку он уже изрядно замерз, все его попытки казались тщетными; он ушел в спальню, завернулся в халат и взялся за чтение Священных Книг Кроули.

Его записи чрезвычайно подробны¹, так как он делал их каждый день: это 127 страниц, на протяжении которых его видения становятся все более и более изощренными. Думаю, что лучшее, что я могу сделать, чтобы дать точное

1 Генерал Дж. Ф. С. Фуллер, владелец этого документа, озаглавленного «Магические записи Оттиса Винсента», позволил мне взять рукопись домой, и с его разрешения я сделала полную фотокопию.

представление об этом уникальном документе, – процитировать записи о нескольких наиболее типичных днях:

21 июня

5.2 Исполнил ритуал «Нерожденного»¹ около 10 вечера. В полночь – ритуал изгнания.

Примерно в 1.30 утра вошел мой Гуру² и дал мне некоторые советы. Около 2.25 я исполнил «Нерожденного» и совершил ритуалы изгнания, затем вознесся на сферы.

Я быстро поднимался вверх и без труда вновь встретил «Габриэля»³. Он рассказал мне о том же, что и раньше. Он был облачен в белое, с зелеными пятнами на крыльях; на его голове был мальтийский крест.

Спустя некоторое время я заснул у огня и проснулся около 4.25. У меня было две эякуляции (может быть, всего одна, не уверен), сопровождавшихся эротическими снами. Это могло произойти по одной из причин, или, конечно же, любой их комбинации – (а) близость камина; (b) недостаток пищи; (с) недостаток физической нагрузки. Лично мне первая кажется самой вероятной. (Я говорю это всерьез).⁴

Повторил ритуал Нерожденного примерно в 4.30. Сразу после 5 утра ушел из Залы.

Сейчас 5.10 утра. Я страшно устал, совершив Ритуал Изгнания, и пойду спать.

9.25 утра. Встал в 9.2. Умылся, почистил зубы.

9.18 [sic] Завтрак. Яйцо, бекон, чай, немного воды. Чувствую себя готовым, только несколько уставшим. Уединюсь в комнате, как только переоденусь в мантию. Спал я хорошо.

9.30 Ухожу в комнату.

Полдень. Практически сразу, войдя в Залу, исполнил Предварительное заклинание. Потом медитировал о себе в течение часа, иногда читал Телему.

1 Джеральд Йорк объяснил мне, что этот важный термин означал заклинание, извлеченное кем-то из Золотой Зари (Йетсом?) из книги «Фрагменты греко-римского папируса по Магии», переведенной и снабженной примечаниями Чарльзом Уайклиффом Гудвином (Кембридж) в 1851 году. Я проверила его слова, обратившись за книгой в Британский Музей; для тех, кто хочет последовать моему примеру, она находится в каталоге № Ас.5624 (Публикации Кембриджского антикварного общества). Заклинание № 7 на стр. 12; только в тексте оно названо «Безголовый». Поскольку это литературный перевод, не дающий никакой мистической интерпретации значения слова, Золотая Заря поменяла его на «Нерожденного». Конечно, слово звучит не очень красиво, но оно ближе к истинному значению, «несуществующий» или «лишенный родителей».

В записи первого дня Виктор поставил звездочку у абзаца «10 вечера» и добавил сноску: «Конечно, это относится к предыдущей ночи. Это замечание относится и к другим записям в журнале. Замечу здесь также, что моя копия ритуала «Нерожденного», которую мне дал мой священный Гуру, рукописная».

2 Кроули.

3 Напротив этой фразы Кроули поставил значок и приписал: Почему бы не убить...?

4 Сноска Кроули: «Это потому, что ты пытаешься разбудить Кундалини, а она прячется все ниже из-за нечистоты твоей души. Совершенное целомудрие необходимо для первого шага в занятиях йогой». [Не думаю, чтобы Кроули знал об этом достаточно, чтобы давать подобные наставления.]

Сразу после 11 утра исполнил Ритуал Изгнания, Предварительный Ритуал, покурив благовониями, прочел Aum Mani padme Hum и вознесся. Я очень далеко поднялся и рано встретил моего Ангела. Я убил его¹. Затем поднялся через множество сфер, и, в конце концов, меня задержали моя мать – огромная коричневая женщина, мой отец – маленький зеленый человечек; сладострастная женщина и гермафродит. Они, один за другим, пытались меня остановить. Я миновал всех. Наконец, я достиг гроба, обозначенного:

Resurgam десятой сферы

Меня затягивало внутрь, но я ускользнул в водоворот света, поглотивший меня целиком. Теперь я быстро опускался и вернулся в тело примерно в 11.25.

Потом опять медитировал и читал Телему. (Мне нужна нормальная промокательная бумага. Скоро потребуется и новая тетрадь.)

Сейчас 12.8. Пожалуй, вернусь в Залу. Я глотнул немного воды. С собой у меня есть книга по магии. Ее я почитаю в Зале.

5.57 Я изучал книгу по магии в Зале до 1.20, потом совершил Предварительное Заклинание. После снова читал и медитировал, на обед меня позвали в 1.50. Яйцо и шпинат, тосты, вода. Я вернулся в комнату в 2.9, там ко мне почти сразу же присоединился мой Гуру, и мы говорили о магии и других вещах. Спустя полчаса Гуру ушел. После этого я провел время, в основном, думая и медитируя. Возможно, немного спал, но очень недолго, если вообще спал.

В 4.40 совершил Ритуал Изгнания и произнес Предварительное Заклинание. Потом кадил и читал мантру Aum manī padme hum.

Я вознесся на сферы и быстро достиг белого света. Я пробился на самый верх, где меня распыли два ангела. Я отбросил ангелов пентаграммой [то есть с помощью пентаграммы], потом я, привязанный к кресту, беспомощно парил в космосе. Он него я тоже избавился благодаря пентаграмме.

Вскоре после этого я добрался до воронки или фонтана красного цвета; продвигаясь сквозь него, наткнулся на Красного Великана, против которого я был бессилён, хотя и нападал на него неистово, используя все средства, бывшие в моем распоряжении. Все мое оружие, все мои слова были бесполезны в борьбе с ним. Он разрубил меня на части и следовал за мной, пока я не вернулся тело, не давая мне подняться, поскольку каждый раз, когда я пытался восстать, падал на меня².

Когда я вернулся, мне довольно трудно было устроиться в моем теле, пару раз мои попытки завершились неудачно. В конце концов, мне это удалось.

1 Джеральд Йорк объяснил мне использование слова «убил». Оно употреблено не в агрессивном смысле. Виктор пытался достичь союза со своим высшим существом, и образы, относившиеся к другому пласту сознания и захватывавшие его внимание, должны были быть вычеркнуты или удалены.

2 Кроули добавляет сноску: «Что касается Красного Великана. Я научу тебя нужному знаку и правильному облику».

Я вернулся без минуты или двух пять. Принял очень горячую ванну, так как изрядно устал. Через пару часов после ужина выкурил сигарету, сейчас курю еще одну. Курение прекрасно предотвращает голод.

Выяснилось, что мой Гуру – мир ему – забрал магическую книгу, которую я изучал. Мне она нужна, очень нужна.

Сейчас 6.14. Возвращаюсь в Залу. Боюсь, сегодня мне будет трудно бодрствовать, хоть сейчас я и не чувствую себя усталым. Надеюсь, я смогу продолжить этот эксперимент еще как минимум неделю, а, если удастся, то и дольше. Мой Гуру вошел через пять минут после того, как я вернулся в Залу.

7. Ужин. Оленина, вареный картофель, тосты, пудинг из хлеба с маслом. Вода.

Сейчас 7.27. Надо вернуться в Залу.

Я спал почти до 10.30, когда мой Гуру разбудил меня. Чтобы сделать процесс пробуждения более эффективным, он «окунул» меня головой в холодную воду. (Кстати, он уже поступал так же день или два назад.) Затем он продолжил обучать меня Знакам Гора и Гарпократа, показывая знаки, очевидно, чтобы удовлетворить Правителя. В 10.45 я начал занятия, совершив сперва Предварительное Заклинание. Затем я приготовил древесный уголь и исполнил Ритуал Изгнания, воскурив благовония и распевая мантру Aum tat sat Aum.

Я поднялся сразу же, убил Красного Великана с помощью формулы Гарпократа; затем убил Черного Великана. После этого я превратился в зеленый треугольник (вершиной вверх) в фиолетовом венце или круге, затем стал ослепительной кометой, сверкающей в волосах бога, затем пылающей звездой. После этого я растворился и слился с белым светом. Это ощущение сопровождалось небывалым экстазом.

Я очутился при дворе Гора (Гор был абсолютно черным), который мне дал две таблетки, надписанные INRI и TARO соответственно. В этот момент я обнаружил, что у меня нет кистей рук – он были отрублены от запястий. Гор послал меня прочь всматриваться в чистые голубые небеса с мириадами звезд. Он указал ввысь; я не мог подняться выше, хотя я (или кто-то еще) пытался привязать меч и анкх к моим ступням.

Вернуться для меня оказалось очень сложно, несколько минут я барахтался на полу.

В 11.15 я уже пришел в себя, чтобы призвать моего Гуру. Я оступался и тяжело дышал, спускаясь вниз за этой тетрадью.

Совершив знак Гарпократа и выкурив сигарету, я почти пришел в себя; мой Гуру еще здесь, разговаривает со мной. Сейчас 11.55. Со мной все в порядке.

Гуру учит меня до 12.30. Потом он принесет мне воды. (Этот последний абзац не для того, чтобы бросить упрек моему священному Гуру за его красноречие и знания).

22 июня

1.28 утра. Я опять поднимался по сферам, после того, как прекраснейший Гуру совершил предварительные заклинания. Я поднялся на огромную

высоту, намного выше Двора Гора. Подниматься я начал в 12.50. У меня было много приключений, пока я проплывал мимо множества существ, большинство которых уступало мне дорогу, как только я предъявлял карту моего Правителя, хотя многие вообще не обращали на меня внимания, поворачивались спиной. Три случая резко выделяются.

Я добрался до прекрасного сада, где встретил огромного, облаченного в белое [неразборчиво] ангела, казавшегося Габриэлем. Он заговорил со мной, убеждая меня оставить меч и анкх. Я отказался, и он позволил мне уйти с ними; единственное, что я запомнил из его слов, это «Судьба твоя – судьба Мага».

После я пересек сферы, как мне представлялось, четырех элементов, а еще позже достиг зеленого глобуса, вокруг которого некоторое время плавал в лодке с прекрасной женщиной; в это или примерно это время я пришел в состояние легкого экстаза. Замечу в скобках, что ступни моего физиологического тела очень болели во время этого восхождения, возможно из-за того, что я час или, пожалуй, даже больше, если учитывать время, которое ушло на заклинания у моего Гуру, провел в японской позе йога¹.

В конце концов, после незначительных приключений – прохождения через воронки, пустоты и тому подобное – я достиг существа, похожего на ястреба, отрубившего кисти моих рук и ступни. Я упал назад, и мне было чрезвычайно сложно вернуться. Я совершил формулу Гарпократа, и распростерся на полу на несколько минут, так как не мог встать.

Наконец, я призвал моего Гуру, и он посоветовал мне снова исполнить формулу Гарпократа. Это мне удалось.

Сейчас я вполне в порядке. Я вернулся около 1.10. Гуру дал мне наставления и ушел. Думаю, что сегодня относительно рано лягу спать. Я устал; завтра, мне нужно выйти подышать и позаниматься физическими упражнениями. Забыл упомянуть, что в моем последнем путешествии я пролетал мимо белой кошки на крыше. Сейчас я пойду спать. Времени около 1.45. Сомневаюсь, что смогу подняться завтра в 6 как требуется.

Он продолжил записи в 10 утра, когда, проснувшись в 9.40 (и правда не в 6!) и позавтракав, опять уселся в зале, заново взявшись за медитацию. Видения в это утро были длинные и сложные. После обеда и серной ванны он снова пустился в путь:

Я начал с того места, где вчера Ястребиноголовый лишил меня кистей и ступней. Затем я миновал статую Меркурия. Я добрался до Храма, который знал всю жизнь. Дева встретила меня; она разрубила меня на куски и принесла меня в жертву на алтаре. Перед этим она произнесла заклинания над моим телом, и я вознесся, возвеличенный, сделал знак и покинул ее. [После множества других происшествий] я возвратился из-за сильнейшей усталости, спускаясь головой вниз, и практически без труда нашел свое тело.

1 Он сидел на пятках.

После второй серной ванны, принятой между 5.30 и 6, прежде чем продолжить, он добавил одну деталь, которую раньше забыл и которая интересна гомосексуальным подтекстом:

Меня искушали маленький черный мальчик, поднимавший воду из ручья, и прекрасная женщина. Я не поддался – о, целомудренный! – ни одному из этих искушений. Я идеальный пуританин.

Сделав эти записи, он занимался дыхательной гимнастикой йога до 7, потом Кроули забрал его обедать. В 7.55 он вернулся в комнату и вновь углубился в медитацию, на этот раз его посетило множество видений. Кроули был недоволен их характером:

10.32 Мой Гуру был недоволен, жестоко упрекал меня за то, что я был среди Клипот¹.

Очевидно, он гомосексуальный садист², ибо проявлял великое рвение, когда 32 раза ударил меня хлыстом из утесника, стегая до крови. Церемония явно доставляла ему удовольствие. Она была довольно-таки болезненной, хотя и не возбудила во мне никаких чувств, кроме смеха. Отдохну немного. Сложно понять моего Гуру. Из-за того, что я смеялся, он назвал меня мазохистом! Если бы я пожаловался, он назвал бы меня трусом; не прояви я никаких чувств, он обвинил бы меня в бесчувствии.

1.45 утра. Мой достойный Гуру советует мне не ложиться всю ночь. Пойду вниз и выкраду парочку печений.

Я заходил к Гуру; он очень груб, но поучает. Нашел печенье. Увы, мое пламя погасло! Пойду спать. Сейчас 1.53.

Печенье, наверное, было в комнате Кроули, потому что когда он в следующий раз отправился за ним, надеясь, что Кроули не спит и поговорит с ним, тяжелое дыхание продемонстрировало, что тот спал, и Виктор осторожно вышел. В записях об этом не говорится, но в Болескине Виктор встретил Роуз и разочаровался; как он позднее рассказывал Хейтеру Престону, она много пила и выглядела вялой.

Однажды Виктор отправился спать в 9 вечера. Рядом с этой записью Кроули сделал пометку: «В 9 вечера! Мерзкий ленивый слизняк!» После этого Виктор понял, что ему следует держаться хотя бы несколько часов после полуночи; и все же, однажды, когда он уже слишком замерз, чтобы медитировать, пошел бродить по дому и зашел в гостиную, где обнаружил книгу о том, почему королева Елизавета хранила девственность!

В другую ночь Кроули отправил его рубить утесник. Виктор одел свое магическое одеяние, халат и ботинки; на холме, в темноте, ему понадобилось немало времени, чтобы найти и нарубить утесник, и когда он принес его, он заснул.

1 Каббалистический термин, означающий нереальные образы самого низкого уровня.

2 Сноска Кроули: «Клевета на Учителя наказывается в 32-м, самом низком, круге ада». Под этой Виктор приписал встречную сноску: «Невелика заслуга изобрести новый порок».

Кроули, застав его спящим, выбрал его. В другой раз ночью Кроули пришел к нему и исхлестал его обнаженную спину и ягодицы жгуцей крапивой.

Однажды утром Виктор делал дыхательные упражнения йога до тех пор, пока мучительная боль не заставила его скорчиться на полу. Мне представляется потрясающим невежеством и учителя, и ученика то, что они полагали необходимым удерживать дыхание вопреки боли. Кроули оскорбительно его выругал, упомянув о его иудаизме. Виктор написал с горечью:

Мой достойный Гуру излишне груб и жесток, не ведаю почему. Возможно, он сам себя не знает. Очевидно, что он жесток только, чтобы потешить себя и скоротать время.

В любом случае, я не намерен больше это терпеть.

Мне кажется, что излишняя грубость и жестокость – прерогатива невежи самого низкого пошиба. Ругать человека за его происхождение – сущая подлость. Обвиняемый, я признаю, не может возразить на подобный «аргумент»; но и для обвинителя он непростителен. Также мне кажется низким злоупотреблять своим положением Учителя; это все равно, что ударить подчиненного, который будет уничтожен, если ответит. Если бы не моя Клятва, я ни на минуту не остался бы под крышей моего Гуру. Не потерплю, чтобы мою семью и мой народ беспрестанно оскорбляли.

Но ситуация не изменилась к лучшему. После обеда он написал:

Гуру груб; его выпады становятся чудовищными. Они чересчур оскорбительны... Если меня оскорбят еще раз, я тотчас же уйду.

Однако позже он вышел посмотреть, как светает над Лох-Нессом; смягченный и успокоенный красотой зрелища он написал:

Это просто великолепно. Всё спит, кроме птиц, которые еще не совсем проснулись. Лох-Несс покрыт рябью. Я десять миллионов раз прощаю моего доброго старого Гуру. Я бы ему сказал об этом, да он спит. Если бы он не спал, я бы взял его погулять, если б он согласился.

Кроули велел ему развить воспоминания о мистических переживаниях детства, и он повиновался, описав моменты, когда, как ему казалось, он был вне мира, и все-таки все вокруг осознал:

Когда я находился в экстазе, у меня появлялось ощущение, что я существовал всегда: я не мог представить себе времени, когда меня не было... Видение пришло ко мне, когда я был восторженным скептиком и атеистом, которым, кстати, и по сей день являюсь, и я не могу припомнить, чтобы когда-нибудь я находил какое-либо противоречие в этом. Видение было до такой степени сильным, что затмило все остальные события жизни. Я буквально жил ради него.

Он не думал, что видение могло быть навязано волей, оно никогда не приходило, когда он был дома или не в одиночестве, хотя, как он считал, присутствие сочувствующего друга не могло быть препятствием.

Он также описал указания на прошлые жизни, которые он получал, особенно одно очень четкое, словно пережитое заново воспоминание о том, как он был сожжен, привязанный к столбу. Он был священником, и сожгли его за ересь, но ему помнилось, что была еще замешана верность другу.

На восьмой день он шел через черное пространство. Он был уверен – здесь нет никакой божественной тайны, которую нужно постичь. Человек просто шел и шел вперед, совсем как сейчас. Если бы только было возможно прекратить существование! Но благодаря природе Вселенной это было невозможно. Его душа была нерушима. Он не верил в буддистскую Нирвану. Придется существовать вечность.

На Кроули этот отрывок произвел большое впечатление; он написал, что это является предвестием или обдумыванием $7=4$ (или четвертого посвящения на языке теософии), испытание бездной. Должно быть, такой комментарий весьма подбодрил Виктора, и запись заканчивается в более радостном ключе.

Кроули принес ему другую книгу, в которую он мог переписать набело все записи. Виктор сделал это, гордо проставив в конце дату: Болескин, 29 июля, 1909.

Он решил, его испытание закончилось. Он ошибался. Кроули сообщил ему, что следующие десять ночей он должен спать на полу, совершенно обнаженный, на охалке утесника. Настоящей пыткой являлся холод, а не иглы. Ветер свистел из-под дверей Болескина и обдавал его холодом и позднее, стоило ему только вспомнить, до конца его дней.

В семье Виктора никто не болел туберкулезом. Его смерть от этой болезни была, вероятно, вызвана этим холодом, который он перенес в придачу к дыхательным упражнениям йоги, выполнявшимся неправильно, потому что его им неправильно учили. Мадам Блаватская предупреждала, что они могут привести к чахотке и смерти. Б.С.К. Иенгер (научивший меня йоге) предупреждает, что в отсутствии мер безопасности, то есть когда подбородок не упирается в ямку между ключицами, попеременное дыхание через ноздри и ритмические задержки дыхания могут быть летальными. Это может происходить из-за того, что кислород перестает поступать в мозг (вместо увеличения его притока), а описание результата, не имеющего ничего общего с мистикой, можно посмотреть в медицинской энциклопедии в статье «Асфиксия». Такие упражнения нельзя начинать до тех пор, пока не освоены асаны (гимнастические приемы), да и после только в присутствии учителя, чьей задачей будет нагнуть голову ученика, если она начнет подниматься, и сразу же прекратить занятие, если ноздри ученика начнут раздуваться или дрожать. Легчайшее движение ноздрей – признак того, что напряжение слишком сильно. То, с какой невозмутимостью Кроули созерцал, как Виктор корчится на полу, пытаясь удержать дыхание, демонстрирует его полную несостоятельность как учителя. Единственное, что могло бы частично оправдать его, так это то, что он был несведущ.

По истечении десяти ночей Кроули сказал Виктору, что тот прошел испытательный срок и будет произведен в Неофита, или $10=1$, на ближайшей церемонии. Кроули в такой же степени был скуп на раздачу степеней, как и жаден до их получения.

ЭКВИНОКС И АЛЖИР

В начале июля они вернулись в Лондон, где Виктор помог Кроули выпустить журнал «Эквинокс». В качестве офиса использовалась квартира Кроули на Виктория-стрит, 124, украшенная красными занавесками и подушками, чучелом крокодила и изваяниями Будды. Место это было почти напротив квартиры тетушки Ти (Виктория-стрит, 125), и Виктор много времени проводил здесь, переходя из дома в дом, хотя в Адельфи у него была собственная комната.

В сущности, Виктор, как ассистент Кроули, был помощником редактора; огромную, но невидимую работу по выпуску «Эквинокса» проделал генерал Фуллер. Он рассказал мне, что Кроули просил его отредактировать дневник, который Виктор вел во время Магического Уединения в Болескине для публикации в «Эквиноксе». Дневник так и не был напечатан, поскольку Кроули заполнял издание собственными работами и места для всего прочего почти не оставалось. Фуллер довольно часто виделся с Виктором на Виктория-стрит. В своем первом письме мне он заметил: «Он показался мне бесцветным». Я ответила: «Мне так не показалось». Позднее, когда генерал Фуллер пригласил меня в свой дом в Кроуборо, он пояснил: «Говоря, что он показался мне бесцветным, я не хотел его унижить. Если про человека говорят, что он яркий, это отнюдь не всегда комплимент. Кроули был ярким. Он всегда одевался броско, использовал любую возможность устроить спектакль. Если он присутствовал в комнате, он всегда был центром внимания. Нойбург же был неприметным. Он сидел обычно спокойно где-нибудь в сторонке и, вероятно, даже не говорил бы, если бы к нему не обращались».

Первый выпуск «Эквинокса» – объемного издания, выходившего дважды в год, был отпечатан в сентябре 1909-го. У журнала был девиз «Метод науки, цель религии». Там публиковались статьи о каббале, йоге и других эзотерических науках, стихотворения и книжные обозрения. Периодически с журналом сотрудничали Артур Гримбл, Джордж Раффалович и Фрэнк Хэррис. Практически в каждом выпуске есть публикации Виктора.

Несмотря на название, астрологии, как я выяснила, в журнале было немного; я не видела «Эквинокс» до тех пор, пока не отправилась за ним в Британский музей. Я просмотрела несколько гороскопов, составленных Кроули, и то, что месторасположение Луны всегда заканчивалось нолем, возбудило мои подозрения. Дома я пересчитала гороскопы заново, и источник ошибки стал ясен. Луна движется со скоростью от 12 до 15 градусов долготы в сутки; в эфемеридах, издающихся раз в год, приводятся только положения для полудня и полночи каждого дня. Предполагается, что читатель сам рассчитывает долготу для любого времени между полуднем и полуночью с помощью таблиц суточных пропорциональных логарифмов, прилагаемых к эфемеридам (если, конечно, для большей точности он не захочет принять во внимание ускорение и торможение); вот с этим-то простейшим вычислением Кроули не справился.

Кроули написал автобиографию; опубликованные части заканчиваются на 1904 году, то есть, не доходят до нашей истории. Остальное в виде машинописного текста хранилось у Джеральда Йорка, который одолжил автобиографию

мне вместе с другими рукописями – «Видение и голос» и «Парижские работы», которые я прокомментирую ниже. Припоминая страхи моей юности, я испытывала странное чувство оттого, что рукописи Кроули были бесцеремонно разложены на моем собственном полу. Неделями я передвигалась, перешагивая через них.

Первый том открывался тем, как он вновь обнаружил рукопись *Liber Legis*, заваленную лыжами в Болескине, где он был с Виктором в июне 1909 года, и его возвращением в Лондон. В Лондоне автор упускает Виктора из виду, упоминая его лишь однажды, когда Кроули с любовницей и Виктором отправились навестить разведенную даму в квартире недалеко от Гайд-парка. Кроули было мучительно видеть, как «флиртовали» Виктор и хозяйка дома. Когда они собрались уходить, осталось ощущение, что дама хотела бы, чтобы Виктор остался, и Кроули чуть ли не силой его уволок.

Выпустив первый номер «Эквинокса» в сентябре, Кроули предложил Виктору поехать с ним в Алжир отдохнуть. Они прибыли в столицу 17 ноября, закупили кое-какую провизию, доехали на трамвае до Арбы и после обеда отправились на юг. Проведя две ночи на природе и одну в простенькой гостинице, 21 ноября они добрались до Аумале. Кроули привез с собой сделанную в Британском музее копию «Воззваний к тридцати этирам», продиктованных Джону Ди, астрологу королевы Елизаветы, Эдвардом Келли, который утверждал, что его побудили к этому ангелы. Воззвания написаны любопытным языком, который следует читать наоборот, а совершать их следует в обратном порядке, начиная с тридцатого. Тридцатое и двадцать девятое Кроули совершал уже несколькими годами ранее. Теперь он хотел сделать оставшиеся.

В Аумале они купили записные книжки – для Виктора, потому что Кроули должен был совершать Воззвания и рассказывать Виктору о видениях, его посетивших, в то время как Виктору предназначалась роль секретаря. Для Виктора новым переживанием была сама Африка, и даже обычные достопримечательности, арабы, разгуливавшие в традиционном платье с обезьянами и верблюдами, должно быть, волновали его. К тому же, они были на пороге духовного приключения, последствия которого были непредсказуемы. Вечером 23 ноября, поев, они отправились на поиски уединенного места. Справившись в астрологической таблице на 1909 год, я выяснила, что в этот день луна должна была быть видна на три четверти, приближаясь к полнолунию, и стоять высоко в небе в 8-9 вечера, в то время, когда они начали свое действо. Думаю, Виктора можно вообразить сидящим при свете луны, заливающим его тетрадь.

Кроули произнес Воззвание и начал диктовать. Джеральд Йорк принес мне фотокопии записей Виктора, его почерк становился все крупнее и крупнее по мере того, как он старался поспевать за словами Кроули. Он описывал появление ужасающего чудовища.

Я задаюсь вопросом, кем должны были быть эти Ангелы, больше похожие на демонов. Для оккультистов несомненно, что любая попытка Кандидата приобрести какую-либо добродетель пробуждает противоположный порок во всей его силе, которая может быть скрыта в его природе. Есть указания на то, что ряд Воззваний рассматривался как система инициаций, хотя считается, что Этиры

существуют сами по себе. Не думаю, что Кроули продумал это; в любом случае, кажется, что сообщения, в которых проявляются все его собственные навязчивые идеи, были в значительной степени отражением его личности.

На следующий день, 24 ноября¹, они отправились в Сиди Аисса, где воззвали к двадцать седьмому Этиру. Через день, в пустыне, между часом и двумя пополудни они воззвали к двадцать шестому, а вечером, достигнув Аин Эль Хаджея – двадцать пятому. Во второй половине следующего дня они вызвали двадцать четвертый Этир; 28 ноября, продолжая их путешествие по полупустыне, они добрались до Бу-Саады, где утром и вечером вызвали двадцать третий и двадцать второй.

Бу-Саада показалась им восхитительной. В этом местечке белостенные дома теснились посреди пустыни на пригорке, плодородие которого объяснялось тем, что снизу протекал ручей, обрамленный пальмовыми деревьями, садами и огородами, с яркими цветами на кактусовых оградах. Запахи, носившиеся в воздухе, были тонкими и чарующими, каждая тропинка, по которой они проходили, вела к чему-нибудь интересному; они провели здесь несколько дней.

Они завели привычку игнорировать час сиесты. Сразу после обеда 3 декабря они начали взбираться на близлежащую гору Далле Аддин, где воззвали к четырнадцатому Этиру. Этим они были заняты 2.50 до 3.15. Они уже начали спуск, когда Кроули внезапно охватило ощущение присутствия, или, как он выразился, «он услышал приказ».

Они вернулись обратно на вершину и собрали круг из небольших булыжников. Внутри него песком начертали магические слова. В центре воздвигли алтарь. Они легли на алтарь и «при свете солнца» совершили гомосексуальный акт, причем Виктор взял на себя активную роль. Этот акт они посвятили его Пану.

Ритуальный гомосексуальный акт они совершили впервые. Кроули говорит, что знал задолго до этого, что подобное не преуменьшало совершенства Бога, но только в этот момент осознал, что это может быть сделано во имя Бога и стать таинством. Он чувствовал, что преодолел двойственность, которую, как он теперь понимал, раньше допускал в разделении на духовное и физическое, а также разрешил противоречие между единственной жизнью и ее многообразными проявлениями. Он полагал, что прошел инициацию, которая сделала его Мастером Храма, или 8=3. Он спустился с горы и дождался сумерек. Виктор, по всей вероятности, сопровождал его.

Здесь я замечу относительно самонадеянного заявления Кроули о том, что степень, достигнутая им, является сверхчеловеческой. Он составил гороскоп (указав Луну в неправильном месте) на 11.15, когда, как он полагал, на него

1 В этот день, 24 ноября 1909 года, жена Кроули, Роуз, получила развод с ним; судебный процесс был инициирован ею на основании измены. Эту информацию мне предоставил начальник секретариата Шотландского Верховного Сессионного суда в Эдинбурге. Я сделала запрос потому, что меня давно смущала общедоступная информация о том, что развод она получила именно на этом основании, – ведь в то время по английским законам измена не считалась достаточным основанием для развода с мужем. Я поехала в Сомерсет-Хаус и обнаружила, что в их записях это дело не значится; мне очень помог клерк, давший мне адрес такого же отделения в Шотландии на случай, если дело слушалось там, как в действительности и оказалось.

снизошел этот ореол. Утверждая, что возвысился над обычным человеком, он потерял способность мыслить здраво. К 6 декабря, все еще в Бу-Саада, они добрались до десятого Этира, наиболее важного, представляющего Бездну. Келли описывал демона, живущего в этом Этире, Хоронзона, как «могущественного дьявола». Он был силой Хаоса, которую надо было вызывать, противостоять ей и победить.

Вскоре после полудня они далеко ушли от городка и очутились в долине, устланной мелким песком. Здесь они нарисовали круг, укрепленный каббалистическими словами TETRAGRAMMATON, SHADDAI EL CHAI и ARARITA; под его защиту сел Виктор. Вне круга они изобразили треугольник, куда должен был быть вызван и где должен был быть заключен Хоронзон, «первая и ужаснейшая из всех сил зла». Треугольник они тоже укрепили священными словами, а в трех углах Кроули убил по голубю, которых он принес из Бу-Саада, чтобы тонкая часть их крови послужила Хоронзону материалом, из которого тот мог бы создать полужизническое тело и проявить себя. Кроули внимательно проследил за тем, чтобы кровь не попала за черту треугольника и Хоронзон не мог из него выбраться.

Виктор, укрывшийся внутри круга со своим магическим кинжалом и тетрадь для записей, дал страшную клятву:

Я, Omnia Vincam, Кандидат в Argentinum Astrum, торжественно клянусь здесь моей магической честью и ангелом Адонаи, хранящим меня, что буду защищать этот магический круг Искусства помыслами, словами и делами. Я клянусь пригрозить духу кинжалом и приказать ему вернуться в треугольник, как только он попытается выйти оттуда, а также пронзить кинжалом все, что бы ни старалось проникнуть внутрь круга, даже если оно выглядит как сам Пророк. Я буду чрезвычайно бдителен и вооружу себя против силы и хитрости; неприкосновенность этого круга я буду защищать жизнью. Аминь. Я призываю моего Святого Ангела-Хранителя быть свидетелем этой клятвы; и да погибну я, покинутый ангелом, если ее нарушу. Аминь и Аминь.

Затем Виктор исполнил Изгоняющий Ритуал.

Кроули, переодевшийся в черную мантию, уже вошел в треугольник, и в два часа дня произнес Воззвание. Никакой материализации за этим не последовало, но Виктор услышал голос из треугольника, прокричавший «Zazas, Zazas, Nasa-tanda Zazas» и многие богохульства. Ему показалось, что голос подражает голосу Кроули. Теперь Виктор начал видеть: внутри треугольника появилась красивая женщина, напоминавшая куртизанку, которую он знал в Париже. Она зывала к нему нежными словами и соблазняла жестами, но он понял, что это демон, принявший форму женщины, чтобы выманить его из круга, и устоял перед соблазном.

Тогда она попросила прощения за попытку соблазнить его, признала его неприкосновенность и попросила позволения подойти и преклонить голову к его ногам в знак подчинения. Виктор воспринял это как обращение к его гордыне и не позволил демону покинуть треугольник.

Демон превратился в старика, затем в змею; затем голосом, напоминающим голос Кроули, попросил воды, чтобы утолить жажду. Виктор отнесся к этому

как к обращению к его жалости и проигнорировал просьбу. Виктор обратился к демону, заклиная его раскрыть свою природу именем Всевышнего. Демон осмелел его и заявил, что он не боится пятиугольника, что он Повелитель треугольника, и его имя есть число 333.

Виктор воззвал к своему Святому Ангелу-Хранителю и Ангелу-Хранителю Кроули. Демон возвестил, что знает имена их Святых Ангелов-Хранителей и имеет над ними власть. На это Виктор ответил, что он знает больше, чем демон и не боится его, и снова приказал ему раскрыть свою природу.

Демон прокричал, что его имя Рассеянность, и что поэтому его нельзя победить в споре. Виктор замахнулся кинжалом, а демон глумился над ним, желая напугать. Пока Виктор пытался вести запись его слов, демон кинул песок через край круга и граница защитной фигуры нарушилась.

Тогда, в облике обнаженного человека, демон впрыгнул в круг и набросился на Виктора, повалив его на землю. Они покатались по песку, при этом демон пытался сначала дотянуться зубами до горла Виктора, а потом перегрызть ему шею сзади. Виктор пронзал его кинжалом и, в конце концов, загнал демона обратно в треугольник. Он заново прочертил границу круга в том месте, где она была засыпана песком.

Внутри круга демон провыл: «Десятый эфир – это мир дополнений, он лишен сущности». Имитируя голос Кроули, он попросил разрешения выйти из треугольника, «чтобы одеться». Виктор понял, что это еще одна уловка, и не позволил демону покинуть треугольник, пригрозив ему кинжалом.

Демон неистовствовал все сильнее, и Виктор сказал: «Ты не можешь повредить и волоса на моей голове». Демон рассмеялся и начал глумиться, но Виктор, уже полностью овладевший ситуацией, сказал: «У тебя нет власти!». Демон грозил ему мучениями, которые он может наслать, но Виктор ответил: «Ты лжешь!». Демон вскричал «Спроси своего брата Пердураб¹, лгу ли я!». Виктор ответил, что это его не интересует.

Наконец, демон затих и стал невидимым. Теперь Виктору был виден Кроули в черном одеянии, который взял Священное Кольцо и начертил слово BABALON² в песке. Вдвоем они развели костер, чтобы очистить место, и разрушили и круг, и треугольник. Все действие заняло у них около двух часов, и они были до того обессилены, что едва смогли собрать свои вещи и вернуться.

Что же произошло на самом деле? Здравый смысл подсказывает, что все эти слова произнес Кроули, и именно он, скинув мантию, набросился на Виктора. Но зачем? То, что случилось, доказало Виктору, что магия Кроули работала, не только так, как было запланировано, а даже слишком реалистично. До самого конца он пребывал в убеждении, что в тот день в пустыне он сражался с демоном. Возможно, он был прав в том, что сражался с человеком одержимым.

Утром и днем следующего дня они отдыхали, но вечером опять ушли и совершили воззвание к девятому Этиру. На следующий день, 8 декабря, они продолжили

¹ Кроули.

² Одно из имен Венеры в качестве невесты Хаоса.

путь на юго-восток; целью их путешествия была Бискра, расположенная в более чем ста милях. Французские власти были любезны, но выразили озабоченность по поводу их желания пересечь эту дикую местность пешком, ночуя на открытом воздухе, и предупредили, что на них могут напасть бандиты. Арабы добавили к этому, что в пустынях водятся злые духи! И также им грозит опасность утонуть. Виктору и Кроули это предупреждение показалось странным, ведь они находились возле Сахары, где вода была самой редкой стихией. Но оказалось, что арабы предупреждали их о ливневых дождях, которые могли заполнить любое узкое ущелье или впадину с такой скоростью, что можно было не успеть выкарабкаться из нее прежде, чем она переполнится. (Полагают, что именно так в этом районе погибла Элизабет Эберхард).

В нескольких милях в стороне от Бу-Саада дорога кончилась, и они почувствовали, что последняя связь с цивилизацией прервана. Они шли весь день, постоянно поднимаясь вверх, до захода солнца. Вечером приготовили поесть и после ужина воззвали к восьмому Этиру, что заняло время с 19.10 до 20.10. Затем улеглись на клочке травы на песчаном откосе и заснули под звездами.

Утром они продолжили путь и вскоре опять выбрались на дорогу. К вечеру они пришли к гостинице, однако она была закрыта и должна была открыться, как им сказали, по прибытию дилижанса. Чтобы скоротать время, они направились по песку к небольшому холму, с которого им должен был открыться залитый лунным светом пейзаж. Ступни их стали мерзнуть, но они не могли понять почему. Кроули дотронулся до песка и отдернул руку, точно коснулся раскаленного металла – песок был ледяной. Они поняли, что в сухом воздухе испарение было быстрым, и от этого температура снижалась так резко. Заслышав дилижанс, они побежали к гостинице, чтобы войти, как только она откроется, и последовавшую четверть часа провели, пытаясь привести в чувство оцепеневшие пальцы.

10 декабря, поздно вечером, они добрались до Бенисрура, и там воззвали к шестому Этиру. Воззвание к пятому они совершили в пустыне между Бенисруром и Толгой, а затем снова провели ночь под открытым небом. 15 декабря они спустились к Толге, потом три дня шли по теперь уже более равнинным землям, добравшись 16 декабря до Бискры, где вечером воззвали к четвертому Этиру. Воззвание к третьему и второму они совершали утром двух следующих дней.

Гордостью Бискры, города палым и верблюдов, была гостиница с величественным названием «Королевский ОТЕЛЬ», и именно в этом отеле Виктор записал под диктовку Кроули письмо длиной в тринадцать страниц, которое генерал Фуллер хранил более 50 лет, дал мне посмотреть и даже позволил сделать фотокопию.

18 декабря 1909 г.

Дорогой Фуллер!

...Сегодня я измучен настолько, что почти не могу говорить, и не смог бы писать, поэтому попросил моего верного Писца оказать мне эту услугу, за что я ему чрезвычайно признателен.

Я затрудняюсь выразить словами, как он был добр и любезен все это время. Для него это была труднейшая работа – записывать мой бред в

любое время дня и ночи, в сорока девяти классических позициях. Боже, прости его глупость. Будь у него мозги, из него бы вышел отличный парень. Но довольно вздорной болтовни.

Следующие абзацы касаются практических вопросов, связанных с подготовкой следующего выпуска «Эквинокса». А следом, на четвертой странице говорится следующее:

Я надеюсь найти Вам массу нового о Келли (не Джеральде). И почему его только называют художником, Бог весть.

Я просмотрел гранки «Храма», и дорогой, добрый Виктор был столь любезен, что тоже взглянул на них, но он истощает мое доверие. Мне нелегко было удерживать его в стороне от арабских мальчиков. Он испытывает неудержимое вожделение к коричневым задницам, потому что, когда он был школьником, его бил ногами мужчина в коричневых ботинках; а раз он мазохист и педераст, этим все и объясняется.

Неожиданно натолкнувшись на этот отрывок, я испытала сильнейшее потрясение за все время, что проводила это исследование. В каком-то смысле я была благодарна Вики за то, что он оставил собственноручную запись о собственной гомосексуальности, – текст, который я могла бы представить в качестве доказательства, если кто-то меня обвинит в том, что его гомосексуальность я выдумала. Но он поразил меня и потому, что я всегда думала о его отношениях с Кроули как о уникальных в своем роде. В самом деле, даже закончив это длинное исследование, я не встретила ни единого человека, кто бы верил, что Виктор имел отношения с еще какими-либо мужчинами, помимо Кроули.

В письме есть настолько непристойные места, что цензура не пропустила бы их в печать. Я имею в виду не только неумеренное использование бранных слов, но и крайнюю оскорбительность некоторых идей, выраженных в письме. Мне кажется, Виктору следовало отказаться записывать их.

Не думаю, чтобы генерал Фуллер осознал, что он передал мне. Он вытянул это письмо из огромной кучи неразобранных писем, которые вывалил из ящика стола, и подал именно его лишь потому, что оно было написано рукой Виктора. Я уже достаточно прочитала, когда смутное воспоминание о содержании письма пробудило в нем беспокойство, и он внезапно воскликнул с тревогой:

– Что это я вам дал? Я не прочитал его первым!

Угадывая причину его беспокойства, я ответила:

– Все в порядке. Я воспринимаю его с чисто исследовательской точки зрения.

Он сказал:

– Однажды я дал кому-то одно из писем Кроули, не потрудившись посмотреть его сначала, и этот человек чрезвычайно рассердился на меня за то, что я без предупреждения дал ему читать непристойности.

В последний день 1909 года они отправились по морю из Алжира в Саутгемптон.

ЭЛЕВСИНСКИЕ РИТУАЛЫ

Девятое мая 1910 года Виктор провел в обществе Кроули, скрипачки Лейлы Уэдделл¹ и еще нескольких человек в доме председателя Марстона в Дорсете, где было решено вызвать Марса. Виктора поставили в треугольник, чтобы бог вошел в него и через него передал свое послание; затем начали задавать Виктору вопросы. Председатель Марстон спросил, будет ли война. Уста Виктора предрекли, что в течение ближайших пяти лет случатся две войны: события первой будут разворачиваться в Турции², а второй – в Германии, а в результате обе нации будут уничтожены. Вероятно, Виктор исполнял танцы, сопровождавшиеся заклинаниями, потому что председатель Марстон предложил инсценировать действо в месте, куда можно пригласить больше людей и прессу.

Был разработан проект. Предполагалось, что Виктор будет двигаться, изображая бога, Лейла Уэдделл играть на скрипке, а Кроули декламировать, объясняя, что происходит. Стихи он сочинил в соавторстве с Раффаловичем. Начало лета они провели за подготовкой текста и костюмов.

Именно в начале лета на сцене появилась Этель Арчер. Ей было чуть за двадцать, у нее были темные волосы, она немножко знала греческий и была замужем за художником Юджином Уиландом; однако стихотворения, которые она посылала в «Эквинокс», подписывала девичьей фамилией. То были стихотворения о любви, адресованные девушке, и когда Виктор впервые встретил ее, он с наивной прямоотой сделал несколько замечаний по этому поводу и назвал ее Сафо. Дочь священника горячо возразила, что он неправильно понял: стихотворения адресованы *ей самой*, какой ее, как она считала, видел мужчина. Тем не менее, с именем Сафо она согласилась благодаря славе его обладательницы.

Когда я встретила с ней в ее квартире в Фулхэме в 1961 году, она была седой и очень слабой. Я виделась с ней всего лишь раз. По правде сказать, я едва не опоздала, поскольку вскоре после нашей встречи у нее случился удар и она умерла. Именно Этель Арчер рассказала мне о первом представлении Элевсинских мистерий, на котором она присутствовала вместе с мужем.

Происходило это в квартире Кроули на Виктория-стрит. Они приехали рано; их встретил Виктор и провел в гостиную. Комната было слабо освещена; занавески задернуты, чтобы не мешало светлое небо летнего вечера. Единственным источником света было раскачивающееся серебряное кадило; сильно пахло ладаном. Обыкновенная мебель была сдвинута, а вдоль стен, где должны были рассесться гости, разложили подушки. Виктор нашел для них место и принес огромный кубок с коричневатой жидкостью, которую, по его словам, приготовил Кроули, находившийся в соседней комнате. Ему поручили сказать, что кубок

1 Среди книг, которые я приобрела у Энтони д'Оффэ, была книга о Новой Зеландии, на развороте надписанная: «Моему доброму самаритянину Виктору Нойбургу от паломника Цестриуса, направляющегося в Мариоланд, Kia Ora (добрая удача) проездом Июнь 24, '10, Лейла Уэдделл».

2 В 1912 году была война на Балканах, и, конечно же, Первая мировая война в 1914.

следует пустить по кругу, однако он предупредил, что много пить не стоит: «Там есть алкалоиды опиума». На вкус напиток напоминал гнилые яблоки. Некий доктор Дженсен помог организовать церемонию, они потеряли Виктора из виду и снова увидели его в белом одеянии, таинственно двигающимся под звуки скрипки. Все взоры обратились на танцующую фигуру.

– Где он научился танцевать? – спросила я.

– Не знаю. Этот танец он просто выдумал.

– Что это был за танец?

Она подняла руки над головой, как будто бы стараясь вспомнить его жесты, и сказала:

– Он все время вертелся.

– Как дервиш! – воскликнула я. Она согласилась, а я предположила, что в Алжире он, должно быть, видел танцующих дервишей, и это его вдохновило. Я припомнила один разговор с Вилятом, случившийся много лет назад. Я спросила его, в чем смысл танца дервишей, и он ответил: «Это способ уйти в астрал. Они кружатся, кружатся и кружатся, пока у них не закружится голова настолько, что они покидают свои тела».

– Он упал! – сказала Этель Арчер. – И несколько минут лежал без сознания.

Она решила, что так подействовал наркотик, хотя они с мужем испытывали совсем противоположное: чувствовали себя необыкновенно бодрыми и оживленными. Это ощущение сохранялось почти целую неделю. Этель Арчер также рассказала мне, что Кроули показал ей дыхательное упражнение йоги, которое она выполнила по возвращении домой. Сперва она не почувствовала никакого эффекта, поэтому, хотя он ей и советовал не делать его слишком долго, продолжила. Вдруг кровь хлынула у нее из носа и рта, и она потеряла сознание. Она никогда ему об этом не рассказывала и не хотела, чтобы в этом обвиняли Кроули.

Среди вещей из коллекции Энтони д'Оффэ, доставшихся мне, было письмо, написанное рукой Виктора на бланке «Эквинокса» и адресованное мужу Этель Арчер:

«Эквинокс»

15 июня 1910

Дорогой г-н Уиланд,

Кроули уехал на некоторое время: я рад, что действие наркотика перестало сказываться на Вас и г-же Уиланд.

Во всяком случае, вы пережили захватывающее, хотя и не очень приятное приключение!

Что касается людей, которые были так любезны, что оказали знаки внимания, – я просто не верю, что они существуют!

Мое почтение г-же Уиланд и Вам.

Искренне Ваш,

Виктор Б. Нойбург.

P.S. Стихотворения вполне хороши.

По всей видимости, это оригинал экзальтированной версии, преподнесенной так, будто письмо было адресовано самой Этель Арчер, и опубликованной в книге Этель «Иероглиф»¹.

Генерал Фуллер рассказал мне, что эти представления на Виктория-стрит нисколько не выходили за рамки приличий. Он посетил их все и каждый раз брал с собой жену, а однажды даже мать.

Номер «Скетча» за 28 августа содержал благоприятную рецензию. «После некоторых церемоний, брату Omnia Vincam было велено танцевать «танец сфинкса и Пана в честь госпожи нашей Артемиды». Молодой поэт, чьи произведения хорошо известны, поразил своим грациозным и красивым танцем, который он продолжал до тех пор, пока не упал без сил посреди комнаты, где, к слову, он и пролежал до конца. Последовала мертвая тишина. После длительной паузы фигура на троне [Лейла Уедделл] взяла скрипку и заиграла...».

Падение Виктора не было случайностью в привычном смысле слова. В опубликованной автобиографии Кроули я наткнулась на следующий абзац:

Диалог и действие были немногим более чем декорации для солистов. Мы были свободны в главном; я..., скрипачка Лейла Уедделл и Нойбург, танцор. Иногда мне кажется, что из нас троих он был лучшим. Он обладал исключительными способностями. Создавалось впечатление, что он вообще не касается пола; он все время ходил по кругу с такой скоростью, что, казалось, вот-вот вылетит из него по касательной. Обычно, при отсутствии точ-

1 «Экзальтированная» версия, напечатанная в «Иероглифе», гласит:

Дорогая мисс Стрикленд,

Привет Вам, и большое спасибо за статью. Мы рады, что Вы справились с этим ужасным испытанием, и надеемся, что теперь с Вами и Вашей семьей все в порядке. Что до людей, которые были так любезны, что оказывали знаки внимания, то их просто не существует! – Ваш в Тайне,

Бенджамин Н.

PS Когда Вы снова придете?

Можно заметить, что серьезные изменения в письме касаются того, что (а) письмо адресовано ей самой, а не ее мужу, (б) подпись изменена с «Искренне Ваш» на «Ваш в Тайне» и (в) постскриптум изменен на приглашение прийти снова.

Любопытно, что я нашла оригинал этого приглашения, приписываемого Вики, когда Этель Арчер умерла, а Энтони д'Оффэ приобрел огромное количество ее бумаг и позволил мне на них взглянуть. Там было много рукописей ее собственных стихотворений, и на обороте одной из них я различила неразборчивую карандашную надпись, сделанную знакомой рукой: 124, Виктория Стрит, Юго-Запад.

Июль, 1910

Дорогая миссис Уиланд,

Я предложил это после того, как Вы ушли в прошлый раз. Неплохо; Вам следует его доработать. Когда Вы снова придете?

Ваш,

Алистер Кроули.

Что касается изменения имен в «Иероглифе», Этель Арчер упомянула в нашем разговоре, что прототипами героев Свароффа, Ньютона, Айрис Стрикленд Блитцен послужили Кроули, Виктор, она сама и ее муж, но открыто признавала, что выдумала все события, в которых участвовали герои. Она не дала Виктору возможности посмотреть рукопись, и страшно испугалась, когда я сказала, что нашла ее книгу в библиотеке Виктора.

ных данных, не любят предполагать действие некоей неведомой силы; однако, я был свидетелем столь многих несомненных явлений в его присутствии, что лично я вполне уверен – он пробуждал весьма специфическую энергию. Смысл его танца был в том, чтобы непременно довести себя до полного изнеможения. Порой у него не получалось потерять контроль над собой, и тогда, конечно же, ничего не происходило; но когда ему это удавалось, эффект был превосходный. Зрелище того, как его тело неожиданно слабело и летело над полированным полом, точно раскрученный камень, было ошеломляющим.

Во время этих представлений Кремерс, только что приехавшая из США, впервые появилась в окружении Кроули. Она пришла в качестве зрителя; впоследствии она всегда утверждала, что, хотя многое в общей обстановке казалось ей обманом, во время танца Виктора действительно что-то происходило. Она чувствовала, что в определенные моменты, когда Виктор «вытанцовывал» бога, божество действительно снисходило в него.

Кремерс со времени нашей необычайной встречи у Вики всегда была для меня загадкой; проводя это исследование, я получила информацию о ней из неожиданных источников. На мое письмо в «Дейли телеграф» откликнулась некая миссис Джойс Сондерс, чья мать, Оливия Хаддон, одно время интересовалась идеями Кроули и разделяла его, как выразилась миссис Сондерс «смешанное масонство». О Викторе она могла мне рассказать немного, но упомянула знакомство с Витторией Кремерс и настолько заинтересовала меня, что я отправилась к ней домой в Богнор Реджис.

Миссис Сондерс подчеркивала скрытность Кремерс в отношении обстоятельств своей жизни, и, казалось, сама находилась под влиянием этой скрытности. Ее брат был душеприказчиком Кремерс, но перед смертью она сожгла все документы, стараясь полностью уничтожить следы. Хотя она была близким другом семьи долгие годы, свое происхождение она всегда держала в тайне. Ее мать была француженкой. Кремерс была незаконнорожденной. Считалось, что ее отцом был человек из чрезвычайно богатой семьи еврейских финансистов; полагали, что это один из Ротшильдов. Поскольку он назначил ей содержание, она была почти одержима идеей не поставить его в неловкое положение, позволив их родству стать достоянием общественности. Она вышла замуж за русского, барона Луи Кремерса, и взяла его фамилию. В действительности она была баронессой, но не использовала свой титул, и ее всегда звали Кремерс, как мужчину. Она стала носить короткую прическу задолго до того, как женщины начали стричься. Много лет она прожила в США, где в качестве тайного агента помогла полиции Нью-Йорка раскрыть аферу, связанную с торговлей наркотиками и проституцией.

Для женщины, которую мне прежде описывали как «посвященную в буддизм», это было странной карьерой. Но я также вспомнила зловещее имя Джека Потрошителя, упоминавшееся в тот день, когда она пришла к Вики. «Вы когда-нибудь слышали что-либо о Джеке Потрошителе в связи ней?» – спросила я.

– Она знала Джека Потрошителя, – только и сказала миссис Сондерс. Она замолкла и не хотела продолжать. Было ясно, что Кремерс она восхищалась,

поскольку говорила о ней, как о замечательной личности и описывала ее сияющие глаза.

Меня взволновал рассказ об участии Кремерс в Элевсинских Ритуалах, когда я наткнулась на него в еще не опубликованной в ту пору автобиографии Кроули. Впрочем, там не было почти ничего об их отношениях, только то, что она поставила своей задачей бороться против него и уводить его учеников. Но там была история Джека Потрошителя! И, несмотря на их враждебные отношения, Кроули изложил ее так, что ей это делает честь. (С другой стороны, он утверждал, что она занималась сутенерством наркобизнесом в Нью-Йорке и была лесбиянкой. Об этом мне рассказал Хайм, но в этом случае я не доверяю ни мнению Хайма, ни мнению Кроули.) Однако вернемся к истории о Джеке Потрошителе, которая предшествовала нью-йоркскому периоду, поскольку Потрошитель орудовал в Лондоне в 1888 году.

По словам Кроули, писательница Мейбел Коллинс призналась Кремерс, что ее возлюбленный ведет себя очень странно, и она боится, что он и есть Джек Потрошитель. Возлюбленным был доктор Рослин д'О Стивенсон, иначе называемый доктором Рослином д'Онстоном, настоящее же его имя – Роберт д'Онстон Стивенсон, и доктором он не был. История, рассказанная Кроули, была настолько мелодраматична и неправдоподобна, что я решила, что он ее выдумал.

Тем не менее, я отправила эту историю, найденную среди бумаг Кроули, письмом миссис Сондерс и попросила ее прокомментировать. Ее ответ не содержал никаких подробностей, но зато подкрепил эту историю в совершенно неожиданном для меня аспекте:

Я хорошо помню, как Кремерс говорила, что довольно хорошо знала Джека Потрошителя через свою близкую приятельницу Мейбел Коллинс.

С тех пор многое об этом деле выяснилось с публикацией двух книг: «Джек Потрошитель. Итоги и вердикт» Колина Уилсона (1987) и «Джек Потрошитель. Кровавая правда» Мелвина Харриса (1987). Оба автора опираются на записи, оставленные неким Бернардом О'Доннеллом, журналистом, взявшим интервью у Кремерс, но так и не опубликовавшим его, поскольку он чувствовал, что история этим не ограничивалась. Колин Уилсон пишет, что человеком, подсказавшим О'Доннеллу, что Кремерс может рассказать историю о Джеке Потрошителе, был Хейтер Престон. Это наводит меня на мысль, что О'Доннелл – тот самый молодой репортер, который пытался поговорить с Кремерс в тот день у Вики. Мне кажется, я слышала, как Руния назвала его Дональдом, но я могла перепутать О'Доннелла и Дональда на слух. Если это действительно был он, он не произвел на меня впечатления глубокого человека. Но, согласно его записям, окончательно Кремерс убедилась в том, что эти преступления были совершены д'Онстоном после его утверждений, что убийств больше не будет.

На самом деле, я думаю, она ошибалась. Чтобы разрешить ее подозрения и подозрения Мейбел Коллинс, он вызвал полицию и так странно говорил о преступлениях, что они почти начали его подозревать, хотя, казалось бы, просто сочли сумасшедшим.

У меня случайно оказались исходные материалы, подсказывающие противоположное направление, которое я раскрою в книге «Сикерт и преступления Потрошителя».

Некоторые из танцев, исполнявшихся Виктором, были заклинаниями Луны, и годы спустя он поведал капитану Кингу Буллу, что однажды Кроули в конце церемонии не произнес ритуальные слова, которые освободили бы Виктора от одержимости. Это был серьезный пример халатности (если, конечно, это была халатность), потому что Виктор остался одержимым. Он сам изгнал божество, как умел, но, оглядываясь в прошлое, считал, что достаточно долгий период испытывал гораздо большее влияние луны, чем обычно.

Вечера на Виктория-стрит были настолько успешными, что Кроули снял Кэкстон-Холл в Вестминстере на семь сред подряд (с октября по ноябрь) на 9 вечера. Входной билет на всю серию представлений стоил 5 фунтов и 5 шиллингов. Виктор танцевал аллегорию, в которой он в качестве Марса пытался разгадать загадку вселенной, взывая на представлениях поочередно к Сатурну, Юпитеру, Солнцу, Венере, Меркурию и Луне. По мере того, как все они признали свою несостоятельность в разгадывании, в итоге обратились к Пану, который разрешил вопрос. В представление были введены дополнительные лица для изображения этих небесных тел.

Среди них была юная девушка сверхъестественной бледности; ее темные волосы, свободно ниспадавшие вдоль тела, были увенчаны повязкой с серебряными листьями, одета она была в блестящее белое одеяние. Она была луной.

По поводу этой девушки, которой была уготовлена столь драматичная роль, госпожа Ребекка Уэст написала мне:

Я училась вместе с Джоан Хэйз в Королевской Академии Драматического Искусства в 1910 году. У нее было прекрасное лицо, в традициях русского балета, овальное, с красиво очерченными бровями; ее волосы были совершенно черными, а кожа белой. В то время большинство девушек не пользовались пудрой, мы использовали так называемый бумажный порошок и считали то, что она использовала пудру, достаточно экстравагантным, особенно когда она стала наносить бледно-голубые или бледно-зеленые оттенки, чтобы подчеркнуть белизну кожи. Этому она научилась у знаменитой красавицы тех времен... бедняжка, такая красивая, она совершенно не могла играть, ей следовало родиться в век фотомоделей. У нее было тело двенадцатилетнего ребенка. Она была капризом природы, пусть и очень красивым. Она была одновременно невысокая и тонкая. Как будто ее рост остановился. У нее совершенно отсутствовал малейший дар актрисы или танцовщицы. Читала она с деревянной интонацией, двигалась неуклюже. В общих вопросах она также была достаточно глупа. Но ее красота была необыкновенна, и у нее был замечательный характер. Джоан Хэйз была восторженным, добрым и сочувствующим другом.

У нее были две сестры. Одна из них – знаменитая манекенщица Кэтлин Хэйз, вторая тоже выступала на сцене. Думаю, их отец был французом,

приехавшим в Англию из-за того, что дело Дрейфуса каким-то непонятным образом разорило его. Возможно, они были евреями. Она ни в коей степени не была похожа на дочь человека, сдававшего квартиры на Брикстон-Роуд. Кстати, она ничего не скрывала о своей семье и относилась к ней с юмором. Она прекрасно говорила по-английски, и странно – по-французски, у нее были хорошие манеры, и во всем, что она говорила и делала, чувствовалась определенная изысканность; но в ней также было что-то странное, удерживающее на расстоянии, и к тому же душок второсортного театра. Гонорары свои Джоан получала от кого-то очень странного – не могу припомнить точно, кем он был – местным врачом или бакалейщиком. Так или иначе, он приходил посмотреть на ее игру со своей женой, и я их видела. Или он был букмекером? Припоминаю разбитную и вульгарную парочку. Джоан работала в ритуальных шоу Кроули статисткой. То ли она сама обратилась по объявлению о работе, то ли ее направил агент. Не думаю, чтобы у Джоан были идеи, которые могли привести ее к Кроули. Она была очень простодушна, читала, чтобы развиваться, но не отличила бы Марию Корелли от Томаса Харди.

В то же время, Этель Арчер посвятила Виктору стихотворение, которое позднее вошло в ее первую книгу «Водоворот».

Посвящается ВБН

*Что за тень тревожит чуткий воздух?
В смутном вихре огненный цветок поднимается
Из темноты, кружась быстрее, разгоняя мрак
Насыщенных ладаном теней, туда,
Где тихо поются мантры, до тех пор, пока
Молитва, так часто повторяемая, не заполнит
Комнату мрачную с волшебством сильнее шлейфа
Неизвестного, кем мы клянемся!*

*Виктор! Дважды Виктор! В златых аккордах хора
Услышь нашу хвалу!
Прими наше почитание, пока внутри тебя витает
Другой дух, срывая с себя свою красоту,
Жемчужины страсти, в бешеном экстазе.*

На это Виктор ответил стихотворением, к сожалению, не из лучших, что заставляет меня думать, что написано оно было из простой вежливости. Он отвечает ее как измученную душу с Лесбоса, но добавляет пару загадочных строк:

*Ты, мелодичный смех освобожденного мужчины,
Ты, ярьость вечной женской панихиды!*

Я думаю, что первая из них превосходна. Но ее ли он приветствует, или, как подозреваю я, свою собственную свободу?

Этель Арчер с этих пор стала проводить все больше времени в офисе «Эквинокса», очарованная Кроули и Виктором. Виктор читал гранки, и, когда требовалось подбросить угля в камин, брал его пальцами. Из-за этого его руки всегда были черны от типографской краски и угольной пыли. Кроули говорил: «Покажи мне ладони, Виктор!». А Виктор прятал руки за спину, говоря: «Не покажу!» как ребенок.

– Он был абсолютным чародеем! – сказала Этель Арчер. Я подумала, знает ли она, что слово, которое она употребила, в современном языке приобрело значение «гомосексуалист». По одному ее замечанию, сделанному раньше, я заключила, что она знала, что Виктор гомосексуален, но по тому, как она произнесла это слово, как бы говоря о сверхъестественном, поняла, что она использует его в буквальном значении. В следующее мгновение она произнесла:

– Он был гномом! Нет – не гномом, потому что они ирландские. Что похоже на гномов, но не ирландское?

– Эльф? – предположила я.

– Злой эльф! – сказала она. В его смехе она чувствовала что-то дикое, скорее свойственное лесам, чем царству людей. – Он как-то сверхъестественно смеялся. – Внезапно, подавшись вперед и, казалось, напряженно всматриваясь в другие миры, она сказала: – Он не был человеком!

ТРИУМФ ПАНА

«Триумф Пана»¹, вторая книга Виктора, была опубликована «Эквиноксом» в 1910 году. Мое изучение годовой подшивки журнала «Букселлер» в Британском музее было вознаграждено: я обнаружила, что книга упомянута на неделе, начинающейся 16 декабря.

В этой книге 182 страницы, пятнадцать страниц занимает заглавная поэма. В самом начале слова *Lampada Tradam*, что означает «Я несу свет». Это был его новый девиз Ревнителя, свидетельствовавший о том, что он перешел в эту степень и теперь был 2=9.

Заглавная поэма, состоящая из сорока четырех восьмистрочных строф, начинается так:

Меня держат три бога когтистыми лапами;

Первый бог – женщина, она хочет, чтобы он стал ее любовником. Ее желания «мягки и чисты».

Но когда я люблю ее, она поглощает меня;

Она иссушает мою душу, доселе бывшую свободной.

Это Джоан Хэйз?

О втором ничего не могу сказать, разве что это мог быть сам Пан.

¹ Несколько стихотворений из «Триумфа Пана» были опубликованы в антологии «Кембриджские поэты, 1900-13», где Виктору Нойбургу отводится столько же страниц, сколько Руперту Бруку.

Третий – явно Кроули:

*Наконец, есть Великий, холодный и обжигающий,
Лукавый и горячий в похоти,
Делающий меня сапфистом и урнингом,
Бренным лесбийсцем.*

...

*Он несет нечистоты всех прошедших времен,
И сквозь него льется ярчайший свет;
Это мертвые, давно-давно знавшие его;
Он переходил от
Язычника к иудею,
Осеменявших его своими молитвами,
Но он отверг их жертвоприношения, ища меня,
Бог, величественно убиенная жертва.*

...

Лежу в пыли изломанную тенью.

...

Я окончательно и низко пал.

...

*Мой Бог непогрешимо мудр,
Мы были грязны в нашей страсти...*

Конечно, это гомосексуальная поэзия, и ее размах грандиознее всего известного мне, не исключая Верлена. Во многих строках и образах летит песок.

*...солнце пылает
Над вечными песками,
Бесконечная дорога становится все круче; мы идем
По безымянной стране.*

Они поднимаются на Даллах Аддин, но это и духовная территория:

*Назад пути нет, наши следы пропали
В пыли, песке и траве,
Слушай! Мы движемся по запретной тропе,
Где ни одна душа не узрит нас.*

...

*...мы не останавливаемся,
Ибо тот, кто оглянется назад, собьется с пути.*

Далее в цепи разнородных образов возникает возвышенный мотив:

*Мы вышли за пределы осмеяния человека,
Люди наги, бесстыдны и свободны
Будут стоять, исполнившись восторга!*

В конце, пожалуй, самой искренней поэмы, когда-либо увидевшей свет, читаем:

*...со мной соблазн, и я бесстрашен,
Нагой, свободный, молодой;
Мой факел на просторе развеял мрак ночи.
День молодой, горячий струится из Господних чресл!
Восстав с земли бесплодия,
Песнь Бога в Человеке несется ввысь!
Победа! Приветствую тебя, о Пане возрожденный!*

Здесь отражено время его наибольшего эмоционального взлета, гордости своими силами, момент иступленного восторга. Он еще не сломлен, волна еще не ударила в скалы, столь большие, что готовы приглушить ее набег.

За заглавной поэмой следует ряд более коротких стихотворений. Среди них есть «Пропавший пастух», тоже гомосексуальная поэма, хотя он и попытался закамуфлировать это в первых шести строфах, начинающихся так:

*Она бредет по звездным тропам,
Кровавой розы распутившийся бутон;*

и заканчивающихся (XVI):

*Она рождается в полночный час – в потоке,
Вся в звездах распутившаяся роза.*

они образуют своего рода обрамление, прекрасное, но самостоятельное и никак не связанное с центральной частью поэмы, начинающейся со стиха VII:

*В иные дни я вел пастушескую жизнь,
...
И обретал я рощи Пана: я приходил
На поле в маргаритках,*

Затем происходит изнасилование пастуха. После этого

*... Пан, утром встав, ушел,
Меня наедине со сном оставив;
И долго я лежал, не дышащий в объятиях Морфея.
Потом на четвереньках я отполз
Обратно, в тень спасительных деревьев;
Увидел я своих овец в лугах тенистых;
И ощутил переполнение; зарделись щеки,
Глаза сияют слишком ярко, чтобы плакать.*

Интересно, что это стихотворение посвящено Этель Арчер. Я спрашивала ее об этом. Она сказала, что Вики показал ей всю книгу, когда та находилась в

корректуре, и, объяснив, что хотел бы посвятить стихотворение каждому из друзей, попросил ее выбрать одно или два, с которыми можно было бы связать ее имя. Она выбрала «Котел» и «Пропавший пастух».

Автор советовался далеко не со всеми, кому сделаны посвящения. Генералу Фуллеру достался фрагмент о человеке, подвергшемся ритуальному побиванию камнями и забитому до смерти. Я написала ему об этом, и он ответил:

Понятия не имею, почему ВН посвятил это мне, и, перечитывая, все равно не могу взять в толк, отчего он так поступил. Это относится к большинству людей, которым он посвящал свои стихи, многих из которых я знал. Похоже, он раздавал посвящения случайно, упоминая столько друзей, сколько у него было стихов.

Некоторые стихотворения были посвящены девушкам, с которыми Виктор вступал в мимолетные отношения. Каммелл показывал мне копию «Триумфа Пана», в которой со слов доктора Э. Т. Дженсена, входившего в окружение Кроули, он сделал примечания о некоторых адресатах посвящений. Под стихотворением «Долли» я прочитала: «Долли была fille de joie, раньше пела в хоре». «Встреча» посвящена Норе: «Нора была куртизанкой, с которой ВБН встречался в Борнмуте в 1910 году». «Осколок ночи» посвящен Бруне: «Бруна была fille de joie и подругой ВБН».

Джон Саймондс свел меня с вдовой одного из учеников Кроули, Ноэля Фитцджеральда. У нее тоже были примечания о тех, кому посвящались стихи, – к сожалению, из того же источника, хотя и написанные в более жестких выражениях и несколько утрированные, например: «Норма была проституткой, с которой ВБН встретился той ночью в Борнмуте». Возможно, она и была проституткой, но ей досталось чудесное стихотворение, начинавшееся так:

*Фиолетовые небеса окаймлены мелодией,
Мягкий голубой свет полной луны:
О качание праздной селены!*

Эти посвящения женщинам легкого поведения противопоставляются строкам в «Ноктюрне» (не вошедшим в «Триумф Пана», но опубликованным в «Эквиноксе» №5), обращенным к образу женщины, предстающему перед его внутренним взором, точно во сне и кажущемуся его истинной любовью:

*...Крошечные бутончики розы
Окаймляют твою зеленую мантию и твои рыжие волосы,
Блестящие от звездной пыли.*

Большинство строк из «Ноктюрна» позже вошли в более длинную поэму «Rosa Ignota», опубликованную в «Эквиноксе» № 10. Я долго пыталась понять, кто была эта девушка. По всем признакам не Джоан Хэйз, и ее волосы были другого цвета. Ни один из друзей Виктора не мог назвать девушку, которая подходила бы под это описание, и я пришла к выводу, что это, скорее всего, фигура,

являвшаяся ему только в грезах, как в «Храбром сердце» и «Седом друге». Я была недалеко от истины и все же не находила разгадки до самого конца моего исследования.

Стихи также посвящались Кроули, Норману Мадду, Кеннету Уорду, Джорджу Раффаловичу, Артуру Гримбл, Марстону, Лейле Уэдделл, Оскару Леви (переводившему Ницше), Эдварду Стореру, Р. Нозлю Уоррену, Р. Б. Хазельдену, Рэю Фразеру, Дороти Тейлор, Ранье Темп (ей посвящен «Сон на холмах»), Э. Дж. Виланду, Вильфреду Мертону, матери Вики, тете Ти, его кузену С. Х. Дэйвису и Рудольфу С. Скиннеру. Вся книга была посвящена Джеральду Пинсенту.

Но в свете будущих событий самое значимое посвящение досталось Джоан Хэйз. Жаль, что цикл стихов, посвященных ей, «Песни Сигурда», скорее всего, не связан с личными взаимоотношениями. Цикл повествует о норвежце в саксонских землях; Вики как-то неожиданно заинтересовался викингами, их мифами и ладьями.

Последняя часть книги состоит из опубликованного ранее цикла «Оливия Вейн», который я цитировала, когда говорила о периоде, когда она была написана.

В конце книги появляются строки, которые кажутся весьма необычными, потому что напечатаны красным и помещены на отдельной странице. Действительно, они наделены особым смыслом, по-видимому, подтверждающим тезис, который я развивала ранее, о том, к чему на самом деле стремились Виктор и Кроули в своих отношениях.

Я не смогу воспользоваться красными чернилами, так что выделю эти строки курсивом:

***Дева играет на арфе, лютя из серебра
В руках гермафродита; Все это сбудется.***

Этому тому стихов Виктора, «Триумфу Пана», было посвящено первое письмо Джона Мидлетона Мёрри Кэтрин Мэнсфилд. Как и Виктор, она сотрудничала в журнале А. Р. Орэджа «Нью Эйдж». Я глубоко признательна мистеру Чарльзу Стивенсу из Ливерпуля, внуку другого автора, пославшему мне фотокопии нескольких страниц издания от 28 декабря 1911 года, где была не только статья Х. Ф. Стивенса, но и перевод с немецкого «Англичанина за границей» Карла Хиллебранда, выполненный Виктором Нойбургом. В том же декабре Кэтрин Мэнсфилд и Мёрри встретились на званом обеде. Заинтересовавшись, он дал ей книгу и попросил отрецензировать ее для нового журнала «Ритм», которым он только что начал заниматься. Она попросила его рассказать что-нибудь об авторе. Так Мёрфи написал ей первое письмо:¹

27 янв. 1912

Дорогая мисс Кэтрин Мэнсфилд.

Я мало что знаю о человеке по имени Нойберг [sic], но поделюсь тем, что мне все же известно. Он один (точнее, был одним) из протеже Алистера

1 «Письма Джона Мидлетона Мёрри Кэтрин Мэнсфилд», ред. С. А. Хоскинс (1983), с. 16.

Кроули, участником его непристойных, хотя и божественных фокусов; роль эрастиса Кроули всегда была пассивной...

Все верно, но обидно за Виктора, что о нем узнавали в таком качестве. Репутация, приобретенная в ту пору, будет мешать ему в дальнейшем. Несмотря на такой отзыв, Кэтрин Мэнсфилд написала доброжелательную рецензию, занявшую почти целую страницу «Ритма» и содержавшую семнадцать строк цитат из стихов Виктора. Похоже, больше всех ей понравился «Сон на холмах»:

*Мир обретается на холмах,
Там может спать печальная и гордая душа,
Златой покров и зелено-пурпурный вереск
Хранят слезу, оброненную
Соленым ветром,
И ляжем вместе мы с тобою.*

Итак, Виктор находился на краю этого круга. Встречался ли он с этими людьми, обсуждавшими его самого, его произведения и жизнь? Попытаюсь вспомнить. Он упоминал об Орэдже как о замечательном литературном редакторе тех времен, когда нас еще не было на свете, и припоминаю, что он уважительно отзывался о Беатрис Хастингс, жившей вместе с Орэджем, писавшей в «Нью Эйдж» и много помогавшей за кулисами. По мнению Вики, ее значимость недооценивалась (теософы благодарны ей за защиту мадам Блаватской). На моей памяти Вики лишь однажды упомянул Джона Мидлетона Мёрри; точно не припомню слов, но, по-моему, он говорил о Мёрри как о человеке, пытавшемся что-то понять, но ничего не понимавшем.

ПУСТЫНЯ

Отзывов на «Триумф Пана» было множество, однако Виктор не сразу их увидел, поскольку Кроули торопился вернуться в Африку. Кроули устроил Этель Арчер и ее мужа в своей квартире и, наказав сторожить крепость, отбыл с Виктором. В Марселе они задержались на несколько дней, ожидая парохода в Алжир. Виктор отправил Этель Арчер открытку из «Отеля де ля Режанс», датированную и проштемпелеванную девятым декабря 1910 года.

Если будет время, вышлите мне гранки в Бискру; мы с АК хотели бы взглянуть на Вашу книгу прежде, чем она пойдет в печать. Если времени не будет, не беспокойтесь. Мы выезжаем сегодня.

Ваш,

Виктор.

Книга, о которой идет речь, – сборник ее стихотворений «Водоворот», который вышел в издательстве «Эквинокс»; на обороте, прямо по картинке, Виктор написал:

Попросите Банко послать мне обычного «Пана» в Бискру вместе с другими книгами и посылайте новости о «Водовороте».

Наилучшие пожелания

от Виктора Б. Нойбурга

Это послание – первое из тех, которыми я располагаю, где он использует две точки, разделенные косой чертой. Этого знака не было в письме Виланду, отправленном в июне, но, начиная с этой открытки, он будет неизменно стоять рядом с его подписью. Этот знак многих озадачил, и меня часто спрашивали, не является ли он астрологическим символом. Нет, не является, но может принадлежать розенкрейцерам. Большинство розенкрейцерских орденов используют точки, обычно расположенные в виде пирамид, которые слегка отличаются друг от друга в зависимости от ордена и степени. Предполагаю, что этот знак соответствовал рангу Виктора – Ревнитель, или 2=9.

В Алжире они сели на поезд до Бу-Саада, где, судя по всему, провели 6 ночей. Из Бу-Саада Виктор отправил вторую открытку Этель Арчер:

14 декабря 1910 года

Привет Вам и Банко. Завтра отправляемся в путь пешком. Попросите Банко бесплатно послать обычный экземпляр «Пана» У.К. Сандерсону, Зал Голосований, палата общин.

Наилучшие пожелания,

Виктор Б. Н.

На этот раз Виктор и Кроули собирались забраться глубже в Атласские горы Сахары, поэтому раздобыли верблюдов с погонщиком и мальчиком, который за ними присматривал. Первый привал они сделали у шейха, возглавлявшего нечто вроде мистической школы, – тот принял их как гостей и проговорил с ними до поздней ночи.

Утром они тронулись в путь, вверх, к перевалу в горах. Если описывать каждый день их пути по тексту Кроули, это займет слишком много времени. Вскоре они попали под ливень. Виктор и Кроули даже не подозревали, что дождь может быть таким. В действительности, они попали в шторм, вошедший в историю. Трудности с установлением палатки напоминали проблемы, описанные в «Трое в лодке, не считая собаки». Палатка представляла собой арабский навес из одеяла и палок, некоторые из которых, очевидно, образовывали каркас, в то время как назначение других они определить не смогли, кроме того, что эти палки в них втыкались.

Верблюды были никудышные. Погонщик и мальчик постоянно жаловались, говорили, что животные слишком замерзли, устали и не могут идти дальше. Поскольку они не взяли с собой еды для верблюдов, а возможности укрыть их от холода не было, Кроули и Виктор не считали выходом из положения просто остановиться. В конце концов, погонщик и мальчик устроили сидячую забастовку. Усевшись на пустую гробницу, они объявили, что дальше не пойдут. Кроули и Виктор называли их обманщиками и дальше поехали они, поскольку к этому времени уже научились заставлять верблюдов двигаться в нужном направлении. Когда,

наконец, ливень прекратился на третью ночь, проведенную под открытым небом, они ухитрились развести костер и до рассвета сушили одежду.

Погонщик и мальчик, не желавшие потерять верблюдов, в итоге нагнали их, но Кроули и Виктор решили дальше двигаться без них, пешком. Они собирались выполнить дополнительные ритуалы к Этирам, но сейчас не чувствовали нужного настроения.

Большую часть времени они проводили на открытом воздухе. Однажды, по рассказу Кроули, они за полтора дня прошли сотню миль, – подозреваю, что это преувеличение.

В плоской, невыразительной пустыне, где не видать ни одного движения от горизонта до горизонта, чувство отрешенности от обыденной жизни было полным. Мельчайшее физическое ощущение приобретало абсолютное значение. Стало возможным, как не бывает «даже в самый священный медовый месяц»,

любить, как невозможно любить ни в каких других условиях. Каждое мгновение жизни наполняется предельной глубиной, поскольку нет ничего, что могло бы отвлекать от поглощенности.

После таких строк странно было прочитать:

«Я оставил Нойбурга в пустыне восстанавливать силы».

Так об этом отзывается Кроули. Разберны, когда годы спустя Виктор им об этом рассказал, поняли это совсем по-другому: «Кроули бросил его в пустыне».

Виктор чувствовал, что его совершенно не по-дружески, жестоко покинули. Если, что вполне возможно, Кроули брал с собой карту и компас, Виктор мог испугаться, что заблудится. Ясно, что он пребывал в крайнем отчаянии, и я полагаю, что именно в этот момент он воззвал о помощи к Великому Белому Братству.

*И Мастер услышал; все помнящей рукой
Он начертал письмо на сморщенном песке.*

Виктор добрался до побережья в районе Боны и отплыл из тунисского порта.

ТРЕУГОЛЬНИКИ

Теперь жизнеописание Виктора вступает, как мне кажется, в самый запутанный период. Мне этот период представляется последовательностью треугольников, в которые Виктор был вовлечен; но эти треугольники, из-за гомосексуального контекста, можно по-разному интерпретировать. Трудно узнать что-то наверняка, и, поскольку дело мы имеем с реальными людьми, с реальными чувствами, нельзя вертеть ими, точно марионетками. Задачу усложняет и то, что всю историю покрыли дебри легенд, большинство из которых основывается на недоразумениях и лжи. Отбросив все это, я представляю только суть ситуации, которую выявила в своем исследовании.

Сначала возник треугольник, состоявший из Кроули, Виктора и Джоан Хэйз; потом добавился еще один – Виктор, Джоан Хэйз и Этель Арчер. Я коснусь второго, поскольку он касается роли Этель Арчер как свидетельницы. Едва разговор заходил о Джоан Хэйз, она чуть ли не впадала в истерику; Этель говорила о ней с

чрезвычайной неприязнью, и меня поразило, с какой ненавистью она говорила о девушке, похороны которой посетила полвека назад. «Она заставила его [Виктора] пообещать не видеться со мной. Я тысячу лет его не видела, а когда мы встретились, спросила, куда он исчез, и он ответил: “Она попросила, чтоб я покаялся не встречаться с вами”».

– У нас с Виктором не было романа! – добавила она, испугавшись, что предыдущая фраза могла произвести на меня неправильное впечатление.

Я уверена, что не было. В собрании Энтони д’Оффе я нашла несколько посланий Виктора к Этель Арчер, написанных в разное время. Все связаны с типографскими гранками и тому подобным, и их тон, хотя и дружелюбный, несовместим с чем-либо большим, нежели приятельские отношения.

Так или иначе, ревность может возникнуть и без всякого романа. Отношение Этель Арчер к Виктору было явно запутанным и противоречивым. Забыв о Джоан, она прочитала мне из «Триумфа Пана» дрожащим голосом и сказала: «Просто великолепно». Казалось, она перенеслась назад, в другой мир. Но любой вопрос о Джоан – и она тут же выходила из себя, воспоминание о Викторе тонуло в сарказме, и оба устаивались самых нелестных характеристик.

Дама Ребекка Уэст заявила, что Джоан совершенно не заслужила замечаний Этель Арчер по поводу ее морального облика.

Дама Ребекка написала:

Я понимаю, что она, вероятно, вышла из семьи низкой, но... в том, что она была невинной девочкой, я уверена. Я целый год встречалась с ней каждый день во время занятий и несколько раз приглашала ее к себе, проводя перед весьма пронизательным взором моей матери, считавшей Джоан милой, глупой, очень жеманной, доброй девочкой, которую ждет трагедия из-за ее честолюбия и вполне очевидной бездарности.

Что интересно во всей этой истории, так это то, что у Джоан почти не было примечательных черт, кроме очарования, о котором я упоминала, и щебевающей воробыиной суетливости.

Она вспомнила, что кто-то в Королевской Академии Драматических Искусств рассказал им непристойную шутку, которую не поняли *ни она, ни Джоан*.

Не сомневаюсь, что портрет Джоан тех времен, когда с ней общалась Дама Ребекка, точен, но не исключаю, что она сильно изменилась, когда ушла из Академии и примкнула к окружению Кроули. Сама Дама Ребекка пишет:

Я потеряла связь с Джоан Хэйз, но однажды пошла в какой-то подвальный театр и увидела ее на сцене... она играла в авангардной пьесе. Играла так плохо, что меня это смутило, и я не пошла за кулисы, чтобы поговорить с ней. Я также заметила в ней неприятную перемену, что-то неестественное и странное.

По рассказам Этель Арчер я составила такую картину: Джоан стоит за спиной Кроули, сидящего за столом, и, проводя рукой по его волосам, называет его «Алистер».

– Даже Виктор не называл его Алистером! – сказала она, подчеркивая чудовищность такой фамильярности.

– А как Виктор называл его? – спросила я, заинтересовавшись.

– Эй Си обычно. Или Священный Гуру. Или по фамилии.

По ее словам, Кроули испытывал к Джоан отвращение. Этель процитировала, как он о ней отзывался и говорил с ней; слова, если он их действительно употреблял, были чрезвычайно оскорбительны.

И все же Хейтер Престон был твердо убежден, что у Кроули была связь с Джоан еще до Виктора. Я всегда знала, что Хейтер Престон был одним из самых важных людей, с которыми следовало встретиться для истории о Викторе, но даже не предполагала, что их дружба началась так давно.

Я отправила в ПЕН-центр письмо для него, и несколько дней спустя мы встретились за чаем. До тех пор он был для меня просто именем, литературным редактором «Санди Рефери». Престон оказался большим дружелюбным голубоглазым мужчиной; его дружба с Виктором, к моему изумлению, началась в 1911 году.

Любопытно, но с Айен де Форест он познакомился даже раньше, чем с Виктором. Было это в баре, возможно в клубе «Космо», ее сопровождал театральный агент по имени Алек Блэнд. Сначала Престон решил, что она невзрачная. Айен де Форест – сценическое имя Джоан Хэйз.

Престон в это время был начинающим «свободным» журналистом, поэтом и атеистом. Однажды, он пришел в офис «Секулярного Общества» возле Фаррингтон-роуд, держа под мышкой томик стихотворений Эзры Паунда, которым искренне восхищался. Г. У. Фут разговаривал с другими членами общества; заметив у него книгу, они сказали, что, раз он интересуется современной поэзией, ему следует познакомиться с Виктором Нойбургом. Они дали ему адрес Виктора в Йорк-Билдингс, Адельфи.

Престон поехал туда. Дом был третьим по счету, если спускаться от Джонстрит к реке. Там был портик в английском неоклассическом стиле и довольно темная лестница. Комната Виктора находилась на втором этаже, тоже довольно темная. На полу и по углам лежали стопки книг. Виктор впустил его: «маленький и похожий на птицу», с копной волос и непропорционально большой головой.

Один вопрос часто занимал меня: если бы я знала Виктора в период его странных отношений с Кроули, показался бы он мне другим? Я спросила об этом Престона. «Нет, – ответил он. – просто он был моложе. С годами его лицо становилось более морщинистым и серым. В молодости у него была превосходная кожа. Но изменился он за эти годы удивительно мало».

Описывая в общих чертах повседневную жизнь Виктора, Престон сказал: «Рядом с его комнатой не было кухни. Он не готовил. Питался не дома. Обычно в «Лайонсе». Или шел обедать к тете на Виктория-стрит. Однажды я ходил с ним в банк «Каутс» на Стрэнд, где он обналичил чек от тетушки и мы пообедали в «Симпсонсе»».

Кроули, с которым его познакомил Виктор, ему не понравился. Он обедал вместе с Виктором, Кроули и матерью Кроули. Кроули взял меню и сказал: «Можешь заказать вареных жаб, мама. Или жареного Иисуса» . Было очевидно, что

мать огорчилась, а Престон не мог понять, что привлекало Виктора в человеке с таким неразвитым чувством юмора. Престон считал Кроули вульгарным, грубым, чрезвычайно самодовольным и неестественным. Я всегда полагала, что Престон изначально придерживался атеистических и рационалистических взглядов, которыми он был известен, но он удивил меня, сказав: «Я читал книги Элифаса Леви до того, как познакомился с Виктором!». Он недолгое время был членом эзотерической группы в Париже и считал подход Кроули к магии гораздо менее изысканным, чем то, с чем он там сталкивался. Кроули заплатил главному повару одной из лондонских гостиниц, чтобы тот назвал в его честь блюдо: «Палтус по-кроулиански». Он заказал свой портрет Огастесу Джону. Книги, которые он писал, переплетали в пергамент. Он просадил свое состояние в 30-40 тысяч фунтов и жил за счет Виктора. «Семья была единственным источником дохода для Виктора, и через него Кроули вытягивал из них деньги».

Подтверждает это и миссис Бейкер, — она познакомилась с семьей значительно позже, но тетушка Фанни рассказала ей, что мать Виктора получила из Алжира телеграмму от Кроули, гласившую: «Пришлите 500 фунтов, иначе никогда больше не увидите сына». Состоялся семейный совет, на котором дядя Эдвард заявил, что это очередная уловка, чтобы выудить из них деньги. Мать Виктора, в страхе, что за него действительно требуют выкуп, пролила много слез. Миссис Бейкер не знала, были ли деньги отправлены.

Однажды вечером Виктор пришел с Престоном в квартиру Кроули на Виктория-стрит. В полуоткрытом ящике стола Престон мельком увидел множество визитных карточек на имя лорда Болескина. Когда Кроули вышел ненадолго, Престон вытащил их, положил их на стол перед Виктором и спросил: «Почему он называет себя лордом Болескином?»

У Виктора не нашлось ответа. Но когда вернулся Кроули, он спросил его:

— Тедди интересовался, почему ты называешь себя лордом Болескином.

— Я там хозяин, — хвастливо отозвался тот. — Хозяин это и есть лорд.

Что касается истории с Джоан или де Форест, — так ее представили Престону — точно он ничего сказать не мог. Он не считал ее «от природы неразборчивой в связях», или даже особенно порочной, но думал, что Кроули сбил ее с толку.

С его точки зрения, связь Виктора с де Форест, возможно, была попыткой сбежать от Кроули или обрести некоторую эмоциональную независимость от него.

Автобиография Кроули тоже не проливает света на этот вопрос; в ней даже не упоминаются ни Джоан, ни Этель Арчер, поскольку страницы, относящиеся к этому периоду, полностью посвящены другому делу, о котором я впервые услышала от генерала Фуллера.

— Я порвал с ним, потому что он повредил репутации одного моего друга, — сказал генерал Фуллер. — У Джорджа Сесила Джонса была одна характерная черта: он говорил правду!

На следующий день после встречи с генералом Фуллером я отправилась в Колиндейл, чтобы разыскать «Санди Таймс» за апрель 1922 года и выяснить, что это была за история, о котором он упомянул. Сообщение нашлось в номере

за 26 апреля; оно отсылало к заметке, опубликованной в журнале «Лукинг Глас» в ноябре 1910 года.

Двое друзей и коллег Кроули все еще общаются с ним; один – несчастный буддистский монах Алан Беннетт, а другой – человек по имени Джордж Сесил Джонс, который некоторое время работал в Бейзингстоке в металлургической промышленности... Кроули и Беннетт жили вместе, и ходили слухи о непечатных распутствах, творившихся под их кровом.

Дело Джонса состояло в том, что любой, читающий его имя между именами Кроули и Беннетта, свяжет его с отталкивающей характеристикой; он подал иск о клевете. Кроули объявился на слушаниях в качестве зрителя. В какой-то момент судью Скраттона одолели сомнения, правильно ли было выслушивать показания относительно поведения Кроули, в то время как тот не был стороной в деле. В конце концов, он решил, что это делать можно, и прокомментировал: «Этот процесс становится очень похожим на суд, описанный в “Алисе в стране чудес”».

Генерала Фуллера вызвали свидетелем защиты Джонса; его спросили, видел ли он Кроули в зале суда, он ответил положительно. Кроули засиял и остался на своем месте.

Вызвали некоего доктора Берриджа, и произошел следующий диалог:

Доктор Берридж: Однажды, когда Кроули приезжал сюда по официальным делам Ордена, я воспользовался возможностью поговорить с ним наедине и сказал ему: «Ты знаешь, в чем тебя обвиняют?» – имея в виду членов ордена. Я не стану выражать мысль слишком прямо, я вижу дам в зале заседаний.

Судья Скраттон: Дамы, которые могут находиться в этом зале, вероятно, далеки от подобного рода щепетильности.

Доктор Берридж: Ну, я сказал: «Тебя обвиняют в противоестественном пороке». А он очень странно ответил, не подтвердил и не опроверг обвинение.

Джонс проиграл свое дело. Виктор в суде не присутствовал, но это дело сказалось на нем, как сказалось на каждом из окружения Кроули.

В тот же день генерал Фуллер рассказал мне еще одну историю, заставившую его разорвать отношения с Кроули. «Однажды за завтраком я вскрыл письмо от Кроули. Конверт был большой, и из него высыпалось множество непристойных открыток, купленных им в Порт-Саиде. Ночью, когда ты пьян, послать письмо с непристойными открытками может показаться забавной идеей, но когда кто-то открывает их утром, и они высыпаются на стол, накрытый для завтрака, это просто отвратительно. Возможно, его вскрывали при пересылке, и задавались вопросом, почему мне посылают такие вещи. Я решил, что нельзя больше позволять, чтобы наши имена были связаны».

Кроули не был готов, что ценой всей этой комедии станет то, что друзья перестанут его поддерживать (одним из тех, кто расстался с Кроули вслед за Фуллером, был Раффалович). После провала дела Джонса о клевете новых

судебных разбирательств не было, но из-за пересудов в обществе Кроули должен был перестать фигурировать в качестве редактора «Эквинокса». Теперь Виктор упоминался как помощник редактора, а редактором выступала Мэри Д'Эст Стеджес, недавно подружившаяся с Кроули.

В разгар всех этих событий Джоан Хэйз вышла замуж. Справка, которую мне дали в Сомерсет-Хаусе, между прочим показала мне, как в действительности писалось ее имя:

В церкви Св. Георгия, Хановер-сквер, 22 декабря 1911 года. Уилфред Мертон, 23 года, холост, гравер. Мэйфейр, Грин Стрит, 23 и Жанна Хэйз, известная также как Айен де Форест, 19 лет, девица, художник. Брикстон Роуд, 167. Отец: Френсис Хэйз, обладающий собственным состоянием. Свидетели: Закари Мертон, Кэтлин Хэйз.

Появился новый треугольник: Мертон, Виктор и Джоан. Прежде чем взяться за него, я поняла, что нужно выяснить жив ли Мертон, и дала объявление в «Таймс». Я получила ответ от человека, который сообщил, что Мертон умер, но он долгое время, в более зрелые годы, был его другом. «Уилфред Мертон был очень приятным человеком, — сказал он. — По происхождению он был чистокровным немцем. Он взял имя человека, за которого вышла его мать — Закари Мертон. Закари Мертон был баснословно богат. Его доход составлял 50-60 тысяч фунтов в год. Он возглавлял большой медный синдикат. До того, как Мертон стал совершеннолетним, его звали Шмихен». (Я догадалась, что это тот самый «богатый студент по фамилии Шмихен», который помог Виктору опубликовать его первую книгу, «Зеленая гирлянда», в Кембридже. Он не только не был новым лицом в этой истории, он присутствовал в ней с самого раннего периода). Ребенком, сказал мой источник, он «сидел на коленях мадам Блаватской»¹. Его родители были теософами, но разошлись, так и не поженившись.

После церемонии в церкви Св. Георга Джоан, Виктор и Мертон, лучшие друзья, вместе поехали в Париж. Даже Этель Арчер, ненавидевшая Джоан, признавала, что Мертон знал историю с Виктором, произошедшую до него. Однако она сомневалась в том, что он, как уверяла Джоан, дал согласие на ее продолжение.

Вернувшись, Джоан и Мертон обосновались в Кардинал-Меншнз в Вестминстере; Джоан стала изучать живопись и сняла комнату в студиях Росетти на Флад-стрит. Именно в это время она познакомилась с Ниной Хэмнетт. Примерно в начале июня, спустя пять или шесть месяцев после свадьбы, она бросила Мертон и поселилась в студии. Престон рассказал, что Виктор снял для нее коттедж в Эссексе, куда они приезжали на уикенд. Принято считать, что Мертон подал на развод на основании измены, а соответчиком был Виктор, хотя мне и не удалось найти доказательств.

Дама Ребекка Уэст, покинувшая сцену ради журналистского поприща, еще раз — последний — видела Джоан; встреча показалась ей странной и расстроила ее.

¹ Вероятно, его отцом был немецкий теософ Германн Шмихен, друг мадам Блаватской, написавший «Мастеров», картину, столь бережно хранимую теперь в Адьяре. Неожданная, но странно знаменательная связь.

Я тогда работала в «Фривумен», и на одном собрании, где выступала редактор Дора Марсден, появилась Джоан в сопровождении мужчины, который был, как я полагаю, Виктором Нойбургом. Она пришла в конце собрания, чтобы спросить о чем-то Дору Марсден, но Дора уже ушла. Она вышла с друзьями в то время, как Джоан ожидала ее не в том коридоре. Я сказала ей: «Могу ли я тебе помочь?», или что-то в этом духе, имея в виду: «Хочешь, я устрою тебе встречу с Дорой, когда увижу ее завтра или в другой день?». Джоан посмотрела на меня с откровенной ненавистью и сказала, злобно усмехнувшись: «Ты собралась мне помочь?!». Я была так рада ее видеть и так благодарна ей за доброту, что заговорила с ней из самых дружеских побуждений; а поскольку она знала, что я пишу в «Фривумен», странно было, что она не отнеслась к моему предложению, как к разумному и вежливому. Со мной был молодой человек, – он так испугался страстности, с которой Джоан произнесла свою реплику, что отступил на несколько шагов.

Есть и еще одна вещь, о которой я рассказываю с сомнением. Руния, когда я встречалась с ней летом 1940 года, после смерти Виктора, сказала мне, что он рассказал ей о проблеме Джоан Хэйз – она была слишком маленькая. Не просто худощавого телосложения, узкогрудая и с маленьким весом, но и все внутренние проходы были узкими, слишком узкими, чтобы позволить вторжение. Когда я опять виделась с Рунией в 1961 году и попыталась выяснить у нее, правдива ли эта история, поскольку собиралась написать биографию Вики, она отказалась ее подтвердить и заявила, что никогда не слышала о такой девушке. Поэтому я и не упомянула об этом в первом издании. Если б это было правдой, это могло бы объяснить ее странное восклицание в ответ на предложение Ребекки Уэст: «Ты собралась мне помочь?!».

ЛУНА НАД БАШНЕЙ

Что чувствовал Виктор в этой ситуации и что о ней думал? Что касается его отношений с Кроули, у меня нет сомнений. Он мне об этом рассказывал. Я понимаю эти отношения. Но никогда я не слышала от него о Джоан.

Понимание пришло ко мне благодаря коллекции д'Оффе: там было одна длинная неопубликованная поэма Виктора, озаглавленная «Новая Диана». Она полностью написана его рукой, имеет дату: «Окончено 28.9.12». Поэма занимает 82 листа писчей бумаги и состоит из вступления, краткого содержания, семидесяти строф и эпилога. По Каббале, 70 – цифра LIL (ночи), и в основной теме Виктор предостерегает Ученика от выбора пути, если он не сможет ему следовать.

Есть один, которого Бездна почти поглотила из-за хитростей Сирены; ибо она своими соблазнами закрыла ему Путь Посвящения. К краю Ада заманила она этого Ученика; и уже между ним и Великими Богами стояли Белые Перси и темные глаза Лилит, и ударили его тогда Боги за то, что предал Их и своего Мастера. Сирена же эта была Отражением самого Ученика на Завесе видимой Вселенной, так же, как и Лилит была Отражением Бога Адоная.

Лилит – темная сторона Луны, или, если использовать привычные выражения, человек противоположного пола, чье влияние разрушительно для продвижения по пути. По традиции едва Ученик со всей серьезностью встанет на путь, возникает подобное искушение¹.

Поэма открывается так:

*Есть башня, вокруг которой плавно шествует луна,
В городе на западе*

...

*...накаляется и увядает звездное лето
В спокойном сне, которому нет конца.*

Я долго размышляла, где происходит действие поэмы, пока меня вдруг не осенило: башней, которая несколько раз упоминается, могла быть только старинная Шот-тауэр на южном берегу, напротив зданий Йорка, садов на набережной Виктории и обелиска Клеопатры. Именно таким был вид из окна Виктора, когда, мучимый бессонницей, он смотрел на величественный серебряный диск и писал:

II

...

*Она лежит над Башней
И видит сны.*

V

*Мой спутанный клубок замысловатых снов
Под околдованной луной уединенной башней,
Мое маленькое царство...
Где я встречаю первый час туманного рассвета –
Мое одиночество...
Он очаровывается все сильнее и сильнее:*

¹ «Когда вы постучитесь в дверь небес, первыми вам откроются Врата Ада: так бывает всегда, по непреложному закону». Это в 1945 году написал мне француз Вивиан. Не называя источник, я процитировала это изречение Джеральду Йорку, когда он принес мне бумаги Кроули. Он возразил: «Однако когда вы их видите, вам не приходит в голову, что это Врата Ада, иначе бы вы не вошли бы в них! Вы думаете, что это Двери в Рай. Вам кажется, что блуждающие огни – это и есть настоящий свет. Дьявол появляется под видом Ангела».

Следует добавить еще два высказывания. Вивиан (как и мадам Блаватская) считает, что именно само стремление побуждает к сопротивлению все, что ему противостоит, и таким образом выявляется степень предрасположенности кандидата. «Движения, в названии которых звучит слово «всемирный» особенно склонны к расколу. Те, что выбирают своим лозунгом свободу, особенно быстро становятся жертвами тиранов. Точно так же, если вам встретится Ложа под названием «Братство», можете быть уверены, что члены ложи между собой не ладят до такой степени, что едва могут терпеть друг друга!». Кандидат, выбирающий отдельную добродетель в качестве своей цели, выбирает себе область, в которой его будут искушать.

Вивиан также говорил, что «Каждое посвящение – это испытание проницательности».

VI

Я все еще боготворю тебя

...

Я вижу, как проходишь ты

По летним травам

И вслед тебе сияет ярче свет дневной

VII

Свет звезд, настойчиво, сквозь бледно-голубое небо

Рвется звездным облачком...

...

Под веками закрытых глаз Артемиды

Дай мне проснуться вновь

Воспоминания о прежних перевоплощениях приводятся в виде ряда мимолетных впечатлений:

VII

Я нес...

Тонкую лозу, золотую лилию, и крест,

Шкатулку с нардом, и лебедя, чьи крылья

Из сверкающего серебра, и щит с позлащенным центром

...

IX

Я носил шкуру пантеры в Аргосских лесах,

...

X

Я знал любовь, теперь же знание ушло,

И в полнолуние смотрю

Я с болью в небеса...

XI

Я прошел сквозь чащу Пана

...

И я оставил этот огонь

Хранителям-предкам,

Что ловили малейший знак, который, наконец,

Заскользил теперь по траве;

Они слышали, как он прошел:

С одной стороны живая птичья песнь, с другой – мир мертвых.

XVIII

В заброшенном поле возносится изваяние,

Обнаженные серебряные руки воздеты к бледному небу;

На устах слова неизвестных языков...

Кажется, оно говорит о забытых знаниях, а я,

Простершись ниц на траве

Приветствую бога Адониса

Он восклицает в отчаянии:

XXVII

Диана! Я оставил мой магический Путь.

Он родился в неподходящее время, когда было забыто поклонение Даме.

Богиня сурово вопрошает, почему он вкусил земной любви, которая закрыла от него свет и солнце, и не дала ему служить Даме. Эпilog завершается очень печальными строками:

*...это время ушло, и счастье ушло
из мира, который мне знаком:
Вот я и рассказал мою историю,
Нет меня, который, казалось, был.
Что я могу теперь?
Моя жизнь мертва! Кроме смерти
Нечего бояться,
Ибо ни один человек не живет ложью,
В то время как запятнан свиток его славы.
Когда его душа предательски увяла.
Человек должен покориться судьбе¹.*

Чем вызвано это ужасающее отчаяние, томившее Виктора Нойбурга под полной луной в летнее солнцестояние 1912 года? Я проверяла – она действительно в это время находилась над башней. Шот-тауэр больше не существует, но я помню, где она была, и в летнее солнцестояние 1963 года я отправилась на набережную Виктории под зданиями Йорка и ждала до тех пор, пока луна, наконец, не поднялась над местом, откуда столетия назад на нее смотрел Виктор.

Когда Джоан впервые появилась в окружении Кроули, она должна была изображать луну; такой ее увидел Виктор, и в белом и серебристом таинственном свете она, должно быть, представлялась ему воплощением его настоящей богини, мистической Дианы. Именно потому, что он почувствовал себя в ловушке – в узком внутреннем кругу, тет-а-тет с кем-то, кто мог встать между ним и *Argentinum Astrum*, он, глядя на великолепную белую луну над башней и предвосхищая свою утрату, писал с такой суицидальной мукой.

Но убила себя Джоан, а не он.

Тело нашла Нина Хэмнетт. Из ее рассказа следователю в субботу третьего августа, следует, что она видела Джоан в четверг, первого августа, когда та вызвала ее телеграммой. Она приехала между десятью и одиннадцатью вечера и застала Джоан пакующей вещи. Джоан была оживлена и сказала, что уезжает и отдаст Нине некоторые платья, если Нина зайдет за ними в одиннадцать утра на следующий день. Когда Нина уходила, Джоан вложила в ее руку конверт и совершенно непринужденно произнесла: «Ты не против?»

¹ См. «Город жутких ночей» (V 25) Джеймса Томпсона-младшего, одного из поэтов, оказавшего наиболее значительное влияние на Виктора.

На конверте значилось: «Открыть, если мы не сможем увидаться в 11 часов утра в пятницу». Приехав в пятницу к 11 утра, Нина обнаружила еще адресованный ей один конверт, прикрепленный снаружи к двери. В нем был ключ от студии. Нина открыла, вошла и обнаружила на тахте тело Джоан. На полу, рядом с ее тапочками, лежал револьвер. Поняв, что она мертва, Нина вышла, и позвала уборщицу, которая и вызвала полицию.

Нина сказала следователю, что знала Джоан под именем Айен де Форест. Джоан ничего ей не рассказывала про свою личную жизнь. Только в последние месяцы Нина узнала, что Джоан была замужем. Записку, которую Джоан вложила ей в руку в четверг вечером, она не открывала. Письмо вскрыл следователь. В нем было два документа: брачное свидетельство Джоан и Уилфреда Мертон и лицензия на оружие, выданная Джоан за именем Айен де Форест 18 июля на Слоун-сквер.

Уилфред Мертон, интересы которого представлял Дерек Кертис Беннетт, рассказал, что в пятницу второго августа он получил письмо от Джоан. Открыв, он обнаружил там листок с тремя словами: «Ты убил меня». На вопрос следователя он ответил, что не знает, с какой стати она это написала.

Отвечая на дальнейшие вопросы, он сказал: «Она была неврастеничкой, ее нервы были натянуты чрезвычайно, она была подвержена приступам истерии... Раз или два она намекала на самоубийство... Она упоминала хлороформ». На вопрос принимала ли она наркотики, он ответил, что не знает, но добавил: «Она была не совсем в себе. Я ни разу не смог ее заставить сходить к врачу». Мертон заявил, что в бракоразводном деле истцом выступал он, и что с тех пор, как она ушла от него два месяца назад, не виделся и не общался с ней иначе, как через поверенных, но, несмотря на это, платил ей содержание.

Э. С. П Хейнз, адвокат покойной, сообщил, что ему дали указания не опровергать обвинения по бракоразводному делу. Покойная говорила ему, что как только процесс закончится, она расстанется с жизнью, но он не предполагал, что ее жизнь действительно в опасности, иначе бы что-нибудь предпринял. Он получил от нее письмо, в котором она благодарила его за доброту, но говорила, что выносить сложившуюся ситуацию больше не в силах. Кертису Беннетту он ответил, что считал предложение мужа о выплате алиментов в размере 300 фунтов в год чрезвычайно щедрым. Был даже разговор о возможной добровольной передаче имущества мужем по завершении бракоразводных процедур.

Покойная написала полиции письмо следующего содержания:

Кардинал Меншнз, №5
Вестминстер

Последнее слово Жанны Мертон, жены Уилфреда Мертон, проживающей по вышеуказанному адресу, написанное в студиях Росетти, где она в настоящее время проживает под сценическим именем Айен де Форест, студентки, изучающей гуманитарные науки. Настоящим подтверждаю, что, будучи в здравом уме, я собираюсь совершить самоубийство сегодня вечером из-за невыносимого положения, в которое меня поставил мой неосторожный, несчастный брак. Я хочу, чтобы мое тело кремировали.

По делу был вынесен вердикт и вписан в свидетельство о смерти, которое мне показали в Сомерсет– Хаусе:

2 августа 1912 года. В квартире, студии Росетти, Флад-стрит, Челси. Жан-на Мертон, женщина, 21 год. Найдена мертвой. Смерть от огнестрельного ранения в сердце, нанесенного ею самой; покойная покончила с собой, будучи в состоянии временного умопомрачения.

Виктора в суде не было, так как в то время, когда проводилось дознание, он еще не знал, что Джоан умерла. Престон рассказал, что он уехал в коттедж в Эссексе, ожидая либо застать ее там, либо дождаться. Она не приехала, и он подумал, что ее что-то задержало, и вернулся в Лондон в воскресенье поздно вечером или в понедельник утром. Расследование проводилось в субботу.

– Когда я вернулся, она уже была мертва! – ошеломленно говорил он Престону¹.

Руния, рассказывая мне эту историю в 1940 году, утверждала, основываясь на том, что поведал ей Вики, что причиной ее самоубийства было то, что из-за строения тела Джоан Хэйз не могла быть ничьей женой в полном смысле слова. Джоан рассказала Вики, что в отношении этого обстоятельства Мертон проявлял гораздо меньше терпимости, чем он – оттого она и решила покончить с собой.

Перевод Льва Емельянова

¹ Знаю, что Калдер-Маршалл в своей книге «Магия моей юности» приводит другую версию, согласно которой в ту ночь, в четверг, первого августа, когда Айен де Форест покончила с собой, Виктор был с ней и ушел после крупной ссоры. Однако я полагаю, что источник Калдера-Маршалла ошибался. Я с ним переписывалась по этому вопросу: и хотя он познакомился с Виктором позднее, в Стейнинге, эту историю он слышал не от него самого.

НАТАЛЬЯ ГОЛИЦЫНА

ИНТЕРВЬЮ С ДЖИН ОВЕРТОН ФУЛЛЕР

НГ: Расскажите, пожалуйста, о себе и своей семье.

ДОФ: Я англичанка. Мой отец был офицером британской армии и погиб во время первой мировой войны еще до моего рождения. Так что меня воспитала мать, которая была художницей. Она поощряла мой интерес к живописи. Отец матери, полковник медицинской службы, также способствовал этому. Он хорошо разбирался в естественной истории и привил мне интерес к естествознанию – благодаря ему, я много узнала о животных и насекомых. Я обладаю редкой и странной способностью: когда я слышу звуки, то вижу цвета. Занимаясь живописью, я использовала этот свой дар, и мои картины в большой степени основаны на звуковом колорите. Мне даже пришлось в семилетнем возрасте рассказывать об этом журналистам. Это было мое первое выступление перед прессой.

НГ: Как вы вошли в круг британских поэтов и писателей 30-х годов?

ДОФ: Я всю жизнь – с детства и до нынешнего времени – писала стихи и занималась живописью, и именно это помогло мне войти в круг литераторов, объединявшихся вокруг Виктора Нойбурга, редактора «The Poets Corner of Sunday Referee». Первым человеком, с которым я познакомилась там, был Дилан Томас, который в то время был еще мало известен. Он-то и рассказал мне об истории этого кружка, о том, как он возник, как по субботним вечерам Виктор Нойбург собирал у себя друзей.

НГ: Кто из ваших современников повлиял на вас в то время?

ДОФ: Не думаю, что на мое литературное творчество серьезно повлияли современники. До сих пор я проявляю намного больший интерес к классикам – Шекспиру, пьесам Еврипида в переводе Гилберта Мюррея, Ибсену, Данте. И, конечно, к великим русским писателям – Достоевскому, Толстому, Пушкину. Кстати, я перевела на английский одно из пушкинских стихотворений – «Пророк».

НГ: Вы написали книгу о своей подруге принцессе Нур, назвав книгу ее агентурной кличкой «Мадлен». Как вам удалось узнать о ее судьбе?

ДОФ: Один из моих друзей познакомил меня во Франции с индийской семьей Инаят-Хана, и его дочь Нур стала моей подругой. Ее отец исповедовал суфизм, был суфийским наставником и прямым потомком последнего мусульманского правителя Южной Индии. Любопытно, что Нур родилась в московском Кремле – довольно странное место для индийской принцессы. Было это за полгода до Первой мировой войны. Царская семья пригласила отца Нур – известного суфийского мистика – по совету Григория Распутина. Царь надеялся с его помощью вылечить наследника от гемофилии. Кстати, мать Нур была американкой и дальней родственницей Мэри Бейкер-Эдди – основательницы Церкви Христианской

Науки. После большевистской революции семья Нур покинула Россию и поселилась в Париже. Когда разразилась Вторая мировая война, Нур с семьей переехала в Лондон. Некоторое время они жили у меня. Нур бегло говорила на нескольких языках, французский был ее родным, и в 43-м году британская разведка переправила ее в оккупированную немцами Францию, где Нур стала радисткой в одной из групп французского Сопротивления. Впоследствии ее наградили за эту работу военным Георгиевским крестом. Когда гестапо начало проводить массовые аресты среди участников Сопротивления, Нур могла вернуться в Англию, но отказалась это сделать. Вскоре она исчезла, и никто не знал, что с ней стало во время войны. Ее мать и брат были очень обеспокоены ее судьбой. После войны я написала в британское министерство обороны, откуда получила несколько адресов во Франции, с которыми я смогла установить контакты. Я говорила с ее соратниками по Сопротивлению. У этих людей я получила еще больше адресов и имен; так началось мое расследование во Франции и Германии, которое продолжалось несколько лет. Я расспрашивала многих людей, которые встречались во время войны с Нур. Как я выяснила, она погибла в застенках гестапо. Мне удалось выйти на бывшего офицера гестапо, который арестовал Нур и допрашивал ее. Он высоко отозвался о ее мужестве. В Германии я работала в архивах и говорила со многими людьми. Так возникла моя книга «Мадлен». То, что случилось с Мадлен, нередко случалось и со многими другими людьми.

НГ: Вы написали еще и книгу о Фрэнсисе Бэконе. Чем он заинтересовал вас?

ДОФ: Фрэнсис Бэкон всегда привлекал меня. Меня интересовало о нем всё, включая его детство. Этот интерес был связан с предположением, что он был подлинным автором пьес, которые приписывают Шекспиру. В шекспировских пьесах есть вещи, которые мог знать только Бэкон. В книге я попыталась обосновать авторство Бэкона. Я с детства зачитывалась сонетами, которые приписывают Шекспиру. Но, читая его биографии, я интуитивно чувствовала, что этот человек не мог написать такие стихи. В этом мне всегда виделась какая-то тайна. Свои интуитивные прозрения я постаралась обосновать. Мне понадобилось очень много времени, чтобы докопаться до правды. Книгу о Бэконe я писала намного дольше других своих книг – целых 17 лет. Главная же причина была в том, что приходилось разбирать старые, плохо сохранившиеся и написанные от руки тексты, которые было очень трудно читать. Затем я изучила всю бэконовскую иконографию – все сохранившиеся его портреты и портреты его родственников и предков. И вот к какому выводу я пришла: Бэкон не был сыном своих родителей. Меня поразило, что Фрэнсис Бэкон был единственным темноглазым ребенком в семье, где все были голубоглазые. Не совпадал и цвет волос. Я обратилась к врачам, антропологам и генетикам и выяснила, что у светлоглазых родителей крайне редко может родиться темноглазый ребенок. Намного чаще бывает наоборот – когда у темноглазых рождается светлоглазый. Ген, который отвечает за цвет глаз, обычно воспроизводится во многих поколениях. Сравнивая приметы Бэкона с внешностью королевы Елизаветы Первой и ее многолетнего любовника графа Лестера, я обнаружила явное сходство Бэкона с ними. В отличие от братьев,

у Бэкона, как и у графа Лестера, были выющиеся волосы, причем того же цвета. Бэкон был на 28 лет младше графа и на 29 лет младше Елизаветы. Черты лица Бэкона совпадают не только с этой парой, но и с внешностью отца Елизаветы короля Генриха Восьмого. Так что не исключено, что он был королевской крови. Пьесы и сонеты, приписываемые Шекспиру, содержат вещи, которые тот просто не мог знать. Вот лишь один пример. Трагедии «Буря» написана на основе реальных событий – кораблекрушения в 1609 году фрегата «Морское приключение». Спасшиеся пассажиры высадились на необитаемом острове. Это был один из Бермудских островов. Только через год им удалось добраться до английской колонии в Америке. Это кораблекрушение держалось в тайне, чтобы не обескуражить последующих колонистов. Один из спасшихся пассажиров, сэр Томас Гейтс, написал письмо родным в Англию, где описал всё, что с ним случилось. Я читала это письмо. Оно содержит весь сюжет «Бури». Премьера этой пьесы состоялась в 1611 году – через год после написания письма, которое не публиковалось еще много лет после этого. Специалисты выяснили, что письмо было адресовано леди Елизавете Говард – дочери графа Данбара и жене лорда Говарда. Как актер из Стратфорда (а эта профессия пользовалась очень низким престижем) мог попасть в круг английских аристократов и познакомиться с частным письмом? Письмо могло прочесть только высокопоставленное лицо, так как в нем описывалась очень непростая жизнь колонистов в Америке. А в то время это держалось в секрете, чтобы не отпугнуть потенциальных эмигрантов. Однако это письмо могло бы прямо-таки лечь на стол Бэкона – в то время он был генеральным прокурором, а вскоре и лордом-хранителем печати. К Бэкону меня влекло и то, что он был невероятно интересным философом; меня очень интересовали его философские работы. Меня вообще всегда интересовали философские проблемы.

НГ: Что заставило вас написать книгу о графе Сен-Жермене? Вы приводите в ней слова прусского короля Фридриха Великого, сказавшего, что загадка этого человека никогда не была разгадана...

ДОФ: Именно в связи с Бэконом я заинтересовалась графом Сен-Жерменом, который, как полагали многие теософы, был реинкарнацией Фрэнсиса Бэкона. Это заставило меня заняться исследованием жизни и работ графа. Его жизнь содержит множество тайн; это удивительно интересный исторический персонаж. Свое исследование я начала с 15-го столетия и завершила 19 веком. Никто не знает, когда Сен-Жермен родился, он появился в Париже при дворе Людовика 15-го уже зрелым человеком. Несколько раз он выполнял секретные поручения короля. Но, попав в опалу, вынужден был бежать в Англию. Однако вскоре объявился в России, в Петербурге. Есть свидетельства, что граф Сен-Жермен играл важную роль в заговоре против Петра Третьего и во время дворцового переворота, который привел к возведению на престол Екатерины Второй. В своих мемуарах, другой маг, граф Калиостро, рассказывает, что это граф Сен-Жермен основал в Германии масонскую ложу и принял его в орден. Хотя о происхождении графа Сен-Жермена почти ничего не известно, широко распространено мнение, что он якобы был португальским евреем. Бесспорно, Сен-Жермен обладал незаурядными знаниями в области алхимии и других тайных и оккультных наук. Считалось, что

он разгадал секрет философского камня. Сам он утверждал, что может убирать трещины с бриллиантов. Полагают, что граф Сен-Жермен скончался в 1784 году в Шлезвиге. Однако рассказывают, что его видели в Париже во время революции 1789 года. Вольтер говорил о нем, что это человек, который всё знает и никогда не умирает. Сен-Жермен не писал книг – за исключением одной – это замечательная поэма, в которой, в частности, в зашифрованном виде говорится о его происхождении. Граф Сен-Жермен был также талантливым композитором и скрипачом. В его рукописях, хранящихся в Британском музее, с которыми я знакома, есть партитуры его музыкальных сочинений.

НГ: А чем вас привлекла Елена Петровна Блаватская, о которой вы тоже написали книгу?

ДОФ: Иногда меня спрашивают, верю ли я в ее оккультные и магические способности. Она, безусловно, обладала определенным магическим даром. Однако не следует заикливаться на этих вещах в связи с Блаватской. Меня гораздо больше интересовало ее учение, ее теософская концепция. В ее книге «Тайная доктрина» содержится многое из того, что она почерпнула у своих индийских наставников, изучая восточные мистические учения. Меня безумно увлекали ее книги, я могла читать их бесконечно. Но мне все же хотелось бы, чтобы люди читали их без стремления обнаружить какие-то магические фокусы. Конечно, Блаватская была визионером. Еще в детстве, когда она жила в Екатеринославле, затем в Саратове и Тифлисе, у нее были видения. Особенно часто, по ее словам, ей виделся высокий индус, который всегда был рядом с ней, когда ей грозила опасность. Когда Елена Блаватская была с отцом в Лондоне в 20-летнем возрасте, по ее словам, она повстречала на улице того самого индуса, который ей привиделся в детстве. Вскоре они встретились, и это человек поведаль Блаватской о ее миссии и подал ей идею теософского общества. Через несколько лет она основала такое общество в Нью-Йорке. Блаватская рассказывала, что этот человек, которого она считала Наставником мудрости, – в ее доктрине такие люди зовутся Старшими братьями – предрекал ей путешествие в Тибет, где она должна обрести наставника и приобщиться к высшим духовным истинам. Она действительно впоследствии была в Тибете и изучала с наставником Древнюю мудрость восточных учителей. В своей главной книге «Тайное учение» Блаватская излагает путь, который должен пройти человек, чтобы приобщиться к Божественному Откровению – к высшей истине духовной жизни. Она пишет о существовании в мире неких Наставников истин, которые помогают людям найти свой путь и обрести высшую реальность. Меня в учении Блаватской привлекала идея отрешения от суетных иллюзий и предрассудков. Привлекательно и ее убеждение, что каждый человек способен достичь высших пределов мудрости. Это обнадеживало. Что бы о ней ни говорили, думаю, что Елена Блаватская искренне верила в свои идеи. Блаватская умерла в Лондоне в 1891 году. По мнению теософов, после ее смерти должно было последовать явление нового учителя мира, который возвестит человечеству учение, соответствующее нашему времени. Никто не узнает о его рождении, но он будет явлен. Ледбиттер, сподвижник по вере Анни Безант, обнаружил на пляже мальчика. Это был Кришнамурти. И они решили, что он и есть этот учитель.

НГ: Вы считаете, что таинственным серийным убийцей, известным под именем Джек Потрошитель, который убивал женщин в Лондоне в 1888 году, был английский художник Уолтер Ричард Сиккерт. Как возникла эта версия?

ДОФ: Когда еще до войны я вернулась на несколько месяцев во Францию, моя мать рассказала мне удивительную историю, которую поведала ей ее близкая подруга художница Флоренс Паш. Паш очень хорошо знала Сиккерта, знаменитого английского художника. Она писала его портрет. Он признался ей, что это он знаменитый серийный убийца Джек Потрошитель, который никогда не был пойман. Сиккерт родился в Мюнхене, но он не был немцем – его мать англичанка, а отец датчанин. Ему было восемь лет, когда его семья переехала в Лондон. Впоследствии он стал президентом Королевского общества художников. Моя мать узнала о том, что это он убивал проституток в Лондоне в 80-е годы 19 века уже после смерти Сиккерта в 1942 году. Считается, что Потрошитель убил пять проституток, но на самом деле их было намного больше. Сиккерту было 28 лет, когда начались эти убийства. Он рассказал Флоренс Паш, что ключ к тайне можно обнаружить в некоторых его картинах. Через 20 лет после серии лондонских убийств, в 1908 году, Сиккерт написал несколько картин, на которых изобразил своих жертв. Некоторые из этих картин напоминают трупы после вскрытия. На одной картине изображена женщина с изуродованным лицом, очень похожая на убитую Джеком Потрошителем проститутку Кэтрин Идаус – ее нашли изуродованной. На другой картине изображена женщина с бусами на шее, очень похожая на убитую Потрошителем Мэри Келли, которая жила напротив лондонской студии Сиккерта. Келли была единственной женщиной, убитой в постели – на картине похожая на нее женщина лежит на кровати. У Мэри был незаконнорожденный ребенок, – как она считала, королевской крови. Бывший любовник недостаточно и нерегулярно платил ей, и она стала подрабатывать проституцией. Потом ее убил Джек Потрошитель.

НГ: Кроме литературы и живописи, вы занимаетесь и музыкой...

ДОФ: Я действительно играю на фортепиано. Начала я заниматься музыкой, когда писала биографию графа Сен-Жермена. Я никогда не пишу о поэте, не познакомившись с его поэзией. Как я могу писать о композиторе – а граф Сен-Жермен, помимо прочего, был еще и композитором – не услышав его музыку? В библиотеке Британского музея я обнаружила много партитур сочинений графа Сен-Жермена. Я сделала копии его произведений в надежде, что в один прекрасный день смогу воспроизвести их на рояле. После этого я начала брать уроки игры на фортепиано, и теперь я уже могу сыграть многое из его сочинений. Сейчас я играю Бетховена, Сирила Скотта, я даже написала статью о музыке Сирила Скотта. «Лунная соната» Бетховена – одно из моих любимых его произведений. В прошлом месяце я играла ми-минорный ноктюрн Шопена. Я каждый вечер играю понемногу.

ИНДРЖИХ ШТЫРСКИЙ

ЭМИЛИЯ И ДРУГИЕ ТЕКСТЫ

В красках чумы и холеры

Всесторонний талант Индржиха Штырского (11 августа 1899, Долни Чермна – 21 марта 1942, Прага), одного из ведущих представителей чешской культуры 20-х и 30-х годов XX века, проявился в широком спектре жанров изобразительного искусства и литературы. Хотя главным выразительным средством для Штырского на протяжении всей его жизни оставалась живопись, которой он несколько лет обучался в пражской Академии изобразительных искусств (1920-1924), он также обращался, пусть и нерегулярно, «волнами», к коллажу, сценографии, дизайну книжных обложек, иллюстрациям и типографии. Одновременно с этим с начала 1920-х годов Штырский страстно увлекся любительской фотографией. В 1934-35 гг. он создал оригинальные фотографические циклы – «Человек с шорами на глазах», «Человек-лягушка» и «Парижский день». Столь же значительным и многогранным был и интерес Штырского к словесному творчеству: биографические исследования сменялись манифестами, анкетами, острыми критическими выпадами. В архиве Штырского сохранился и ряд стихотворений, датировку которых не удалось до сих пор определить достоверно, а также записей и зарисовок снов, – автор закончил их редактирование в 1941 году, однако успел ознакомить круг ближайших друзей незадолго до смерти лишь с небольшой их частью, несмотря на то, что записывал сны с середины 20-х годов, когда жил в Париже, и публиковал свои записи в журналах французских сюрреалистов.

Штырский занимался также редакторской и издательской деятельностью. На рубеже 20-х и 30-х гг. он руководил литературным вестником издательства «Одеон», в котором сам часто публиковался, и создал две эротические серии – «Эротическое ревю» (1930-1933) и «Серия 69» (1931-1933), – лично определяя содержание их выпусков.

Благодаря такому художественному и организационному разнообразию Штырский стал типичным представителем межвоенного авангарда, принимавшим участие в развитии разных видов искусства. Плодотворным жанром, объединяющим всю его деятельность, оставалась поэзия, выраженная словесно или при помощи средств изобразительного искусства. Штырский был одним из немногих чешских авторов, которому удалось в своем творчестве и взглядах на искусство реализовать давнее представление романтиков, символистов и декадентов об «отождествлении рисунка и стиха». Впрочем, сближение их не было для него простой анаграммой, отзвуком популярных в то время теорий Карела Тейге о картине, которую можно читать, как стихотворение, и о стихотворении, которое можно рассматривать, как картину. Эти художественные проявления Штырский отождествлял дословно и последовательно. Ведущее место среди его интересов заняло поэтическое время, свойства которого он постоянно стремился охарактеризовать. Это время, по его мнению, было единственной ценностью, не подвластной смене эпох, художественным, политическим и общественным

потрясениям, в то время как все остальное кануло в забвение. Исходя из этой категории, можно объяснить характерные черты взглядов Штырского, которые проявились в его деятельности в художественных объединениях и в критике поколения, к которому он принадлежал.

С точки зрения «внешней» деятельности Штырского решающими для него стали 2 момента: в 1923 году он вступил в «Деветсил» и принял участие в выставке «Базар современного искусства», первой значительной коллективной акции, которая стала знаком рождения молодого поколения авангарда; в 1934 году была основана Группа сюрреалистов в ЧСР, наиболее ярким членом которой Штырский стал наряду с поэтом Витезславом Незвалом, которому принадлежала идея основания группы, и художницей Туайен, – с ней Штырский познакомился еще в 1922 году, когда они вдвоем создали своего рода мини-группу в рамках чешского авангарда, совместно выставляя свои труды и публикуя манифесты. Таким образом, Штырский был членом обеих важнейших поколенческих групп и объединений единомышленников. Необходимо упомянуть и о Левом фронте, основанном в конце 20-х годов в качестве ответа на возрастающую активность цензуры чехословацкого государства в культурной и политической областях.

Штырский, однако, был не просто представителем левого авангарда, выступающим против консерватизма, мещанского и устаревшего, полицейского насилия, стрельбы по рабочим и нарастающей фашистской угрозы. Он остро реагировал на недостатки и нерешительность в деятельности своего собственного, первоначально ориентированного на авангард поколения, которое в конце 20-х годов постепенно начинало отрекаться от провозглашенных ранее идеалов. По инициативе Штырского началась очистительная полемика – хотя в эссе «Уголок поколения» он не назвал никаких имен, множество членов «Деветсила» приняло его на свой счет. Высказанное Штырским требование свободы творческого выражения должно было быть, по его мнению, исполнено и ценой самоуничтожения. Это требование оживало в нем всегда, когда он обнаруживал, что в чем-то художественном творчестве происходит приспособленческий поворот. В отличие от «Деветсила», через который прошло около сотни самых различных авторов, обращавшихся ко всем возможным сферам искусства, вплоть до архитектуры, кино и современных танцев, в Группе сюрреалистов в ЧСР собралось лишь несколько ярких художников.

Как художник-авангардист, Штырский без колебаний выражал свои взгляды при помощи манифестов, заявлений, лекций. В Париже, где Штырский провел несколько лет (1925-1928), он разработал вместе с художницей Туайен оригинальное художественное направление, названное ими артифициализмом. Штырский создал несколько текстов, объяснявших его цели.

Противоречия, возникшие между 20-ми и 30-ми годами, между взглядами «Деветсила» и Группы сюрреалистов в ЧСР, между артифициализмом и поэтизмом с одной стороны и сюрреализмом с другой, представители межвоенного авангарда характеризовали как диалектический процесс перехода от одной фазы к другой. Существенную роль сыграл в этом процессе и Штырский, которому пришлось обосновывать, почему в манифестах, издаваемых с середины 20-х

до начала 30-х годов, он отрицал сюрреализм, а впоследствии в одночасье стал его сторонником и превратил в единственную программную опору своего дальнейшего творчества, оставшись ему верным до конца жизни.

Переход от артифициализма к сюрреализму, очевидный в стихотворениях и снах Штырского, имел свои причины. Он был связан с изменениями, пережитыми всем движением авангарда, которое в 1933-1934 годах, когда возникла Группа сюрреалистов в ЧСР, оказалось в состоянии явного упадка. Хотя артифициализм в последний период своего существования содержал черты сюрреализма, программный переход в творчестве Штырского осуществлялся постепенно. Сюрреализм сперва проникал в его работы помимо воли автора, Штырский сопротивлялся его влиянию, однако именно сюрреализм привел его к важному пониманию необходимости преодоления модернистских предрассудков, которые по-прежнему были характерны для посткубистического авангарда. Сюрреализм предоставлял ему и свободу мнений и самовыражения. Влияние сюрреализма заметно в созданных в 1928 году иллюстрациях Штырского к «Песням Мальдорора» Лотреамона, перевод ряда строк которых на чешский язык был замаран цензурой из соображений защиты общественной морали. За этими иллюстрациями последовали важные циклы рисунков «После потопа» (1929) и «Апокалипсис» (1929), в которых Штырский уже без каких-либо колебаний вернулся к иллюзионному, описательному изображению, которое первоначально критиковал. Это решение привело его к особой диалектике видения, основанной на пересечении двух областей: изобразительной, без каких-либо ограничений воплощающей противоречащие друг другу формальные подходы, не важно, иллюзионные или материальные, натуралистические или абстрактные, и содержательной, заключающейся в отождествлении обособленного, будто бы вырванного из неопределенного и неназванного целого вечного мотива с внутренним символизмом, источником которого было бессознательное. К этой точке зрения Штырский пришел на рубеже 20-х и 30-х годов, в период кульминации споров и колебаний, когда он все чаще стал обращаться к записям снов, требующим возвращения к описательному изображению. В течение 16 лет (1925-1940) им был создан уникальный цикл 33 снов, ставший своего рода скрытым фундаментом его творчества. В мае 1941 года Штырский создал к своей книге снов масштабное предисловие, в котором был дан ключ к некоторым их источникам. Лишь после публикации полного текста снов в 1970 году удалось интерпретировать некоторые странным образом переплетенные в творчестве Штырского мотивы, разгадка которых вела к его биографии, в особенности детству и подростковому периоду, проведенным в Чермной, маленьком селе в восточной Чехии. Как следует из слов Штырского, его подавлял строгий, деспотичный отец, бывший директором местной школы, и возбуждала рано умершая сводная сестра Мария. В момент ее смерти, при котором он присутствовал, ему открылось видение пропасти; этот образ впоследствии проходил через его творчество как завораживающая бесконечность, уравнение без решения, превратившись в пропасть между утонченной чувственностью, импульсом для которой были сексуальные инстинкты, и небытием, поглощающем человеческое тело.

Сильнейшее переживание, неизгладимо вписанное в память Штырского, предопределило его образность настолько, что, распознав обманчивость посткубистического и пуристического художественного алфавита, он начал пользоваться им лишь как одной из возможностей наряду с множеством иных. Формальное выражение Штырский поставил в услужение представлений, которые он стремился выразить и на наиболее полное выражение которых ориентировался, причем решающее влияние принадлежало отнюдь не методу реализации. На первый план его интересов вышел телесный элемент, содержащий в себе такое напряжение, будто в нем пульсировала жизнь, и в то же время ставший синонимом разрушения, выражением противоречий между чувственностью, которой могло навредить веристическое, целенаправленно описательное изображение, и гибелью, выраженной посредством тления, скелета, распада.

Дуализм, омертвление живого и оживление мертвого, являлся наполнением творчества Штырского и находил выражение в его живописи и литературе. Обе области могли или оставаться в его произведениях в резком противоречии (например, на одном из коллажей из книги «Эмилия приходит ко мне во сне» художник прилепил к лежащему скелету вырезанную фотографию фаллоса, а на другом – поместил совокупающиеся группы людей над открытыми гробами) – или же могли взаимопроникать и переплетаться, как на иллюстрациях к «Сну об алебастровой ручке», записанному в 1928, однако проиллюстрированному лишь в 1940 году, на которых алебастровая ручка нарисована так, будто она полна жизни. Незвал, знавший Штырского лучше, чем кто-либо из «Деветсила», не считая Туайен (которая, впрочем, не оставила о нем никаких письменных свидетельств), отмечал в своих воспоминаниях, датированных серединой 50-х годов, что в Штырском сталкивались две личины – хрупкость и нежность с жестокостью и язвительной злостью. Оба этих человеческих качества можно обнаружить, прежде всего, в литературном наследии автора, в котором они проникают едва ли не в каждое стихотворение или письменную запись.

Интерес Штырского к смерти и эротике не был лишь выражением наблюдаемого извне, перенятого чужого опыта. Он касался самого его существа. Штырский на протяжении всей жизни был серьезно болен. Он страдал от врожденного порока сердца, который и стал причиной его преждевременной смерти. Хотя до самого конца жизни он совершенно не жалел себя и периодически оказывался под влиянием алкоголя или впадал в круговорот эротических страстей, иногда наступали минуты, когда он болел так, что не мог принимать активного участия ни в чем и был вынужден не только запереться в своей студии, но и на несколько месяцев оставлять занятия живописью. В эти недели и месяцы он обращался к литературному творчеству – как на рубеже 20-х и 30-х годов, когда была подготовлена монография о Артуре Рембо (1930), так и во 2-й половине 30-х, когда Штырский создал несколько глав монографии о маркизе де Саде под названием «Житель Бастилии». Хотя, будучи сюрреалистом, после 1939 года художник был лишен возможности выступать публично, именно болезнь лишила его физических сил, необходимых для создания крупных полотен. Поэтому он занялся рисунками – иллюстрациями сновидений, которых в 1939-1940 гг. возникло множество. О том, как

сильно было иногда связано состояние здоровья Штырского с его творчеством, Незвал упоминает в прозаическом отрывке «Улица Жи-ле-Кер», в котором были непосредственно описаны впечатления от пребывания автора, Штырского и Туайен летом 1935 года в Париже, своего рода ответного визита после посещения Чехии Бретоном и Элюаром. Невыносимая жара, которая стояла тогда в Париже, очевидно, вызвала у Штырского сильный сердечный приступ; он тогда оказался на пороге смерти и на несколько недель был госпитализирован в парижскую больницу. Реакция на это событие проявилась в картине большого формата «Травма рождения» (1936); название дублировало заголовок популярной книги психоаналитика Отто Ранке, отрывок из которой был опубликован в том числе в «Зодиаке» (1930), журнале, издававшемся Незвалом. На черном фоне картины помещены детально выписанные разнообразные объекты из сновидений, иногда напоминающие одновременно состояние до рождения и после смерти (пренатальное и постмортальное).

Источники содержания в творчестве Штырского – сообщающиеся сосуды. Переливанием из одного в другой возникает форма, которая у Штырского всегда была результатом многозначных, конфликтных и полярных процессов. Несмотря на то, что он нередко находил источники вдохновения в событиях собственной жизни, его произведения не являются личным дневником, точно описывающим произошедшие события. Штырский изображал свою жизнь с той позиции, которую никак нельзя назвать прямой и однозначной, с точки зрения снов, некоторые из которых стали для него столь важными, что заслужили записи, заставляли художника возвращаться к ним, пытаться их понять и смириться с ними. Объект реальности сна для Штырского превратился в код, не только обращенный к его прошлому и бессознательному, но и открывающий множество иных возможностей интерпретации, не зависящих от жизненных обстоятельств автора.

Кодом может быть и словесное или графическое наименование, проходящее через стихи, прозу, рисунки и фотографии и относящееся к общему сюжетному ядру. В качестве примера можно привести мотив аквариума, проявляющийся на одной из фотографий из цикла «Человек с шорами на глазах» (1934), на рисунке, иллюстрирующем «Сон о рыбах» (1940), в стихотворении, названном «Ящик смастерил» и в поэтическом тексте из книги «Эмилия приходит ко мне во сне» (1933), дополненная версия которого прозвучала в более поздней лекции Штырского, прочитанной в семинаре Яна Мукаржовского (1938). У Штырского, однако, речь не идет о какой-то внешней взаимосвязи, об иллюстрировании одного посредством другого. Между одиночными наименованиями возникает смысловое притяжение, они начинают дополнять и поддерживать друг друга, создавать взаимосвязанное поле референций. Это поле не возникало одновременно в отдельных областях выражения; его элементы происходили из разных периодов жизни и творчества автора.

Прогрессивное понимание изобразительного искусства, верным которому Штырский оставался всю жизнь, в особенности в картинах и коллажах, позволяло реализовать скрытые стороны содержания, связь которых с выбором метода изображения вовсе не была очевидной: между формой и смыслом у Штырского

не существует причинно-следственной связи. Скорее, можно говорить об их конфликте, – форма становится носителем иного смысла, нежели обычно ей присущий. Несмотря на то, что Штырский подавлял рационализм, разрушая его всеми возможными способами, он был ярко выраженным интеллектуалом, сохраняющим дистанцию от личного переживания и завершенной реализации. Его работы интересны своей выразительной сжатостью, компактностью, необычно тщательным исполнением, не допускающим какой-либо открытости или случайности. Удивительно часто в них появляется имя Эмилия, впрочем, наряду со многими иными женскими именами, к которым автор, очевидно, был равнодушен. Имя стало и первым словом названия книги «Эмилия приходит ко мне во сне», ключевой для интерпретации всего творчества Штырского, в которой за кратким, концентрированным текстом, своего рода суммой познаний автора, следовало десять эротических коллажей, уникальных для тогдашнего искусства вообще. Вероятно, они были задуманы как напоминание о сводной сестре Марии. отождествление Эмилии и Марии также может следовать из некоторых снов второй половины 20-х годов, однако Штырский с удовольствием играет с неопределенностью, оставляя читателей и зрителей в недоумении и заставляя их гадать, подбрасывает им следы, которые могут, но в то же время вовсе не должны быть связанными с его собственной жизнью. Характерно поэтому, что Штырский умер, не успев создать «ключ» к своим снам, который должен был объяснить их взаимосвязь с его прошлым и семейной историей.

Важную роль в образовании Штырского сыграло самообразование. Он был знатоком литературы, истории, мифологии, психоанализа. Несмотря на то, что он подчеркивал роль маргинальных, инстинктивных слоев сознания, что в особенности проявилось в его поэзии, его обращение к изобразительному искусству было сознательным, заранее продуманным решением. Процесс реализации Штырский крепко держал в руках и не допускал какой-либо самовольности, хотя и практиковал метод конкретного иррационализма. К картинам, «вырванным» из собственного бессознательного, он относился как натуралист к своей коллекции бабочек или минералов. Хотя посредством творчества он выражал внутренние пространства своего мышления, ему удалось очевидно и наглядно выделить их явления и действия. Посредством собственного творчества он исследовал сам себя. Таким образом, он становился объектом постоянной психоаналитической автоинтерпретации, результаты которой так и не были обнародованы. О том, как он видел сам себя, с большой вероятностью можно судить по картине, написанной в январе 1940 года и обрамленной рамкой в стиле барокко. На ней изображен некий современный мученик, голова которого виднеется над поверхностью воды. По лицу стекает кровь из выколотых глаз. Картина стала своего рода поздним отголоском представления Штырского о том, что для настоящего, современного поэта «нет иного места, кроме как у позорного столба». Штырский не только позволил своим снам жить собственной жизнью, но и оказал их посредством решающее влияние на сознание иных реципиентов, которые могли видеть сны о его снах.

Благодаря широкому выразительному спектру, характерному для большинства авангардных художников 20-х и 30-х годов, без колебаний обращающихся к

самым различным литературным и изобразительным областям, кажется практически невозможным определить общий знаменатель, к которому можно бы было свести богатое и сосредоточенное само на себе творчество Штырского. Лишь одна связующая нить бросается в глаза. Штырский неустанно к ней возвращался и по-разному ее обозначал. Это меланхолия, пронизывающая все аспекты деятельности автора, состояние, с которым можно связать его точку зрения более, чем с каким-либо иным. В творчество Штырского можно проникнуть посредством психоанализа, структурализма, архетипомифологии, диалектического материализма, т.е. при помощи всех тех методов, которые были популярны и распространены в 20-е и 30-е годы и приверженность которым, в конце концов, он сам провозглашал. Однако и они не исчерпывают его творчество до конца. Для стиля Штырского характерны ирония, черный юмор, абсурд, экзистенциальный ужас. Он был не одним из многих художников, а единственным художником своего поколения, в творчестве которого оказались взаимосвязанными все эти стороны. Посредством своего творчества он как бы очищает сам себя, постепенно избавляется от всего побочного, чтобы впоследствии на самом его дне остался лишь осадок – меланхолия как постоянная медитация автора над распадающимся и гибнущим миром. Меланхолия в понимании Штырского имела две стороны – очевидную, которую было возможно прямо уловить и изобразить, сосредоточенную в постоянных и традиционных атрибутах или личной символике, и скрытую, выражающую сам процесс, который вызывает меланхолию и является ее причиной, тесно связанной с феноменом времени.

Штырский больше всего любил состояния, в которых нечто переходит в ничто: радужные цвета в серый, твердая поверхность в расплывающееся пространство. За привлекательной внешностью скрывается яд, разлагающий и разрушающий сознание зрителя. Этот яд – единственное спасение, единственное средство остаться верным самому себе и своему искусству. Он позволял Штырскому оставаться во времени, которое было ему столь близко. Становясь пленником печали, он постепенно все более освобождался от всего заимствованного, программного, искусственного, от модернистских принципов исключительного внимания к сохранению верности поверхности и отрицания подражания. Меланхолия – многостороннее ощущение, объясняющее разнообразные смысловые взаимосвязи творчества Штырского, в любом случае – выражена ли она прямо в конкретной картине, как «Меланхолия» (1937), включена ли в «Сон о жилете и привитом дереве» (1937) или же выступает в привычных мотивах руин или серости. Для Штырского она стала пространством исчезающей осязаемости. Она предоставляла ему истинный объем переживания времени.

Быть сюрреалистом в 30-е годы означало нечто гораздо большее и совершенно иное, нежели чем быть артифициалистом в 20-е. Сюрреалисты не ограничивались лишь областями художественного выражения и жизненной позиции. Прежде всего они стремились выразить абсолютную человеческую свободу. Штырский сохранял свой собственный мир и ценой того, что его картины казались обычным посетителям выставок непонятными и дерзкими, не имеющими никаких шансов быть проданными. Главный источник противоречий Штырский

находил и в иных областях, не только в конфликте мещанства и авангарда. Дело в том, что он сохранял независимость как от одного, так и от другого. Его пророческий дар проявляется в рисунке, названном «Поцелуй» (1939), помещенном в качестве изобразительного сопровождения вслед за текстом «Второго сна о Эмили» (1926). На этом рисунке цельная, круглая голова туземца-африканца стремится поцеловать обломок античного изображения женского лица, у которого, однако, нет губ. Чувственно зажмуренный глаз негра, высунувшего язык, контрастирует с глазом женщины, безучастно глядящим в пустоту. Штырский сохранял дистанцию от обоих миров, не становясь их частью, подобно наблюдателю культурных баталий, прямо не принявшему в них участия, однако же ему удалось выразить то, какой из этих миров и кем будет впоследствии поглощен. Спор аполлонического и дионисийского в будущем разрешится в пользу варварского.

Карел Срт

Эмилия приходит ко мне во сне

Эмилия тихо исчезает из моих дней, вечеров и снов. И ее белое платье потускнело в воспоминаниях. Я больше не краснею при мысли о странном отпечатке зубов, который в одну из ночей я заметил в нижней части ее живота. Исчезло последнее притворство, мешавшее предстоящим переживаниям. И весь этот хор девушек, улыбающихся бесстрастно, неопределенно, равнодушно при воспоминаниях о своих сердцах, рвущихся от страсти и полупредательского смирения, сгинул прочь. Наконец-то я избавился от этого лица, которое ребенком вылепил из снега, лица женщины, которую поглотила податливость ее лона.

Я вижу Эмилию отлитой в бронзе. Людей из мрамора, впрочем, блохи тоже не беспокоят. Сердечко ее верхней губы напоминает о старинных коронациях, а нижняя губа, привыкшая лизать, рождает воспоминания о лепестках борделей. Я медленно зашел под нее, моя голова касалась каймы ее юбки. Я видел вблизи волосы на ее лодыжках, беспорядочно смятые ажурным чулком, и воображал, какой гребешок нужен, чтобы расчесать их. Я полюбил запах ее лона, смесь прачечной и мышинной норки, игольницу, позабытую на ландышевой грядке.

Я стал жертвой просвечиваний и наложений. Глядя на Клару, я всегда видел ее в образе Эмилии с крошечными пятками. Когда Эмилия хотела грешить, ее лono пахло сеном и пряными травами. Запах Клары был подобен гербарии. Мои руки блуждают под юбкой, касаются края чулок, застежек подвязок, глядят внутренние поверхности бедер, горячие, влажные и нежные. Эмилия приносит мне чашку чая. На ней голубые башмачки. Никогда больше я не буду совершенно счастлив. Меня терзают вздохи женщин, выражение глаз, закатившихся в судорогах оргазма.

Эмилия никогда не пыталась проникнуть в мир моей поэзии. Она смотрела на мой сад через забор, и самые обычные фрукты и растения казались ей жуткими плодами доисторических райских кущ; я же тем временем тупо бродил по тропинкам, как идиот, как собака-выродок, идущая с носом у травы по следу смерти, избегающая своего удела, подобно безумцу; я тогда вновь искал миг, в который на какую-то площадь, где-то на юге, ложилась тень. Эмилия, стоящая у забора, спешит жить. Я ясно ее вижу: каждое утро она встает с распущенными волосами, потом идет в уборную, там мочится, иногда испражняется, потом моется дегтярным мылом. С ароматной промежностью она спешит смешаться с живыми, чтобы не стоять на распути.

Каким чудесным спектаклем был смех Эмилии! Казалось, что ее губы пусты и сухи; но когда все же твоя голова приближалась к этой верхней пещере наслаждений, ты слышал, как в ней что-то дрожит, и когда ее губы открывались навстречу тебе, между ее зубами извергался красный кусок мяса. Старость любит сюсюкать со временем. Мораль может спать спокойно лишь в объятиях наслаждений. А ее глаза, которые она никогда не закрывала в минуты величайшего наслаждения, приобретали выражение неземной нежности, и казалось, что она стыдится того, что делают ее губы.

В тех местах, где я ищу свою молодость, натываюсь на заботливо припряданные золотые локоны. Жизнь – это непрерывное убийство времени. Смерть

каждый день гложет то, что мы называем жизнью, а жизнь беспрестанно поглощает нашу жажду безнадежности. Мысль о поцелуях умирает прежде, чем губы приблизятся друг к другу, и каждый портрет выцветет раньше, чем мы на него посмотрим. Рано или поздно сердце и этой женщины прогрызет червь и рассмеется в его нутре. Так что кто сможет утверждать, что вы действительно существовали? Я видел вас в обществе обнаженной девушки, прекрасной и удивительно белой. Потом эта девушка подняла руки, и открылось, что ее ладони черны от сажи. Потом одну ладонь она приложила между ваших грудей, а второй прикрыла мне глаза, так что я видел вас, будто бы всю разорванную на кружевные нити. Вы были нагой, лишь с накинутым на плечи расстегнутым плащом. И в это мгновение я увидел всю вашу жизнь: вы были похожи на мясистое, буйно цветущее растение. Два стебелька, растущие из земли, плавно соединялись, и в этом месте вы начинали увядать, но уже выросло тело с пупком, грудями и головой, на которую забрались две розовых и очаровательных язвочки. Но в эту секунду нижняя часть вашего тела уже засохла и опадала. А я, корчась перед вами и касаясь края вашего плаща, урчал от любви, равной которой никогда не знал. Не знаю, чья это была тень. Я назвал ее Эмилией. Мы прочно и неразлучно прикованы друг к другу, но обращены друг к другу спиной.

Эта женщина – мой гроб, она скрывает меня в своем облике. И потому, проклиная ее, я обрекаю на проклятья себя, и люблю ее, я засыпаю с отпечатком ее ладони на своем мужском естестве.

Первого мая ты пойдешь на кладбище и на десятом участке встретишь женщину, сидящую на могиле. Она будет ждать тебя и выложит карты. Ты уйдешь и будешь искать разгадки на стенах пансионатов. Но головы девушек в окнах примут вид задов-бутонок и задниц-тюльпанов и будут трястись, когда близко проедет грузовик. Ты почувствуешь безумный страх от того, что они могут упасть на мостовую, – страх, подобный сласти, испытанной тобою при первой судорожной эрекции в детстве, и на ужас, пережитый, когда сестра учила тебя мастурбировать *алебастровой ручкой*.

От кого же ты еще ждешь утешения? Эмилия слишком истерзана, ее образ по клочкам ветер разнес в места тебе не знакомые, и теперь ты не можешь избрать ее средством, которое принесет покой, к тому же ты давно уже разучился плакать в минуты расставания.

Небосвод спит, и где-то в кустарнике тебя ждет женщина, сотворенная из сырого мяса. Будешь ли ты кормить ее льдом?

Клара всегда садилась на диван в легкой одежде и ожидала, когда ее будут раздевать. Однажды она взяла с моего ночного столика револьвер, прицелилась в картину и выстрелила. Кардинал схватился за грудь и рухнул на землю. Мне было жаль его, и позже, бывая в пригородных борделях и платя шлюхам за их премудрость, я всегда осознавал, что покупаю часть вечности. Человек, однажды познавший соленый вкус лона Цецилии, продавал кольца, друзей, мораль – все, чтобы насытить чудовище, таящееся под розовой юбкой. О, почему мы никогда не могли отличить первые мгновения, когда женщины нами играют, от тех, когда они в отчаянии сокрушаются над нами?! Однажды ночью, под утро, я

проснулся. Был час, когда под пение птиц опадают цветы. Рядом со мной лежала Марта, сокровищница любви всех видов, коринфская гиена с обнаженным срамом, открывающимся навстречу рассвету. Она поймала мой взгляд, полный отращения, и я был уверен, что она от всего сердца желает мне ощутить страшное чувство гадливости. Я увидел, как из ее промежности вытекает и набухает ее пизда, я видел, как она, все увеличиваясь, стекает с постели на пол, и, подобно лаве, заливают мою комнату. Я вскочил и, как безумец, устремился прочь из дома. Остановился я посреди безлюдной площади. В тот миг, когда я оглянулся, естество Марты вылезло из моего окна, подобно монументальной слезе неестественного цвета. Прилетела какая-то птица и клевала мое семя. Желая ее испугать, я бросил в нее камень. «Тебя ждет счастье, ты будешь все время повторяться», – сказал кто-то, кто шел в то время мимо, и добавил: «Твоя жена в этот миг рождает тебе сына».

За бледно-голубым корсетом девы Марии из Лурда два скарабея в каждый полдень назначали свидание. Я пришел в катакомбы совершенно невинным. Череда черепичных ящиков, естественно, пробудила мое любопытство. Несколько юношей было привязано за ноги, вниз головой, в кронах оливок, и их кудрявые головки пеклись на углях до розового цвета. В другой комнате я увидел клубок обнаженных красавиц, слившийся в единый, живой организм, в какое-то апокалиптическое чудовище. Их щели механически открывались, иногда впустую, другие же глотали собственную слюзу. Меня привлекла одна из них, похожая на немые губы, которые хотят заговорить, или на человека с онемевшим языком, который пытается закукарекать. Другая улыбалась, как бутон, и даже сегодня я узнал бы эти губки из сотен заспиртованных органов. Это было естество моей мертвой Клары, которую похоронили, даже не омыв так любимой ею мятной водой. В грусти я извлек свой член и без колебаний, равнодушно воткнул его куда-то в этот живой клубок, думая о том, что смерть всегда объединяет прелюбодеяние с несчастьем.

Потом я поставил на окно аквариум. Я держал в нем златовласую вульву и великолепный экземпляр мужского члена с голубым глазом и нежными прожилками на висках. Но постепенно я набросал туда все, что любил. Осколки чашек, шпильки, туфельку Барбары, лампочки, тени, огарки свечей, коробки из-под сардинок, всю свою корреспонденцию и использованные презервативы. В этом мире родилось множество странных животных. Я считал себя творцом. Полным правом. Позже, запав ящик, я удовлетворенно смотрел на то, как гниют мои сны, до тех пор, пока его стены не затянула плесень и ничего нельзя было рассмотреть. Я, однако, был уверен, что все, что я люблю на этом свете, живет там.

Но моим глазам нужно постоянно подбрасывать пищу. Они глотают ее ненасытно и беспощадно. А ночью и во сне переваривают. Эмилия разбрасывала непристойность полными горстями, вызывая в каждом существе, с которым встречалось, желание и воображение своего взрослого лона.

Мне вспоминается еще один случай из юности. Это произошло в то время, когда меня исключили из лицея. Все меня презирали. Со мной осталась лишь сестра. Я ходил к ней тайком и по ночам. Долгие часы лежа в объятиях друг друга

с переплетенными ногами, мы достигли того бессознательного состояния, в которое впадают все, кто ходит по острию позора. Однажды ночью мы услышали тихие шаги. Сестра дала мне знак, чтобы я спрятался за креслом. Вошел отец, осторожно закрыл за собою дверь в комнату и, не сказав ни слова, лег к сестре. Наконец-то я увидел, как делается любовь.

Красота Эмилии создана не для того, чтобы увянуть, а для того, чтобы сгнить.

МИР СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ

Я домысливаю движения девушки, анатомирую ужас и память, и от меня не скроется ничего из мешков безумия, на которых я сижу.

Эмилия с китайскими ножками мертва. Я сохранил лишь одну-единственную лампу без звезд, шар без света. Зеркало без изображения, руины без воспоминаний. Я снова нашел в зарослях плюща и в этом карликовом орехе историю, которая продолжается и теряется в меланхолии первой молодости, переплетенной с воспоминаниями минувших дней.

Разбитая юность плавает в домах, дома – в спальнях, спальни – в бельевых шкафах, все это при полном свете. Посреди чащи черных крестов провалившиеся могилы, поросшая лишаям фотография на эмали, венки из стеклянных жемчужин, вазы с желтой, тухлой водой, которая напоминает кремы кондитеров, ткань, создающая из кружева стебли, проплетенные лианами плюща. Из соседнего сада перевешивается через стену маленькая ветвь с двумя апельсинами. Крюки, домики улиток, рассыпанные в иле кораллы, паук-сенокосец путешествует по проржавевшей проволоке.

А посреди этого кладбищенского пейзажа я хотел бы нарисовать твой портрет, лицо моей морской подруги, ее образ, выгравированный на обветшавшей стене, покрытой трещинами, размоченной дождем, пропитанной водой, облупившейся от ураганов, побежденной временем. Несколько засохших цветов, вложенных тонкой рукой среди книг и выцветающих фотографий, – вот единственные воспоминания, которые мне остались.

Я видел, как вечерняя звезда восходит над руинами, видел тропинку, проложенную во вьющихся растениях, уходящую в чащу плотоядных кустов. Первые петухи. Георгины. Руки, прекрасные руки, почерневшие, как уголь. Когда я наступил на них, они рассыпались в болоте грязи. И все же я помню удивительно мало из своей молодости.

Я вспоминаю гроб, который стоял на чердаке дома моей бабушки. Бабушка хранила в нем яблоки, прежде чем ей самой пришлось в него лечь. Гроб пропах яблоками. Лучи осеннего солнца проникали через ромбовидное окошко чердака только на два послеобеденных часа и не могли испортить серебряные украшения этого ящика. Они не выцвели и не покрылись зеленым налетом. Она стояла лицом к ветру, в весенней природе, ветер обтекал ее ноги и грудь и делал с них слиток, она была одета в легкое белое платье и белые туфельки. Она стояла у железного забора с правильным узором в виде спиралей.

Несколько елей, качающихся на ветру, воспоминание о прошлых жизнях, художник, рисующий заброшенные стены в Провансе. Художник пролитой крови. Тишина немых взглядов, тишина открытых и присыпанных ран, тишина сломанных стен.

В бледно-голубом небе взмывают ввысь два голубя.

Вода, льющаяся сквозь дома, брызжащая, протекающая сквозь печные трубы, стулья и картины, плывущие по водной глади среди дохлых овец и одежды. Родной край всегда скучен и однообразен.

Мои ноги утонули в тротуарах. У скал выпали волосы – грива. Ева танцует посреди улицы, ее лицо освещено огоньком сигареты. Лоно растений собирает первый алкоголь. Нашлось дело для первого ножа и первой золотой арфы.

Я слишком долго носил белье и чулочки Клары, пока она верила, что вышла замуж за маршала, и спала, положив голову на руки, на могильном камне. Три обезьянки мыли ей ноги, а какое-то коренастое чудовище, стоя перед ней на коленях и положив ей на колени свою голову, мешало им. Но они не обращали на него внимания, оттирая эти прекрасные лодыжки так, что с них слезало мясо и превращалось в кровавое месиво.

Летающие драгоценные камни и ветер в пещерах преследовал языки пламени забытых костров.

Красные колибри выбрали себе места в сияющих, огненных зарослях зелени, голубые страусы нашли желтую песчаную равнину, а вороны – землю снега. Лишь серость летучих мышей сплывается с синевой ночи.

Оливки и черешни с оборванным кружевом. О, расскажи мне все об Астолене! Астолена есть упадок погребения мертвых. Астолена есть гора из муки, которую разносит ветер, а дождь превращает в тесто, которое сушит солнце. Это ткань, создающая водянистые стебли из кружев. Это осенняя женщина с рыжими волосами. Я называл ее *Яблочком*. Мне следовало называть ее *Конфеткой*.

Я видел ее в огромной бочке, наполненной уксусом, вокруг шеи ее была толстая пробка. Процессия пожарных с бумагами, свешивающимися из ртов, как раз шла мимо. Потом она танцевала в кубе густого тумана. Она казалась мне безграничной, ее фигура была лишь колеблющейся формой, просвеченной вспышками голубого света.

Она пришла ко мне после грозы, я видел, как она стояла на коленях в папоротнике, покрытом капельками росы, я знаю каждую ее ресничку и ее почти невидимые руки, я знаю тяжелый запах плотных медных волос, я видел ее стоящей перед сияющими лесами и нагой посреди моей комнаты. Она смеялась таким же смехом, как белые облака, и плакала над тщетными объятиями. Я знаком с ее одиночеством и с ее эгоистичным, неприступным сердцем.

Я знаю ее голос, испуганный, чистый и усталый, обвиняющий и бесчувственный, гибкий, холодный и болезненный, нечистый и себялюбивый. Я знаю его глубины, сияния, равнодушие, мстительность, лживость и тщетность. Я знаю его силу и бессилие, ее вздохи, гордость и тьму. Я знаю ее голос, который пробуждает, блуждает, бархатный и хрипящий. Я знаю ее шепот, подобный флейте, и его пассивность. Еще я знаю ее молчание в те минуты, когда она отдается, ее

крики, мгновенные взрывы, ее хрипы ненависти. Я слышал ее голос, звучащий, как органы, как потухшие голоса старух, как стеклянные голоса призраков. Я знаю ее металлический голос, как контрасты мечтательности и похабства. Я знаю тот голос, которым она разговаривает и поет во сне, ее голос, приходящий из неведомой дали. *Этот голос в конце концов надоел мне.*

Моя рыжая роза! Твоя любовь пахла, как осенний сад.

Я ушел от вас в край, освещенный луной. Я шел все дальше, и пейзаж вокруг менялся. Я прошел через иней и направился по заснеженной тропке к белому лесу. На деревьях лежали густые слои снега, заяц глодал кору молодых рябин. Тропинка шла вверх по этому лесу, я шел долго, лес начал редеть, а снег убывать. Здесь и там слышал я голоса птиц, наступил на кустик подснежников, прошел через луг, полный первоцветов, и остановился у какого-то озера, гладь которого искрилась на солнце в тишине. Лишь металлическая стрекоза подрагивала над водой. Потом листья пожелтели, и повеяло бабьим летом. Я шел дальше, все дальше навстречу горизонту, пока, наконец, не остановился и впервые ясно не понял, что прошел весь свой срок будто во сне. Я кладу на твои горячие, миниатюрные грудки, которые я у тебя люблю больше всего, лист, чтобы укрыть тебя своей любовью, которая придавила бы тебя, как могильный камень.

Я перестаю видеть пейзажи, и вы поднимаете взор. Всё вокруг вас – зеркала, ждущие, когда вы в них войдете. Все вокруг вас погружено в искусственные тени.

Они ждут вас. Где-то рядом ты найдешь ключ, которым откроешь этот ящик. Слышать, чувствовать, прикасаться, – означает вспомнить. Дотроньтесь до папоротника, который каждое утро подстерегает вас в зеркале. Он будет холодным.

Астолена пройдет мимо меня, чтобы вновь вступить на газон из рифм, ассонансов и каламбуров в ритме песенки из оперетты. Ее судьба – быть лишь маленькой, а иногда чуть большей сальной свечкой.

Цветы существуют для меня только как их имена.

Только георгины были цвета кожи, обгоревшей на пляже и слезшей со спины, лишь они одни имели цвет пудры, стертой с плеча. Пионы укрывают водные слезы среди лепестков, как все буйные цветы. Еще какие-то позолоченные цветы, похожие на бронзовки. Белые магнолии вызывают тишину своим присутствием – их лепестки опадают от громких разговоров. Красные пиренейские незабудки похожи на глаза лебедей, а нормандский салат подобен зеленому кружеву, сгнившему и заплесневевшему в катакомбах, склепах и на могилах.

В стеклянном кубе вода цвета моря, на дне песок, и там лежит звезда. Газоны перед моими окнами под дождем источают зеленый анилин, который стекает по холму в озеро. Мне больше не принести веточку миндаля.

Уже никогда я не увижу ночных шестив в свете молний, дельфинов, розовых беседок, бабочек, ящериц, летучих мышей в скалах, полет чаек над морем, монахов в кремовых одеяниях и черных плащах, пиний, полет платков в порыве ветра и женщин на розовых балконах среди цветов.

Окаменевшее сердце, окаменевшие воспоминания, окаменевшие книги, окаменевшие звезды, окаменевшая черная краска, окаменевшие сыры, окаменевшие морщины, окаменевший бархат, окаменевшие могилы.

Однажды к вам придет толпа Агасферов, они отковыряют грязь и очистят ваше рубище, потом опять запустят на шоссе свои волчки и отправятся дальше.

Окаменевшее небо, окаменевшие сны, окаменевшие озера. Озера напоминают о смерти. Леса – бессильное утешение над озерами.

КРАЙ МАРКИЗА ДЕ САДА

История – не что иное, как удивительное исчезновение правды во времени. Потому имена поэтов навсегда связаны с руинами и тенями. Все, что покидает поэт, сереет и обращается в прах. Для поэтов радость наблюдать за тем, как небытие разлагает формы, некогда прекрасные, как пустота распространяется в сердцах, некогда свежих, как все вокруг них созревает для смерти, как все стремится к прошлому, в то время как их сердцам отказано в благодати старения. Поэтам не принадлежит ни сегодня, ни завтра. Поэтам принадлежит время.

Если достаточно одного разговора для того, чтобы два сердца навсегда стали друг для друга чужими, достаточно и одной секунды для того, чтобы любовники навсегда покинули объятия друг друга.

Замок Ла Кост – единственное место, о котором мы можем говорить в связи с любовью в жизни маркиза де Сада. Однажды сюда приехала его золовка Луиза де Монтрей. Она была единственной женщиной, которую маркиз любил в своей жизни. У нее были светло-русые волосы, а улыбка ее разжигала его воображение. На склонах холма, где стоял замок, весенний ветерок шелестел в оливковых рощах. Луиза любила темные и влажные уголки в саду. Тень преследовала ангела. А когда маркиз впервые сжал ее прозрачную руку, она лишилась чувств и ничком упала на землю. В Провансе была весна, и ни к кому менее не подходило прославившееся позднее высказывание Сен-Жюста, чем к маркизу де Саду: «Он был вскормлен молоком свободы. А молоком свободы была кровь!»

И в то время, как маркиз в замке Ла Кост готовил побег с Луизой в Италию, рыжая Бовуасин, вспоминая, обмякала в объятиях какого-то плута-адвоката, дом которого находился в лабиринте Пале-Рояль, чтобы ее позднее смыла из списков живых волна революции.

Ни одно место на свете так не напоминало мне кладбище, как развалины замка Ла Кост, залитые солнцем. И Луиза больше никогда не увидела край своего любовника. Она умерла год спустя, проклиная семью, но в его объятиях, в Венеции. Тот, кто находит наслаждение в небытии, не хранит потерянных шпилек для волос. Маркиз де Сад не любил оглядываться назад.

Замок Ла Кост пребывал в запустении. На мощеных террасах пробивалась трава, крапива заполняла углы, грязь скапливалась в подвалах.

Потом пришла французская революция. Однажды утром чернь вторглась в замок ненавистного аристократа, разграбила его и подожгла. Еще сегодня в этом краю рассказывают о том, что в замке были найдены подземные склепы, полные жутчайших пыточных орудий и человеческих костей. Именно в этих рассказах можно найти один из источников ужасной легенды о маркизе де Саде. В соответствии с подробным протоколом о разгроме замка, найденном в архиве

Национального комитета в Апте, ничего подобного в замке обнаружено не было. Вместо этого, в нем есть упоминание о «гостиной, разукрашенной безнравственными картинами» и о «зале, рисунки в котором представляют различные способы использования клистира», — то есть о фактах, которые в XVIII веке не могли смутить ничьей нравственности.

Маркиз де Сад узнал о разрушении своего дома лишь в парижской тюрьме в Пикпю и вскоре после этого продал Ла Кост с окружающими его угодьями депутату Роверу, который помог открыть двери его темницы. С тех пор замок несколько раз сменил владельца, но его строения уже никогда не были восстановлены. И хорошо, что так. Было бы непростительным вандализмом отнимать у времени его пищу.

Сегодня масштабные развалины замка сливаются с окружающим его пространством с полуразрушенными домиками, там и сям еще обитаемыми. Маленькая ящерка греется здесь на грязно-белой каменной стене, а рядом с ней спит черепаховая кошка. Большая черная бабочка с желтыми пятнышками летает над белой детской рубашкой, которая сушится на солнце. Жук-точильщик неустанно работает над тяжелыми воротами, на которых проржавел ненужный молоточек, мох и плесень покрывают стены, тянущиеся к небу пустыми дырами окон. В каком-то углу, поросшем геранью, распадается на части серый мраморный камин. В этих местах остатки нежно слепленных гипсовых цветов и карнизы мягких профилей еще остаются на стенах, покрытых темно-оранжевой краской, некой смесью кино-вари и желтизны, которая никогда не исчезнет из моих воспоминаний. Это особый ядовитый оттенок, который всегда вспоминался мне при чтении Мальдорора.

Маркиз де Сад, один из самых гениальных духов и самых характерных представителей литературы XVIII столетия, к счастью, избежал внимания своих современников. Его обширное творческое наследие лишь в наши дни начинает оцениваться по достоинству, и его запрещенное имя, весь XIX век окутанное постыдной легендой, лишь сегодня полностью реабилитировано.

Небо, бледно-голубое, как даль, простирается над его краем. Я прошел по нему летом, чтобы коснуться его горизонтов, чтобы читать в полуразрушенных стенах замка Ла Кост, и чтобы позднее спокойно отделить от обнаженной коричневой почвы его виноградников на холмах Сомана ту кровавую тень, которая более сотни лет лежала на его памяти.

Руины замка Ла Кост лежат далеко от главных путей между Авиньоном и Аптом. Земля вокруг выжженная, каменистая и печальная в солнечном жаре, в полдень, когда придорожные камешки белые, а листья винограда горячие на ощупь. Лишь тишина и запах тимьяна сопровождают безумца, продирающегося сквозь кусты на склонах холмов. Однако вечером, когда свет уступает место розовой росе, весь этот край приобретает более живой облик и начинает в чем-то походить на кабаре. Облака замедляют свой путь, а вдали начинается зарождаться особый фиолетовый оттенок, который не встречается больше нигде, кроме как в этой части Прованса, и который доступен восприятию лишь самых чувствительных глаз, привыкших к воспоминаниям о мертвых, оттенок, который вступает прямо в сны и расцвечивает их знакомым запретным ощущением зла. Сквозь

тяжелую темень ветвей при игре света нагая луна приносит глупцам сон и, принуждая влюбленных блуждать без цели по краю, изгоняет безумцев из этого дьявольского рая.

Именно здесь и именно ночью вызвал я дух, истинный облик которого никто не запечатлел, тень, на хромом коне устремившуюся сквозь стены виноградников и через поля куда-то к югу, к Марселю, в то время как вдали на террасах замка догорали факелы и компания полуголых проституток из Лиона орала похабные куплеты.

Немногие замки в Провансе в XVIII столетии могли соперничать в величии и красоте с этим любимым домом маркиза де Сада, над воротами которого был вытесан его герб: черный орел в золотой звезде, под коим были написаны слова родового девиза: SADE TOUJOURS.

Маркиз повелел заново обустроить Ла Кост, чтобы он мог жить здесь иногда со своей женой. Когда, однако, их и без того прохладные отношения охладели полностью и она полюбила замок Соман, он жил здесь в одиночестве, в окружении пьяниц и девушек. Никакое иное место в мире, кроме тюрем Миолан, Пьер-Ансиз, Венсанн и Бастилия, в которых Сад провел 27 лет своей жизни, не связано более тесно с его именем, чем этот участок земли, где он прожил самые насыщенные мгновенья своей жизни на свободе.

Здесь он жил с прекрасной танцовщицей и певицей Бовуасин, которую выдавал за свою жену. Говорят, что она была тощей, вероятно, от чахотки, и у нее были рыжие волосы. Чтобы ей нравилось в замке Ла Кост, маркиз повелел украсить ее комнату неприличными картинами. Не будем строить иллюзий о маленькой певице и танцовщице из XVIII века. Быть может она, босая, сидела на северной стене? Или танцевала в тени на террасах на закате солнца? Была похожа на античную весталку с посиневшими губами? Не будем предаваться иллюзиям о любви!

УГОЛОК ПОКОЛЕНИЯ (1)

Наше поколение созрело: оно отождествляет луну с электрической лампочкой, любовь с постелью, поэзию с кошельком. Добродетель оно меряет успешностью, а успехов достигает полировкой дверных ручек до блеска. Многие постарели, подурнели, и время превратило незаметные и микроскопические родинки духовной скудости в огромные язвы нищеты. Иные отдали дань своей трусости, превознесли собственное убожество, чтобы безнаказанно считаться посредственными никчемностями. Где-то, в тихой заводи, вдали от всех, радуются они иудиным сребреникам. Их жизнь смешна, и суть этого ее свойства в том, что их истинная ценность уступает их репутации. Иногда еще они создают иллюзию движения, подобного кругам на воде. Эти люди втихаря клеветают друг на друга, не роняя при этом себя в собственных глазах. Находя наш мир весьма идиличным, в совокупности они, тем не менее, представляют собой более сложный феномен, чем можно бы было предположить, ибо чем больше их

продажность, тем менее они чувствительны к кичу, или, точнее говоря, чем более они снисходительны к себе самим, тем больше кича производят. Они весьма наблюдательны. Поколение мечтает о лежащей ванне. *Место настоящего поэта в наши дни – у позорного столба.*

Наше поколение много говорило об экстравагантности и авантюрах, на деле же не было под солнцем стада более покорного. Оно полагало, что объяло целый мир, но при этом оказалось не в состоянии определить даже собственный объем. Его путь был с самого начала связан с крушением чужих радостей, которым оно кормилось. Каждой попытке расширить горизонт приходилось приносить в жертву агнца. Многим из них нация уже ставит памятники. Их скульптурные изображения и их молодость бронзовеют.

Конечно же, гораздо выгоднее любить иллюзии, ибо в них невозможно проникнуть, чем верить в них, ибо мы в них живем. Похоже, еще долго мы будем пренебрегать чужой молодостью, которая будет переплетаться с уходящими и приходящими группками, чтобы в процессе всеобщего развития и прогресса тихо идти назад, удерживая таким образом вечное равновесие бытия. Каждое поколение должно быть изгнано таким оружием, какого оно заслуживает. Сдается мне, наше поколение не заслужило ни меча палача, ни шпаги, – скорее уж щепотку стрихнина.

Сегодняшний человек, или его сокращенная версия, или намек на него, впадает в заблуждение, поскольку хочет при помощи *обоняния* постигнуть нежность роз, чей образ скрывается в подсознании, находящемся в постоянном движении, за которым не может уследить никакой *глаз*, и потому никто не может обладать близким к истине представлением о розах. Роза всегда будет лишь розой, вызывающей ужас. Даже если бы в будущем одна-единственная машина заменила сотни тысяч человеческих рук, человек бы рано или поздно разгромил ее, ибо ему нечем было бы занять свои руки.

Будущее поэзии заключается не в уме, которым обладают поколения. Никакое поколение не произвело больше печатных страниц, ни у одного из них не было больше ладана, паразитов, шутов, нарциссов, счастья и эльберфельдских лошадей, чем у нашего, и все же ни в одном поколении не было меньше поэтов. Ум нашего поколения отомстил ему самому. Любой дурак, родившийся в то или иное время, считает себя его представителем.

Необходимо положить конец предрассудку о поколении, чтобы дураки, которые свили себе в нем укромное, уютное и покойное гнездышко, могли радоваться после сезона конфетти еще и духовным приобретениям, а именно своей *невидимости*. И чтобы те, кто торгует собой, хотя бы еще один, последний раз, могли покраснеть.

Сидеть на двух стульях – такое же бесстыдство и дерзость, как пестовать сокровенное желание лежать в двух могилах.

Наше поколение распадается. Несколько поэтов по-прежнему живет по-своему. Земля для них тяжела, а даль легка. Или наоборот.

К КАРТИНАМ

Многие люди постоянно упрекают нас в том, что наши картины им непонятны. Вероятно, потому, что газоны во время дождя источают зеленый анилин, который стекает по холму в озеро. Удивительно лишь то, что кроты не живут на кладбищах.

Луккени, убив австрийскую императрицу, сказал: «Я ее убил потому, что она не работает». Реми де Гурмон добавляет: «Он убил эту женщину, которая инкогнито жила у Женевского озера, вероятно, потому, что она не стирала белье в озере сама». Всякое искусство, которое рождается от голода или из жажды признания публикой, есть мерзость. Однажды человек достигнет стадии, на которой сможет открывать в вещах максимум красоты. Солнце, например, перед его взором будет прожигать скалы. Но это – уже замена относительной реальности иллюзиями. Человек в конце концов привыкнет к любой *независимости* жизни. Его друзья срastутся с балюстрадами в доказательство того, что форма преходяща. Человек-пчела заменяет мечтания состоянием души, которое можно назвать жизнью из трудолюбия. Если не исходить во всем из предположения, что без определенной степени амнезии невозможно вызвать *определенные* воспоминания, то мы придем к искусству, о котором Каррьер говорил, что оно является высшим, поскольку повествует о вещах так, как мы научились их узнавать. Мы можем живо представить себе, что уже *тогда* устами Каррьега говорили те идиоты, которые сегодня винят нас в том, что не понимаем наших картин.

В объятиях природы, говоря грубо, мы узнали, как несправедливы были к самим себе. Мы узнали о нищете тех, кто может изобразить лес, не познав его. Мы *наблюдали*, что духи с ароматом мальвы, которыми пахла Клара, были еще страшнее в лунном свете. В конце концов, яд, который она испаряла во сне, чтобы утром обольщать своей невинностью, поглощали стены той комнаты с туманными обоями (позже она забрала этот яд с собой за границу, спрятав в рыжем парике). Вернемся, однако, к утру. Клара утром, при восходе солнца, ходила по саду с открытым ножом и срезала розы. Время, с которым солнце поднималось все выше, придавало этой картине естественности. Мы думаем, что внимательному читателю все до сих пор было ясно и понятно. Однако нам, как явствует из предшествующих строк, важна прежде всего финиковая косточка. Недавно мы где-то читали о том, что целый архипелаг в Эгейском море вырос из одной финиковой косточки. Возможно, это произошло примерно так: Полиника прятала орехи, и из одного из них выпал крошечный *замок*. Он затерялся посреди озера, среди камышей. Мы с П. ездили кругом замочка на пароходе. Водяная курица откладывала в нем яйца, и П. их высиживала. Мы привозили ей клубнику, чтобы она не умерла от голода. Когда вылупились маленькие цыплята, мы положили замок в скорлупку и никогда больше не охотились на водоплавающих птиц. Потом пал занавес, и взгляд случайного наблюдателя обратил все в пустыню. Наивный художник пытался изобразить в ветвях птиц, стенавших над тем, что им не было позволено погрузиться в пасть высших млекопитающих.

Время, подходящее для непрерывного продолжения сюрпризов, только лишь должно наступить. *Невезение тех, кто ищет убежища во сне, состоит в том, что они должны ждать момента, когда глаза их закроются от усталости.* Некоторые формы цветов и человеческих внутренностей привели нас к медитациям, но мы не стали строить из них гигантские модели. Мы всегда говорили Кларе: У тебя голова как морковка. Ты увидишь разные пейзажи, если будешь хорошо себя вести, но мы не знаем, пускать ли тебя туда.

МАЛЫЕ ПРОЛЕГОМЕНЫ

Марксистская диалектика, будучи последним словом научно-прогрессивного метода, не позволяет судить о предметах изолированно, одно-сторонне и искаженно.

Ленин

Когда Дон Кихот, подняв копье, нападает на ветряные мельницы, он поступает так, как ему поступать должно, но нельзя позволить делать это Санчо Пансе.

Энгельс

Все, что существует, все, что живет на земле, в воде, существует и живет лишь только посредством движения.

Маркс

Снова осень, пора, когда поэт снимает со стены гарпун и выходит на охоту на русалок. Привет вам, синие чулки, мечтайте дальше об идеале вечного блаженного безделья!

Лишь от вас зависит, будете ли вы считать поездку в утреннем трамвае делом необходимости, или же увидите в ней развлечение. Когда-то, в юности, мы подружились с мадам Мелузиной прежде, чем научились отличать овес от пшеницы: Терезия пахла розами, Анинка корицей, а Катержина – фиалками.

Никогда проблемы поэзии не были столь просты, как сегодня. Кто угодно, кроме поэтов, может сейчас принимать решения о ее будущем. Навсегда ушли времена, когда поэты сами избирали своего князя. Сгинули те прекрасные времена, когда двое мужчин на лесных полянах разрешали конфликт своих мнений при помощи дубин. И уже никогда не вернется эпоха, когда люди могли, не скрываясь, носить на поясе скальп своего противника.

Поэты в большинстве своем безумны, им достаточно метать икру в окружении дев, в то время как они могли бы одерживать победы над поющими коровами. Благодаря тем, кто разделяет с ними трапезы, они создают бессмертные произведения.

Однажды вечером поэт повстречал Гераклита.

Все одновременно существует и в то же время не существует. Все течет, все меняется постоянно, все постоянно возникает и исчезает.

Да, я это понимаю и знаю, что вы имеете в виду, отвечает поэт, однако я стою в стороне от классовой борьбы просто потому, что не считаю себя эксплуатируемым. Никто на свете не может присвоить плоды моего труда. А если все же мои симпатии склоняются на сторону трудящихся, это потому, что...

К несчастью, перебила его Катержина, это еще и потому, что культурные потребности пролетариата можно удовлетворить правильно избранным речевым оборотом.

Та из вас, дорогие дамы, отметил Гераклит, может безнаказанно вещать о чем угодно, кто сперва отметит, что выступает с марксистских позиций.

Никого нельзя с такой легкостью напоить, как поэта, и нет ничего дешевле фиалковых духов. Поэзия до тех пор останется *современной*, пока не начнет бороться с новым мировоззрением. После этого конструктивисты кружным путем будут возвращаться вновь туда, откуда начали свой путь. Представляется, что весь так называемый кризис трудящейся интеллигенции заключается в том, что этот класс не смог вовремя понять принцип движения и свел мир к подобию свалки вещей и реквизитов, в то время как реальные и переплетающиеся по прямой действия и движения материи были им совершенно не замечены. И поэзия стала оригинальной: гнилью, ужасом и смертью. Однако поэт достигает успеха лишь когда перестает удивлять публику.

Это хорошо, сказала Анинка, я тоже открою вам все, что у меня внутри.

Совершите харакири сидя, Анинка. После вернитесь в кладбищенскую землю, пропитанную мочой пьяниц, и засуньте внутрь себя всю эту разросшуюся флору ваших кишков.

Как только поэт начинает осознавать свои замыслы, он перестает быть поэтом.

Необходимо стать абсолютно ясным, чтобы получить возможность сказать то, что обычно замалчивается. Никогда проблемы поэзии не были столь легкими, как сейчас. О *современности* поэзии выносит вердикт несколько студентов, иногда еще какой-нибудь адвокат подсунет в печь литературной критики свой горшок, чтобы привлечь к себе внимание, и банковские клерки порой изрекут что-нибудь о поэзии, чтобы все видели, что и в их душах царит беспокойство.

Оставьте им это сознание собственной значительности, говорила Терезия, пахнущая розами, оставьте им иллюзию того, что они что-то создают, поскольку ничего пока что не разрушают. Будьте снисходительны к ним, позвольте им писать и произносить речи и под маской материалистского мировоззрения судить о поэзии, так они скорее превратятся в паяцев, чем если бы мы с ними дискутировали, поскольку от дискуссии вы лишь потеряете, а они приобретут. Позвольте им наблюдать за жизнью сквозь окна кафе, то есть из ваших угодий.

Мещанин до сих пор придерживается точки зрения, что все в природе создано по образу и подобию шара. Никогда современное искусство так не приблизилось к представлению о вечности и понятию бессмертия, как в грандиозных круглых камнях Бранкузи. Лишь то искусство и ту поэзию, которая соответствует уровню пролетариата, можно провозгласить поэзией будущего.

Но я разрушаю себя умышленно, – сказал поэт. Я смотрю в зеркало и вижу себя без грима, без ореола и без лилий, в состоянии столь жалком, что ни секунды не сомневаюсь, что я действительно похож на рудокопа. Я знаю, что это не фальшивое сходство, поскольку я не смотрю на себя *своими* глазами.

Видите, заметила Катержина, пролетариат однажды начнет вас безумно любить и восхищаться вами. Пока что же ему не нравится лишь то, что вы *еще* *существуете*.

Насколько я мог понять, сказал Гераклит, поэт не полемизирует с диалектическим материализмом, да и не унижает пролетариат, а скорее с презрением относится к марксистским тунеядцам и демагогам, плюет на неудавшихся сынков, изрыгнутых из клоак мещанских семей, на революционеров ограниченного духа, на снобопролетариев и коммунистических домохозяев, в общем на тех, кого Энгельс называл вульгаризирующими коридорными.

Если посредственный человек отдастся какой-нибудь философской системе, он превратится в интеллектуала.

Общество и принадлежность к определенному классу упорядочат его жизненный путь и облегчат для него понимание догм, которые его как индивидуум погубили бы. Марксистскому пониманию революционера в смысле диктатуры пролетариата однако не противоречит мысль о том, что хороший революционер может быть полным дураком. Поэта, в конце концов, не интересует то, каким именно образом бездельничает демократ или пролетарий.

Поэт имеет право прятаться за разные обличия, сказала Терезия. Все, что существует, заслуживает того, чтобы исчезнуть, шепчет Мефистофель, прячась за Гете. Не будь дерева, не было бы и гравюр на дереве.

Поэта не интересует вопрос о том, может ли из рядов рабочего класса выйти хороший поэт, поскольку рождение поэта-пролетария не является необычным событием.

Пролетарская литература есть удачная попытка рационального снижения уровня трудящегося класса. Это предательство, совершаемое по отношению к пролетариату, происходит таким образом, что несколько полуобразованных личностей и пустомель, принадлежащих к очевидным культурным подонкам, присваивают право удовлетворять культурные потребности пролетариата. Если человек смотрит на мир глазами марксиста, многое, что прежде было для него чрезвычайно важным, кажется ему совершенно мелким и ничтожным, а то, что он до сих пор недооценивал, приобретает для него наивысшую возможную ценность. Зависит от того, чему вы отдаете предпочтение: станете ли снобом или останетесь поэтом, – заметила Катержина.

Единственное, что для меня важно, отвечает поэт, – чтобы меня не отождествляли с интеллектуалами, знакомыми по весеннему кризису разума, которому предшествовал съезд, столь похожий на съезд ветеранов.

Кажется, что единственными, кто в будущем станет соблюдать традиции поэзии, будут помешавшиеся и безумные.

Роль поэзии в жизни будет минимальной. Единственными читателями поэта будут его родственники. Марксисты осознают ненужность поэзии и то, что

поэзия как таковая, то есть то, что мы называем ею сегодня, является отражением старого мира.

Пусть для поэта будет утешением, что сейчас и в будущем все люди сгниют или же превратятся в прах.

Одна лишь Терезия никогда не спрашивала поэта о том, почему он поместил этот цвет в середину квадрата или почему он избрал столь непонятную метафору. Терезию не интересует вопрос о том, почему у шиповника пять лепестков, и почему шиповник вообще существует, если ничего бы не изменилось, не существовуй он.

Возможно, поэзией являются только те чувства и состояния, без которых человек мог бы существовать. Кто-то мечтает о том, чтобы вырваться из рая, а кто-то мечтает в него проникнуть.

Один презрительно относится к обыденности, другой пренебрегает сверхъестественным. Кто-то смотрит на будущее поэзии извне, кто-то изнутри. В пятилетнем плане забыли указать способ, при помощи которого будет установлена власть над созданием образов. Я опасаясь, сказал домовый из темной улочки, что я стал совсем дряхлым. Как бы смешно я, наверное, выглядел, если бы поместил в петлицу не красную гвоздику, а какой-нибудь другой цветок.

А ведь и он когда-то любил поэзию, – сказала Аинка и с двусмысленной улыбкой поправила свой лифчик.

Молчите, Аинка, были времена, когда все понималось как искусство: чистка ботинок, выпечка тортов, а мы в свое время воспоем даже упадок искусства погребать мертвых.

Поэзия есть лишь возможность и приглашение ко сну. В поэзии и во сне сохранено *время*, погребаящее *эпоху*.

СНЫ

В раннем детстве я увидел в каком-то журнале цветное приложение, в котором было изображение женской головы. Она была прекрасна. У нее были золотые волосы, бледность которых будет всегда вызывать у меня в памяти лазурный оттенок голубого, а ее накрашенные губы, красные, казались влажным зевом пропасти, и все же были тихими, полуоткрытыми и немymi. Глаза, подобные фиалкам, ярко сияли на бледном лице, в них были грех, гордыня и слабость. Это была голова грешная, и все же исполненная сочувствия, проклятая, и все же полная доброты. Это была голова Медузы. Она лежала в луже крови. Из шеи ее струилась кровь, а в волосах был пучок змей, которые, вытянувшись, пытались проникнуть ей в губы, уши и ноздри. Мне не был интересен тот, кто нарисовал эту картину, поэтому его имя не сохранилось в моей памяти, но ужас остался в ней навсегда. Страшный, притягательный ужас. Голова Медузы. Она возвращалась ко мне во снах. Я пробовал примерять эту голову к людям, которые в то время были мне близки: матери и сестре, которой эта голова шла, как родная. Поэтому я ее безумно любил. На дне моих воспоминаний о сестре лежит и воспоминание о ее смерти. Ее босые ноги, напряженные в судороге, готовые

отправиться в подземный мир. Она пристегивала к ногам шпоры. Эти недоверчивые, высокие и обманные ноги со щиколотками женщин с картин Бердсли, с точеным мясом икр. Сестра бредила, как бредят влаголюбивые растения при лунном свете. Она раскрывалась в агонии, как сочный медиум в трансе, как огромный ночной цветок. Я жалею о том, что не узнал ее запаха. Ныне в воспоминаниях эта женщина кажется мне похожей на спящего жеребенка на альпийском лугу. Она, конечно, была знакома со многими видами любви. Так я неосознанно создал свой МИРАЖ, свой ОБЪЕКТ-ФАНТОМ, который стал моей идеей-фикс и которому я посвящаю этот свой труд.

И.Ш.
Прага, май 1941

I

СНЫ О ЗМЕЕ И УДИВИТЕЛЬНОЙ ГРУШЕ (1925-1930)

В полусне и во снах меня часто преследовала змея, разрезанная на две половины, освежавшая и без внутренностей. Иногда это была змея, у которой не было конца – как звено цепи – иногда змея, у которой не было головы. Часто я просыпался в ужасе от того, что она обвивалась вокруг моей шеи. Она душила меня, но это было прикосновение, которое не было мне противно, от него мне было хорошо. Эта змея появлялась в разнообразных сюжетах, и вместе с ней в них иногда появлялась груша. Ее я называл *Удивительная груша*. Я уверен, что эти два явления как-то были связаны между собой.

IV

СОН О КУНИЦЕ (1925)

Во сне я шел по морскому побережью. В том месте скалы образовывали странный проход. Я бродил, пока, наконец, не дошел до большой современной виллы с террасами и беседкой, оплетенной листьями винограда. В лунном свете это место показалось мне похожим на кулисы Гранд-Опера в Париже. Я перелез через стену, желая переночевать в беседке. В полусне меня побеспокоил звук открывающихся ставен на втором этаже, из окна которого проник свет, упавший на крону густой пальмы. Она поглотила этот свет. Из окна высунулась женщина, возраст которой я не мог определить, поскольку мне был виден лишь ее силуэт. Мне показались странными ее волосы, которые были связаны в пучок, по моде давних лет. Позже я заметил, что они белые, а когда она пошевелилась, я увидел блеск жемчужин, вшитых в ленточки, вплетенные в ее волосы. Дама наклонилась из окна и тихим голосом сказала: «Когда закончится ночь, я рассчитаюсь за коробочку». После этого я услышал сверху, из пальмовой кроны, мелодию какой-то затасканной песенки. Когда я посмотрел туда, откуда исходил голос, я увидел огромного орангутанга, играющего на скрипке. На поясе у него висела красная коробочка со странной ручкой, похожей на детскую руку. На ветви дерева, которое росло рядом с пальмой, сидела большая куница с головой,

поднятой ввысь, так, как их некогда изображали в книгах по природоведению, будто бы увлеченная пением. С нее была снята кожа, и ее волоски на шее переходили в сырое мясо, которое все было нашпиговано салом, подобно зайцу, подготовленному к тому, чтобы его запечь.

V

СОН О ЭМИЛИИ (с 5 на 6 июля 1926)

Я в саду у своих родителей. Перед домом с крыльцом – маленький огороженный загончик с кустами черной смородины. Фруктовые деревья росли в нем будто наяву. Меня, однако, удивило, что я нашел в нем нечто вроде барочных ворот в большой сад и *подземный ход*, полный каскадов, каменных гномов, садовых замков, фонарей, а на земле множество кожур от колбас и бумаги от сыра. Среди деревьев стояли белые накрытые столы, как в уличном кафе. Я понимаю, что на самом деле всех этих вещей там быть не должно. Я здесь с Эмилией. Вдруг, будто бы уже без нее, я вижу, как Ц. купается в нашем пруду, который расположен в какой-то незнакомой местности. Мне кажется, будто я там был уже со вчерашнего дня. Был полдень, но он все время кричал, что времени всего 10 часов. Мы опять в саду, среди деревьев которого блуждает странный автомобиль, едущий по воздуху. Изобретший его седой мужчина выступал с речью. На тропинке среди лугов я поцеловал ему руку, что он воспринял с особой радостью. Потом я провожал Эмилию, и мне казалось, будто я покинул ее двадцать лет назад. Она рассказывала мне о праздниках, которые устроит сегодня, завтра и послезавтра. У ступенек, ведущих на крыльцо дома, мы поцеловались, она расстегнула мне брюки и всевозможными способами хотела выразить свою любовь ко мне, но тут мой отец крикнул, что застрелит меня из револьвера номер 10.

VI

ВТОРОЙ СОН ОБ ЭМИЛИИ (2 октября 1926)

Мне где-то 8-10 лет, и я играю с Эмилией в куклы в саду в Чермной. Куклы, которыми мы играли, были сломаны – без голов, без ног, у других было НЕЧТО, похожее на голову (Кладбище кукол – прим. автора 1941). Мы в тех местах, где в моей молодости рос какой-то особо редкий сорт сливовых деревьев, которые позднее засохли. Лето, и весь сад порос высокой, жирной и буйной травой, которая растет всюду там, где влажная почва. Под сливовыми деревьями трава была скошена. Поэтому люди нас не видели. То здесь, то там какая-нибудь перезревшая слива падала на землю. Вокруг сада рабочие возводили забор. Я говорю, что им понадобится 4х35 кольев. Мы бежим сквозь высокую траву по направлению к кольям. Вдоль дороги уже были выкопаны глубокие ямы. У меня карманы полны разных осколков от горшков, тарелок, кружек, на них нарисованы цветы, орнаменты, участки пейзажей, фрагменты лиц, осколки стаканов с выгравированными розами и т. д. Я выбрасываю все это в ямы, хотя мне и жаль, но я уверяю Эмилию, что это необходимо для того, чтобы забор был прочным.

Эмилия, чтобы тоже чем-то помочь, распечатала свой кулек и начала разбрасывать по ямам зеленые ментоловые пастилки. Потом мы садимся у одной из ям, в которую выбросили всех сломанных кукол, а в той яме ни с того ни с сего вдруг оказывается кол, он то танцует в ней, как пестик в ступке, а иногда движется вверх-вниз, тяжело, будто совершает восхождение.

Этот *важный* сон я записываю из-за живого ощущения, которое охватило меня после пробуждения – будто я, будучи ребенком, занимаюсь сексом.

IX

СОН О ЦЫГАНКЕ

(3 часа утра, 23 апреля 1929)

...я просыпаюсь ранним утром (кажется мне во сне) из-за стука в дверь (я в Чермной) – в комнату ко мне входит какая-то цыганка с ребенком на руках и начинает вымогать у меня деньги за некий проступок – будто бы я хожу с ружьем с просроченным разрешением на оружие – она угрожает мне, что донесет на меня в полицию – я расстроен – в комнате появляется Туайен и несколько моих друзей – я варю им утренний кофе, а для цыганки готовлю мясо, чтобы привлечь ее на свою сторону – — — потом я иду с ней в лес – говорю Туайен, что вернусь где-то через полчаса – Когда мы подходим к «хижине» Янса, я начинаю сильно нервничать, поскольку полчаса уже прошло. На повороте дороги появляется огромное видение Туайен – размером не меньше 10 метров – и зовет меня – цыганка в испуге бросается к скале, запрыгивает на нее как БЕЛКА и исчезает – скала влажная – —

я опять на ферме с цыганкой – иду с ней на террасу перед домом – ребенок бежит по террасе – я кричу ему, чтобы он не упал в воду – поскольку ферма окружена водой, как Ноев ковчег – — — я с цыганкой на каких-то развалинах, прошу ее, чтобы она позировала мне как модель – только после этого я могу тщательно ее рассмотреть – ей где-то 40 лет – она соглашается и требует вперед деньги – После того, как я даю их ей, она куда-то отпрыгивает, возвращается с лопатой, *вырывает кусок земли, переворачивает ее*, после чего садится на нее в живописной позе и начинает кормить грудью ребенка, которому не меньше 8 лет – —

XIII

СОН ОБ ОТЦЕ

**(ночью с 15 на 16 октября 1931 – Прага,
Кременцова улица)**

...я в так называемой передней на ферме в Чермной. Я ищу какой-то официальный документ или письмо в старом письменном столе. Я один во всем доме, и это чувство полного одиночества мне не по душе. Я ощущаю страх, подобный тому, какой я испытывал в детстве, когда приходилось одному идти в подвал или на чердак. Вдруг двери открываются, и входит мой отец. В этот момент мне

становится хорошо. Я вздыхаю с облегчением, и давящее чувство исчезает. Мы оба тщетно ищем какие-то счета, связанные с продажей сена. Мы начинаем спорить, и спор переходит в драку. Я вижу отца бледного, с поднятым левым плечом. Отец держит над моей головой стул и хочет меня им ударить. Я уклоняюсь, и стул меня не задевает, а летит мимо на землю. Мне приходит в голову, что надо уйти, чтобы прекратить эту безобразную сцену. Я говорю себе: отец, в конце концов, уже старый человек. Я иду к дверям, но еще раз оглядываюсь. Я вижу, как отец одной ногой стоит на спинке стула, а другая нога балансирует в воздухе. Он напряженный и бледный, почти белый. На нем свадебная чамара¹, а поверх нее – какой-то белый халат. На левом плече его – зажженная свеча. Мне кажется, что он онемел. Он судорожно подергивает плечами, будто трясется в плаче. При этом смотрит на меня с такой же злобой, как мгновение назад, а в его глазах я читаю желание и в то же время неспособность меня ударить. Вдруг, не знаю как, под его балансирующей ногой оказывается второй стул. Я вижу, как он стоит, расставив ноги, на спинках двух стульев. Он будто бы прикован к ним. Тут он начинает меня преследовать. Он делает на стульях шаги в несколько метров. При этом он такой же окаменевший, и я убегаю не от его ударов, поскольку знаю, что он не способен ударить, а от его *вида*. Ему удастся застать меня врасплох, и, прежде чем у меня получается выбежать в дверь, мы несколько минут обегаем кругом комнату. После этого мне приходит в голову мысль, что он давно мертв, и, следовательно, меня преследует его труп. Это удваивает мой ужас. Я бегу по длинному коридору через двор под хлевом и конюшней в поле, но отец по-прежнему преследует меня по пятам на своих безобразных ходулях. Под дубом у меня проваливается почва под ногами, и я падаю в грязь. Несмотря на это, я продолжаю бежать к часовне, хотя уже по пояс проваливаюсь в грязь. Когда я оказываюсь в грязи по грудь, мне кажется, что пришел мой конец, и через мгновение я погружусь в нее с головой. Я чувствую безумную ненависть к отцу, но меня утешает мысль, что и он должен утонуть в грязи вместе со мной. Я еще раз оглядываюсь на него. И не могу найти его в округе. Он исчез. Я замечаю, что у меня на шее оказался большой кусок пробки, похожий на мельничный камень. Я рад. Я знаю, что теперь спасен. Плыву. При этом я точно так же убежден, что и отец не утонул, и чувствую страх перед тем, что в следующем сне он вновь будет преследовать меня, стоя на стульях.

XIV

СОН ОБ ЭМИЛИИ И МАРТЕ (1931)

Я в кабинете сельской школы в Петровицах, чиню старый циркуль. Я смотрю из окна на фруктовые деревья в питомнике, на голые ветви яблонь и груш, окруженных цветами. Погожий весенний день – на полях за школой старухи сажают картошку. В соседнем классе какой-то шум – в класс из кабинета ведут двери – этот шум мне мешает, женский голос, все время повторяющий какое-то

¹ Национальная праздничная одежда (пиджак особого фасона), которую носили во 2-й половине XIX века чешские интеллигенты для демонстрации патриотических чувств.

правило из медицины, потом два голоса, спорящие о бедренной кости, потом тишина. Я пытаюсь нарисовать круг в какой-то официальной книге, однако эта бесконечная тишина не дает мне покоя, и из кабинета я вхожу в натопленный пустой класс, в котором на задней лавке сидят Марта с Карелом и целуются. Оба смущены и принуждают меня к тому, чтобы я не уходил. Мне кажется, что Марта меня любит, хотя и целуется с Карелом. Я смотрю в окно, замерзшее, занесенное снегом, в сад, в котором как раз напротив окна стоит железный насос, в который, будучи мальчиком, я наливал горячую воду, когда он замерзал, и вид этого занесенного снегом насоса, зеленого, перед заснеженным забором, наполняет меня грустью. У насоса стоит Эмилия в шубе и какой-то незнакомец, они кивают в мою сторону, я кричу: уже иду, открываю двери на лестницу – меня ударяет в лицо холод – я сажусь в сани и уезжаю с незнакомцем и Эмилией¹.

1 От слов «уже иду» текст перечеркнут – (прим. сост.)

СТИХОТВОРЕНИЯ

1)

Нет здесь черешен, птиц и сетей

Земля
Пояс
Кругляш

Без времен года
Без дождей
Вечно неустанная

Странные содружества орхидей
Сжимают в печали грудь
И их морды ранят
Зеленые стебли разветвляются, как веер
И пожирают свет

В этих ненормальных условиях корни разрастаются
В свете
В то время как в кронах оливок сокрыта ночь
Но день с ней связывается

2)

Сахарница солонка и перечница

Страхивать пыльцу с карловарских роз
Вырастать в мохнатые сережки

На опустевших верандах
Опавшие листья осенних скатертей
Зеленые стулья

Безумие пророков
Появляется вновь за дверьми
Ведущими в комнату наполовину наполненную перцем

А наполовину – солью

Иногда и тени на пруду отражают иллюзию движения

Клевещут друг на друга
Не теряя друг ко другу уважения
Это жизнь тростника болот и рыб
Которую человек не может презирать

3)

Листья льда

Я распугал всех попугаев с маленькой кроны
Вульгарные краски воспоминаний бледнеют
А в ветвях плачет и стонет
Гордый и зеленый павлин

Его глаза как раскраденные подземелья
Бесконечная клавиатура с единственным тоном
Глаза со сгнившими нервами
В вечной черноте
И бесцветности
Глаза слепых курильщиков
Сжимающих в руках пьянящие клады

4)

Я искал в пепле пепел

Розовый куст посреди газона
Тогда я хотел быть наездницей в цирке
Я видел как вы танцевали на лошади
В платье с синими звездами
В то время как ревело стадо львов
Твои трико сплывающееся с хребтом лошади
Я шел через вершины
Которые были горами пепла
В который я проваливался

5)

Я открываю перед вами пять листов света

Во тьме звало на помощь лишь ее белое платье
Но и оно исчезло

Фарфоровые небеса

Сначала шагали четыре слона
Белые вихри снега
Трое волхвов шли за фантомами
Отпечатки копыт верблюжьих

Потом пришли страны песка и белых башен
Каменные книги
Сады металлических роз
И маленькая Клара чайного цвета

6)

Ящичек смастерил

Ящичек смастерил

Медянка

Стебли

Аквариум в который я бросил перчатку Марии
Чтобы все время иметь перед глазами
Крушение

Мертвая медянка

Мертвые стебли

И сломанная опора солнечного зонтика

Мертвые кусочки мха

Из лишайников

Целлулоидная нимфа стала мягче

Много странных животных

Родилось не в воде

7)

Эмилия любила обнажаться

Акации дыма

Разговоры вязнут

Как иначе объяснить глотание слез

Если бы я только вспомнил о тех временах

Листья падали в корзинки

Трубок

Озер

И шляп

Если бы не было клетчатых платьев Эмилии

Я бы с трудом мог разлучиться с Павлиной

Ночной зверь спускался в бордель

За каскадами китайского павильона

В золотом платье

С длинными икрами

Жанетта исчезала

Пока от нее не остался кубик сомнительного маргарина

Я не мог бы назвать Павлину жемчужиной

И все же дорого заплатил за ее корни

Не обманывайтесь ее неприступностью

Эта бледная девушка с выпитыми глазами

Маргарита Наваррская

И все анонимные нимфы этого века

Живут в покое

Как увядают золотые лилии на солнце

Мое единственное приключение

Борода

8)

Сольвейг

У Сольвейг пять сердец
Пятое из них поросло шерстью
И слепо

Мускус
Щекочущий пот шерсти кошки
Которая выпалась на ландышевой грядке
С запахом прачечной

Я шел медленно
Моя голова была в складках ее юбки

Я видел как просвечивала кожа
И волосики на икрах
Свалявшиеся под чулком
Я хотел расчесывать эти волосы
Представляя себе какая расческа нужна для этого

После ходила Сольвейг
Как зеленый липкий павиан
На которого налипли
Опавшие листья осени

9)

Усталость

На тропинки где ходила Павлина
Ветер навевает песок
И эти тропинки будут названы ошибкой
Которую никто не будет в силах понять
Или объяснить

Кроме осенних вечеров
И отчаяния
Здесь нет ничего что заслуживало бы листа бумаги

Техника любви остается разной

Вы будете прекраснейшими руинами на свете

ВАСИЛИЙ КОНДРАТЬЕВ

ИЗ НЕИЗДАННОГО

Публикация Владимира Эрля

Несколько слов о вошедших в публикацию произведениях.

Строго говоря, четыре из них публикуются не впервые. В машинописных журналах «Йорк» (М., 1989, № 2) и «Равноденствие» (М., 1989, № 2 [3]) были опубликованы стихотворение «Ладва» и поэма «Памяти Алисы Порет». Ограниченным тиражом (ксерокопированная машинопись, не более двадцати экземпляров) вышел буклет к персональной выставке Леона Богданова, прошедшей с 26 по 29 апреля 1994 года в Музее Анны Ахматовой. Ещё меньшим, по-видимому, тиражом была издана первая часть рассказа «В окрестностях снов» ([СПб.]: Галерея Navicula Artis, [1999], – принтерная распечатка)...

От всей души благодарю за предоставленные тексты Екатерину Андрееву, Игоря Вишневецкого, Ольгу Егорову, Сергея Сергеевича Каринского, Андрея Ключанова и Ларису Георгиевну Кондратьеву.

Очень хотелось бы, чтобы эта публикация воспринималась приуроченной не к пятилетию со дня гибели, но к тридцатисемилетию со дня рождения Василия Кондратьева.

В.Э.

РОМАН, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Николаю Шептулину

Мой дорогой друг, хотя я не успел сделать, как я обещал и как следует, ту главу своей книжки, которой сейчас занят, мне уже в последний момент пришло в голову, что у меня остаётся еще одна очень забавная история, чтобы рассказать. Это один из таких сюжетов, которые могут годами просачиваться по ходу жизни, они переходят из сновидений в её более или менее случайные эпизоды и снова продолжают в других сновидениях, встречах, и их вроде бы даже потом узнаёшь задним числом в разных книгах и на картинах, конечно же. Книжки *стихотворений в прозе*, которыми так славятся французы, пестрят такими делами (я же сам отдал этому честь). Однако тут я не собираюсь рассказывать *фантазию*, потому что речь пойдёт о женщине, которая, подозреваю, стала для меня – больше, чем литература. Я с ней однажды виделся, как с тобой. Я не писал о ней и даже не думал этого делать, потому что такие строки могут быть только подарком тому, о ком идет речь, в знак любви, а где мне теперь найти эту женщину (не дай Бог)? Ну и потом, когда я всё еще встречал её в *том или в другом виде*, я, конечно же, не мог понимать, что она значит. Теперь, думаю, её больше не будет, *прошла*. В общем, всё это чересчур трезво для поэзии и слишком серьезно для беллетристики. Такие вещи можно рассказывать за бутылкой вина или в письмах к очень специальным друзьям. Вот я и решил написать о ней *для тебя*. К делу. Вообще-то скажу, как выразился Кузмин в одном из своих рассказов, что тут «нисколько не начало какого бы то ни было романа».

Я надеюсь, ты уже что-нибудь слышал о *Невидимой Женщине*, или читал о ней – наверняка у Гофмана, он очень подробно описывает этот аттракцион в *Житийских воззрениях кота Мурра*. Это старинный номер из репертуара балаганов и гастролирующих фокусников. Посетители заходили в пустую комнату, посередине которой к потолку подвешивался, как люстра, прозрачный стеклянный ящик. Там была *Невидимая Женщина*: с ней можно было беседовать, на любые вопросы, которые вы могли задать ящику, отвечал тот прелестный *прозрачный* голос, который скорее представляет собой внешность собеседника, чем его ответы. По-моему, это самая тонкая и пронзительная *феерия*, которую могли изобрести в XVIII веке, когда, извини за глупость, воображение еще не заездили звукозаписью. Я думаю всё-таки, что недавно испытывал нечто подобное, когда слушал один из последних альбомов Лори Андерсон – это тот, где она около полутора часов самым волшебным голосом просто рассказывает всякие нелепые случаи из своей жизни, под обычные для её выступлений легкие стоны, шорохи и тиканье электроники (это было тем более сильное впечатление, поскольку мне как раз тут же рассказали о том, что у неё развивается психическое заболевание, которое уже окончательно не позволяет ей появляться на публике). Словом, *Невидимая Женщина* – это один из самых замечательных феноменов, которые можно *увидеть*. Это не дух и не *голос*, что-то другое (к тому же, в ту эпоху, когда существовал этот аттракцион, не могло быть и не было речи о спиритизме).

Значит, что ты скажешь о подобном феномене, который связан с чувствами еще более странным образом, потому что нельзя сказать, откуда это: обычные встречи и вообще жизнь оставляют после себя такие же воспоминания в уме и в теле, но ведь тут совсем *ничего не было*. Я продолжаю на этом настаивать, потому что тут легче всего начать мистическую чепуху. Но перестаньте всё объяснять психологией или религией, стремлениями и желаниями! В жизни, сколько я себя помню, мне только одного хотелось: чтобы меня оставили в покое!

Это произошло однажды поздней осенью, когда мне было, если я не ошибаюсь, лет семнадцать. Я ходил побродить в Перцов Дом: это грандиозное здание, скажу даже – *столичный остров* начала века, который громоздится на Лиговском проспекте. Остановимся, потому что я петербуржец и могу часами рассуждать о постройках эпохи модерна. Хотя в этих кварталах возле Лиговского проспекта встречаются виды, которые отличаются от обычных *старых петербургских дворов*: местность здесь уже твердая и идет в горку, на Пески, так что эти дворы иногда образуют весьма интересные ярусы и переходы, по которым очень забавно ходить в таком плоском городе, как Петербург.

Тогда как раз потянулся мерзкий дождик, и я зашел в табачный магазин в одно из этих, скажем, *слишком доходных* старых зданий напротив Перцова Дома, где во дворах, которые иногда занимают квартал, от жилого места не продохнуть, и когда смеркается, сбоку твоего зрения возникают самые странные вещи. Это была одна из тех табачных лавок, которые потом все вдруг пропали с началом девяностых годов, и я (ладно уж) вспомню только мягкий желтый свет, темные деревянные панели: тот *аромат вдохновения*, в котором к гаванскому табаку примешивался запах блатной папироски (идеальное сочетание, за которое я люблю кубинские сигареты); по фасаду дома балконы опираются на лебедей. Я зашел выкурить свою папиросу во двор. И тут, когда вокруг потемнело, я совершенно отчетливо *вспомнил*, как только что спустился из одной такой комнаты там, наверху, и мне совсем даже не хочется курить, потому что весь вечер я только курил и болтал. Это была такая обычная и вполне пустая желтоватая комната, мы с барышней сидели, поджав под себя ноги, на диване и разговаривали о разностях вроде прочитанных книг и живописи Модильяни. Ничего такого. У меня тогда не было никаких вопросов, откуда я и зачем кого знаю, потому что мои отношения с людьми определялись вечерами в *Сайгоне*, и всё. Тут я очень даже мило зашел посидеть к одной из тех случайных приятельниц, с которыми я иногда проводил такие вечера, время от времени отправляясь побродить с ними по городу, чтобы где-нибудь выпить, выкурить анаши и т.д. Однако на этот раз ведь ничего не было. Хотя кроме того, что я совершенно отчетливо *помнил* комнату, темные волосы и полноватое бледное лицо моей спутницы, во мне была полная физическая *уверенность* во всём: это какое-то вдруг томное состояние усталости от курева и от разговоров, за которыми мужчина и женщина убивают время, когда им просто очень хорошо вместе и они не любовники; и еще такое, чего нельзя сказать, но что можно ощущать всем телом. Ведь бывает.

Мне было некуда девать этот эпизод. Я его записал, но ведь я тогда не занимался литературой. Мне просто хотелось свободы от всего этого говна вокруг,

которое только весьма отчасти состояло из советского строя. Я любил, конечно, особенно – гашиш, но здесь у моей иллюзии был совершенно другой характер. Если я тогда понадеялся на эту встречу – только потому, что это было *другое*. Слава Богу, у меня тогда не было привычки задумываться подробнее.

Однако, всё-таки. Не считая клинической смерти, которую я пережил сколько-то времени спустя, это была самая яркая, определенная сцена в ряду тех многих других эпизодов, которые заставили меня жить таким образом, как теперь, когда я бегаю из угла в угол, чтобы успеть настроить тебе что-нибудь. Я теперь уже не называю это ни *поззией*, никак. Я тогда жил по Андре Бретону. Я не был знаком с прозой Рене Домалея. У него есть замечательный этюд, где он рассказывает о ночных прогулках, которые он совершал в отрочестве, когда после специальных дыхательных упражнений или потом с помощью эфира или паров четыреххлористого углерода ему удавалось добиваться перед сном состояния, близкого к каталепсии, во время которых он совершал достаточно долгие выходы в некий вроде бы знакомый город, погруженный в *прозрачный мрак*. Он пишет, что выбрал для себя литературу, когда прочел описания города, которые отвечали этим его прогулкам в подробностях, у Жерара де Нерваля. Насколько я теперь понял, моя случайная знакомая, даже если бы я не встречал её потом, всё равно осталась бы одной из тех, кто показали мне, что жизнь всегда несколько больше, чем кажется, и что литература представляет собой, пожалуй, единственное занятие, за которым я могу её жить, не размениваясь ни на что.

Я потом встретил её два раза во сне. Это началось, когда мои сновидения начали связываться, одно за другим, в отдельную сторону жизни и тот город, где я вырос, стал понемногу разрастаться в тот другой город, который я уже никогда не покину, со всегда прямыми улицами и пустыми площадями, на которые с выстроенных в духе Палладио высоких зданий смотрят статуи, окруженные странными фигурами.

Первый раз это было в бараке. Меня привезли в поезде, где я всё еще был не в себе (это не сон), и потом погнали в строю других на задворки Петрозаводска, где передо мною открылось зрелище, достойное самых клеветнических фильмов из советской жизни: представь себе хмурый ноябрьский день с мокрым ветром и улочку, стесненную какими-то хатами и казармами, над которыми громоздится темный завод. Из окон высовываются, угрожают, хохочут раскосые рожи. (Что рассказывать. В душе я теперь убежден, что самую правдоподобную картину всей этой жизни нужно искать именно в самой дешевой литературе и кинематографии времен Холодной Войны. Я вполне согласен с тем, что по Тверской ходят медведи и разъезжают казаки на мохнатых лошадках. На самом деле всё еще хуже. Я сколько раз замечал, что все эти медведи и разнообразные выbledки, которых встречаешь на страницах и на экране, ведут слишком человеческий образ жизни). Это был стройбат. Нас поселили в клубе, который был устроен в громадном ангаре. Возможно, я преувеличиваю страх случившегося, но когда я впервые смог увидеть себя там в зеркале, передо мной возник некий сомовский юноша, которого я просто не узнал, такое было вокруг. Во сне всё тоже было странно. С моим другом

Востровым, который тогда внешне представлял собой среднее между шаманом и Че Геварой, мы ходили по зарешеченным лестницам, по сторонам и на площадках которых сидели или висели, вцепившись в прутья, сумасшедшие или заключенные в синих робах. Это продолжалось несколько ночей, за время которых нам ни разу не удалось прийти куда-нибудь или хотя бы присесть. Я забыл, когда же нам удалось подыскать себе место, которые было образовано в какой-то темноте светом закрепленной сверху лампы. Мы оказались втроем. Вместе с нами сидела на корточках женщина, которую я уже встречал во время той самой прогулки по Лиговскому проспекту, брюнетка с длинными прямыми волосами и с бледным лицом, и её звали *Магдалена*, хотя было понятно, что это не имя, а такое же прозвище, как *Офелия* или *Княжна*. Снова совершенно ничего особенного, кроме того, что это была именно она, спустя, если я не ошибаюсь, больше года. Не то чтобы, еще учитывая обстоятельства, я тогда придал этому особый смысл. Мне просто показалось, что я связан, однако, с этой женщиной, и еще – что время и обстоятельства, которым подчиняются наши жизни, могут быть совсем разными.

В следующий раз я её увидел во сне, пожалуй, года три спустя. Это было уже одно из тех самых сновидений, которые до сих пор приходят ко мне в голову отдельно от остальных, потому что они происходят в том самом городе, который я упомянул, и связываются в отдельное время одно за другим. Но тут сновидение было особенно нелепым. Насколько я понял, я обвинялся в убийстве. В ту квартиру, которую я занимаю в этом городе, пришла женщина, которая была моим адвокатом. Это была она, на этот раз она была одета в белое газовое платье и у нее на поводке путался бульдог, который мешал ходить. Она сразу подошла к окну, в которое светило очень крепкое вечернее солнце, и мы взялись за разговоры, хотя, точнее сказать, друг за друга. Вроде бы мы не были знакомы, но в ней всё было такой сплошной намек, что совершенно перестаешь слышать слова и теряешь голову, хотя с чего бы. Мы поцеловались, мы начали обнимать друг друга, и бульдог все путался в ногах. Я впервые обратил внимание на то, что у неё тело, я целовал её плечи и возился с её платьем. Я уже в неё вошел, и тут началось! За мгновение она изменилась, оттолкнула меня в кресло, куда я сел как дурак со спущенными штанами, и заявила, что теперь *она поняла всё!* В моей виновности не может быть никаких сомнений, и если она рассчитывала хоть на человеческую симпатию к обвиняемому, то теперь совершенно видно, что я такое и т.п. ... Не знаю, стоит ли рассказывать этот сон до конца. Это был обычный бред, безусловно. Но всё-таки это была та же самая женщина, с которой связан такой загадочный эпизод в моем прошлом; единственная из всех *недействующих лиц*, кто еще раз появился в моем сновидении, и сколько времени спустя!

Вот повод, по которому я задумался над тем, что сновидения на самом деле представляют собой совершенно *действительную* часть жизни, поскольку они могут вызывать такие же глубокие сомнения и быть такими же иллюзорными, как собственно действительность. Однако что такое была эта моя знакомая, если я её видел во сне точно таким же образом, как всех моих знакомых людей: в том искаженном нелепом виде, который может только точно свидетельствовать о том, *кто*

тебе снится, и ничего не сказать о нем, кроме твоих собственных затаенных мыслей. Я начал этот рассказ с того, что это была не *фантазия*; к тому же это не было сном: я всего лишь увидел её пару раз во сне, как вижу многих. То ли еще было.

Вот что произошло со мной снова глубокой осенью – хотя не стану грешить, что я точно помню, была это осень, зима или весна, потому что мой образ жизни и петербургский климат дают мне все основания сомневаться. Во всяком случае, семь лет тому назад. В те времена на Невском проспекте всё было для меня еще громко, потому что мы с приятелями всё еще могли встречаться в маленьких барах и кафейницах, разбросанных от Литейного проспекта и за вокзальную площадь. В одну такую *вальпургиеву ночь*, когда вода хлещет с неба и отовсюду, а улицы представляют собой нечто вроде сплошной груды зеркальных осколков, я расстался со своими приятелями и отправился плутать. Это был такой вечерок, что достаточно сказать – Гриша Рабинович вообразил, что он кот, мяукал ночью отчаянно и пробовал изодрать беднягу Коровина... Я очнулся в трамвае, который катил по Геслеровскому проспекту. От хмеля не было следа, я открыл глаза, чтобы увидеть перед собой компанию старух, которые ждали, по всей видимости, моего пробуждения, и накинулись на меня за всё, что им пришлось терпеть в жизни. Я пробовал возражать, я сопротивлялся; одна из них врезала мне палкой; они вышли из вагона, оставив меня смотреть в пол. Через остановку трамвая я заметил, что сбоку стоит женщина. Она была одета в черное, как одевались многие мои приятельницы, в длинной юбке под жакет и с невероятно завернутым платком. Вагон подошел к другой остановке. Она подошла, встала прямо передо мной и положила мне руки на плечи. Поцеловала меня в лоб и вышла. Ну, это была она. Я даже рассмотрел, как она зашла во двор одного из домов на Гатчинской, кажется, улице. Выскочил на следующую, помчался туда. Куда там. Это был такой же темный глухой двор, как тот, с которого всё началось, плотно обсаженный узкими окнами и с одинаково бессмысленными черными дверями.

.....

Ну вот, дорогой друг, я добрался только досюда. Мне уже надо вскочить и бежать, сломя голову, к поезду, где я должен передать эту дискетку твоей знакомой. Я не успел тебе рассказать, что было еще дальше, как она мне встречалась на улице и как потом (только не смейся) была со мной в виде других женщин, одна из которых, кстати, стала одной из моих лучших подруг. Может быть, я успею сказать еще одну вещь. Джорджо Де Кирико когда-то очень смешил публику, когда совершенно серьезно рассказывал, что с детства встречает духов, которые бродят между людей, и одним из этих духов даже бывал его парижский галерист, Поль Гильом! Так вот, это правда, я теперь хорошо знаю, что это такое и как это бывает. Надеюсь успеть к поезду. *Твой В.К.*

ПУТЕШЕСТВИЕ НИГИЛИСТА

Андрею, Филиппу, Глебу

Я давно обдумывал такую возможность, но работу над проектом я начал в прошлом, 1997 году. Я уезжал из Петербурга на юг и собирался остаться там где-нибудь надолго, так что мне пришлось приводить в порядок дела и записи. К этому времени я уже больше двух лет перестал связывать свои *литературные занятия* с тем, что обычно представляет собою «литературу»: я перестал сочинять, чтобы потом печатать в журналах стихи или рассказы, издавать книжку и т.п. Пожалуй, моё самое серьёзное внимание стали занимать, скорее, те прогулки и своего рода *события*, которые я сочинял для себя одного или чтобы пригласить к этому разных друзей и знакомых; в наиболее существенных таких *работах* участвовали, например, Юра Лейдерман, Иван Чечот, Глеб Ершов, Андрей Ключанов, Филипп Федчин и, конечно, прежде всего Милена, без неё всё это вообще вряд ли имело бы место. Я говорю *работы*, потому что любое такое *событие* требовало столько же воображения, изучения и подготовки, сколько должно иметь литературное сочинение – а может быть, даже больше. У меня, думаю, будет возможность рассказать об этом подробнее. В чём, собственно, и заключался *литературный* характер этих работ: они не были спектаклем для зрителей или натурой для съёмок, хотя фотографии или рисунки могут быть так же необходимы для такого рассказа, как и записи; их, в общем, трудно назвать *перформансами* или *хэппенингами*; вся соль была в том, что идеальная форма их существования это *рассказ*, лучше всего устный рассказ или какой-нибудь наиболее приближающийся к нему вид записи. Одним словом – всё это получалось замечательно, однако стало уже требовать других идей – больших работ, которые позволили бы мне собирать и организовывать записи, зарисовки и прочий инструментарий той жизни, которую я себе устроил. Так, одно за другим, я начал готовить *Путешествие нигилиста*, потом – *Башню*, которая, впрочем, представляет собою отдельную историю. Мысль о *Путешествии нигилиста* копалась у меня в голове, пока обстоятельства не заставили меня засесть писать это на бумаге. Ну и, поскольку на тот момент условия не позволяли мне рассчитывать, что дело будет сделано, я принялся излагать его в письме к Юре Лейдерману, чтобы оно имело такой же вид, как прожекты любимых нами обоими *исследователей натуры* XVII века или рукописные книги русских *Просвещенных* следующего столетия, в которых я вижу такой же высокий пример свободы и искусства, как в книгах Ильязда. Разумеется, ничего не сохранилось. Сейчас я попробую воспроизвести общую суть того, что я тогда написал.

Я написал, что собираюсь предпринять путешествие по краям, которых я ещё не знаю, и, чтобы познакомиться с этими местами, я буду их проходить, сочиняя истории, которые мне подскажут пейзаж и атмосфера. Я собираюсь странствовать по этим местам, как бродячий рассказчик и, с другой стороны, как странствующий художник, который ещё до прибытия в новый для него город может уже занести его физиономию в путевой *Vade Mecum*, изучив панораму издалека. Я

смогу изучать незнакомые мне ландшафты и заинтересовавшие меня городские виды с помощью простого устройства для расчёта перспективы, которое использовалось в старину, но поскольку я иду в эти места не за картинами, а за историями, мне ещё понадобится колода карт. Так что, кроме бродячего рассказчика и пейзажиста, во мне существует немного и от гадалки. Хотя, если говорить более серьёзно, мне просто захотелось, наконец, отдать всего себя тому романтическому занятию *одинокого пешехода*, для которого места и города, мимо которых проходит его дорога, имеют только такое значение, что они помогают ему продолжать путь, не имеющий более ясной цели, чем уйти куда угодно из этого мира, anywhere out of this world (однако именно по дороге к тому, чего ты ещё не можешь себе представить, всё вокруг тебя привлекает к себе особое внимание и может иметь неожиданный смысл). Кстати сказать, остров Готланд, на который меня впоследствии пригласила Гунилла Фореен, представляет собою образцовое место для такого рода прогулок и устремлений. Но с самого начала меня вдохновляли, разумеется, сумрачные пейзажи и жилые места Карельского перешейка, где благодаря характерному русскому запустению хорошо даёт о себе знать то загадочное, что существует в этих северных приморских краях и всё ещё помогает понять таких странствующих энтузиастов минувших веков, как молодой Карл Линней или Элиас Лёнрот. Меня, однако, воодушевляли примером живые люди и вполне сегодняшнее искусство. Я даже не знаю, кого мне следует вспомнить в первую очередь¹. Я давно не перестаю думать о великом (в моём понимании этого слова) бельгийце – Тьерри Де Кордые, – в жизни и в работах которого, ставших известными за последнее десятилетие, можно найти пример такого островного существования и такого отрицания нелепости, имеющей называться искусством, которые следовало считать утраченными со времен романтизма. Юра Лейдерман – мой друг, и это, пожалуй, не поможет мне сейчас убедительно объяснить, какое

1 Хотелось бы ещё добавить, что я несколько не обольщаюсь местом и традициями действительно свободных художеств в той русской жизни, которую мне суждено таскать у себя за спиной, куда бы я ни попал. Я необыкновенно дорожу и, чего там – горжусь той профессией рассказчика, которую можно не связывать с разными, так сказать, официальными видами «творческой деятельности», чьи отношения с властью (я имею в виду не только власть советского государства, а вообще любую систему порочных отношений между людьми) сделали их характер и их место в человеческом общежитии очень сомнительными – во всяком случае, на мой взгляд. Я начал работу над Путешествием нигилиста, не имея никакого представления о том, как это должно выглядеть. Потом стали появляться разрозненные записи, напоминающие собою домашний или путевой журнал, самодельные карты, разные там нехитрые поделки, которые легко спрятать, и возникающие отсюда в воздухе какие-то романсы, имеющие привилегию быть прежде всего устными. Нечто среднее между походным архивом и карманной выставкой в духе Петрелли. Я решил, что оригинальный аромат (а значит и смысл) моей работы можно сохранить, если оставить всё это почти так, как есть, и сложить в коробку. Вероятно, следует изготовить некоторое количество таких коробок, чтобы это было вроде книги. Я при этом думал о традиции, которая установилась в искусстве последних лет тридцати и восходит, пожалуй, к Зелёной коробке Дюшана; на меня всегда оказывали замечательное впечатление такие коробки с материалами отдельных или коллективных работ, иногда даже целые антологии и групповые ретроспективы, например – разные издания Флюксуса или папки Кристиана Болганского; по ним, более того, можно составить впечатление по сути дела самих работ, о чём нормальные издания оставляют, как правило, только догадываться. (Я даже убеждён, что непреодолимое желание печататься, как все,

большое и мало с чем сравнимое значение я вижу в его сочинениях и в его работах; во всяком случае, в другой раз мне ещё придётся упомянуть о его некоторых ландшафтных занятиях, имевших для меня самый серьёзный смысл, потому что в современном искусстве трудно найти другие такие примеры, где поэтический выбор места, суть произошедшего тут дела и продолжающие эту историю записи, рисунки, а также другие произведения связываются такими отношениями, которые придают им невероятный, но безошибочный привкус реального – и к тому же окрашиваются спасительным в данном случае юмором. Вот почему, когда я принялся записывать суть *Путешествия нигилиста*, Юра оказался не только моим лучшим другом, но ещё и единственным из близких людей, которому мои соображения могли быть понятны без лишних слов.

Значит, это делается следующим образом. Я выбираю приятное возвышенное место, откуда открывается хороший вид на город или вообще на пейзаж, который меня интересует. Я считаю необходимым, чтобы этот вид и это место были мне совершенно неизвестными, чтобы я мог увидеть их вот так, сверху, впервые. Мне будет нужно некоторое время, чтобы осмотреться, подумать и написать одно своего рода стихотворение, которое затем займёт важное место в том, что мне придётся сделать. Замечательный бельгийский поэт Кристиан Дотреммон (он, скорее, известен как один из основателей группы КОБРА) изобрёл этот вид рукописного стихотворения, который он назвал *логограммой*, более полувека назад под впечатлением от кельтских и газльских надписей, отличающихся причудливой и загадочной орнаментацией. В силу разных вещей, к которым я пришёл в жизни, этот способ сочинять оказался мне таким близким, что со временем занял главное место и в моих собственных, строго говоря, поэтических записях, хотя я отношусь к нему несколько по-своему и не без размышлений о таких мало кому известных, но многое для меня значащих русских авторах, как Ильязд и Леон Богданов. Самое главное, чтобы это была совершенно спонтанная лирическая фраза, которая немедленно переносится на бумагу вслепую, как

помешало русской «неофициальной культуре» шестидесятых-восьмидесятых годов, – а точнее сказать, тому её передовому отряду, который Владимир Эрль называет неофициальным неофициальным искусством, – перейти в следующее десятилетие в качестве реальности, а не сомнительного мифа; хотя тут тоже бывали исключения). Но с другой стороны. Когда я принялся раскладывать свои самодельные карты, когда я стал проводить целые дни, выдумывая про себя с их помощью разного рода романы, и когда я ломал голову, как мне лучше вырезать окошко для съёмок (не говоря уже о снисходительных взглядах моих знакомых, которым мне приходилось рассказывать об этих занятиях), – я всё время сравнивал этот труд с очень похожими на него видами лагерного или солдатского фольклора, а может быть, и с трудовой терапией, которую я проходил, когда оказывался пациентом той или другой психиатрической больницы. Вероятно, если сравнивать любимое мною искусство с работой, скажем, лагерного романиста, развлекающего блатарей рассказами, или художника, занимающегося рисованием карт и татуировок, то это ведёт к интересным философским выводам и говорит о жизни как раз то, что следует сказать. Во всяком случае, это сравнение стало принципиально важным, можно сказать, моральным стержнем моей работы. Это и гордость за собственную профессию, которая может и обязана оставаться свободной даже в такой стране, откуда мне пришлось произойти, и возможность всякий раз вспоминать про себя и напоминать другим о тех людях, иногда не оставивших после себя ничего, – ни веских имён, ни «произведений», – чьё одиночество ужасает, а чистота жизни оставляет завидовать.

рука пойдёт, и если это будет удачная вещь, то письменные росчерки оставляют рисунок, напоминающий мне то ли надпись на неизвестном и вряд ли даже вполне человеческом языке, то ли поспешный набросок вида такой же неизвестной местности, которая *курится* вдаль (я имею в виду сугубо простое человеческое впечатление и <не> намекаю ни на какой мистицизм, которым иногда отдаёт от рассуждений о разных видах *автоматического* письма, рисунка или живописи). Это занятие только кажется простым, но на самом деле оно может отнять очень много времени или не выйти вовсе. Всё-таки я надеюсь на лучшее. У меня получается фигурный росчерк, нарисованный на расчерченном листе бумаги.

Тогда я могу разложить перед собой карты. Я имею в виду колоду из двадцати пяти карт, которую я сочинил по образцу различных игровых или предсказательных карт (карты вообще представляют собою одну из главных страстей моей жизни), специально для того, чтобы рассказывать по ней истории. Я когда-то много занимался историей и спецификой карт таро, которые отличаются большим разнообразием и могут быть совершенно особенной разновидностью искусства, как это показывают, например, те замечательные карты, которые Игорь Макаревич и Елена Елагина создали около трёх лет тому назад для проекта XL Галереи *Esotericum*. В отличие от этих художников меня ещё интересовали те сугубо *литературные* возможности карт, которые использовал Итало Кальвино, чтобы написать *Замок скрещенных судеб* – один из его лучших романов, созданный с помощью двух знаменитых старинных колод таротных карт. Меня, впрочем, совершенно не привлекали готовые традиционные виды карточных колод, тем более, что поневоле связанный с ними аромат цыганщины или домашнего оккультизма мне лично может быть приятным, но мешает работать. К тому же, меня главным образом привлекала идея поработать над созданием самого *карточного организма* (в этом смысле мой интерес к картам совпадает, скорее, с художественными устремлениями таких участников *Флюксуса*, как, в первую очередь, Джордж Брехт). В общем, это дело было сделано. Значит, я раскладываю карты большим квадратом, в пять рядов по пять карт в каждом. В колоде, которую я сочинил для *Путешествия нигилиста*, существуют карты двух видов. Во-первых, это *фигурные карты*, которые представляют собою пятнадцать карт с изображениями различных фигур, между которыми выстраиваются истории. Это именно фигуры, поскольку пока что я не могу иметь никакого представления, кого или что они могут обозначать в такой истории. Например, карта с изображением старика может оказаться обозначением какого-нибудь важного действующего лица или, наоборот, случайного прохожего; но она с таким же успехом может обозначать памятник, притулившийся на бульваре, фото на рекламном щите или забегаловку под названием *Дед Мазай*; вместе с тем, эта карта может обозначать какой-нибудь перелом в делах главного героя, потому что изображение старика представляет собою аллегория слабости и одиночества человеческой души; и так далее. Следует заметить, что одна из этих пятнадцати карт стоит отдельно и представляет собою фигуру рассказчика, но в этом тоже нет ничего особенного, потому что рассказчик совершенно не обязательно станет главным героем истории; к тому же, ещё не совсем понятно, будет ли это

рассказ от лица женщины или от лица мужчины, смотря как выпадет эта карта. В колоде, во-вторых, существуют *числовые карты*, пронумерованные от 1 до 10. Я предусмотрел эти карты для обозначения таких важных, но совершенно беспредметных моментов жизни, когда можно сказать только, например, что во время разговора по двору бегало пять кошек или что всё дело заключалось в восьми шарах, оставшихся на бильярдном столе... Итак, я располагаю эти двадцать пять карт квадратом. Мне это необходимо, чтобы запомнить тот порядок, в котором они составили этот квадрат. Я могу отложить эти карты, чтобы заняться главным – то есть изучением местности, которую я вижу внизу и где так или иначе происходят истории, которые мне предстоит рассказать.

Теперь я могу описать приспособление, которое играет важную роль в *Путешествии нигилиста*. Это *окошко* – то есть простейшее устройство для определения перспективы, которое в старину очень широко применялось рисовальщиками. В любом учебнике рисунка можно отыскать фотографии со знаменитых рисунков Дюрера, изображающих этот аппарат, и, вероятно, найти цитату из Леонардо, который даёт его подробное описание и рекомендует использовать при рисовании с натуры. Это пустая рамка, окошко которой расчерчивается на квадраты (по стеклу или протягиваются нитки), и с ней рядом крепится *прицел*, помогающий фиксировать точку зрения. С помощью такого окошка очень легко по *квадратикам* перенести на бумагу любой пейзаж и вообще любую вещь в перспективе.

Я помню, что это место у Леонардо, где говорится об использовании *перспективного окошка*, производит необыкновенное впечатление своей скрупёлезностью и высоким пафосом прозы, как будто он даёт описание магической церемонии, хотя речь вроде бы идёт о простом деле¹. Всё это звучит очень громко для немудрёного пособия, которое очень скоро может заменить тренированный глаз. Однако следует учесть, что дело всё-таки относится к XV веку, когда такой оптический факт, как перспектива, мог лежать в основе целой философии (в XX веке это относится к двум главным работам Марселя Дюшана: *Новобрачная...* и *Дано. 1. Водопад, 2. Осветительный газ*). В этом смысле работа с перспективным окошком, даже если в нём нет *видимой* необходимости, действительно может иметь значение некоторого ритуала.

Теперь можно ощутить, почему следующим автором, который обратился к описанию *перспективного окошка* после Леонардо и Дюрера, был знаменитый мистик и энциклопедист XVII века, о. Афанасий Кирхер. В этой работе Кирхер сразу же указывает, как используется *мезоптический инструмент*: кроме того, что с его помощью следует «располагать в перспективе любой предмет и любое

¹ Мне сразу вспоминается другой знаменитый отрывок, где он в таком же торжественном и загадочном стиле учит молодого художника вглядываться в пятна и в потёки на стенах, чтобы различать в этих случайных формах грандиозные и ещё невиданные пейзажи и сцены будущих картин. Макс Эрнст вывел из этого отрывка целую идеологию своего сюрреалистического искусства фроттажа и декалькомании, хотя подобные рассуждения производят немного неприятное впечатление, как будто натянутая реклама патентованной новинки (я имею в виду именно рассуждения, а не само искусство одного из моих любимых художников).

тело», он оказывается полезен и для того, чтобы *размечать циферблаты солнечных часов*. Более того. Рассуждая о *перспективном окошке*, Кирхер изучает не то, как рисовать, соблюдая перспективу, в которой могут быть видны вещи, – а то, как можно *располагать вещи* в той перспективе, которую он разделяет на естественную и искусственную. Это устройство интересует его как инструмент, применяющийся при различных ландшафтных работах. В первую очередь при строительстве и при разбивке садов, и здесь мысли Кирхера приобретают грандиозный магический размах. Во многом повторяя градостроительные идеи таких перспективистов, как Альберти и Леонардо, он утрирует их, когда пишет о божественных фигурах (скажем так, своего рода талисманах), которые могут лежать в основе местности, организованной и застроенной с помощью человеческого искусства: с помощью *окошка* он рисует целые воображаемые города и горные массивы. В XVII веке, однако, эти фантазии имели серьёзные и наглядные основания. Я имею в виду, с одной стороны, тот вид, который великий механик и декоратор Саломон де Кос придал княжеским садам и дворцовым покоям Фридриха V Виттельсбаха в Гейдельберге. С другой стороны, это ученые труды и живописные работы такого же замечательного французского художника и геометра, Нисерона, посвящённые *странностям перспективы*. Как Нисерон, так и де Кос были основными авторитетами своего времени в области того *анаморфического искусства* (то есть, грубо говоря – такого умения находить или создавать одну жизнь, *спрятанную* в другой, которое можно наблюдать, когда, например, из одного конца зала его стенная роспись кажется тебе изображением лесной панорамы, однако, когда ты проходишь в другой конец этого зала, ты вместо этого видишь на стене громадную распростёртую фигуру), отдельные приёмы которого используются сегодня в монументальной скульптуре и живописи¹. Я столько распространяюсь по этому поводу, чтобы показать, как такая на первый взгляд отвлечённая или сугубо прикладная вещь, как перспектива, может служить основой подхода к реальности и такого стремления искать в ней возможности выхода, которое, в общем, лежит в основе любого серьёзного искусства. В конце концов, утопические фантазии Кирхера становятся особенно интересными, когда знаешь, какое значение имели странности перспективы для такого основоположника современного концептуального искусства, как Дюшан.

Я надеюсь к тому же, что моя разговорчивость поможет мне лучше объяснить тот факт, который лежит в основе *Путешествия нигилиста*. Здесь *перспектива* – это, грубо говоря, поиск той самой *правдивой истории*, которой один человек отличается от другого... Хотя это ведь могут быть и разные люди, уживающиеся в одном. В любом случае существует нечто такое, что позволяет мне состоять из множества всех этих голосов, но по сути оставаться кем-то *другим* – даже не вполне

¹ Произведения обоих мастеров оказали, как известно, большое воздействие на мысли Декарта и Мерсена, которые пользовались ими как иллюстрациями. В своём ученом исследовании об эпохе манифестов розенкрейцеров, *The Rosicrucian Enlightenment*, Фр. Йейтс доказывает, что дворцовые и садовые чудеса в Гейдельберге послужили источником вдохновения и описаний чудесных царских покоев для одного из первых сочинений автора этих манифестов, Андреа: Химическая свадьба Кристиана Розенкрейца.

тем человеком, история которого вроде бы представляет собою мою жизнь. Не-что такое, что человек обычно представляет себе в виде ландшафта или пейзажа. (Вот почему можно считать, что обращение художников к перспективе в XV веке имело такую же природу, что и необходимость *сюжетной основы*, которая возникла в литературе веком раньше, в эпоху Боккаччо).

Значит, мне следует изучить тот пейзаж, который лежит внизу, в окошко прибора. Как я уже говорил, перед этим расчерченным на 25 квадратов окошком устанавливается *прицел* для моего правого глаза. На практике всё выглядит просто: прозрачное окошко вставляется в один из листов моей путевой книжки, а вместо *прицела* я пользуюсь сигаретой, которую приставляю к другому листу, развёрнутому под прямым углом от окошка. Самое сложное – то, что *прицел* следует установить посреди двух обозначенных на этом листе концентрических окружностей, размеченных на 12 секторов каждая. Это своего рода солнечные часы, на циферблат которых падает тень от *прицела*. Так что *прицел* тут – гномон, хотя этот гномон отмечает на циферблате не время, а указанные на окружности карты.

Местность, которую я вижу в окошко, делится с его помощью на 25 квадратов. Я, помнится, раскладывал карты, тоже большим квадратом из 25 карт. Следовательно, на каждое место, которое я вижу в одном из квадратиков сетки окошка, выпадает карта. Это уже подсказывает какую-то историю. Я ещё беру расчерченный тоже на 25 квадратиков листок, где я написал логограмму, которая мне пришла в голову, когда я посмотрел на этот пейзаж. Эта логограмма мне даёт как бы пункт, пролегающий на местности, которую я вижу в окошко, между клеточками-картами. Мне теперь нужно, чтобы выпала *главная карта*, то есть центральная фигура моей истории. Я смотрю, на какие из 24 секторов солнечного циферблата упала тень от моего гномона. Таким образом, мне может подойти одна из трёх карт: это либо одна из двух карт, на которые указывает гномон, либо, если они не попали в клеточки, совпадающие с моей логограммой, – карта, обозначающая *рассказчика* (или *рассказчицу*, как выпадет). Теперь я изучаю пейзаж, *прицеливаясь* на него в ту клеточку окошка, на которую выпала моя *главная карта*. Я разглядываю местность, мысленно продвигаясь по тропе, которую мне указывает логограмма, от одной карты к другой. Потом я записываю свои наблюдения в конспект.

Я не хочу сказать, что я уже записываю в тетрадку какую-нибудь готовую историю: если бы всё дело было в этом, то я даже с большим успехом мог бы заняться романтическим сочинением, просто поглядывая на красивый пейзаж или всё-таки с помощью карт, чтобы подталкивать воображение. Но меня не это интересует. Меня, в общем, пока что интересует город или посёлок, где я пока что ещё не был, хотя за последние часы я уже успел познакомиться с этим местом таким странным образом, который можно сравнить со сновидением наяву. Меня даже, скорее, интересует это сновидение, а не место. Вот почему я с таким усердием (хотя и с большой долей юмора, разумеется, чтобы всё было *взаправду*) рисую, расчерчиваю квадратики и раскладываю карты: я пробую как бы *прогнать* это собственное сновидение в ландшафт, заменив волевые потуги цепочкой случайностей и совпадений.

Вот, приблизительно, – содержание моего письма Юре Лейдерману, которое было, конечно же, намного короче и живописней. Не знаю, куда я его подевал. В этом письме были разные отголоски наших разговоров и таких общих увлечений, как ученые курьёзы XVI–XVII столетий, патафизика и, в частности, – книги грандиозного французского писателя Раймона Русселя¹, одним из персонажей которого я совершенно очевидно себя ощущал, когда описывал *Путешествие нигилиста*... А я тогда отправился на юг, в Туапсе, и там поселился в небольшой армянской деревне, которая лепилась к одному из высоких холмов, обступавших этот городок. С балкона, куда я выходил из моей комнаты во втором этаже дома, всё было как на ладони. Я долго просиживал на этом балконе, раскладывая карты. У меня была с собою колода французской игры в таро, где много карт с изображениями сельских и городских сцен, выполненными в характерной манере рубежа веков (и сильно, как мы с Юрой заметили, напоминающими те иллюстрации, которые представляют собою часть поэмы Русселя *Новые Африканские Впечатления*). Когда я, признаюсь, с большим нежеланием, выбирался в город, то я там бродил, как зачарованный, по главному бульвару от вокзала к морю. Это было совершенно очевидно, что карты говорят о жизни намного больше, чем она собою вроде бы представляет. В этой жизни не было никакой надежды, хотя бывает ли она вообще? Во всяком случае, когда я задумывался о ней над картами, то мне иногда удавалось разглядеть и понять нечто подобное. Потом, позже, я улетал самолётом из Адлера. Я помню такую вроде бы дурацкую мысль, пролетая, что облака – это единственное, к чему стоит стремиться в дороге (всё, над чем они расступались, было как мутное дно). Ведь, собственно говоря, ландшафт, который представляют собой облака, – это тот плывущий ландшафт, который связывает сновидения... Впрочем, это отдельная лирическая тема для долгих ночных разговоров. Но вот забавно, что, уезжая, я оставил Юре на память книжечку, сшитую из нескольких логограмм, которые я начертил белым мелком на голубой бумаге, чтобы как-то выразить, что меня радует в этом виде поэзии. Это были такие то ли фигуры, то ли пейзажи, как облака, не то – как табачная дымка. Пожалуй, до сих пор я ещё не испытывал такой чистой радости, как от сознания этого факта, что я могу уловить в этих словах именно их дымок, а не прах, как это обычно бывает (вот это вызывало у меня такое преклонение перед произведениями Кристиана Дотремона и Герасима Лука). Мне показалось к тому же, что если тебе удалось схватить эту причудливую линию облаков, то тогда по ней можно будет читать такие же истории, ну, вроде как читают по линии руки. Ведь любая хорошая история, которую рассказываешь, – это жизнь, которую можно было или ещё можно будет прожить.

Я позволю себе повторить, что *Путешествие нигилиста* – это отнюдь не машина произведения текстов, над которыми работали, например, французские

1 Я имею в виду прежде всего два романа, Африканские впечатления и Locus Solus. Мне, кстати, всегда было очень интересно объяснять своим знакомым, которые не читают по-французски, что значит Руссель. Хотя ему самому, конечно же, больше понравилось бы сравнение с Жюль Верном, мне всегда приходило в голову сопоставить его, скорее, с Люисом Кэрроллом. Это более чем приблизительно сравнение, потому что в романах Русселя, прежде всего, совершенно отсутствует юмор (благодаря которому книги Кэрролла остались куда

более популярными, но, к сожалению, недооцененными). Однако, если (как это сделал Макс Эрнст в антологии Волшебный рог Льюиса Кэрролла) обратить особое внимание на способность великого английского писателя абсолютно логическим и даже вроде бы незаинтересованным холодным образом выводить из жизни совершенно отдельную от неё реальность, то в нём можно найти очевидного предшественника Русселя, который, к слову, опубликовал свою первую книгу как раз за год до смерти Кэрролла. Рассказывать о Русселе увлекательно ещё и потому, что за последние полвека его книги оказали намного более яркое воздействие на современное искусство, чем на, строго говоря – литературу. (Я имею в виду именно яркость, а не серьёзность воздействия, пример которого можно найти в произведениях таких выдающихся авторов, как Раймон Кено, Жак Рубо и Жорж Перек). В первую очередь это, конечно, – Марсель Дюшан, который прямо говорил, что его представления об искусстве окончательно определились после знакомства с Африканскими впечатлениями (хотя влияние этого романа на концепцию ready-made и на композицию Новобрачной требует долгого и специального разговора). Проще обстоит с теми художниками из среды Поп-арта и с Новыми реалистами, впечатления которых от произведений Русселя могло и не зависеть прямо от работы Дюшана: я имею в виду, прежде всего, скульптуру Паолоцци, машины Тэнгли и коллажи Хайнса. Машины Тэнгли, например, внешне похожи на те хитроумные и загадочные устройства или сооружения из романов Русселя, описание которых (вроде как рассказ о содержании живописных полотен в художественном музее или об экспонатах музея курьёзов) приводит к возникновению какого-то невероятного заворачивающего анекдота. В коллажах Хайнса (я не имею в виду его знаменитые рваные афиши) используются такие же смысловые переходы, как у Русселя, когда некоторая картина или сцена представляет собой ребус, а слова этого ребуса могут, в свою очередь, быть описанием следующей сцены. Строго говоря, как Африканские впечатления, так и Locus Solus сами представляют собою описания экспозиционных пространств: в первом случае – это праздник коронации африканского императора, во втором – путешествие по усадьбе знаменитого ученого-изобретателя... Это настолько соблазнительно, что можно не удивляться тому, сколько заметных перформансов и инсталляций, в основном, французских художников последнего десятилетия представляют собой ссылки или непосредственные иллюстрации к романам Русселя.

Меня, как и Юру Лейдермана, с которым я много раз обсуждал эти романы (как и две другие замечательные в этом роде французские книги – Еву Будущего Вилье де Лиль-Адана и Дела и мнения д-ра Фостроля, патафизика Жарри) и связанные с ними работы художников, интриговало то, что может оставаться, так сказать, на свободе при таком имеющем взаимную силу переходе экспонирующего описания в литературную инсталляцию. Проще сказать – мы сходились на том, что «стоящее искусство», которое (если воспользоваться словами Альфреда Жарри) представляет собою описание такой дополнительной вселенной, которую можно и, вероятно, следует видеть вместо традиционной, имеет место не столько на словах литературы или на деле художественной практики, сколько тогда, когда они взаимно дополняют друг друга, не обладая самостоятельной ценностью (и даже не являясь предметом для разговора, чтобы уйти, с одной стороны, – от «актуального контекста», с другой – от спекуляций на «воображении» или «психических откровениях»). Скажу ещё проще. Это вроде как обдумывать научно-фантастическую книгу об экспедиции в неизвестную страну. Реализм такой книги обычно выстраивается из рассказа об экспедиции и того факта, что от неё не сохранилось никаких документов. Я же, напротив, предпочитаю обзаводиться документами.

Русселе, насколько об этом можно судить по его очерку Как я написал некоторые из моих книг (и как показывают сами эти книги), обладал удивительным даром мнемониста. Я имею в виду ту способность к образной ассоциации слов в яркие и необыкновенно масштабные запоминающиеся картины, которой посвящены два исследования, за последние годы ставшие моими настольными книгами: Маленькая книжка о большой памяти Лурия и Искусство памяти Йейтс. Собственно говоря, вся работа Путешествие нигилиста построена на своеобразной мнемотехнике (более того, я убеждён, что происхождение самой карточной игры и гадания связано с искусством памяти). Я выстраиваю, как требуют классические правила этого искусства, воображаемые фигуры подлинной местности, как на сцене. Однако я не пробую запоминать слова, облекая их в образную форму, я пробую вызывать сновидения примерно таким же путём, который использовал Руссель (и которым задолго до него были созданы Гипнеротомахия Колонна и литературные произведения Джордано Бруно).

романисты из группы УЛИПО, и вместе с тем – я не считаю его каким-нибудь отдельным *арт-проектом*, потому что я могу его совершать всякий раз, когда мне это будет удобно и интересно. Я вообще, честно говоря, считаю немного абсурдным стремление «изготавливать искусство». Я считаю необходимым *путешествовать*, что позволяет мне рассуждать (как, например, сейчас), рисовать и вообще жить в дороге по такой *местности*, которая только укрепляет во мне намерение уходить всё дальше и, возможно, когда-нибудь уйти вовсе.

Петербург, 27 июня 1998 г.
в день новоселья Navicula Artis

ПОСЛЕДНИЙ ШТАТНИК (отрывки)

Зине Драгомощенко

.....

Я ничего не сказал об Аркадии во время праздника премии Андрея Белого накануне нового девяносто девятого года, когда мне её присудили за прозу, потому что он тогда выступал обо мне и отвечать собственным рассказом о моем отношении к нему было, пожалуй, неправильно. Между тем, если бы в свое время у меня не было отклика, вызванного стихами Аркадия и нашим знакомством, то я бы, скорее всего, не имел родственного интереса к ленинградской неофициальной литературе семидесятых-восемидесятых и не участвовал в литературной жизни. А сейчас нужно объяснить, что я тогда переживал и что понимаю теперь.

Аркадий был, если не ошибаюсь, одним из первых, кому присудили премию Белого за прозу, за двадцать лет до меня. Я тогда был школьником, учеником средних классов. В таком возрасте мальчишкам следует читать что-нибудь из библиотеки приключений, но у нас дома таких книг не было, и эту роль для меня сыграли другие две книги, которые я раздобыл в заднем ряду маминых полок. Одна из них была *Lady Chatterley's Lover* Лоуренса, а другая называлась *The Holy Barbarians* и представляла собой своего рода энциклопедию жизни американских битников в сороковые-пятидесятые годы. Я взял эту увлекательную книгу Липтона за руководство самим собой и с тех пор не имею принципиально других устремлений и ценностей. Когда я достиг, что называется, выпускных лет, моими героями были Дэвид Герберт Лоуренс и Кеннет Рексрот, а список тогдашних увлечений я недавно нашел в посвященной аресту Лири *Эклоге* Аллена Гинзберга. Я был озлобленным и диким пай-мальчиком, и то обстоятельство, что я признавал себя одним из детей *шестьдесят восьмого*, пожалуй, позволило мне не покончить с собой или <не> сойти с ума от наркотиков. Это заставило меня взять за основу опытов над самим собою создание литературы, а не обычное русское свинство, и когда в Ленинграде впервые опубликовали стихи Аркадия, у меня появилась человеческая поддержка. Попробую, начав с разговора об этих стихах, обрисовать, что же имела в виду такая литература.

Эти стихи Аркадия называются *Великое однообразие любви*, и я знаю такое общее мнение, что они у него – далеко не лучшие. Я их очень люблю и теперь, как тогда, когда они нас познакомили. Потому, конечно, что они посвящаются отношениям мужчины и женщины, по характеру которых, по-моему, можно судить обо всем на свете без дураков. Вот почему, кстати, люди обычно побаиваются рассуждать о мужчине или о женщине прямо в лицо, а вместо этого говорят о красивом пейзаже. Как я упомянул, одним из моих героев был Лоуренс, причем я сейчас имею в виду стихи, а не его более знаменитую прозу вроде *Любовника леди Чаттерли*. Я начинал писать, подражая этим стихам, и хорошо, что Аркадий никогда их не видел: иначе те жизненные мостки, которые нас связывают, показались бы мне слишком натянутыми и неинтересными для разговора.

Я считаю, что источником таких стихов или вообще сочинений, которые представляют собою (как выразился Кузмин) одно органическое растение со всей жизнью их автора, для нашего времени стали, конечно же, раскрепощенные личности эры джаза с их стремлением к жизни в коммунах, к слишком художественному быту и к освобождению тела. В Лоуренсе я сегодня вижу, пожалуй, такого же трогательного пророка этих грез о прекрасном существовании, как Айседора Дункан с её раздетой хореографией или Алистер Кроули с его *Телемским Аббатством*. И если я обращаюсь именно к его памяти, чтобы объяснить определенную манеру записывать за собой жизнь, то это потому, что половые отношения кажутся мне сегодня единственным, во что люди еще вынуждены верить, считая несбыточным, и что строится только на бегущей воде.

Тем более, что Лоуренс потом оказался гомосексуалистом. С одной стороны, это естественно для англичанина, который многие годы прожил на Юге и написал книгу о древностях Этрурии; с другой стороны, когда это стало известно через много лет после его смерти, это (должно быть, как и в случае с Жаном Маре) вызвало жестокую обиду женщин, которых он вроде как воспевал, и торжество мужчин, над которыми он издевался. Но раз я веду речь не о репутациях культурных героев, этот забавный факт укрепляет мое убеждение видеть в искусстве, которое хочет иметь текучую ткань любовных взаимоотношений, не столько стремление осуществить жгучие позы организма, к чему его любят сводить многие, сколько попытку найти, понять и, возможно, оспорить некоторый первобытный закон жизни людей, представляющий собой (если выразиться напыщенным мифологическим образом) урывки разбросанного по времени Золотого Века.

.....

Я теперь не так чтобы мало начитан и могу судить, что Аркадий не просто первый, кого я встретил, а первый, кому удалось сложить судорожную красоту жизни, существующей на свободе, в стихи на русском языке. Подобное занятие соединяется, конечно, с таким стилем мысли и поведения, который представляет собою особого рода американизм в жизни европейцев и русских второй половины двадцатого века. Моя собственная заинтересованность в слове была вызвана точно таким же американизмом хиппующей личности, которая, благодаря знакомству с такими интеллектуальными первоисточниками этой популярной эмоции, как двое анархистов из Чикаго – поэт Кеннет Рексрот и философ Пол Гудмен – могла правильно перевести, что выражение хипповать означает врубиться. В этом американизме, замечательная наивность которого позволила битникам создать единственную органическую и общедоступную революционную культуру уходящего века, существуют всеядность к жизни и принцип относительности при подходе к разным её проявлениям, благодаря чему взрыв эмоций, вызванный музыкой Паркера или Колтрейна, проверяется стихами Уильямса или прозой Берроуза, а складывать такие стихи, которые стали занятием Аркадия, в первую очередь значит сочинение собственной жизни, потому что ему, как и мне самому, не за кем было записывать.

В ОКРЕСТНОСТЯХ СНОВ

Андрею Клюканову

...во сне я знаю толк, о, да.

Андрей Николев

Самым интересным, что можно было увидеть в городе Ломоносове, было то необъятное пятно в самых разных серых тонах, которым благодаря его безобразию выглядел пейзаж, спускающийся с чёрной полосы холма с дворцовыми башнями к белой дымчатой полосе пристани. На рыночной площади это пятно расплывалось в туманную погоду, сопровождавшую прогулку по парку. В эту, кажется, зиму на ветках деревьев пробились почки, отчего мокрый воздух выражал странность. Поскольку в деревьях и над открытыми видами мест была дымка, всё внимание занимала изъеденная таким загадочным временем года земля. Подтаявшие сугробы и лёд выглядели, как будто тут кромкой осели облака тумана; из-под снега выходила гнилая лужайка (в приятном философском настроении душок её слипшейся чёрной травы действует на фантазию крепче, чем те идущие следом первые листики, которые принято считать за весенние вещи любви; крепче, как пробивающийся сквозь духи запах женщины. С другой стороны, почему-то именно зелёные заросли имеют привкус горечи или траура; однако это, скорее, – городская привычка видеть в них место для памятников и могил); по песчаному овражку скоро протекал один из таких ручейков, под бегом которых ручейники строят свои крошечные домики-коконы; аллея иногда шла по осеннему ковру листьев. Картина была очень похожей на одну старинную гравюру, изображавшую брожение первозданного хаоса, заключённое в круг, как вид в подзорную трубу или микроскоп из учебника природоведения. Это была аллегорическая иллюстрация из книги, если не ошибаюсь, Якова Бёме (при уважении к этому великому, как считается, мистик, чей замечательный портрет в гамбургском издании изображает румяного немецкого сапожника с задумчивым взглядом, с бородкой и в воротничке по моде XVII века, я от души веселился над его книгами, целые главы которых посвящаются, например, рассуждениям о божественных качествах *сладкого*, *кислого* и *солёного*); однако я упомянул эту гравюру только потому, что хочу объяснить ту странность, которую создала в парке погода, с помощью курьёзной силы, которую пробуждает в воображении искусство художников алхимической книги.

Если в моих прогулках по парку в своеобразную распутицу, которая пошла с той зимы, действительно искать нечто загадочное, то скажу, что моё удивление перед картиной, где в дымке сливались виды разных времён года, было вызвано тем, что я впервые прочёл о ней в книге, за несколько месяцев до того, как увидел собственными глазами. Это было прозаическое стихотворение *Дневник одного путешествия* из книги Эдуарда Родити *Новые Иероглифические сказки*. Позже я нашёл у него другое такое же стихотворение; это стихотворение *Паломники*, написанное очень много лет спустя первого, убедило меня в том, что они оба представляют собой записи одного из таких сновидений, которые продолжают, с разными перерывами в месяцы или в годы, очень долго или всю жизнь.

Это сновидение всегда начинается посреди пути, окутанного густым туманом. Куда и откуда ты направляешься, непонятно; и вместо одного или нескольких

спутников, чаще всего с виду знакомых, которые обычно попадают в сновидении, тут нельзя сказать точно, в какой именно ты компании; эти лица, которые в разных местах выходят вместе с тобой из дымки, кажутся смутными и разбросанными оптической игрой по туманности отражениями самого тебя, хотя во сне, скорее, ты сам не считаешь себя отдельным лицом в большой толпе, которая бредёт по стране сквозь мглу. Я уже обрисовал приблизительную картину местности, по которой проходит это сновидение. Самое главное в ней представляют собою разорванные места из разных времён года, которые сливаются в облачности с запахом влажного перегноя; этот запах – моё собственное впечатление, на котором я ещё буду настаивать, потому что считаю его очень важным для сути сна. Кроме этого, я не думаю, что те другие сумрачные и великолепные картины заброшенных городов и загадочных пустыющих мест или описания путешествия, из которых состоят оба прозаических стихотворения Родити и которые я могу дополнить картинами из похожих описаний снов у других авторов или моими собственными, прямо воспроизводят это сновидение или имеют в нём смысл.

Сны не запоминают; их записывают, чтобы с их помощью продолжать те разные ещё не выполненные в жизни места и вещи, из которых человек создаёт свою собственную привилегированную действительность. В таком занятии требуется не просто исследование, но ещё и умение антиквара или ученого дилланта в духе незабываемого Бенуа, у которого несколько поколений культурных жителей Ленинграда почерпнули искусство сделать из мещанской квартирki фамильное уединение с намёком на благородство. Опять-таки очень мещанское понятие о «поэзии» поначалу заставляет видеть в откровенном *собирателе сновидений* (такой трагикомический тип, описанный с Андрея Н. Егунова, то есть с поэта Андрея Николева, имеется в романе Вагинова *Гарпагонияна*) несостоявшуюся душу книжника. Жизнь человека во сне следует, пожалуй, понимать так же, как его существование в современном городе; привилегия, которую она ему даёт, – это такое право связывать свою личность из откликов самых разных мест и времён, благодаря которым сновидение, в свою очередь, приобретает безошибочные признаки действительности. В таком случае уже нельзя видеть в нём только символы, которыми его объясняют психоаналитик или гадалка. Зато сны начинают постепенно проявляться в разных явлениях, имеющих странную противоположность тому *вторжению сна в действительную жизнь*, которому посвящены такие книги, как *Аврелия Жерара де Нерваля* и *Каширское шоссе* Андрея Монастырского (я позволю себе напомнить, что оба поэта создали в них поразительные отчёты о жизни, мотивы которой постепенно переходят из действительности в грёзы). В перерывах, с которыми изо дня в годы продолжаются разные сновидения, начинает наблюдаться их стечение в особую долготу – хотя это совсем не отдельная линия жизни, как *отрадная игра одиноких дум* у Обломова, а скорее загадочное перерождение сил в *украденном времени*. (Я имею в виду старое очень трогательное советское кино, как дети зря тратили время и как его отобрали у них волшебники: вероятно, каждый из нас тоже бывает вроде такого волшебника, отбирающего время у ребёнка, которым, правда, однажды был сам). Впечатления от картины, которую предлагало сновидение, – уже не имеет значения, собственное это сновидение или прочитанное у другого и попавшее в ту же

долготу жизни, – утрачивают воображаемый пейзаж и определяются в нервное возбуждение от вкусов и запахов, с которыми действительность вторгается в сны. Вот, примерно, с какой странностью я прогуливался по курящемуся склону реки Карости в сторону покосившейся башенки Почетных ворот исчезнувшего два с половиной века тому назад потешного великого княжества Петра Фёдоровича.

24 февраля 99

<II>

Милая Катя, я не знаю, насколько по этому отрывку можно судить о той второй главе моего сочинения, которую я хотел посвятить Мартышкино. Как Вы могли заметить по тому отрывку из первой главы, напечатать который сумели Филипп и Глеб, в моём сочинении нет особенных описаний местности с памятниками; с моей стороны это смешно и не нужно, потому что есть справочники для туристов, а недавно, как мне говорил кто-то из союза писателей, вышла целая большая книга автора, который родился или живёт, не помню, в этих местах и, во всяком случае, имеет передо мной преимущество увековечивать их действительность. А моя проза представляет собой, если угодно, своего рода психоанализ моих пригородных путешествий, который (если говорить о черновиках, посвящённых Мартышкино) содержит рассуждения о моём любимом Сомове; о волшебном, с моей точки зрения, обаянии фигуры Петра III, в котором я вижу героя из романа Гофмана и, благодаря этому, в Рамбове с Мартышкино – гофмановские места; о почти не имевшей места в России романтической моде Incroyables эпохи Великой французской революции, в которой сполна выразились как эротизм, так и оккультизм XVIII века и которую представляли собой Уильям Бекфорд или наш более поздний герой Фёдор Толстой Американец, а сегодня так замечательно выражает мода Джона Гальяно; о таких, с точки зрения сегодняшнего вкуса, художественных занятиях, как уединенный литературный труд Новикова, который в старости переписывал, как самиздат, и иллюстрировал масонские книги; и, наконец, о тех связывающих все эти и другие мотивы эротических маргиналиях, из которых, если я не ошибаюсь, в *Roberte ce soir*, Пьер Клоссовский впервые сделал самостоятельное творчество (между нами говоря, Юлинька, вместе с которой я открывал для себя Ораниенбаум и Мартышкино, имеет поразительное внешнее сходство с главной героиней этих рисунков). Мои всегда достаточно случайные заходы в Мартышкино и связанные с этим анекдоты и впечатления позволяют придать этим рассуждениям о моих любимых вещах лёгкий и приятный, по-моему, «инситный» характер прогулки по местности, которая располагается, скорее, во сне, хотя это вполне правдоподобное сновидение. А вот начало, которое Вы меня просили показать:

2. Я начал ездить в Ораниенбаум с шестнадцати лет, и в первый раз я приехал сюда вместе с Юлией, как юные любители искусств, то есть – влюбленная пара, которой хочется создать прекрасную жизнь скромными средствами. Мы читали,

как устроить такую жизнь, в воспоминаниях Бенуа и в дневниках Сомова (потом к ним прибавились книги Добужинского и Головина). Наверно, я до сих пор вижу в привычках и в бытовых рассуждениях этих мирискусников больше интересно, с точки зрения проживания в Петербурге, чем в их произведениях. Но если Бенуа меня скорее отталкивал своим слишком очевидным мещанством, то именно у Сомова я научился понимать под красивой жизнью уединение и специфический юмор, который выглядывает в жестоких или скурильных вещах. Со временем я немного забыл Сомова, потому что мой интерес к *les douces habitudes de la vie*, то есть – к *сладостным привычкам* прошедшего слишком сосредоточился на его приятеле Кузмине; однако он остался для меня героем такого чудесного и в нужной степени воображаемого жизнеописания в духе *Нового Плутарха*, которое хотел написать о нём Кузмин: замкнутая жизнь, в которой любовь к XVIII веку стала гением и не имеет пошлости. А тогда, когда мы с Юлией любили друг друга и хотели быть счастливыми, развитие, которое мои вкусы получили благодаря Сомову, заставило меня сразу выбрать Ораниенбаум среди других дворцовых пригородов, которые приняты для ретроспективных мечтаний и совместной *красивой жизни* (как справедливо заметил Кузмин, это – вроде «русской души» или блохи, и поймать её трудно. А Юлинька тогда была (да и пусть остаётся) очень красивой высокой молодой женщиной с бронзой в волосах, которая имела внешность грёзы художника эпохи модерна и, по-моему, хорошо это сознавала). Сомов, между прочим, жил на даче в Мартышкино.

Моё самое первое чувство к Ораниенбауму, где я тогда ещё не бывал, было связано с его рисунком – с профилем маленькой девочки Оли, дочки сторожа кладбища в этом дачном посёлке возле дворцового города. Я впервые ехал туда именно с желанием разыскать это старинное кладбище, где когда-то давно Сомов и Бенуа набрали на захоронение голштинцев – солдат потешной гвардии императора Петра Фёдоровича. Разумеется, в дачной местности с пыльной дорогой и с казармами, закрывающими большой отрезок берега залива, внешне не было ничего приятнее других таких дачных мест по всей Ленинградской области. Однако в названиях двух соседних станций железной дороги *Мартышкино* и *Ораниенбаум* существует такая ехидная нежность, как будто это забытая в детстве травма, и разбирать её мне всегда казалось очень нужным душевным занятием. Поскольку я люблю раскладывать пасьянсы, то позволю себе сравнение, что основное в этом занятии не *tableau*, сложить которое требуют правила игры, а скорее тревожащая воображение дрожь в переменах карт; случайная остановка калейдоскопа на столе и даёт такую картину, которая чаще всего представляет собой неудачный исход игры и, тем не менее, вызывает головокружку и даже гадание (вечер, проведённый в разборе подобных картин, оставляет в голове приятное мерцание, как после большой прогулки, и некий суеверный энтузиазм). Моё сравнение вызвано, может быть, впечатлениями от одной старинной колоды карт, нарисованных очень во вкусе галантной эпохи, двумя из мастей которой являются, к слову сказать, *мартышки* и *померанцы*.

**Привет,
ВК.**

<ПРЕДИСЛОВИЕ К ВЫСТАВКЕ>

Возможно, если бы относящиеся к шестидесятым-семидесятым годам графические и живописные работы Леона Богданова были в своё время каким-то образом примолвлены, наряду, скажем, с произведениями Е. Михнова или Ю. Галецкого, к сложившейся на сегодня картине ленинградского «неофициального» искусства, – ведь его публиковавшиеся в самиздате и отмеченные «неофициальной» же премией имени Андрея Белого «тексты текущих событий» обрели в итоге устойчивую, достаточную для их дальнейшей жизни литературную репутацию, – мы бы увидели в этой выставке вызывающий сейчас почти ностальгию порыв «мороженой самобытности», как писал сам автор, к общепринятой (не то что вся наша жизнь) артистической норме, ещё не отлакированный, не поименованный и не обрамленный контекстом «художественного процесса». К сожалению, никто, а главное, сам Богданов, не дал на этот счет никаких указаний: более того, если бы не дружба Кирилла Козырева и Владимира Эрля, собиравших и теперь предоставивших тщательно «расточавшиеся» их автором работы, не было бы и его первой отдельной выставки. Восприятие современного искусства слишком зависит от волеизъявления самого художника или куратора, и зритель уже привык послушно следовать за указателями, продиктованными устройством того или иного личного мифа, не преступая намеченную смутными представлениями о «художественном» черту безопасности. Поэтому на этой выставке, среди кажущихся немymi окон, *открытых вовнутрь*, чаще всего беспредметных или смутных сцен, лучше всего говорить о не знающей ограничений Поззии, которая вовлекает и мучает, заставляет искать и никогда не раскрывает некоего тревожного и сугубо личного смысла, складывающегося из вроде бы случайных, непреднамеренных и непредсказуемых ребусов и шарад: оплывающих в странные ландшафты красочных штрихов и размывов, человечков, пляшущих буквами на странице.

Всегда как бы по ту сторону «литературы», «живописи» и т.п., творчество Леона Богданова было настоящей поэзией по степени цельности восприятия жизни, в чем бы она ни заключалась. Эта поэзия, лежащая за гранью психического автоматизма, с которой набрасывается «рисунок» или сочиняется «рассказ», заключается не столько в форме, сколько в способе её переживания и выражения, – здесь разворачивающиеся в мыслимую территорию размывы и коллажи, скрупулезная дневниковая запись, чутко фиксирующая все в прямом и в переносном смысле происходящие сейсмические толчки, – и представляет собой, в конечном счете, форму того непрерывного всеобъемлющего Опыта, в ходе которого наши обычно полезные с точки зрения эстетики дефиниции не столь важны.

<Апрель 1994>

СТИХОТВОРЕНИЯ

В марте наша деревня похожа на кладбище: лужи,
черные ветки и вороны; бедность покрыта
тающим снегом...

В пути вспоминается: здесь
где-то Вы жили,
жили в комнате с вечно распахнутой дверью...
Захламленный стол, позабытые письма. Разбитое зеркало
не предвещало несчастья. А утром
через открытые окна лилось золотистое солнце,
мягкими волнами гладило светлые стены. Пальто
на крюке Вам казалось лохмотьями нищего (швы,
борозды складок, заплаты)...

Так бы вот время замедлить,
остановить восходящее солнце,
лёгкий туман и дымок от костра.
Девушка там, на веранде... Зачем вспоминать
невозмутимость голландской красавицы? Звон
влажного воздуха, дымка (и скрип половицы
в ветхом, брошенном доме)...

Зачем повторять:
«Где я? Мне кажется: жизнь
начинается снова, жасмин
зацветает у дома, а запах сирени
словно приветствует новорожденного...»

Я с зарёй выходил из дома,
пробирався тропинками к станции. Листья
были покрыты росой.

В одиночестве раннего утра
я, укрываясь от холода, мерял шагами перрон.

<1985 или 1986>

Памяти Алисы Порет

1

В мерцающей пустыне чёрных топей,
среди сухих, качающихся елей,
лишайников, брусничных тропок,
из камня вымученных – ночью слышно,
как плач берестяной свирели
потрескавшийся голос подаёт,
устава лыковую бороду,
и блудит со слепой луной
словами Илмаринена или Ильи.

На озере, у самых валунов
луна серебряной русалкой плещется,
и чёрным непроглядным кругом сосны
стоят, скрывая тайное рождение
цветка проснувшегося папоротника
невидимой багровой точкой,
и стук глухого молота, и тени от раскосых лиц
в упрямой каторге.

2

Как и ты, я когда-то жил
в городе, так похожем на дом без крыши, открытый небу,
где за занавесью из гобелена старинной работы –
– стоит ветру подуть – увидишь болотца осеннюю
хлябь,
ряд простуженных сосенок, кочки,
где люди
ходят по сваям, по морю, как по суше,
забывая про Ноев ковчег,
там, где на сером небе
ветер с Севера, с Похьолы, в клочья дерёт облака,
оставляя багровые раны и золото
вечера –
так же, как ты, один,
я, оставленный этим городом, ехал на остров
чёрного леса и воронов,
остров бревенчатых срубов
и закоптившихся окон под шапками снега –
один;
– кажется, ты одна
поняла:
в этом странном, дарованном мире
даже серое, зимнее небо – другое.

3

Сеть морщин на старом, сером дереве;
окна – почерневшие глаза,
ржавые ключицы острых петель
и седая пакля под стрехой,
скрип дверей, мышинная возня,
тощая коровья морда...
только пожелтевший снимок в рамке
говорит: хозяйка дома знала,
может быть, и лучшие года.

4

Леса. Полоска озёр. Снова леса
толпятся чёрной равниной между серебряных
всплесков льда.

Дальше к северу лёд становится мутным,
будто похожим на камень. Не камни – орехи
разбросаны по траншее –

с башни отчётливо видишь,
как сотни, может быть, тысячи (сотни тысяч?) людей
роем серых комков собраны возле камней и дробят
звонкими молоточками. Когда звон
достигает ушей, он становится гулом,
а камни, в свою очередь, обретают значение, вес
глыбы... Не молоточек – молот
тяжёлым, несносным гудением напоминает сдавленный стон
от непроглядного холода в слепоте потерявшего руку –
рука из небес,
перст указующий –
был, вероятно, гербом этого – ещё земского края –
у серебряной чаши.

Теперь испарения серебра
этих мифологических вод не дают заживать продырявленной
плоти,
гнилой кровью,
узкой красной полоской
между башней и зданием Управления – надпись:
«Даёшь Кондострой!»

Даёшь

Кондострой:

условная точка на карте

конечная железно дорожная станция

детская игра в орехи.

Щёлк! Апокалиптический лес

мерно хрустит перебитыми пальцами веток –

может, увидим

это (как же его по-латыни, забыла?) сияние

пёстрой, слепящей завесой...

(так: завеса... не занавеска – занавесь
– помнишь, я тебе говорил про наш город? –
может, из серебра, из паучьего шёлка,
может, из золота –
золото,
золото
– где же?
разве только в хоралах Баха?)

5

Вечно золотой Иоганн Себастьян
 смотрит, как со старой парсуны –
окруженный золотом ангелов, пением труб
 и рембрандтовским, нечувствительным светом –
как назарейский Лев, и его голове
тесно в ограниченной временем и пространством
раме из карельской берёзы
 – в переплетениях времени
он бессмертен. Его золотой хорал
шитой епитрахилью ложится на плечи угодника
нового Лица, нового утешителя, нового
Николая...
Что же меня заставляет (давно позабытый год,
 художник Алиса Порет), что заставляет ждать
этого позабытого чуда («и я подошёл к нему,
 и он дал мне слух»), что заставляет снова,
снова и снова стоять в опустевшем, покинутом зале,
там, где белые стены смеются и заледеневшие окна
видят льдистое озеро, чёрные ели,
ту же башню и тот же кровавый развал
каменного бытия?

И я подошёл к нему,
И дал он мне слух, обоняние и осязание
Сути, веса предметов – и наполнил звучаньем
Слово – без всяких речей выковал древнюю медь.

Я стою перед ним.
Мы стоим.

Петрозаводск
<Январь–февраль 1988>

Карелия

– край деревянных домов, закопчённого света,
глухого собачьего лая и ветра.

Рыбы скелеты, замёрзший картофель,
дедовский амулет – серебряный рубль и коготь,
прядь ссохшихся серых волос,
скрип сухих половиц, ещё хохоток –

из-за поленницы – скрип
полозьев на снегу, вой, пронзительный вой – ветер.
Глава *Калевалы* – иллюстрации школы Филонова – руны,
видение тощей коровы-матери, лёстовка, старый портрет:
финн-художник при носогрейке, в берете, над ним –
на балконе –
деревянная птица хлопочет...

<Петрозаводск
1988>

Ладва

Когда я останавливаюсь и смотрю на холмы,
примята свежесть травы под весенним снегом
так похожа на умирание...

Кажется, просто любить
и быть принятым, всем, без остатка
той холодной вины, которую ты пронёс,
подобрав на ночном перекрёстке
между лесом и городом, где ты жил,
и любил, и надеялся –

по дороге,
Бог его знает, куда и зачем,
далеко,
так, что не знаешь ни места, ни имени.

Да, когда я смотрю на весеннюю гибель
мёртвых трав, позабывших свои семена
в черной земле без надежды сыновней заботы
и воздаяния –

чудо просто-любви
открывается в вечности умирания
и перехода живительной крови
по нитям незримых сосудов,
что как тонкие жилки засохших растений
видятся мне.

Смерть не страшна ни деревьям, ни травам –
они в неосознанной просто-любви
никогда не узнают, что камень
может быть хлебом, вода – кровью,
они не желают, а любят.

И не найдёшь ни единого слова
в мире растений и трав, если дышит земля
тысячей разных значений и домыслов
– только увидеть
детским взглядом, – осознанным тем, что видит
всё впервые и вечно, – и только запомнить

ту полоску неба, которая мне видна.

<Петрозаводск
1988>

Из «Танцев на деревянном полу»

Памяти Андрея Николева

Сквозящее кладбище осенних дней
на ветру –
шелест сухих пальцев, упрямые листья,
пепел в ветвях –
сгоревшая повесть учителя...
В развалинах
талый след на могиле.

Когда мы уходим, о нас забывают.
Нас читают, как рукопись ненаписанной книги,
где каждое слово – ложь.
Ещё одно слово –
мы уйдём, и о нас забудут.
Будет дождь. Растерзанный голубь на каменных плитах,
седой голубь, раскинувший мёртвые крылья.
Сумерки, будет темень над городом.
Только совы на окнах хранят память,
только дети сжимают во сне руки.

В клочьях серого неба ржавчина воспоминаний
среди онемевших камней.

<Петрозаводск
1988>

Беженцы

Памяти Ст. И. Виткевича

Сверчки трещат по углам. Тихо Полесье.
Слушаем:
не поднимается ли снова брани вой?
Уходим всё дальше и дальше от брани
(друзья остаются в домах
на дороге – нет сил идти,
каждый шаг отзывается болью).
Что ты
предсказывал,
думал,
мечтал –
а спастись
неужели не смог?
На стене израненный, живой Бог,
и раны Его вопят о всегдашней доле,
вопят в глухих, тёмных, забытых им навсегда лесах.
Неужели в этих лесах, в пропаханном железом поле
спокойнее, тише, чем в нашем городе? Дальше
лесов – пустынь. Неужели и там
в ушах не слышно шума и крика,
бормотания чужого языка,
покашливания,
шагов,
а ещё дальше – топота, топота...

Вспомни,
вспомни холод и тишину деревянных домов,
вспомни крики горящего камня,
вспомни орлиный женский жестокий взгляд,
потом – бородатого отца в козьем меху.

Но ты ничего не помнишь.
Вот ты лежишь,
в дымке кровь смешалась с росой,
и, острое лицо запрокинув в траву,
забыв об отце, о тропиках, о стальном взгляде,
самоубийца,
приговорённый,
проклятый –
ляжешь
под серым камнем у деревянного сруба.

16 сентября 1989

Рут Падел

Ангел

Никто меня не видит. Вспучиваются
в гнездо лучи – протеиновые
серые треугольники бархата -

на шесть метров, крыло к крылу,
одетые, словно от Вимерана,
и наморщившие края, тихие,

как шепот зазубренных трав
дома, на лунном ветру.
Поэтому никто не знает,

и даже почти они оттиски
моего яйцеклада,
раскрошившегося в ложе, всё обметав,

им все равно ничего не сделать.
Я слушаю дрожь
и жду. Зацепи они хоть

за позвонок моего усика
через рог морской коровы
в полипах,

изменяющих пол по жизни
с розоватого на лазоревый,
они бы переписали Линнея

и любую историю черных дыр,
раздав заново все призы
за подписи над вопросами,

но так и не увидели бы,
что происходит.
Откуда я все это знаю?

Детка, я оттуда, где мы
пользовались незаржавевшими пиктоскопами,
чтобы узнавать чужаков вроде вас.

Перевод с английского.
1996

ДВА ПИСЬМА ВЛАДИМИРУ ЭРЛУ**1**

24 мая 1998

Дорогой Володя,

простите меня, что я столь опоздал поздравить Вас с Днем Рождения. Но я совсем не виноват, кроме того, что опять так давно пропал у Вас из виду: у меня даже не вышло повидаться с Вами, как я рассчитывал, на чтениях во время *Анатомии петербургского искусства*, куда я в результате не ходил из-за одного хамского поступка <***>. Я только мельком видел Вас однажды из окна трамвая, в котором проезжал по Литейному. И мне это ужасно обидно, потому что я невероятно соскучился и мне бы очень хотелось узнать, что у Вас. Но я сначала жил по приятелям, причем весьма стесненно во времени и в деньгах, пробовал привести в порядок свою работу, в то время как у Милены была беременность и страшно много всего уходило на хлопоты по квартире, подготовку детских пеленок, вещей и прочего.

А потом всё сразу грянуло. 12 апреля Милена родила девочку, которую мы прозвали Лика, вроде как в честь возлюбленной из *Жизни Арсеньева*. Спустя неделю маму Милены, которая загодя приехала из Челябинска и жила здесь на Дрезденской, убили буквально на пороге нашей квартиры. Это было молниеносное зверство, негодяй сразу же пропал вниз на лифте, в котором, наверняка, поднялся вместе с несчастной женщиной. Она скончалась спустя два дня в Военной хирургии, не приходя в себя. Потом были разнообразные бюрократические мучения, связанные с её похоронами, и понятные бытовые тяготы с нашей девочкой, которые только вот начинают налаживаться в осмысленную жизнь.

Я, если бы не эта трагедия, мог бы всё-таки сказать, что в моей жизни начинается серьезный подъем. Мне удалось, наконец, приступить к большой работе, которую уже ничего не сможет перебить, и у меня совершенно пропали всякие чувства по отношению к той глупости, которая происходит кругом, и зависимость от нее. С одной стороны, моя девочка отнимает множество сил и времени (не знаю, когда же это я смогу выбираться отсюда в город, так, чтобы это было не на час-другой и не сугубо по крайней необходимости только, да и то отнюдь не каждый день), с другой – я стараюсь, чтобы это были силы и время, которые обычно уходят на мою *профессиональную* меланхолию и мизантропию; и зато у меня возникло ощущение дома и корень для записей и для переписки. Так что я могу работать всеми, как бы это выразиться, фибрами; только вот *зарабатывать* совершенно разучиваюсь и даже органически сопротивляюсь этому делу – беда. Да и куда писать, чтобы это было серьезно и не стыдно? Так, что-то крошками выходит изредка.

Сейчас я даже не знаю, как я смогу Вас увидеть, что очень хочется. Скорее – может быть, Вы мне сможете написать хотя бы коротко о Ваших делах, что вокруг Вас происходит в жизни? Мне сказал приятель, что Савицкий опубликовал в *НЛО* этюд о Хеленуктах с множеством фотографий: это не тот самый, за

который ему от Вас досталось? Я узнал от того же самого приятеля, что у книги Бахтерева нашелся издатель. Как это хорошо! Я не знаю, есть ли у Вас последний номер *Итогов* с материалами о том позоре, который произошел вокруг покойного Харджиева. Если Вы его не смогли купить, то я Вам pošлю. Напишите мне, Володя, пожалуйста. Мне Вас правда очень не хватает. За последний год я жил тут, на Дрезденской, очень мало, и вообще жил очень разрываясь, зато теперь вот осел (*кто-кто?*) и могу хотя бы спокойно писать, если зайти никак.

Ваш Вася Кондратьев

2

30 июля <1998>

Дорогой Володя,

приветствую Вас

из солнечной Геликониды!

Я очень обрадовался Вашему письму, хотя прекрасно понимаю, что спустя полтора месяца после его получения моя *безответная* радость звучит более чем неубедительно. Я еще очень рад, что Вы, наконец, стали пользоваться персональной ЭВМ. По-моему, это иногда очень утешает, кроме всего прочего. Например, пасьянс. Конечно, это смешно сравнивать с *живыми* картами, и пасьянс, который лежит в этой коробке, самый простенький – зато с нею можно раскладывать на очки и на время, к тому же, совершенно якобы не отвлекаясь от занятий, а просто сидеть и сочинять с *колодой на коленях*, чем я и занимаюсь целыми часами, когда мои дамы молчат или отходят ко сну. Сначала я увлекался играть в червы: мне очень нравилось проводить время с тремя *болванами*, с которыми у меня поневоле складывались вполне человеческие взаимоотношения, так что со временем каждая партия была вроде спиритического сеанса. Но я выбрал всё-таки пасьянс, потому что он не так отвлекает на себя внимание и обладает таким наркотическим свойством *въедаться* в мое времяпрепровождение. Я тут, разумеется, имею мечты. Если бы мне дали волю, я бы себе раздобыл и пасьянсов получше, и обязательно поставил себе таро, которых программ, насколько я знаю по каталогам, существует много, и приличных. Но куда там. Зато как это мило, что и в такой небольшой коробке умещаются и пишущая машинка, и рукописи, и рисование, и карты – в общем, всё то, без чего я не могу обойтись и что у меня обычно теряется или не находит никакого места. В прошлом году, когда я опять особенно ерепенился, у меня ведь было столько хороших картинок, и сколько неплохой работы вроде бы начиналось, и даже небольшая коллекция карт – где всё это? Я, кстати, освоил тогда один замечательный пасьянс, который называется *clairvoyance*: дело в том, чтобы положить перед собою лицом вниз колоду, и загадать, какая карта лежит сверху; если не *угадал*, то можно снять следующую карту и т.д.

Я рассчитываю, что доберусь Вас повидать во второй половине августа. Во-первых, сейчас всё мое лишнее время уходит на то, что я хожу кормить и лежать пожилого кота моего приятеля, который уехал путешествовать (уехал

приятель). А во-вторых (это более серьезно) – я не думаю, что могу так уж часто выбираться из дому, а мне очень хочется привезти Вам несколько сочинений, которые тогда будут уже все готовы и, надеюсь, смогут Вас развлечь.

В жизни, которая у меня происходит, существует большое недоразумение со временем, и поэтому рассказывать о моих новостях стоит некоторого труда; за последние два месяца я поневоле перевидал даже много знакомых людей, которые как будто бы прошли мимо меня с прозрачностью, не имеющей особого отношения к развитию событий. Я по-прежнему долго засиживаюсь ночью, хотя не работаю, а скорее перечитываю или вспоминаю всякую любимую мною литературу (даже не какую-нибудь, а просто мрачных английских писателей начала века или приключенческих авторов), мысленно прогуливаюсь по местам, которые тоже ведь обещали нечто такое, и ломаю голову, в какой жизни это могло бы иметь место. Выдумываю себе дела, чтобы можно было съездить на часок в город, посидеть под дождем за кофе. Все прошедшие две недели я каждую ночь садился, чтобы писать слова, и в результате принимался что-нибудь рисовать, клеить или располагать на стене фотографии. Одним словом, я не столько сочиняю, сколько пробую вести заметки о сочинении. Мне бы хотелось, чтобы это получилось вроде *журнала путешествия*, но посмотрим, впрочем.

Да, кто мне попался. Месяц тому назад я столкнулся на Аничковом мосту с Галей Блейх, которая вручила мне книжку Альтшулера, изданную ими в Израиле. Не могу сказать, чтобы эта книжка вызвала у меня бурю восторга, но она очень приличная, разумеется, и я запас Вам тоже одну штуку, потому что не уверен, что Галя могла Вам встретиться. Я не знаю, может быть, это с неведомо какого жиру настало такое гурманство, что просто приличную книжку (ну, как такие же издания, которые за последние месяцы вышли у Скидана и у Сережи Завьялова) берешь без всяких эмоций, в основном, по привычке. Я уже перестал надеяться на другие чувства. Совсем другое дело – *Дневник 1934 года* Кузмина, который клятвами Глеба Морева обещает быть осенью. Глеб уехал, чтобы увезти Сашу из Иерусалима, и теперь они снова, похоже, станут совсем местными жителями. О Вас все время спрашивает Толстый, с которым я с грехом пополам поддерживаю переписку; я не понял, писал ли он Вам при этом отдельно, но в любом случае он обещал вроде бы надолго приехать в Петербург в конце августа, и если Вам захочется, его можно будет повидать. Сюда приезжали мой друг Том Эпштейн и еще один американец, из-за которых я потерял больше сил и времени (и перевидал больше *литературного*, как они почему-то себя считают, сброда), чем это позволяют обстоятельства. Этот визит у меня, вероятно, и вызвал упадок сил. Хочется выстроить высокую башню и сидеть там вместе с дочкой. Чем я, в каком-то смысле, и занимаюсь.

Я с большим увлечением собираю и перечитываю различные социальные или научные утопии прошедшего века, которые обладают удивительной способностью создавать *воображаемую географию*. Опус, над которым я стараюсь, называется, собственно, *Путешествие нигилиста*, если иметь в виду некоторого героя, который исчезает из виду в романах Чернышевского или Кравчинского, чтобы превратиться в одного из идеалистических путешественников Жюль Верна.

Я полагаю, что дело идет полным ходом и уже точно к зиме мне удастся полностью расписать и нарисовать что-нибудь такое, чтобы удивиться самому, дай Бог. Это как собирать материалы экспедиции, которой не может быть (в беллетристике предпочитают описывать некоторые экспедиции, от которых не остается материалов). Какие тут могут быть жалобы? Ах, да. Я совершенно забыл про работу. К сожалению, я не работаю (см. *Опыты отучения людей от пищи* г-на Добролюбова).

С большой привязанностью,
Ваш ВК

АНДРЕ ЖИД
ДНЕВНИК (1895-1901)
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

I

15 декабря (1895).

*Viale dei Colli, San Miniato*¹ в самую прекрасную погоду. Небо, то слегка закрытое облаками, то чисто-лазурное, гуще окрашивается к вечеру из-за обилия тумана; весь город плавится в золотой жаровне; крыши приобретают цвет терновой настойки; *Duomo* с его *campanile*, башня *Palazzo Vecchio* доминируют над пространством; в отдалении заметны возвышенности; обращает на себя внимание высокий холм напротив *Fiesole*². Восхитительная Арно показывается местами, хорошо видно, как она входит в город и покидает его. Солнце садится, наполняя торжественностью нежной и приглушенной все, что мы видим с мраморных террас кладбища, в обрамлении кипарисов – траурных, почти черных, суровых, таких, каким пристало быть во Флоренции.

16 декабря.

Путь через коридоры, соединяющие *Uffizi* и *Palazzo Pitti*; восхитительная *Galeria Palatina*. Голова молодого человека слева, в «Концерте» Джорджоне, чудесна. Все тона сплавлены, смешаны в новый цвет, неизвестный, уникальный в каждом месте холста – и так интимно соединены, что невозможно больше ни разглядеть отдельные мазки, ни добавить новый. Взгляд останавливается на лбу, на виске, на нежной границе волос, без того, чтобы задерживаться на стыках штрихов. Это выглядит как эмаль, расплавленная и не успевшая застыть на холсте.

Находясь перед картиной, не думаешь ни о чем другом; это свойство шедевра: быть исключительным; заставить поверить в превосходство над всеми другими формами красоты.

Красивые холмы по берегам Арно, от *San Miniato* до тех, что прилегают к *Cascine*³. Я изучаю, шаг за шагом, их суровые нежные линии и их желто-серые тона.

На берегу Арно я люблю долго смотреть на мощную волну, образованную водой, падающей с плотины; плотина наклонена по отношению к реке, так что вода накапливается с одной стороны; в стене имеется углубление, которое выдолблено вдоль ее кромки; вода падает, таким образом, сама на себя по спирали, сохраняя неподвижную форму волны. Восхитительно рассматривать эту застывшую форму, которая пронизывает текучий, мимолетный материал. В море,

1 Старейшая романская церковь Флоренции.

2 Этруское поселение, пригород Флоренции.

3 Парк во Флоренции.

напротив, капля воды находится в неподвижности или, по меньшей мере, имеет свое место, и только форма волны перемещается.

Небольшой шлюз сбоку, под выступом арки моста, образует над рекой что-то вроде балкона, на который я облокотился; трап, полагаю, для небольших лодок, — и, в зависимости от того открыт этот шлюз или закрыт, поток воды изменяется.

Вода всегда желтовата, глиниста, но никакого бурления, никакой пены на поверхности. Она льется, быстрая, с этой плотины, почти отвесно, скользит, без помех, сохраняя точную и правильную форму. Это скольжение.

Уже понизился уровень Арно, и этим утром остались довольны сборщики тины и песка — болотные рабочие, которые загружают на свои плоскодонки полные лопаты ила, взятого со дна и с низких берегов реки.

Позавчера, ближе к утру, разразилась страшная гроза; шквалистый ветер, град, ослепляющие вспышки и оглушительные раскаты грома — всего было вдосталь — а ко всему еще предрождественский перезвон колоколов, которые принялись трезвонить на заре, совершенно обезумевшие в буйстве грозы, и все-таки ранним утром звучание их казалось ангельским.

По пробуждении хотелось видеть небо лазурным и чистым, а были облака, облака — небо драмы и потопа.

В прошлом году я плохо понимал Анжелико¹; я не находил в нем ничего, кроме очень благочестивой и добродетельной красоты, и полагал, что живопись была всего лишь средством молитвы, наиболее эффективным из возможных. История Савонаролы², которая занимала меня в тот момент, казалась мне историей иконоборчества, во всех ее страшных проявлениях, и я не верил, что из обители св. Марка может происходить что-нибудь путное. Нужно признать, что некоторые произведения Анжелико прелестны. Разумеется, линия у него не слишком подчиняется фигуре, фигура — средство выразить душу, и душа — славословие его Богу, а цвет — добавка, заполнение формы, но он раскрашивает кропотливо и пленительно каждую деталь и, по счастью, не считает слишком языческой радость, которая проявляется в наивном расположении цветов.³

Смотрел на Рафаэля на трибуне⁴; нередко тени состоят для него в простом затемнении светлых участков и не имеют особенного значения; удовольствие лепки формы происходит, главным образом, из ужаса перед грубостью, из необходимости округлить, без того, чтобы размыть контуры; мастерство, таким образом, состоит в получении незаметного нисхождения от светлого к не такому светлому и к темному. В нем нет ничего от совершенства колориста — венецианского или испанского, голландского или английского — он всегда тревожнее, в тяжелом поиске, спорный. Джорджоне, еще чаще, чем Тициан, писал каждую деталь цветом, который кажется особенным, *единственным*, хотя он всегда *соединен* и одновременно разделен с соседним.

1 *Fra Angelico* (ок. 1400–1455), живописец флорентийской школы, доминиканский монах.

2 *Girolamo Savonarola* (1452–1498).

3 «Абсурдное суждение: я краснею, перечитывая его сегодня. Анжелико — не просто «прелестный» художник, это большой художник.» (1902) (Прим. автора.)

4 Часть художественной галереи Академии; некоторые росписи приписываются Рафаэлю.

19 декабря.

*Santa Maria Novella*¹. Несносный гид, пояснения которого уничтожают картины. Бесчувственность. Я не понимаю ажиотажа вокруг испанской часовни. Все там очень любопытно, ничего выдающегося. Сложность работы в ущерб красоте.

Фрески жеманные и уже в полной фиоритуре, но изящества отменного – в часовне справа от хоров. Они принадлежат кисти Филиппино Липпи². Справа – изгнание дракона; слева – воскрешение (из жития св. Иоанна Евангелиста). Очень нежна фигура молодого человека, потерявшего сознание от дыхания дракона. Группа вокруг него очень красива – черный король... Красива также группа женщин в сцене воскрешения. Но эти изображения не сравнятся с прекрасными фресками Гирландайо³, украшающими центральную часовню.

После обеда меня навестил юный Роберто Гаттески и мы вышли вместе. Он рассказывал о романах, которые собирается написать, и говорил довольно хорошо. Это должна быть серия, цикл, который будет апологией преступления. Первый обоснует (или, по меньшей мере, опишет) инцест, второй – убийство, третий – воровство. Сочинен пока что только инцест, модернизированная история Амнона и Фамари⁴ – которой он, впрочем, не знал, и которую я прочел ему из Библии. Он собирается говорить, главным образом, о постепенно нарастающей неприязни и о ненависти, следующей за обладанием, это составит значительную часть книги.

26 декабря.

Этим утром в музее *Santa Maria dei Fiori*⁵ и в Национальном музее. Смотрел в основном Донателло⁶, который восхищает меня больше всего. На этой его выставке оригинальных творений и копий, чувствуется такая необычная и победоносная война с античной традицией... Изумительное предпочтение человеческого тела и странное понимание форм ребенка. Этот маленький «Амур», с одной ногой, попирающей змея, а другой – придавленной им. Короткие ноги дополнительно утяжелены, деформированы плохо подвязанными штанишками, которые сползают и обнажают его до половины, а пояс остается на животе – как будто для декоративной усложненности; прелестная направленность влево приподнятых ручек.

Разукрашенная нагота его «Давида»; благоухание плоти; исчезновение мышц между костяком и общей выразительностью; худоба, резвость – решение принято и т.д. Возвращаться сюда как на учебу.

1 Хронологически первая из флорентийских базилик, перестроена из церкви *Santa Maria delle Vigne* (IX в.)

2 *Filippino Lippi* (1457-1504), раннеренессансный живописец, сын Филиппо Липпи.

3 *Ghirlandaio di Tommaso Bigordi* (1449-94)

4 (2-я Царств, 13, 1-39)

5 *Duomo*, кафедральный собор Флоренции.

6 *Donatello* (1386-1466).

28 декабря.

Утром виделся с Роберто Гаттески, который рассказывал о своем желании основать международный журнал, о своем томике стихов и еще о чужом, о своем романе.

Он хотел бы предисловие Коппе¹, впрочем, он умен, и если заводит речь о Коппе, очевидно, что из-за недостатка информации. В Париже он неминуемо был бы в «Меркюре»².

Когда говоришь с ним о известных ему французских авторах, он называет Доде³, Коппе, Бурже⁴, Золя⁵.

После ужина я опять встретился с Роберто Гаттески на Аренах, где мы рассчитывали отыскать д'Аннунцио⁶. Он прибыл около десяти и, час спустя, мы вышли из цирка вместе с Орвьето⁷, который представил меня своему другу. Мы вместе отправились в «Грамбринус»⁸; д'Аннунцио с аппетитом ест ванильное мороженое, которое подают в картонных коробочках. Он рядом со мной и говорит с очаровательным изяществом, без того, мне показалось, чтобы посвящать излишнее внимание собственной персоне. Он небольшого роста; издали его фигура выглядит совершенно обычной или привычной, настолько, что ничто в нем не выказывает ни литературы, ни гениальности. Он носит заостренную светлую бородку и говорит отчетливо, холодновато, но мягко и почти нежно. Его взгляд холодноват, слегка суров, но, по всей видимости, из-за деликатной чувствительности, которую я заметил. На голове у него – черный котелок, совсем простой.

Он рассказывал о французах; говорил о Моклере⁹, Ренье¹⁰, Поле Адаме¹¹, и когда я сказал ему со смехом: «Но вы все читали!» – «Все, – ответил он презиablyно, – я думаю, что нужно все прочесть. Мы читаем все, – продолжал он, – не теряя надежды обнаружить шедевр, который все мы так ждем.» Он не очень любит Метерлинка, язык которого кажется ему слишком простым. Ибсен не нравится ему «нехваткой красоты». «Воля ваша, – говорит он, как будто извиняясь, – я латинянин.»

Он работает над современной драмой в античных традициях и с соблюдением «триединство»... Вместе с Эрелем¹², прошлым летом, он следовал на яхте вдоль берегов Греции и «читал Софокла под разрушенными воротами Микен»...

1 *François Coppée (1842-1908), поэт, романист, драматург, академик.*

2 Очевидно, имеется в виду издательство «Mercure de France».

3 *Alphonse Daudet (1840-1897).*

4 *Bourget Paul Charles Joseph (1852-1935).*

5 *Emile Zola (1840-1902).*

6 *Gabriele d'Annunzio (1863 – 1938).*

7 Вероятно, один из братьев Орвьето (Orvieto), Анжиоло или Адольфо.

8 Так в оригинале. Во Флоренции, действительно, имеется пивная с таким названием.

9 *Camille Maclair (1872– 1945).*

10 *Henri de Rignier (1864-1936).*

11 *Paul Adam (1862-1920).*

12 *Georges Nizelle, французский переводчик, благодаря которому д'Аннунцио прославился во Франции.*

... И что меня поражает, так это что его огромная литературная эрудиция оставляет ему возможности для работы столь непрерывной и совершенной – или что его работа писателя оставляет ему время для чтения. «О! – говорит он, я умею читать быстро и все подряд. Я страшно работоспособен; девять или десять месяцев в году, без остановки, я работаю по двенадцать часов в день. Я уже произвел около двадцати томов.»

Он говорит это вовсе без бахвальства и мягко. И так, без напряжения, продолжается вечер.

30 декабря.

После обеда мы возвращаемся в Баргелло. Чудесный «Давид» Донателло! Маленькое бронзовое тело; разукрашенная нагота; ориентальная грация; тень от шапки на глазах, где рождение взгляда теряется и дематериализуется. Улыбка уст, нежность щек.

Его маленькое изящное тело, грации несколько ломкой и напыщенной – крепость бронзы – тщательно отделанные ножные латы, которые закрывают только икры, и из-за которых бедра кажутся облегченными.

Необычность даже этого бесстыдного смешного облачения и напряженная нервозность маленьких рук, держащих камень или саблю. Я хотел бы, по желанию, мысленно призывать его к себе. Я долго смотрел на него, стараясь затвердить, задержать в себе эти дивные линии, начиная от этой складки живота, сразу под ребрами, от которой перехватывает дыхание, вплоть до этой резкости мышцы, соединяющей верх груди с правым плечом – и эта складка, немного изломанная, на верху бедра – и эта чрезвычайная прямизна спины сразу над крестцом...

Что сказать о бюсте Никколо да Уццано¹? Когда я на него смотрю, я даже предпочитаю его «Давиду». Он по-прежнему полон жизни, и его рот произносит все свои слова. Эти две вещи самые прекрасные и сразу следом: маленький бронзовый амур и «Zuccone»² с *Campanile*, от которого здесь выставлен лишь бюст. Прекрасен также «Давид» Вероккио³.

31 декабря.

Маленькая обитель Сан Марко, я желаю тебе множество роз.

...Возвращение берегом Арно – садящееся солнце; вода, теряющаяся в золотых песках; рыбаки вдали; дым, что поднимается от крыш, сначала серый, золотится вверху от солнца. Это великолепие длится долго; крыши поблизости от Сан Миниато, белые стены, виллы цвета неспелого абрикоса; кипарисы вокруг них кажутся темнее. Водопад на Арно как перламутровая чешуя, чрезвычайно бледный оттенок зеленого, а ниже – такой же оранжевого.

1 Полихромная терракота работы Донателло.

2 «Пророк Аввакум», статуя Донателло.

3 *Andrea del Verrocchio (Andrea di Cione) (1435-1488).*

Рыбаки внизу несут сети и возвращаются к своим лодкам... Чудо этих удлинняющихся дней...

Навязчивые видения Востока, пустыни, ее жара и ее простора, тени пальмовых садов, одежд белых и просторных – видения, от которых чувства сходят с ума, нервы напрягаются, и которые, в начале каждой ночи, заставляют меня думать, что сон невозможен.

Несколько прекрасных вечеров, цвета золота и розового пепла... На выходе из города, берега Арно раздвигаются и обнажаются. Слева – тополиные рощи, справа – розовые кусты и темные сады *Cascade*. Тополя лишены листьев; все золотое небо пронизывает их, и свет смягчается, просеиваясь сквозь них. Со стороны берега, песчаные отмели тянутся до середины реки; рыбаки и добытчики песка, босые, бредут к своим плоскодонкам, входят в воду и загружают в лодки ил и прибрежный песок. Напротив *Cascade*, на верху холма, что-то вроде церкви меж темных кипарисов.

Эм.¹ слегка утомлена. Плохая серая погода. Я выхожу ближе к вечеру и тащусь за несколькими типами, заинтриговавшими меня. В «Валентине Кноксе»² я буду долго говорить об этой мании преследовать людей.

Вечером играли в разные игры. Эм., слишком измученная, не могла участвовать и легла сразу же после ужина. И весь вечер я мучаюсь тем, что я не остался с ней и каждый раз, когда открывается дверь, за которой кто-то слишком громко кричит, думаю, что этот шум разбудит ее и усугубит ее мигрень. В конце вечера, около полуночи, почти неодолимая грусть ододела меня от несерьезности времяпровождения и от того, что Эм. нет рядом со мной. Я искал возможность уйти и вернуться к ней. Мне подумалось также с улыбкой, что нашему ночному бдению, такому спокойному и торжественному, Поля и моему, в Бискре, исполнилось два года. Я спросил себя, чем обеспечено во мне желание не испытывать личной грусти, и обеспечено ли оно вообще. Мне бы хотелось, вместо этих плясок и воплей, такого приближения ко Времени, которое было бы действеннее общественных молитв, культа или попросту тяжелого ожидания. Ужас перед несерьезным – я не могу от него отделаться. – О чем в это время думала Эм., в полном одиночестве?...

6 января (1896).

Говорим о гигиене с Д'Аннунцио. Он сказал, что не знает бессонницы или, по меньшей мере, не мучается от нее. Фехтование и верховая езда предотвращают ее. Он часто достает клинок из ножен и взбирается на коня. Завтра он должен отправиться в Винчи, деревню Леонардо; это паломничество, говорит он, и предлагает сопровождать его. Если бы я не был таким негодным всадником, то с удовольствием прогулялся бы с ним. Рассуждая об иронии, он говорит довольно

1 Жена, Мадлен Рондо; поездка была свадебным путешествием.

2 Часть романа «Топи».

хорошо, что не переносит ее, ибо из-за нее противопоставляешь себя вещам, в то время, как только любовь позволяет постичь их, а это наиболее важно...

За едой он пьет только воду; это правило его работы; в то же время он говорит, что выпивает 10-12 чашек чаю в день. Этим утром, в костюме для верховой езды, извиняясь за появление в таком виде у стола, он был прекрасен элегантностью, мягкой молодцеватостью и непринужденностью.

Рим.

Этим вечером наведаясь в ужасающую громаду св. Петра. Помимо своей воли, я вижу Рим глазами Стендаля. Я разгадал тайну свой римской скуки: я не интересен себе здесь.

В Риме видел, прежде всего, Палатин, термы Каракаллы, Сикстинскую капеллу – но, решительно, не слишком люблю Рим.

Маленький бронзовый «Мальчик, достающий занозу», что находится в Музее Капитолия (том, что справа) перед статуей Дианы Эфесской – ни с чем не сравнимое чудо. Я не предпочел бы ему ничего из античного, думаю даже «Ниобиду» из Музея изящных искусств или «Спящего фавна» из Мюнхена. (Пока я не увидел в Неаполе удивительного «Меркурия-рыбака».)

Уже сам материал, бронза, гладкая и блестящая как яшма, почти черная, казалось, придает контурам решительность более естественную и устойчивую. Никакой вялости, несмотря на такую грацию; и восхитительное изящество этого маленького незрелого тела ничуть не заставляет сожалеть, что формы не более детские или, напротив, не более законченные.

Неаполь. 29 января.

Этой ночью, в полнолуние, настолько светло, что можно слегка различить Капри, почти витающий над горизонтом. Классический Везувий несет на боку как будто огненную царапину. Хотелось бы увидеть вблизи, какие огненные пропасти или какие раскаленные камни создают это огненное падение, которое в первый вечер показалось нам деревенским пожаром.

Этот пейзаж требует своей музыки, открытой, как он сам, со светлой улыбкой и рожденной без трудного вынашивания.

Я поражаюсь, что обнаружил здесь это восточное пение, такое странное, начинающееся на ноте слишком высокой, которая причудливо спускается до тонки в двух параллельных фразах, развернутых как будто между тональностей, спазматически выкрикнутых и удушливо прерывающихся.

Неаполь.

Капри таинственно плавает в прозрачных водах. Я люблю морские пещеры. В Белль-Иле они довольно влажны. В Морга¹ – пестры. Но мне вовсе не

1 Belle-Isle, Morgat – курорты в Бретани.

понравился *grotto azzurro*; эти отблески холодного цвета, вовсе не лазурного, но индиго, кажется, придуманы богом, мало понимающим в колористике. Я поспешил оттуда удалиться. С другой стороны острова – другая пещера, менее знаменитая, она прекрасна; маленькая, прямой коридор с тремя входами; свет преломляется таким образом, что проходят только зеленые лучи, и вода ими достаточно нагружена, чтобы наблюдалось что-то вроде фосфоресцирования. Все предметы, погруженные в воду, оказываются окруженными бледным пламенем, зеленым и нежным; руки, погруженные в воду, окрашиваются зеленым, как кожа найд у Пьера Луиса.

Эта земля возлюбленная среди всех, и две красивые американки во Флоренции, которым представил меня д'Аннунцио, плакали, говоря об этом, и от сожаления, и от вожделения. Некоторые приезжают сюда на восемь дней и не находят сил уехать.

Одна из подруг мисс Магонайкл вышла здесь замуж и с тех пор и слышать не хочет о своей стране. Девушки Капри с большой легкостью становятся дамами. Американцев здесь в избытке, а немцев – еще больше. Для меня же Капри непереносим или что-то вроде того, несмотря на его восхитительные скалы; я предпочитаю видеть Капри из Неаполя, плавающим, как морское видение.

При этом, скорее здесь, чем во Флоренции, я бы хотел повстречаться с этими двумя американками, такими прекрасными, одна читает Марлоу¹, а другая – четверостишия Омара Хайяма, и чтобы они угостили нас, как случилось, когда пришел навестить их д'Аннунцио, этим виноградом, собранным на острове; его прежде сушили на солнце, а потом разделили на маленькие порции, закрученные в виноградные листья, – листья, вымоченные в роме. Таким образом, это маленькие упаковочки цвета сигар, чья оболочка, сухая и неприглядная, сохраняет сладость и сочность винограда.

От Кавы² дорога поднимается в горы. Сплетение веток и лоз над дорогой позволяет представить, как должны украситься весной эти беседки из виноградных лоз, которые поддерживаются в благоуханном воздухе легкими вязами и тонкими тополями. В лесах, через которые мы шли, уже цветут лиловые крокусы.

Бенедиктинский монастырь наполовину упрятан в скале; после того, как осмотрены залы библиотеки, спускаешься в клуатр, где свет дня, падая с высоты из-за нависающей скалы, кажется обесцвеченным, несмотря на обилие послеполуденного солнца. Очень влажный мох ковром покрывает стены, и вода журчит непрерывно. Все там кажется разъеденным плесенью. Еще ниже лежит крипта, чрезвычайно просторная, воздух и свет в нее проникают только через зияющую отдушину клуатра. Неправдоподобное свечение очень нежно окаймляет большие асимметричные колонны; бесконечно глубокая тишина. Монах, который ведет меня, освещает маленькой лампой нагромождения черепов и костей; некоторые бархатисто-белы.

1 Christopher Marlowe (1564-1593)

2 Вероятно, имеется в виду Cava Dei Tirreni – городок неподалеку от Неаполя.

Потом, между двумя рядами массивных колонн, шеренга из шести открытых саркофагов, прижатых друг к другу и доверху наполненных костями.

Еще дальше, довольно красивые фрески кого-то из учеников Джотто.

Отъезд из Таормины в Катанию. Удивительная равнина с почвой черновой и вулканистой, через которую пробиваются, как только заканчиваются поля, и цветут среди лавы грубоватые асфодели.

Сиракузы.

Увидеть Сиракузы летом. Кианейские папирусы соединяют тогда оба берега, говорят морячки, сопровождающие нас, и образуют над лодкой филигранный свод. Плоскодонка натывается на берега, вырывает траву с мелководья, вытаскивает корни и производит шелестящий шум. Очень низкое небо затянуто облаками до самой земли. Лодка медленно движется.

Источник окружен папирусом, который посадили некогда арабы. Мне кажется, окрестности больших африканских озер должны выглядеть похоже. Источник расположен на дне глубокого водоема. Довольно густая вода кажется здесь необычайно синей. Большие лазурные рыбы плавают в ней; хотелось бы бросить туда кольцо... Я мечтаю о банях Гафсы¹, об этих бассейнах с горячей водой, где большие слепые рыбы – по поверью, воспоминание о великой Танит – задевают купальщиков, а на дне видны голубые змеи, ползающие по плитам.

Каменоломня; огороженный двор; пещеры; тюремные плодовые сады; тихое журчание фонтана Венеры; лианы. Здесь держат узников, в этих заброшенных карьерах. Насыщенный воздух, тяжелый и влажный, был ужасно отягощен запахом флердоранжа. Мы жадно вгрызались в лимоны, еще не вполне спелые; первый вкус, нестерпимо кислый, утихал; во рту оставался только нежнейший аромат. – Это место бесчестья, убийства, омерзительных страстей; один из тех подземных садов, о которых рассказывается в арабских сказках, где Аладдин ищет плоды, оказывающиеся драгоценными камнями; где родственник каландара² забирается со своей возлюбленной сестрой; где жена Короля Островов находит как-то ночью черного раненого раба, которому ее восторги не дают умереть.

Греческий театр, увиденный ночью, в час, когда восходит луна. Внизу – аллея надгробий, ведущая к асфоделевым лугам. Я не видал ничего тише этого.

II

Февраль-март.

Осенью, три года тому назад, наше прибытие в Тунис прошло чудесно. Это был еще, несмотря на испорченность большими бульварами, пересекавшими его, город классический и прекрасный, равномерно гармоничный, чьи белые дома светились вечером интимно, как алебастровые лампы.

¹ Город в Тунисе, известный римскими банями.

² Нищенствующий дервиш.

Стоит выйти из французского порта, не увидишь больше ни одного дерева; тени ищут на суках, больших крытых рынках, под сводами или полотняными навесами, или деревянными крышами. Сюда проникает только отраженный свет, создавая особую атмосферу; эти суки кажутся вторым, подземным городом в городе, размером с треть Туниса. С высоты террасы, куда Поль Лоран¹ ходил рисовать, вплоть до моря была видна только полуразрушенная лестница, белые террасы, вырубленные вдоль нее как ямы, где процветала дамская скука. Вечером вся белизна превращалась в пурпур, и небо приобретало оттенок чайной розы; утром белый цвет становился розовым на фоне слегка лилового неба. Но после зимних дождей стены зазеленели, мох покрывает их, и края террас кажутся цветочными корзинами.

Мне жаль белого, серьезного, классического осеннего Туниса, который заставлял меня думать, по вечерам, во время блужданий по его правильным улицам, о Елене из второго «Фауста», или о Психее, «с агатовой лампой в руке»² бредущей по погребальной аллее.

На широких улицах и на площадях высаживают деревья. Тунис от этого станет очаровательнее, но мало что способно исказить его в такой же степени. Еще два года назад улица Марр и Овечья площадь еще были такими, что не понятно было, куда они ведут, и что самый дальний Восток и самая центральная Африка не смогли бы создать, полагаю, более ошеломляющего ощущения чужбины. Форма другой жизни, когда все происходит снаружи, очень полно, антично, классично, по заведенному обычаю; еще нет компромисса между цивилизациями Востока и нашей, которая выглядит безобразной, особенно, когда хочет исправиться. Пластины жести или листья цинка замещают мало-помалу камышовые циновки, крыши суков, и уличные фонари бросают неровный свет на стены, где недавно разливалось равномерное ночное освещение, — на этой большой Овечьей площади, без тротуаров, тихой, чудесной, куда два года тому назад, в теплые ночи полнолуния, приходили спать верблюды и арабы. Дверь мечети отпиралась; арабы собирались вокруг большого светильника, выходили, останавливались на улице и принимались за монотонные религиозные песнопения.

На суках сделаны тротуары. На одной из самых красивых аллей оказалась зарытой под землю база колоннад, что поддерживают свод. Колонны витые, зеленые с красным, с капителями массивными и искусно отделанными. Свод выбелен известкой, но едва освещен. Даже в самые роскошные дни на этих суках царит полутьма. Вход в суки чудесен; я говорю не о портике мечети, но о другом входе — узком, укромном, укрытом за ююбой³, которая склоняется и служит преамбулой для тени на маленькой темной аллее, круто поворачивающей и тут же ускользающей из вида. Но ююба, покрытая осенними листьями, еще не обзавелась свежими. Это начало шорного сука; аллея поворачивает, потом продолжается в бесконечность.

1 Jean-Paul Laurens (1838-1921), исторический живописец.

2 Из «Стансов к Елене» Эдгара По.

3 *Zizyphus jujuba* Lamk, так называемый китайский финик.

На суке благовоний, Садук-Анун по-прежнему сидит в стоптанных туфлях на полу своей лавки, маленькой как ниша и уставленной склянками; но теперь он продает поддельные ароматы. Я подарил Валери, по возвращению в Париж, два последних аутентичных флакона, которые, как я видел, Садук-Анун еще наполнял при помощи пипетки яблочной эссенцией и, капля за каплей, драгоценной амброй. У него больше нет их, лавка наполовину заполнена самым обычным товаром, он не запечатывает их кропотливо нечищеным воском и белыми нитками, и ничто больше не подвигает меня платить так дорого.

Два года назад его кропотливость позабавила нас с Лораном; казалось, она придавала товару цену. После каждой прибавленной упаковки, у торговца обнаруживалось еще более редкостное благовоние. Наконец, мы останавливали его, ибо наши кошельки опустевали.

Я тщетно искал также ту мрачную кофейню, куда ходили только огромные суданские негры. У некоторых не хватало пальцев на ногах в знак их рабства. Они носили, в большинстве своем, привязанные к тюбанам пучки белых цветов, благоуханного жасмина, запах которого дурманил их; цветы свисали вдоль щек как романтические пряди волос и придавали лицам выражение сладострастной неги.

Они любят аромат цветов настолько, что иногда, если не чувствуют его, на их вкус, достаточно сильно, то засовывают смятые лепестки себе в ноздри. В этой кофейне один из них пел, другой рассказывал истории; и ручные голуби летали и садились им на плечи.

Тунис, 7 марта.

Маленькие дети смотрят на это, смеются, повторяют непристойную мимику Каракуса¹. Трудная умственная гимнастика: измениться настолько, чтобы все это представлялось естественным...

Французы сюда не ходят; они не умеют сюда дойти; это мелкие невнятные лавки; туда протискиваются через низкие двери. Французы идут обычно к щеголям неподалеку, шумно ожидающим туристов. Арабы знают, как с ними держаться, и это, действительно, нетрудно – танцующая картонная лошадь, верблюд из дерева и тряпок, тоже танцующий, очень смешно, конечно, но на базарный манер. Чуть поодаль расположена лавка традиционного Каракуса, классического, простого, не бывает проще, с восхитительной сценичной условностью, где Каракус прячется посреди сцены, между двумя полицейскими, которые его ищут, попросту потому, что он опускает голову и не может больше их видеть; и дети принимают, понимают и смеются.

Именно по Каракусу и нашим старым гиньолям следовало бы переучивать драматическому искусству, которое упорно пытается убить господин де Гонкур.

КАРАКУС. Небольшой вытянутый зал, лавка-хижина днем, по вечерам широко распахивается, маленькая сцена отделяется прозрачной занавеской – фон

1 Народный театр теней в Тунисе.

для теней. Перпендикулярно сцене – две лавки вдоль стен. Это почетные места для уважаемых зрителей. Центр зала наполняется совсем маленькими детьми, которые усаживаются на землю и умолкают. Поедается немалое количество дынных семечек, высушенных в соли, – столь коварного лакомства, что мой карман каждый вечер опустошается, хотя утром был наполнен за два су. Правда, часть я раздаю детям.

Забавны здесь ниши в стене, что-то вроде очень неудобных лежанок, наподобие гнезд морских птиц, куда забираются силой рук, и откуда не спускаются, откуда обрушиваются те, кто снял место на весь вечер, на головы молодых *afficionados*¹. Сюда я приходил по вечерам; почти всегда была та же публика на тех же местах, слушающая те же пьесы и смеющаяся на тех же местах – так же как я.

Актер, который заставляет разговаривать эти тени, прекрасен.

КАРАКУС. Другая лавка; суданцы. Там, где обитают суданцы, арабы появляются неохотно. Поэтому здесь только негры. Впрочем, этим вечером я встретил там Федора Розенберга. Пьесу не начинали. (Антракты всегда намного длиннее пьесы, которая продолжается не больше четверти часа.) Один негр потрясает погремушками, другой стучит по продолговатому барабану, а третий, огромный, покачивается перед Розенбергом; почти сидя у наших ног, он поет, импровизирует монотонный плач, где он говорит, насколько я могу понять, что он очень беден, а Розенберг очень богат, и что неграм всегда нужны деньги. И поскольку напев звучит слегка кроважбно, а арабы утверждают, что ни верблюду, ни пустыне, ни негру нельзя слишком доверять, мы немедленно становимся весьма щедрыми.

КАРАКУС. Еще одна лавка. Здесь представление – не более, чем предлог для свидания. Неизменные завсегдатаи, от вечера к вечеру, под благосклонным взглядом патрона. Ребенок необычайной красоты играет на волынке²; все собрались вокруг него, из-за него, все – его воздыхатели. Один из них играет на этом странном барабане в форме вазы, дно затянуто ослиной кожей. Он же, волынщик, составляет счастье заведения, кажется, улыбается каждому и не предпочитает никого. Некоторые читают ему стихи, поют; он отвечает, приближается, но часто все ограничивается, полагаю, несколькими льстивыми похвалами перед всеми. Эта лавка – не притон, это, скорее, любовный двор. Иногда кто-нибудь из детей поднимается и танцует; иногда двое; танец служит, таким образом, чем-то вроде довольно свободной мимики.

Что же до пьесы, она почти всегда непристойна. Мне бы хотелось узнать историю Каракуса. Мне сказали, что он пришел из Константинополя и что везде, кроме Константинополя и Туниса, полиция запретила бы его. Не показывают его только во время Рамадана. Постятся в течение сорока дней от восхода солнца до вечера, постятся абсолютно: ни еды, ни питья, ни табака, ни благовоний, ни женщин. Все чувства караются днем, ночь берет реванш и дарит наслаждения,

1 Тонкие ценители (исп.)

2 Вероятно, имеется в виду тунисский духовой инструмент *mizwid*, действительно похожий на волынку.

пока возможно. Безусловно, есть как очень религиозные арабы, которые ночь Рамадана, после весьма скудной трапезы, проводят в бдениях и молитвах, так и такие, кто не отказывает себе в удовольствиях и днем. Но это встречается только в крупных городах, развращенных французами. Обыкновенно же почти все скрупулезно следуют предписаниям.

В этот последний вечер я хотел еще раз взглянуть, перед тем, как уехать, на самое диковинное и странное из того, что показал мне Тунис. Я вспомнил о том, как долго следовал за этой военной музыкой, которая возвращалась в свою казарму, очень звучная, настоящая, красивая и победная, в то время как на площадях, в порту и на французских бульварах бенгальские огни и листья розового перца составлялись в знаменитую розовую филигрань.

Едва несколько арабов обернулись на это шествие; грохот музыки из их кофеен не прерывался.

Многие вспоминали, думаю, тот день, когда эта музыка впервые вошла в их побежденный город. Меня мучала мысль, не является ли ненависть их единственным чувством по отношению к французам.

Я искал наслаждений вдоль улицы Марр; но сожалел об Альфауине¹. Мавританская кофейня была довольно безлюдной, довольно красивой, но ничто не удерживало меня в ней, кроме огорчения. Французы никогда не приходят сюда. Живость Альфауина притягивает их, и другие кварталы остаются в тишине. Довольно пожилой негр принялся гротескно танцевать под звуки волынки, в ритме барабана.

По сумрачным бульварам я дохожу до Альфауина. Не очень многолюдно, ничего особенного. Ближе к ночи я опять обнаружил Розенберга в той же лавке Каракуса, куда я его отвел в первый день. Он тоже понимает, что нужно регулярно возвращаться в те же места, чтобы изучить не все понемножку, а чтобы изучить хорошо. Арабы привыкают к вам, вы не кажетесь им чужим, и их привычки, сначала нарушенные, восстанавливаются.

Эль Кантара.

Мы добрались туда в конце дня; прекрасного дня. Атман³ явился еще утром, немного поспал днем, но был на вокзале за час до нашего прибытия. И этот час показался ему длинным. «И все-таки, — сказал он мне, — я думал: теперь не больше часа, а прежде приходилось ждать целый год.»

Три бурнуса; один халат из белого шелка с подкладкой из шелка голубого и алой оторочкой; кафтан из синей материи, огромный тюрбан из коричневых шнурков, стягивающих белую ткань, тонкую и ниспадающую, касается щеки и ускользает под подбородок. Этот головной убор его меняет; в прошлом году, в шестнадцать лет, он носил обычную детскую феску, а в семнадцать решил дополнить ее мужским тюрбаном.

1 Рынок в г. Тунисе и прилегающая к нему часть города.

2 Юный арабский дружок А. Жиды.

Атман потратил все, что у него было, на свой «костюм»; он сделался красивым на новый лад. Если бы не его приветствие, я вряд ли узнал бы его.

Вечер неторопливо приближался. Мы пересекли ущелье, и сказочный Восток явился нам в своей мирной позолоте. Мы спустились под пальмы, оставив Атмана ждать на дороге повозку, которая должна была к нам присоединиться. Я узнавал все звуки: шум воды, птичьи крики. Все было, как прежде, тихим, и наше прибытие ничего не изменило. В повозке мы ехали вдоль оазиса, довольно далеко. Мы возвращались на закате; остановились перед дверью мавританской кофейни, час Рамадана прошел. Во дворе, у нас на виду, верблюды устроили брачные бои. Надсмотрщик кричал на них. Стада коз возвращались; их торопливые копытца производили опять, как и прошлым году, шум бесплодного ливня.

От всех серых глинобитных домов поднимался разреженный пар, голубая дымка, которая скоро окутает, отдалит весь оазис. Небо на западе было очень чистого синего цвета, такого глубокого, что казалось еще насыщенным светом. Тишина стала замечательной. Пение представлялось невозможным. Я почувствовал, что полюбил этот край, возможно, больше, чем любой другой; здесь лучше, чем в любом другом месте удается предаваться созерцанию.

Бискра.

Вчера мы были в садах; мы шли по аллеям, которые прежде привели нас в Н'Мсид, а потом в Баб-эль-Дерб. Мы достигли старой крепости и въехали в нее через Сиди-Баркат. Прогулка была длинной, и Эм. устала от нее. Атман был с нами и Федор Розенберг; Ларби сопровождал нас тоже. Мы выпили кофе на въезде в Н'Мсид, у подножия Эль-Уэда и гор Эль-Орес.

Я люблю этот пейзаж гораздо меньше, чем безбрежное пространство пустыни. Ларби играл с нами в домино очень плутовски и мило. Я жду Жамма¹ с восхитительным нетерпением. Земля говорит здесь на другом языке, но теперь я его понимаю.

Моя прошлогодняя комната, на первом этаже отеля, мое открытое окно были отделены от улицы только высотой подоконника, которую можно было перепрыгнуть. Садек, старший брат Атмана и несколько их друзей из старой Бискры, во время Рамадана, заглянули ко мне отдохнуть, прежде, чем добираться в свою деревню. У меня были финики, пироги, сиропы и варенье. Была ночь. Садек играл на флейте, удавалось долго хранить молчание. На ночь я закрыл только ставни. Все шумы проникали извне. Каждое утро они будили меня на заре, и я шел на край пустыни встречать рассвет. В это время обычно проходило стадо Ласифа, составленное из коз, принадлежащих беднякам; те, у кого не было садов, доверяли ему каждое утро своих коз; Ласиф их гнал пастись в пустыню. Он стучался в дверь за дверью, ему открывали и выпускали несколько коз. На выходе из деревни их было больше шестидесяти.

Он шел с ними очень далеко, к горячему источнику, туда, где заразили и молочай. У него был большой козел, на которого он взбирался иногда, сказал он

¹ Francis Jammes (1868-1938)

мне, когда путь был слишком утомительным или чтобы разогнать скуку, поскольку он не умел играть на флейте. Однажды утром, когда он удалился, не пройдя под моим окном, я отправился в пустыню, чтобы присоединиться к нему. Я бесконечно люблю пустыню. В первый год я немного боялся ее из-за ее ветра и песка; потом, в бесцельных блужданиях, не умел останавливаться и очень быстро уставал. Я предпочитал тенистые дороги под пальмами, сады Уарди, деревни. Но в прошлом году я совершал длиннейшие прогулки. У меня не было другой цели, как потерять из виду оазис. Я шел; шел, пока не начинал ощущать себя бесконечно одиноким на равнине. Тогда я начинал смотреть. Пески были бархатистыми в тени и легко сползали с холмиков, на которых были видны следы насекомых; отцветали горькие тыквы, бегали скакуны¹, каждое дуновение ветерка доносило чудесные легкие шумы, и, из-за глубокой тишины, слышны были самые тихие звуки. Иногда орел вылетал из-за большой дюны. Это монотонное пространство казалось мне разнообразнее день ото дня.

Я водил знакомство с пастухами-кочевниками; я ходил встречаться с ними; я с ними болтал; некоторые играли на флейте. Иногда я долго сидел рядом с ними, ничего не делая; я всегда приносил книгу, но не открывал почти никогда. Часто я возвращался лишь к ночи. Но Атман, которому я рассказывал об этих прогулках, сказал мне, что они слишком опасны, и что арабские бродяги стерегут окрестности оазиса и грабят иностранцев, не умеющих защитить себя; им ничего не стоит на меня напасть. С этого дня он пожелал меня сопровождать; но поскольку он не любил ходить пешком, прогулки становились все короче, пока не прекратились вовсе.

Атман читает как Бувар и пишет как Пекюше². Он учится изо всех сил и переписывает все подряд. Он предпочитает «Радость Магелонны» Герольда³ «Попытке влюбленности»; он находит мою «Попытку» плохо написанной. «Вы слишком часто употребляете слово «трава», – сказал он мне.

Я дал ему «Тысячу и одну ночь». Однажды вечером он забрал книгу в Бордж Булакрас, где он ночует, чтобы читать ее со своим другом Башагой. На следующий день он является только в одиннадцатом часу, еще тяжелый от сна; он и его друг читали историю Аладдина и волшебной лампы до двух часов ночи, рассказывает он и прибавляет: «Ах, мы провели прекрасный ночной вечер. Вечер для него – время, пока он не лег спать.

На краю оазиса, на развалинах старой крепости, мимо которых мы идем, в эту ночь полнолуния, арабы в белых одеждах, распростертые на земле, тихо бормочут или играют на флейтах. «Они хотят провести ночную ночь, – говорит мне Атман, чтобы рассказывать истории.» Летом никто не осмелился бы так сидеть на земле; скорпионы и гадюки, прятаящиеся днем в песке, выбираются и рыщут, как только наступает ночь. Чуть поодаль, мы оставляем коляску; пальм больше нет; ночь, казалось, расширяет плоскость пустыни до края голубых просветов. Даже

1 *Cicindela campestris*, насекомые.

2 Бувар и Пекюше – персонажи Г. Флобера..

3 *André Ferdinand Hérold*, писатель, друг А. Жида.

Жамм замолчал. И в этот момент Атман, преисполненный лиризма, сбрасывает свой бурнус, подвязывает потуже халат и проходит на колесом в лунном свете.

Атман добыл, не знаю где, «Иллюстрированные жизнеописания» и теперь, по поводу верблюдов, вспоминает Бюффона¹ или Кювье², не говорит о дружбе без того, чтобы упомянуть Генриха IV и Сюлли³, о мужестве без Баярда⁴ и о Большой Медведице без Галилея...

Жамм развлекается, заставив его читать стих, симпровизированный в ожидании повозки, которая должна была доставить нас в Дрох:

*Мой милый друг Атман,
Плодовый сад нам дан,
Миндаль и лоз сплетенье,
Чтобы вдыхать дурман
И предаваться лени.*

*Сидеть, закрыв глаза,
В густой тени ветвей.
Внизу журчит ручей,
Прозрачный, как слеза,
И чистый, как напев
Арабских юных дев.*

*Ты спишь, закрыв глаза,
Вверху жужжит пчела,
Кудрявится лоза.
Так радостно, Атман,
Уверовать в обман,
Что смерть уже пришла.*

С того времени, как Жамм находится здесь, Атман проводит день за днем в сочинении стихов. Его особенно заботит, чтобы рифма была очень богатой. Он часто доходит до каламбуров. Иногда у него выходят милые вещицы:

Под пальмами не бывает концертов...

или еще:

*... Тот, кто познал
Любовь, испил горькой воды
И время больше его не интересует.*

Он читает все усерднее «Тысячу и одну ночь»; знает историю Аладдина наилучше и подписывает свои письма: «Атман или Волшебная лампа».

1 Georges-Louis Leclerc Buffon (1707-1788), естествоиспытатель, популяризатор науки.

2 Georges Cuvier (1769-1832), зоолог

3 Sully, Maximilien de Béthune, Baron de Rosny (1560-1641), приближенный Генриха IV

4 Pierre Terrail chevalier de Bayard (1476-1524)

Жамм подарил мне свою трость. Она из железного дерева и привезена «с островов»; она забавляет детей, потому что ее венчает голова борзой; она отполирована, как нефрит, и при этом так груба, что говорят, что выстругана ножом. Я не видал ничего более странного. По дереву прописными буквами написаны стихи, среди них этот, прекрасный:

*Белка держала розу
во рту, а осел
держал ее за помешанную.*

И вот этот, самый первый:

*Пчела спала
На вересковых пустошах моего сердца.*

Туггур, 4 апреля.

Сегодня награждают орденом арабского землекопа.

До буровых компаний и артезианских скважин у арабов были землекопы. Иногда нужно искать ключевую воду на глубине семидесяти и даже восьмидесяти метров под землей. Люди спускаются туда.

Их смолodu обучают этому мучительному ремеслу, но многие погибают. Нужно пройти три слоя земли и два слоя воды: первый – стоячая и второй слой – просто текущая, чтобы добраться к этому последнему слою воды, бьющей ключом. Вода выходит тогда иногда замечательно чистая и изобильная, но почти всегда отягощенная содой и магнием. Усилия этих землекопов-пловцов во время подводных работ невозможно представить; говорят, они мужественнее всех. Речь идет о том, чтобы создать колодец, коридор в толще вод, куда вода не может проникнуть, работать в нем, рыть еще, и так дважды, чтобы пройти два слоя влаги и устроить проход для чистой воды, которая должна проходить через стоячую, не соприкасаясь с ней.

В тот же день, в одном из этих колодцев – квадратных, сделанных из стволов пальм, мы видели, как спускался человек, привязанный на веревке, на шестьдесят метров глубины, чтобы устранить аварию.

Итак, награждали арабского землекопа; а вечером он сошел с ума.

Слой стоячей воды в Туггуре почти выходит на поверхность. Это уже не прекрасные текущие воды Хетмы или движущиеся каналы Бискры, это гнилостные рвы, зловонные, полные грязной травы; иногда речка пересекает оазис, мудро разделенный из-за пальм. По дну, среди трав, скользят водяные змеи.

Оазис окружен песками; вчера страшная буря поднимала их в воздух. Горизонт, казалось, обвился вокруг нас, подобно покрывалу, накинутому на голову; почти ничего не было видно, дышалось с трудом.

Неподалеку от города есть бедное кладбище, песок постепенно завоевывает его, еще можно с трудом различить несколько могил. В пустыне идея смерти преследует нас; и, что замечательно, она не грустна. В Бискре, за старой крепостью, в

самом центре оазиса, дожди размыли старинное кладбище, и, поскольку мертвецов кляли прямо в землю, разбросанных костей там не меньше, чем камней.

Песчаная буря продолжалась до вечера; на закате мы поднялись на минарет. Небо было цвета золы, пальмы потускнели; город как грифельная доска. Необытный ветер неся с востока подобно вздоху божественного проклятия, предреченного пророками. И, посреди этого опустошения, мы заметили удаляющийся караван.

Улады¹ танцуют здесь лучше, чем в Бискре, и красивее собой: вовсе не поэтому мне кажется, что они лучше танцуют. Мы возвратились сюда, плененные этим танцем, тяжелым и монотонным, почти полностью ограниченным плечами и запястьями, очень благопристойным; оглушенные, почти изнуренные этой музыкой, упрямой, быстрой, туманной, одуряющей, которая доводит до экстаза, и которая продолжает звучать в ушах, когда уходишь прочь, и которая преследует меня опять, иногда по вечерам, настигая даже в пустыне.

Эту ночь мне захотелось провести на площади, где стоят лагерем караваны. Горели костры из кустарника; вокруг них тихо разговаривали арабы; другие пели; они пропели всю ночь.

Атман рассказал мне историю Уриевой жены.

В соответствии с арабской традицией, следуя за золотой голубкой из залы в залу своего дворца, Давид, именуемый Даудом, попал, наконец, на возвышенную террасу, с которой и увидел Вирсавию.

Атман рассказывает: «... Еврей ему говорит, что Моисей был прав, и что Бог привел к себе сначала евреев, а уже потом арабов, а также, быть может, и христиан. Христианин говорит, что Христос был прав, и что Бог призвал к себе христиан, но арабов тоже, и даже евреев. Араб ему говорит, что Мухаммед был прав, и что Бог взял к себе в рай арабов, но закрыл двери перед евреями и христианами, не желающими принять ислам. И когда он послушал всех троих, то поспешил сделаться мусульманином.»

Христиане у них обладают правом древности, которое они провозглашают, и рады мне сообщить, что христианин, произнесший перед смертью формулу веры ислама: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его», – войдет в рай перед арабом.

«Руми², – говорят они еще, – превосходят нас во многом, но они вечно боятся смерти.»

Туггур, 9 апреля.

Арабы, разбившие лагерь на площади; зажегшиеся огни; дым, почти невидимый в ночи. Мы были на верху мечети, когда муэдзин поднимался петь призыв к молитве.

¹ Танцовщики и танцовщицы.

² «Белые люди» или «римляне» (араб.)

Солнце садилось, как будто навсегда, на бесконечную изнуренную равнину. Этот песок, долго бывший бледным, стал чернее неба.

Мы весь день страдали от солнца, и вечерняя свежесть была нам сладостна. На площади играли дети, и собаки лаяли с террас окружающих домов. Голос муэдзина возносился над нами и наполнял доверху небольшой купол, венчающий минарет; он казался, продолжаясь на одной единственной ноте, звоном колокола; потом он замолк, так внезапно, что в воздухе образовалась пустота.

Караваны трогались в путь, медленно, и наши души наполнялись восторгом и страхом от того, что о цели их бесконечных скитаний знать нам не дано.

Из-за необычайной засухи весь скот пал в этом году, и мясо стало таким редким, что приходится есть верблюжатину.

Выходя из города, видишь, под маленькой крышей из сухих пальм, одно из этих огромных животных, разделанное, с фиолетовым мясом и покрывающееся мухами, как только их перестают отгонять. Мухи в этих краях столь же многочисленны, сколь потомство Авраамово. Они откладывают яйца на падали, тушах баранов, лошадей или верблюдов, которые оставляют гнить на солнце; их личинки питаются свободно, потом, преобразовавшись, роями, ордами завоевывают города. Их глотают, их вдыхают, они щекочут кожу, надоедают, портят настроение; от них вибрируют стены, трещат витрины мясников и бакалейщиков. В Туггуре торговцы пользуются маленькими перьями пальм и стараются отогнать их к соседям. В Каируане полагают лучшим ничего не делать. Торговцы не гоняют их, пока какой-нибудь покупатель не попросит показать товар. Наша повозка, по прибытии, была облеплена тучей. В отеле тарелки и стаканы защищены металлическими крышками, которые не убирают, не поднимают, прежде чем приняться за еду или питье.

М'Рейер, 11 апреля.

Чудесные шотты¹, окаймленные миражами. На вершине песчаного холма, после безграничной протяженности пустыни, приходит мысль: «Гляди-ка! Море!» Синяя морская ширь, с корабликами и островами, море, кажущееся глубоким, освежает душу. Приближаешься, трогаешь кромку, и голубизна внезапно исчезает, и оказывается, что это был лишь отблеск неба на белой соляной корке, горящей под ногами, болезненной для взглядов, великолепно обманчивой; она ломается под шагами, хрупкая, ибо это не более, чем тонкая поверхность моря движущейся грязи, в котором тонут караваны.

На офицерском ужине майор рядом со мной интересно рассказывал о юге. Он долго жил в Уаргле, добирался даже до Эль-Голеаха и вспоминал о марше солдат через пески. Часто в этих зыбучих песках, пламенеющих и дрожащих от солнца, их настигало помутнение рассудка от постоянного ощущения под ногами мягкой почвы; даже после остановки колебания продолжают, и почва, кажется, все

1 Солёные озера (араб.)

еще ускользает из-под ног. Иногда можно встретить, среди ужасных песков, узкую жилу известняка, неизвестно к чему присоединенную, твердую, ширины почти достаточной, чтобы каждый солдат по очереди на мгновение встал на нее двумя ногами и слегка оправился от этого слабого сопротивления.

Чтобы наказать солдата, его заставляют «следовать»; ходьба в хвосте войска убийственна; те, кто впереди, не могут позаботиться об опаздывающих; они выстроены друг за другом... сбиваются с шага, падают, и их поглощает пустыня. Замыкающие бегут в душливой пыли, поднятой войском, и, на этой слишком мягкой земле, еще больше размягченной другими, они теряют темп, и это конец; они глядят, как остальные отдаляются; грифы, что летят за батальоном, останавливаются, ждут, потом приближаются.

В песке, часто, кристаллы гипса, осколки «наконечников копья», сверкают на манер слюды; по дороге на Дрох, мы нашли камни, которые на сколе являли внутренность, прозрачную, как стекло.

По дороге в Эль Уэд мы нарвали странных минерализованных цветов, которые называются суфскими розами, цветом они серые, как песок, слегка склеенный песок.

Бискра.

Звуки негритянского барабана манят нас. Черная музыка. Сколько раз я слышал ее в прошлом году! Сколько раз я отрывался от своих занятий, чтобы ее послушать! Ни лада; ни ритма; никакого мелодического инструмента. Ничего, кроме длинных барабанов, тамтамов и трещоток... «*Florentes ferulas et grandia lilia quassans*»¹, трещотки, которые создают в их руках почти шум ливня. Втроем они исполняют настоящие пьесы. Ритм нечеткий, причудливо прерываемый синкопами, что сводят с ума и провоцируют все содрогания плоти. Это они, музыканты церемоний погребальных, радостных и богомольных; я видел их на кладбищах, аккомпанирующими упоению плакальщиц; в мечети Каируана, где они подогревали мистический пыл членов братства Айсау². Я видел их задающими ритм танцу с палками и священным пляскам в маленькой мечети Сиди-Малека. Я всегда был единственным французом среди тех, кто смотрел на них. Я не знаю, куда ходят туристы; думаю, что патентованные путеводители преподносят им Африку свалок, чтобы, для вящего спокойствия, освободить надоедливых арабских друзей от тайны; ибо я никогда не встречал никого из туристов рядом с чем-то интересным; ни даже, и тем лучше, в старых деревнях оазиса, куда я возвращался каждый день, так что на меня там перестали обращать внимание. В то же время отели полны путешественников, но они попадают в лапы гидов-шарлатанов и платят очень дорого за фальсифицированные церемонии, которые разыгрывают перед ними.

Ни одного француза не встретил я, так же, как в прошлом году, на этом необычном ночном празднике, куда я попал почти случайно, приманенный

1 «Лилии крупные нес и махал зацветшей осокой», Вергилий, *Х эклога*, пер. С. Шервинского.

2 Народное религиозное направление, примыкающее к суфизму, последователи Сиди Мухаммеда Бен Айсы.

единственным ударом барабана и женскими криками. Праздник происходил в негритянской деревне: танцующая процессия женщин и музыкантов входила на главную улицу, опережая носильщиков факелов и большую группу детей, кричащих и ведущих за рога большого черного козла, разнаряженного украшениями и тканями. На рогах у него были браслеты, в ноздрях – огромное серебряное кольцо, на шее – ожерелья, он был обернут куском темно-красного шелка. В толпе, идущей следом, я узнал большого Ашура; он объяснил мне, что этот козел будет зарезан ночью, чтобы принести счастье деревне; а перед тем его ведут по улицам, чтобы плохие духи домов, которые водятся в шаге от дверей, вошли в него и исчезли.

Черная музыка! сколько раз, вдали от Африки, мне казалось, я слышу тебя, и немедленно творился вокруг тебя весь Юг; еще в Риме, на виа Грегориана, когда тяжелые грузовые повозки, проезжая ранним утром, будили меня. Вскочив на каменный пол, еще непроснувшийся, я мог мгновение заблуждаться и долго потом терзаться прозрением.

Мы слышали черную музыку этим утром, но это было заурядное празднество. Они играли во внутреннем дворе частного дома, и мужчины на пороге сначала хотели нас оттолкнуть; но несколько арабов узнали меня и обеспечили нам вход. Я был с самого начала поражен огромным количеством еврейских женщин, собравшихся там, очень красивых и богато разодетых. Двор был полон; в середине едва оставался клочок пространства для танцев. Было душно от пыли и жары. Большой поток света падал из дверного проема наверху, откуда, как с балкона, свисали гроздь детей.

Лестница, взбирающаяся на террасу, была тоже покрыта людьми, очень внимательными, как нам показалось; то, на что они смотрели, было ужасно. В центре двора – большой медный таз, полный воды. Три женщины встали, три арабки; они сбросили верхние одежды, для танца, растрепали прически перед тазом, потом, наклонившись, опустили волосы в воду. Музыка, уже очень сильная, взорвалась. С мокрых волос текло, женщины танцевали какое-то время; это был танец дикий, бешеный, танец всего тела, в котором, по крайней мере со стороны, не было видно никакого смысла. Руководила ими старая негритянка, она прыгала вокруг таза и палкой стучала по его краям. Наконец нам объяснили то, о чем мы уже начинали догадываться: все женщины, которые танцевали в этот день (иногда, если их много, действие продолжается два дня) были, как еврейки, так и арабки, одержимы демонами. Каждая по очереди платила за право танца, а эта старая негритянка с палкой – знаменитая колдунья, сведущая в экзорцизмах и умеющая заставить бесов покинуть женские тела и переместиться в обновленную воду. Нечистую же выплескивали на улицу. Сказала нам об этом красивая еврейка Гумаррха, которая говорила неохотно, пытаясь из остатков веры и полу-стыда умолчать о том, что и она в прошлом году попала в центр круга, «надеясь обрести там облегчение в хворах». Но потом она опять тяжело заболела, и ее муж, проведая, что она танцевала на этом ведьмином празднестве, бил ее три дня подряд, чтобы вылечить.

Танец оживлялся; женщины, неприкаянные, растерянные, жаждали беспомысленности плоти, или, вернее, потери чувств, наступления кризиса, когда тело освобождается от власти рассудка, и экзорцизм вступает в силу. После этого

мучительного мгновения, потные, умирающие, в изнеможении, следующем за кризисом, они обретут покой.

Теперь же они стоят на коленях перед тазом, руками вцепившись в края, и их тела раскачиваются справа налево, вперед и назад, быстро, как взбесившийся маятник; их волосы взбивают воду, потом падают на плечи; при каждом движении туловища они издают тяжелый вопль, подобно надрывающимся дровосекам; потом, внезапно, отваливаются назад, как в эпилептическом припадке, с пеной на губах и перекривленными руками.

Дурной дух оставил их. Теперь колдунья берет их, укладывает, вытирает, стирает и, ибо исцелялась истерия, хватает их за запястья и, наполовину поднимая их, нажимает им, ступней или коленом, на низ живота.

В этот день их прошло, говорят нам, больше шестидесяти. Первые еще были скрючены, когда следующие уже бросились на смену. Одна из них, маленькая и горбатая, одетая в желто-зеленый халат, незабываема; ее волосы, черные как смоль, покрывали ее всю.

Еврейки тоже танцевали. Они нелепо подсакивали, как иступленные волчки. Одни, едва подпрыгнув, рухнули в изнеможеньи. Другие оказались более устойчивы... Их безумие передалось и нам; мы спаслись бегством, не в состоянии более оставаться.

Бискра.

«Кто придумал музыку?» – спрашивает Атман. «Музыканты», – отвечаю я. Он не удовлетворен, он настаивает. Я с усилием отвечаю ему, что это Бог. «Нет, – немедленно возражает он, – это дьявол.»

И он мне объясняет, что для арабов все музыкальные инструменты суть адские приспособления, за исключением двухструнной виолы, названия которой я не помню, с очень длинным грифом и корпусом, сделанным из черепашьего панциря. На ней играют маленьким смычком и аккомпанируют площадным певцам, поэтам, пророкам и сказочникам, и иногда так сладкозвучно, что, говорит Атман, «небесные ворота кажутся открытыми».

Эти певцы, эти поэты не дают мне покоя. Что поют они? И козы пастухи, отрывающиеся от своих свирелей? И Садек с его гузлей? И сам Атман, в одиночку или вместе с Ахмедом, каждый на своей лошади, по дороге в Туггур? Иногда это что-то вроде диалога, я слушаю, но не могу разобрать ни слова. Атман, которого я расспрашиваю, отвечает: «Нет-нет, это не слова, это просто стихи!» Я пытаюсь заставить его, в эти последние дни; записать и перевести что-нибудь из этих песен. Это их, незаписанные, поют площадные певцы, сидя на земле или на пороге кофейни, а группа арабов в молчании окружает и слушает, или их поют для себя путники, в дорожном одиночестве. Я не знаю, понравятся ли они тем, кто не знает эту страну; я вряд ли отважусь сказать, что нахожу их очень красивыми, и что я уверен, что устная традиция этой арабской поэзии, древней или современной, достойна звания фольклора. Возможно, в будущем году и попытаюсь составить небольшой сборник этих песен. Вот две из них; я привожу их здесь в таком виде, как Атман их мне дал, подправив только орфографию:

I

Два года, как я перестал заниматься любовью и объявил себя религиозным.

Я отправился на север; там я нашел, на празднике, Байю.

Она воткнула гребешок, вдела серьги,

Пристегнула кинжал, с ножнами в зеркальцах...

Ее волосы свисали со всех сторон,

Утяжеленные золотом, красиво падающие.

Никто не мог ее купить.

Только она или я...

Девушки просили монет;

И я, слабый (я бедняк),

Завтра продам нескольких баранов

За красавиц с их изящными кольцами.

II

Сегодня, проходя, она обернулась;

С золотым поясом, бахромой, свисающей с бедер.

Меня заставляет страдать это чистое белое платье.

Я пробегал всю ночь,

Это меня облаивали ее собаки.¹

Если бы Рамадан² был человеком,

Я собственноручно перебил бы ему колени;

Но Рамадан пришел от Бога;

Мы с тобой принимаем страдания.

1 «Любовь очень тяжела у нас, – говорит Атман, объясняющий стихи, – потому что женщин охраняют собаки и вся семья». (прим. автора)

2 Рамадан – это сорокадневный пост, пост любви в той же мере, как еды и питья. (прим. автора)

ЛИТЕРАТУРА И МОРАЛЬ

То, что в земледелии зовется чередованием культур, в человеке зовется циркулярным психозом¹.

Все, что происходило в нас, пусть всего однажды, может возвратиться, время тут способствует, сила воли тут безмолвствует. (В мире морали никогда нельзя говорить об окончательной победе.)

Нельзя быть уверенным в том, что никогда не будешь производить действий, смысла которых никогда не поймешь. Уверения в добродетели смущают меня, ибо состоят из непонимания. Я не говорю об уме головы, чистой логике, имеющей дело исключительно с соответствиями символов; мне бы этого не хотелось. Невозможно понять то, что умеешь сделать; следовательно, вещи в природе не колеблются при приближении звука, который сами же, если их подтолкнуть, способны произвести. И я не говорю, что они никогда его не произведут; но часто говорю об индугенции, извинении их возможного будущего.

*Nil humanum a me alienum puto*².

«Не существует таких великих преступлений, которые, в иные дни, я не чувствую себя способным совершить», – говорит Гете. Самые великие умы способны также к самым большим преступлениям, в то время, как обычных они не совершают из мудрости, из любви, и потому что это бы их ограничило.

Доктрина греха: будучи способным ко всевозможному злу, ничего не делать, вот и добродетель; ограниченная сила воли; мне совсем это не нравится. Я люблю, когда слепота ко злу исходит из ослепления добром; иначе добродетель есть невежество – нищета.

Я не могу больше испытывать признательность Богу за то, что он меня создал, как я не мог бы хотеть существовать, если бы меня не было.

Et sic Deus semel iussit, semper paret.³

Бог – «тот, кто верен». Чудеса суть непослушания Божества.

Желание доказать, что Бог существует, столь же абсурдно, как заявить, что его нет.

Ибо наши утверждения и доказательства не творят его... и не уничтожают.

Я предпочитаю сказать: с того момента, как что-то существует, это Бог. Объяснения мне не нужны; он объясняет себя сам через все Естество; это его способ существования.

Молитва – ораторская форма души.

1 Почти синоним маниакально-депрессивного психоза.

2 «Ничто человеческое мне не чуждо», Теренций («Самоистязатель», акт 1, сцена 1).

3 У Сенеки (*De constantia sapientis*, II, 5,4-5,5): «*Ipse omnium conditor et rector... semper paret, semel iussit*» (сам основатель и правитель мира всегда повинуетя и лишь однажды повелел).

Досадно верить, что человеку нужна традиция, история, чтобы понять вечного Бога. История Бога может быть только историей человеческих верований.

Как только у человека заводится какая-то мысль, он пишет целый том не затем, чтобы объяснить ее, а затем, чтобы извиниться за нее.

Иоанн Креститель – это «ораторский прием» Христа.

Я всегда стараюсь все упростить большими обобщениями, чтобы сделать мою одержимость столь же портативной, как чаша, из которой пьет Хафиз.

Не рассматривать больше никакое существо иначе как часть уникальную и различную, для которой эта общая материя служит всего лишь слишком громоздкой поддержкой.

«Язычество» не принесет мира, если только не предполагать над всеми этими соперничающими богами единую господствующую силу.

В чувстве согласия, а не соперничества, заключено счастье, и даже если все силы природы начнут сражаться, каждая против всех прочих, для меня невозможно не представить себе верховную сущность, руководящую и этой борьбой, предшествующую всем разделениям, спасительную для каждой души.

Невозможно ничего купить иначе как с любовью. Не важно кто, не важно что всегда окажется самым любимым. Хлеб – для того, кто голоден; лакомства – для того, кто успел пообедать. Объяснение народного пьянства таково: они пьют, чтобы забыть, что они не те, кем хотели бы быть; впрочем, пьянство высших сословий объясняется так же. Опьянение – всегда замена счастьем. Это приобретение мечты о чем-то, когда недостаточно денег на материальное обладание объектом мечтаний. Бутылка, что дает опьянение, служит шагреновой кожей, когда ты пьян. Ужас в том, что никогда не удастся упиться в достаточной мере.

Пригрезилось: у мира могла быть другая история. Поверхность земли могла быть другой. Если бы все обитатели мира были похожи на меня, у него не было бы истории.

Я ненавижу все карьеры, ибо они не могут заключаться ни в чем, кроме людской злобы.

Из всей этой комедии, на двух оконечностях важные действия: рождение и смерть. Одного мы не замечаем еще, другого мы не замечаем уже. И нам даже приходится верить, что когда земля оставлена, больше не думаешь о том, что умер. Мы замечаем только смерти других, потому что они облегчают нашу жизнь.

Личные характеры являются более общими (я имею в виду: более человеческими), чем характеры этнические. Нужно иметь в виду: человек как личность старается избавиться от расы. И как только он не представляет больше расу, он представляет человека; идиосинкразия есть предпосылка обобщений.

ПОРЯДОЧНОСТЬ. Все, что заключено в этом слове.

Синтез должен предшествовать анализу; и анализ, необходимость духа, рождается из чувства сложности. Чувство сложности способно превратиться в страстное оцепенение.

Странная слабость духа, которая заставляет нас без конца сомневаться, что счастье будущего позволит оценить счастье прошлого, часто единственная причина наших бедствий. Мы привязываемся к симулякрам своих скорбей, как будто нужно выказывать свою грусть другим. Мы ищем воспоминания и руины, мы хотели бы заново пережить прошлое и хотим продлить радости после того, как они иссякли.

Я ненавижу всякую грусть и не понимаю, почему вера в прекрасное будущее не превалирует над поклонением перед прошлым.

Не напоминает ли это тех курортников, которые каждый день оплакивают садящееся в море солнце и еще долго кричат над морем, в сторону запада, в то время как за их спинами уже занимается заря.

«Этот остров, называемый его обитателями Саву, мало известен.» (Кук, Путешествия). Если бы его не было совсем, не было бы и имени.

Странна привычка людей нарекать имена клочкам земли; в особенности, этому острову. Они дают ему имя в день, когда собираются его покинуть, оставить другим.

«... Или страдать, или умереть. – *Aut pati, aut mori*. Заслуживает вашего внимания понять, как следует, всю силу этих слов; ... вы признаете вслед за мной, что они заключают, как конспект, все учение Сына Божьего и весь дух христианства.»

И чуть дальше: «Нет ничего более противоположного, чем жить в соответствии с природой и жить в соответствии с честью.» (Боссюз¹, «Панегирик Св. Терезе».) Тем хуже!

«Мое «я» отвратительно», скажете вы. Но не мое. Я бы его полюбил, будь оно чужим; не потому ли, что я слишком требователен к себе? На какое ужасное «я» мог бы я нарваться! (Прежде всего, я живу, и это чудесно.)

Мне вас жаль, если вы чувствуете в себе ненависть к чему-нибудь. Я ненавижу только эту грустную мораль; если я люблю свое «я», не думайте, что я меньше люблю ваше, или что причиной всему большее или меньшее счастье.

Но вы тоже живете, сдается мне, и это тоже прекрасно.

История человека – это из области истин, произведенных человеком.

Я не хочу, поймите меня правильно, рассматривать, говоря это, истины в связи с небольшим числом избранных, освобождение которых или, скорее, избрание будет способом признать их право воцариться над нами. Таким образом, что их свобода будет куплена ценой нашей.

¹ Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704), проповедник, епископ Мо.

Нет. Оставим даже это слово «Истина», позволяющее слишком легко поверить, что деспотизм некоторых Идей легитимен. Скажем: не Истин, но Идей. И, соответственно, назовем Идею воспринятой; если угодно, метафорически, если она преломляется в мозгу человека и порождает соответствие. Количество Идей бесконечно, так же, как количество соответствий, или почти так же.

Мне нравится, чтобы не уничтожать весь смысл жизни и любить жить, рассматривать человечество как исполнение различных соответствий. Почти бесконечность возможных соответствий обеспечивает человечеству почти бесконечную продолжительность. Исполненные соответствия составляют историю прошлого. Это факт свершившийся и более-менее хорошо разыгранный, нет нужды к нему возвращаться, да это и невозможно. Для минимальной сегодняшней идеи нужно почти бесконечное количество вчерашних соответствий. Наконец, удается от них освободиться.

Так, мало-помалу, человечество освобождается. Но так слабо, что почти этого не замечает.

И поэтому не стоит слишком верить в прогресс.

Любой шаг становится рачьим, невозможно вообразить движение вперед, и даже когда ты повернешь в сторону движения все свои лица, прошлого перед тобой окажется не меньше, чем в самом прошлом. Однажды сделанного не переделать.

Но думать, что человечество находит цель вне себя самого, а не внутри, будет безумием и путем в потемках. Прогресс человека заключен в нем самом, и не имеет особенного значения, во что верить.

Осса рушится с Пелиона¹, и на небо не взобраться – где Истины вовсе не обретишь у тех, немногих, кто сидит по тронам, где мы найдем себе углы, чтобы усестись самим.

Боги, если бы они были, стали бы нашим непрерывным тяжелым трудом, подобно тому, как дети на пляжах забавляются, глядя на относительный прогресс волн. Одна идет; о прогресс! она поднимается; она вторгается; она затопляет все – она оставляет после себя пену и уходит; другая идет следом и поднимается чуть выше – о прогресс! это болото; болото остается; завтра оно отвоюет еще несколько дюймов пляжа – о прогресс! не наступит ли он завтра? Но послезавтра случается равноденствие, и море отходит – но еще работает и слегка размывает землю.

Время и пространство есть подмости, чтобы играть на них, бесконечное количество истин раскрыто при помощи наших мозгов, и мы лицедействуем как марионетки-добровольцы, убежденные, преданные и сладострастные. Я не вижу, о чем здесь печалиться; я, напротив, доволен пониманием своей роли, в конце концов, если все обосновывает существование роли, то детали каждый изобретает сам.

Ты научись рассматривать человечество как театральную постановку идей на земле.

¹ От и Эфиальт угрожали взгромоздить Оссу на Олимп, а Пелион на Оссу, но были убиты стрелами Аполлона (Одиссея, XI, 307–320).

У нас нет иной ценности, кроме репрезентативной.

Они страдали от собственной тяжести и не знали, как освободиться. Милосердие их ничуть не привлекало. Они сами стали для себя непереносимы, а другие – еще более, чем они. Когда не хочешь заняться самим собой, разумеется, не будешь заниматься и другими. Но чем заниматься, в таком случае? За что взяться?

Это их измучило до того, что они поверят в подчиненность идей людям. Но после того, как они признают господство идей, то только ими и займутся и забудутся в этом.

Вещи нуждаются в нас, чтобы существовать, или чтобы ощущать существование, и без нас пребывают в ожидании. И человек чувствует от этого болезненное беспокойство: давление на нас всего, чего еще не было и что хочет быть, всего неизвестного, требующего свою минутку раздумий, кажется, выпрашивая у нас существование, ибо нужно, чтобы все произошло, – и как если бы была какая-то радость в том, чтобы сказать, что что-то было, когда этого больше нет.

Инерция материи. Медленность прохождения через нее идеи.

Теория книги: мертвые письма? Мешок с зерном.

Гибкость! Из всех инерций наихудшая! Лицемерие непередвигаемой материи; она, казалось, уступает, заставляет поверить в победу и в удачность попытки; но возвращается, стоит ее отпустить; это отсроченная инерция. Материя внешне пластичная, которая готова истощить наши усилия. Чтобы показать, из какой глупой памяти исходишь ты, когда мы тебя преобразуем согласно нашим глиняным моделям, ты опять возвращаешься к своим примитивным линиям, которые мы хотели забыть; которые мы не сможем забыть никогда. Гибкость! Грубая память материи, отсроченная инерция, притворная податливость...

Гибкость нас окружает; то что в области нематериальной мы зовем ретроактивностью, это она и есть – но с бесконечными усложнениями – до тех пор, пока материя не пропитается вся и полностью не изменится.

Возражение: бесконечная восприимчивость материи; пористость.

Социальный вопрос? – Разумеется. Но моральный вопрос предшествует.

Человек интереснее, чем люди; это его, а не их Бог создал по образу своему. Каждый более ценен, чем все.

Удобно рассматривать душу как частицу поверхности, где растут многие различные растения и живут насекомые. Имеется избыток, борьба, таким образом, будет и вытеснение. Довольно, слишком! Если не вырвать это, оно задушит то. Если вы не вырвете ничего, природа сама распорядится конкуренцией.

Выясняя *raison d'être* какого-нибудь произведения искусства, приходишь к тому, что достаточная причина для существования произведения – это его символ, его композиция.

Произведение с хорошей композицией неизбежно символично. Вокруг чего группируются части? кто определяет их последовательность? идея произведения, вот что делает эту последовательность символической.

Произведение искусства – это переходящая границы идея.

Символ – то, вокруг чего строится книга.

Фраза – это разрастание идеи.

ТЕОРИЯ. Вещи находятся в непрерывном неравновесии. Отсюда их течение.

Уравновешенность – это совершенное «здоровье»; то, что г. Тэн зовет счастливой случайностью; но она нереализуема физически по названным причинам; а реализуема только в произведении искусства. Произведение искусства есть вневременное равновесие, искусственное здоровье.

Я скажу, что здесь нужно художнику: особый мир, к которому только он имеет ключ. Недостаточно, что он являет что-то новое, хотя и это уже очень много; но нужно, чтобы все вещи в нем были или казались новыми, просвечивающими через мощно раскрашенную идиосинкразию.

Нужны особые философия, эстетика, мораль; произведение затем и нужно, чтобы их показать. Это и составляет его стиль. Я нашел также, что очень важно, когда в нем есть особый юмор; смеяться над ним.

ХРИСТИАНСКАЯ МОРАЛЬ

Это верно, что все не должны в равной степени сражаться, чтобы побороть себя и умереть в себе самих, говорит «Подражание»¹ (I, XX, 4) Я полагаю теперь, что бесполезно «бороться с собой», по меньшей мере, после одержанных побед, молодость должна взять свое и, посредством мирного договора, личного и вечно-го, подготовить то, что называется зрелым возрастом. Поэтому мы наблюдаем в государствах классические эры устройства только на примерах побед в междоусобных войнах. Таким образом, просвещенные силы, вместо того, чтобы враждовать, могут заняться границами и обеспечить расцвет городской гармонии.

Прекрасная статья Фуйе² об Огюсте Конте³. Я цитирую: «... Не имея ограничения в свободном исследовании, протестантизм создал бесконечную религию, значит неопределенную, неопределяемую, которая не знает, жизнь или свободное исследование приведут ее к атеизму, будет ли атеизм ее частью или нет; религия, которая не знает, остановилась ли она или продолжает двигаться... Вся свободная мысль, будучи примененной к свободному исследованию, вся псевдофилософия, вся интеллектуальная анархия были включены в протестантизм, как только он перестал быть радикальным католицизмом.»

«*Und alles ist Frucht, und alles ist Samen*»⁴.» Идея продолжает быть живой силой, пока не исчерпались феномены в той пище, которую она заключает в себе. Христианство заведет человека дальше; человек еще способен это перенести. Но прежде католицизм, потом протестантизм, после того, как они были экстенсивными формулами, уже долго являются формулами ограничительными; твердыми футлярами и раковинами, где теснится дух. Поместить себя в убежище – жалобная необходимость духа; не нужно отпираться или пытаться слишком быстро устранить убежища; – слабый дух слишком мучится и слишком деформируется в комфорте; но любая формула любой религии не может рассматриваться иначе, как призыв к исчезновению. Христос вовсе не разрушил эти привычные формулы.

Христианство еще в состоянии, разумеется, хорошо питать анархии (те, что не могут быть рассмотрены, в свою очередь, как предварительные исследования); но теперь нужно, чтобы оно освободилось от формул, в которых, как потоки лавы, оно застывает на поверхности.

Меня поражает, что протестантизм, отбрасывая церковные иерархии, не отбросил одновременно удушливые институты св. Павла, догматику его посланий, и не ограничился только Евангелиями. Мы скоро придем к тому, я полагаю, чтобы освободить слова Христа, чтобы позволить им казаться раскрепощающими в гораздо большей степени, чем до сих пор. Очищенные от мертвенных наслоений, они покажутся более драматичными, отрицая, наконец, семью (и это позволит ее уничтожить), вытаскивая человека из его среды, самого по себе, ради его

1 «О подражании Христу» Фомы Кемпийского.

2 Alfred Fouillée (1838–1912), философ, историк философии, сторонник эклектизма.

3 August Comte (1798–1857), один из основоположников позитивизма.

4 «И все есть плод, и все есть семя», Ф. Шиллер.

собственной карьеры, и давая ему образование по его индивидуальному плану и в соответствии с его призванием не иметь больше собственности на земле и места, где преклонить главу. О пришествие этого «кочевого состояния», вся моя душа жаждет тебя! когда человек, не имея постоянного крова, не ограничит больше свой долг или свою привязанность благополучием и стремлением к нему.

Я люблю читать и перечитывать Евангелия, я не вижу ни одного слова Христа, которое могло бы освятить или хотя бы обосновать семью, брак. Я, напротив, нахожу их отрицания... «По жестокосердию вашему¹...», – сказал Христос, рассуждая о старинных образовательных законах Моисея о разводе, содержащихся в законах о браке. Призвание каждого ученика есть его отрыв от семьи; из семейного долга один из них хочет, прежде, чем следовать за Христом, похоронить своего отца. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов²», – говорит ему Учитель. «Кто мать Моя и кто братья Мои?»³ – отвечает он, когда ему говорят, что его мать и его братья пришли увидеться с ним, и прибавляет, указывая на тех, кто его слушает: «Вот мать Моя и братья Мои».

«Что Мне и Тебе, Жено?»⁴ – говорит он матери, продолжавшей его любить. Позднее, с высоты креста, как будто опасаясь быть оплаканным, и чтобы показать ей, какая любовь, распыленная и повсюду ощутимая, должна в будущем заместить локализованную любовь. «Жено! се, сын Твой⁵», – говорит он Марии, указывая ей на Иоанна, и Иоанну, указывая на Марию: «Се, Мать твою!» Что же касается радостей усыновления, я отношусь к нему хорошо, ибо оно тоже разрушает семью; жалкий союз двух скорбей, я хочу его еще, но только если он оставляет мне также возможность немедленного утешения, названного Тем, кто сказал: «Предоставьте мертвым погребать своих мертвецов»; изгнанная скорбь, невозможность возвращения, посредством непрерывно обновляемых усыновлений.

Наконец, не объявил ли Христос множество раз, что тот, кто не бросит все, чтобы следовать за ним, не войдет в Царство Божие? И, точнее, нужно понимать, что не последуешь за Христом, если не оставишь все, что имеешь. Разве сказано, что «то, что имеешь» не включает семью? для Того, кто говорит еще: «Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее... Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня... Не мир пришел Я принести, но меч.⁶» И в другом месте: «Всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат.⁷» Бесконечное расширение объекта любви, пока семья не исчезнет.

1 «Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими; а сначала не было так; но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует.» (Мат. 19, 8-9), (Мар. 10, 11), (Лук. 16, 18).

2 (Лук. 9, 60), (Мат. 8, 22) .

3 (Мат. 12, 47-48), (Мар. 3, 31), (Лук. 8, 19).

4 (Иоан. 2, 4), в Вульгате, по-английски, немецки и французски фраза звучит как: «Женщина, что общего между тобой и мной?»

5 (Иоан. 19, 26-27)

6 (Мат. 10, 34-37), (Лук. 12, 51)

7 (Мат. 19, 29)

ЗАПИСКИ

МЕДИТАЦИЯ I (проект).

Я перечел превосходный пассаж Паскаля: «Пример целомудрия Александра Великого куда реже склоняет людей к воздержанности, нежели пример его пьянства – к распущенности.. И т.д.¹»

Отсюда следует, что мы слишком часто претендуем на то, чтобы прикрывать ноги² великих людей. Но, что интересует меня, так это пьедестал, на котором покоятся их ноги; они красивы на нем. Кроме того, никаких сомнений; голова и ноги принадлежат одному и тому же человеку; имеются тайные соответствия; кто знает, не потерял ли я все, желая абстрагироваться от величины, я хочу сказать: рассматривая только чувство, мысль, а не тело; плод, а не дерево, несущее его? Величие великого человека заключено не только в голове; если он ее не сет высоко, это значит, что все тело его велико.

Впрочем, эта метафора вводит в заблуждение; есть немало видов величия; немало видов красоты. Так же, как и способов удостоиться людского любопытства.

Гнусные чувства есть чувства поддельные. Обнаруживается, но с трудом, что нет никакой возможности, которая не могла бы... и т.д. Самый скромный цветок, если за ним ухаживать, выкажет свою особую красоту.

МЕДИТАЦИЯ II (проект).

О пользе болезни.

(Из Паскаля: «Молитва к Богу об обращении во благо болезней».)

Болезнь как источник беспокойства.

Нечего ждать от «удовлетворенных».

Великие больные: пророки, Мухаммед, св. Павел, св. Иоанн (не думает ли господин Жюль Сури³ умалить божественную важность слов Христа, делая из него истеричного чахоточного типа?), Руссо, Ницше, Достоевский, Флобер, и т.д. Больные литературные герои: Гамлет, Орест, и т.д.

О потребности в болезни, свойственной античности.

Система компенсаций (очень плохо понятая). Слепота Гомера; история Орфея (оставить на потом); он пел только «из боли»; в обладании реальностью своей любви он замолкал. Отсюда следует, что все его песни *кажутся* грустными; ибо они есть выражение желания, но не обладания. В *реальности* они не грустны, но просто говорят об *отсутствии* того... (слишком зыбко; пояснить).

Сильное болезненное беспокойство античных героев: Прометей, Орест, Аякс, Федра, Пеней⁴, Эдип (Эдипа нужно рассмотреть отдельно, в моей медитации о театре: антипод Макбета).

1 Блез Паскаль, «Мысли», 103

2 Аллюзия с книгой Исая (6, 2): «Вокруг Его стояли серафимы; у каждого из них по шести крыл; двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал».

3 Jules Soury (1842-1915), философ-материалист.

4 Фиванский царь, сын Агавы, внук Кадма; пытался запретить женщинам чествовать Диониса, за что был растерзан вакханками, среди которых была его мать.

Что касается Гомера, напомнить о выкалывании глаз соловьям, объяснение куда более удовлетворительное, чем система компенсаций. Глаза, закрытые для реального мира. Слепой соловей поет лучше, не от сожаления, но от восторга.

Болезнь предлагает человеку новое беспокойство, которое он пытается оправдать. Сила Руссо, так же как Ницше, происходит отсюда. Не будь его болезни, Руссо остался бы несносным ритором, вроде Цицерона.

По поводу иллюзии касательно здоровья великих людей рассмотреть Мольера, Расина и т.д. Тот, кто хорошо сказал об этом, – тот же, о ком говорят как о писателе вполне здоровом: Гете. Посмотреть «Фауста» (замечательный диалог с Хироном). Он достоверно ощущал выгоду своего положения и т.д., посмотреть «Торквато Тассо» и т.д.

Здесь следует задать знаменитый спартанский вопрос. Почему в Спарте не было великих людей. Совершенство расы мешает возвеличиванию личности. Но это позволяет ей выработать канон мужской красоты; и дорический ордер. Уничтожением тщедушных исключаются редкие разновидности – факт, хорошо известный в ботанике или, по меньшей мере, в цветоводстве; самые красивые цветы часто расцветают на самых чахлах стеблях.

*

Чудесно, что эта земля стимулирует больше чувства, чем мысли.

Объединение нелепых ощущений во время морской болезни; невозможно вспомнить в точности; хотя самые ничтожные впечатления растягиваются бесконечно сквозь пустоту часов. Но, например, некоторые шумы машины, периодически повторявшиеся, с довольно большими интервалами, заставляли меня отмерять по ним время; и когда приходил новый шум, я говорил себе и повторял это вплоть до следующего шума: «Ага, вот и этот тухлый пирог с черникой...», – и пирог соотносился в моих мыслях с катафалком. В другой момент, я имел несчастье разглядывать оторванную шпонку, которая висела на конце медной цепочки и раскачивалась, и перекачивалась невпопад с килевой качкой; она мне напомнила одного из этих огромных южных кузнечиков, желто-зеленых, длинноногих, которые елозили по ботинкам.

И покрывшись потом, и почти потеряв сознание, слабый как агонизирующий у Эдгара По, да, точнее больной из «Колодца и маятника», думать: «Ох! пусть этот иллюминатор откроется! ох! открыть этот иллюминатор!» и ничего не делать, в течение долгих минут не думать, не чувствовать ничего, кроме этого: вот, что станет воздухом, способным проветрить эти мертвенные часы, и чувствовать волю так далеко, безнадежно далеко от желания, что совершенно бесполезно пытаться связать одно с другим. О убожество! И внезапно, задыхаясь, ринуться к иллюминатору, схватиться за гайки, крутить, тянуть, открыть, полумертвым упасть на койку, и, подавляя все, ужасная дурнота от очень холодного воздуха, ворвавшегося снаружи, заледенила вдруг мои вспотевшие руки в тот момент, когда иллюминатор уже открыт.

И в течение долгого времени оставаться совершенно неподвижным, позволяя поту, капля за каплей, стекать со лба на подушку; потом думать, чувствовать

мало помалу – теперь в ознобе: «Ох! пусть этот иллюминатор закроется! ох! закрыть этот иллюминатор!...»

Это не просто тошнота, это почти полная невозможность проглотить что-либо твердое, железы отказываются выделять слюну, мускулы – глотать; и слизистые оболочки рта как будто покрыты каким-то соленым налетом.

Суметь не допустить рвоты, но очень сильно сдерживаться.

*

Сорренто. Вилла Арлотта, у Фолльмеллера.

Невозможно описать весь блеск, темное великолепие этого фруктового сада, порядок, ритмическую красоту, мягкость... Я вошел под сень апельсиновых деревьев, наполовину плача, наполовину смеясь, и совершенно опьяненный; через густую крону едва виднелось небо. Шел дождь; небо еще было серым; казалось, что свет исходит только от россыпей апельсинов. Ветви гнулись под их весом. Лимонные деревья были тоньше и стройнее, элегантнее, не такие пышные. Иногда плетеная изгородь бросала на них довольно мрачную тень. На земле, между стволами, числом, умеренной высотой, видом маслянистым и гладким, напомнившими мне богатые колонны кордовской мечети, распростирался сплошной толстый ковер оксалиса, зелень которого мягче газонной, с голубоватым отливом, нежнее, уязвимее. И по черным земляным аллеям, прямым, правильным, узким, где тень, жара и влажность позволили восторжествовать мху, хотелось идти босиком.

Сад заканчивается террасой или, скорее, обрывом, прямо над морем. На самом краю апельсиновые деревья уступают место соснам и каменным дубам. Гораздо более широкая аллея идет вдоль берега, но так, что прогуливающийся отделен от моря полосой деревьев. Среди площадок, на выступе скалы, дерзкая терраса предлагает круговую скамейку, стол, очаровательное место отдыха. На одной из этих мраморных скамеек хлопотливый садовник оставил для нас апельсины. Они были четырех сортов; самые большие – почти бесцветные, сладкие, как арбузы; мне больше понравились яйцевидные, с толстой кожурой; у них был эфирный запах, так, что они показались мне восточными; но особенно я упивался очень маленькими мандаринами, твердыми как райские яблочки, с кожурой зелено-оранжевой и очень тонкой, которая напоминала лайковую кожу. Я не могу сказать, ни сколько мы их съели, ни с каким (восторгом)... Они утоляли одновременно голод и жажду. Со скамейки, на которой мы сидели, болтая, мы бросали корки через балюстраду и, пролетев вниз несколько сотен метров, они падали в море.

Перуджа. Февраль.

Это было легкое опьянение... Увы! почему не все приспособлены к этому восхитительному транспорту? Именно от него начинается счет геройствам. Я чувствовал себя таким гордым, что некоторое недомогание всего лишь заставило меня, полагаю, восторгаться еще больше. Я ведал всем, был над всем, но безличным образом; я забыл себя, потерялся в расплывчатой роскоши, подчиняясь ей совершенно.

Допустимо, чтобы весь индивидуализм восторжествовал там, где закончился весь эгоизм. Определенно, в этом состоянии все возвращение к себе, все самоуглубление становилось не только неуместным, но и невозможным; в этом состоянии я чувствовал себя вполне способным как к самым благородным поступкам, так и к самым низменным – способным к любому действию, оценить которое или вычислить его последствия оцепеневший разум отказывался.

И только мое присутствие, повсюду, устанавливало между всем, что я видел, слышал и чувствовал, трепещущую гармонию, коей заканчивалось мое сопротивление. Я в ней жил...

*

«Умеренность состоит в том, чтобы быть взволнованным как ангелы» (Жубер¹).

Это как если бы сказать: чахотка состоит в том, чтобы проводить каждую зиму на юге.

Вода, сходящая с ледников! нет ничего более мутного; напиток для зобастых.

По-настоящему чистая вода бьет ключом из глубины.

Мы долго не могли решить тогда, был ли Клеомброт погружен в безнадежность из-за того, что не присутствовал на последней беседе Сократа², или спешил узнать то сверхъестественное блаженство, о котором Платон поведал ему слишком красноречиво, что оно ждет его за пределами жизни; и я цитировал стих Мильтона:

*... and he, who, to enjoy
Plato's Elysium, leap'd into the sea
Cleombrotus.*³

(Paradise lost, III, vers 472.)

Гибкие мускулы моего тела, сладострастные детали моих чувств мне приятнее приводить в действие, чем гораздо более изощренные силы моего ума.

1 Joseph Joubert (1754-1824).

2 Эпизод, упомянутый в диалоге «Федон».

3 «Клеомброт, в морскую глубь нырнувший, чтоб скорей в платоновский Элизиум попасть». Перевод Арк. Штейнберга.

МАЛЕНЬКИЙ РОМАН.

Поспешная чувственность.

(Он спешил до того, что ободрал руки о забор.)

Но там больше не было музыки: единственного звука струнного инструмента или флейты, или голоса, хватало, чтобы подчинить мою мысль. Так же и жест, луч на полу, чья-то улыбка или трепетный пейзаж, увы, ведут вернее, чем искусство, к полному беспамятству моего сердца. Случилось так, что самая медленная работа, достойная восхищения попытка улучшить имеющееся, из поколения в поколение, создала, чтобы меня произвести, особую породу, освободилась здесь и закончила всплеском дикости – подобно тому, как на руинах тщательно спланированного дворца вырастают луговые травы.

Сравнить облака, что проплывали над горой, в Эль Кантара, потом таяли и поглощались лазурью, с караванами, которые пожирает пустыня (или наоборот).

Прибытие в Бон¹.

Тяжелые запахи благовоний, с которыми не может справиться никакой ветер, распространяются над морем подобно очень густому пару.

Эту тень я почувствовал сразу всем телом. Мои босые ноги ступали по посвежевшей земле. Воздух, не такой жаркий, вливался в легкие как вино. Моим векам были приятны его ласки.

Катание на коньках. Лед, по которому никто еще не ездил. Не отличить от воды – коварный – кажется, скользишь по самой воде – солнце, освещая лед, превращает его в зеркало – видишь в нем себя – таким образом, что из-за скорости и наклона тела, во вращениях я показался себе лежащим в пустоте и разглядывающим себя с очень близкого расстояния, склоненным к отражению, как Нарцисс.

Возвращение вечером через деревню, освещенную закатным солнцем, – наши тени на дороге были громадными.

Другие возвращения – возвращения слишком поздние – солнце уже село – грусть.

Катание на коньках на вышедших из берегов прудах, между камышами – между стволами деревьев.

Катание на коньках по каналам – не в одиночестве – и воскликнуть, быстро проносясь мимо: «Гляди! барьер, дом.»

Катание на коньках в Версале до самого конца Большого канала.

«Самая волшебная земля станет мне отвратительна, как только я нащу паю в ней корни». (Дюма-сын, предисловие к пьесе «Денежный вопрос».)

Людская лень безгранична. Это триумф инерции над более тонкими законами. Это иногда именуют мудростью; она мешает всему, что движется, прибыть слишком быстро.

1 *Вопе*, колониальное название города Аннаба в Алжире.

Очень немногие люди по-настоящему любят жизнь; боязнь перемен тому доказательство. То, что особенно не любят менять, помимо жилья, – это мысль. Жена, друзья – все может уйти; но дом и мысль – это слишком утомительно. На этом сидят, за это держатся. Меблируют на свой лад, делая все похожим на себя, дабы избежать противоречий; это зеркало, подготовленное согласие; в этой среде человек не живет больше, он в ней укореняется. Меньше всего, я вас уверяю, любя по-настоящему жизнь.

Прислушайтесь к людской болтовне. Кто слушает друг друга? Оппоненты? Вовсе нет. Человек слушает только того, кто воспроизводит его мысль. Чем ближе она выражена к тому, как он сам ее выражает, тем охотнее он слушает. Ловкость великих журналистов – это позволить сказать имбецилу, который их читает: «Я все правильно думаю!» Всяк любит быть не пришибленным, но поглаженным по головке. Ох! как медленно течет время. Как велики усилия, чтобы что-то сдвинуть! Как длинные передышки! Как, при малейшем склоне, все катится назад!

*

О ДЕТЕРМИНИЗМЕ И О ПРИНУЖДЕНИИ.

Я пришел к чему-то вроде чувства определенности; да, мои действия казались мне вытекающими счастливо и уверенно и из надежного источника. Их красота открылась мне позднее; я убедился довольно скоро, что красота моих поступков, чтобы выглядеть в моих глазах совершенной и доставлять мне удовольствие, должна не заботить меня и оставаться неочевидной, вплоть до, собственно, поступка; самые красивые из моих поступков, или представляющиеся мне такими, – те, чья красота оказалась для меня сюрпризом. И опьянение, которое я внезапно чувствовал, наполняло меня тем особым головокружением, которое позволяло забыть себя, той самой силой, которая позволила мне все это сделать. В эти моменты я ощущал, как, помимо моей воли, все мое существо напрягается, собирается с силами, делается жестким; я становился противником самого себя и ощущал радость от того, что обходился с собой весьма сурово. Иногда, убежденный, что любые мои действия неизменно оборачиваются дополнительным восхвалением моей жизни, я мечтал, почти с досадой, предоставить себя себе самому, освободить волю, дать себе отсрочку и отдых. Я никогда не смог этого сделать и понял, что принуждение было для меня более естественным, чем для других – падение в удовольствия, что я не был волен остановиться, размякнуть и прекратить сопротивляться; и я понял одновременно, что именно это отсутствие свободы привело к красоте моих поступков.

*

ПАРАДОКСЫ.

Медленная эволюция: до настоящего времени интеллектуальность мне казалась ни больше, ни меньше – драгоценной жемчужиной, за обладание

которой нужно отдать все остальное. Тщеславное желание все понять смешнее любого другого и гораздо опаснее. Очень скоро убеждаешься, что менее всего понятен себе ты сам.

*

И не пытайтесь поэтому все воспринять: оттолкнитесь. Припомните, как еврейский народ убивал, но не обращал в свою веру. Ибо тот, кого принимаешь, – враг. Мусульмане тоже это знают; они не слушают чужую мысль, они ей сопротивляются. Ничто так не способствует упрямству мулов, как их шоры. Какой выигрыш получите вы от того, что поймете, что другие столь же правы, сколь и вы? Понять значит начать соглашаться. Чтобы опровергнуть убеждение, не нужно в него вглядываться.

*

(Воспоминания о «Деле¹».) То, что составляло силу Руссо *тогда*, это что он, будучи единственным в своей партии, мог верить, что эта партия хороша. Партию всегда компрометируют *другие*; их всегда слишком много; а если бы их было меньше, партия была бы слишком слаба.

Силу Руссо составляло его одиночество; ибо глупости хватает повсюду, а опасность происходит из того, что последователи ее преувеличивают; видят ее слишком много; разубеждаются. Тогда как тот, кто остался единственным со своей стороны, трубит победу; вся глупость кажется сосредоточенной с другой стороны; это помогает нанести удар.

После этого думают, что одиночество нужно великим триумфаторам для медитаций!

Не важно: в то время, кажется, не хватало опыта; римский стал уже просто историей; рассуждать о нем было легко. Опыт Французской Революции превосходит. Мы все еще удручены им.

перевод Э. Войцеховской

1 Имеется в виду изгнание Руссо из Женевы, т.н. «L'affaire Rousseau».

IN PROGRESS

ЯРОСЛАВ МОГУТИН

ИЗ КНИГИ «БАРХАТНАЯ МАФИЯ»

ТРИ РИКИ МАРТИНА

– Смотри, на этой тусовке по крайней мере три парня, похожих на Рики Мартина. И я один из них. Особенно если отпустить волосы. Клонирование поп-звезд и секс-символов в наше время достигает масштабов, о которых не мог мечтать даже Йозеф Менгеле, не так ли, малыш?

– Что это?

– О, это охуительные японские капли для глаз. – Я верчу перед его носом маленьким пузырьком с иероглифами, весьма соблазнительного вида. – Новинка сезона! Хочешь попробовать?

– Ну, давай! – мой двойник легкомысленно подставляет лицо. Голова запрокинута, жилы шеи напряжены, глаза широко раскрыты. Скульптура, которая рассыплется пару мгновений спустя. Я облизываюсь, открываю колпачок, с замиранием выдавливаю по две капли в каждый глаз. Чтобы наверняка.

– What the fuck! – истошно орет тот, закрывая лицо руками. – Я ни хуя не вижу. Что за хуйня! Сука, ты что мне подсунул! Ой, жжет! Жжет! – Двойник опрометью бежит в ванную, и от него больше ни слуха, ни духа.

С Рики №3 я решаю поступить по-другому. Немец по имени Клеменс, модель Нэн Голдин, стоящей поодаль. Вальяжно пьет коктейль, в черном костюме от Армани. Прошу закурить. Нэн тянется за камерой: Вы могли бы быть братьями! Я соглашаюсь. У него чуть острее скулы и он чуть ниже меня, но сходство действительно поражает. Еще пара коктейлей, и мы на пути в мою квартиру на Мортон-стрит, мою сказочную пыточную, арсенал металла и кожи. Клеменс пьян, легкая добыча. Я показываю ему редкие космические фото: собаки и люди, опутанные электродами и проводами. Контроль потерян, но погоди раздеваться, мой арийский близнец! Я исчезаю в спальне минут на пять, выхожу оттуда в новом облачении – черном костюме от Армани демонстрирую лейбл Клеменс теряет дар речи тебя больше нет ибо ты – это я костюм заляпан твой или моей спермой придется отдать в химчистку пусть нэн голдин прокроет расходы уже четыре утра пора спать перед уходом не забудь подписать model release до встречи в берлине мой подопытный брат.

СЫН АНГЕЛА АДА

Джоей – форменное животное. Безотказная дыра. Снабжает меня травой в Сан-Франциско. Передвижная насосная станция. Может курить траву и сосать хуй безостановочно, 24 hours a day, 7 days a week. Итальянский пацан, шпана, сын одного из главарей Hell's Angels.

- Hi dude! – приходит в мою комнату и сопит. И ждет пока я не скажу ему:
- Hey what's up Joey! Roll another one!

Он сосредоточенно принимается за работу. Он всегда очень ответственно подходит к сворачиванию джойнта, делает мастерские косяки. Из-за меня он тоже пристрастился к голландскому табаку и теперь втихомолку его у меня крадет. Похотливое животное. Мне нравится иметь его рядом. Сопит и трет себе шишку. Накачанный смуглокожий с длинными загнутыми вверх ресницами и маленькими обезьяньими ушами.

– Кто-то постучал в дверь. Моя сестра спустилась вниз и в дом ворвались полицейские с автоматами. Наш дом был окружен. Нас заставили лечь на пол, руки за спину. Один коп пнул меня в живот. Они обращались с нами круто. В соседней комнате полицейский орал моей матери: Where's the stuff? Where's the fucking stuff? Они грозили пристрелить мою мать, если она не скажет. Они искали оружие и наркотики. It was fucked up!

Джоей рассказывает мне, как полицейские делали обыск в его доме. Отец проходил подозреваемым по делу об убийстве. Джоей было тогда 10. Пока рос – отец был в тюрьме не раз – то за наркотики, то за разбой, то за содержание притона. Джоей говорит шепелявя, низкий сиплый голос. Он молитвенно складывает руки опустив голову. Окончательно обкурился. Мне за ним не угнаться...

– Но было и много хорошего! – Джоей вдруг вскидывает голову. – У меня было много игрушек из магазина Toys "R" Us!

- Ты думаешь, отец убил? – я, с надеждой в голосе.

– Нет, нет, это был не он, — бормочет Джоей, не понимая мой интерес и оправдываясь.

- Ну а кто тогда? – я заставляю его ерзать.

– Да это был совсем не мой отец... Там была такая темная история... Ну короче... Он не убивал. Это был совсем не он. Это был... Боб.

Он говорит «Боб» еле слышно, взгляд отсутствующий. Я киваю. Это был Боб. Еще один Ангел Ада?

ЩЕЛКУНЧИК: СВЯЗАННЫЙ С КЛЯПОМ ВО РТУ

Трип начался с кристала, даже раньше. Утром проверил пейджер: 11 сообщений, 5 от него...

Мессадж №1: Том, это я, Роберт. Я рядом с твоим домом. Я тусуюсь и хочу, чтобы ты мне звякнул. Тут такой номер:, и сейчас около 6.25 утра. Надеюсь, что ты скоро получишь этот мессадж, потому что я... Готов для тебя...

Роберт был реинкарнацией Питера Берлина – нарочитый блондин с европейским подкачанным телом. Один из солистов New York City Ballet. Мы познакомились на съемках для журнала бондажа Bound & Gagged («Связанный с Кляпом Во Рту»). Редактор журнала, известный под именем Шон Ван Сант, позвонил мне на пейджер, предложил сняться...

Мессадж №2: Эй Том, это Роберт ЛяФосс. Мы здесь тусуемся по номеру... тут какой номер?.. 312-6709, и я... я готов... потому что мы наркоманим мы типа как курим кристал и нюхаем кокс...

Летний день, я приехал на роликах. Складское помещение в мидтауне. Отсутствующий вахтер. На коньках поднимаюсь в лифте, с разгону лечу через весь коридор, покрытый сверкающим пластиком. Ядовитый неоновый свет. Фото-вспышки счастливых галлюцинаций. Потайная дверь рядом с туалетом. Офис – длинная кишка маленьких комнат, переполненных самыми заветными имиджами сцен мастерски исполненного насилия и унижения. Журналы, полные преступных нарывов. Утрированность и драматизм поз. Изолента, носки, бечевки, трусы, наручники или просто скакалка. Кабинет украшен портретом связанного редактора с соской во рту в детских дайперсах в клетке. Шон хорош собой, был когда-то мальчиком с обложки своего журнала, а теперь вот дослужился и до редактора. Это ж скольких нужно было обслужить, сколько раз оказаться прикрученным к креслу, столу, радиатору или офисному сейфу! Джинсы в обтяжку, его можно запросто представить голым. Торчит все там, где должно торчать...

Мессадж №3: Привет Том, это снова Роберт... Ля...Фоссссс... Я до сих пор по номеру 312-6709, понял? Так что звони нам как можно сссскорее...

Условия контракта (лютое сектантство). Model release. Формальности соблюдены, проходим в студию. Пол, стены и потолок обтянуты черным блестящим латексом. Массивный стальной шкаф с амуницией. Немецкая организация: каждый ящик имеет табличку: СОБАЧЬИ КОСТИ или КЛЯПЫ или ИГРУШКИ. В дальнем углу – клетка в человеческий рост, в латексном же футляре. В центре – пыточное устройство, напоминающее по виду гинекологическое кресло. Шон знакомит меня с дурацким блондином. Я и не знал, что речь шла о дуэте.

– Это Робби, можешь делать с ним что угодно, правда Робби? – бьет его смачно по жопе. – Робби это вещь и он любит чтобы с ним обращались как с вещью. Понимаешь, о чем я говорю?

Я ухмыляюсь в ответ...

Мессадж №4: Том, это опять я, Роберт. Я и мой друг Тони. Мы делаем дикие вещи. Мы ведем себя как животные. Мы можем сделать крутые фотки. И мы... мы готовы тебе заплатить – да, Тони? Да, Тони говорит да. Слышишь Том? Мы готовы для тебя!

Робби виновато улыбается. Он знает, что виноват, и его ждет теперь суровое наказание. Мне надлежит заткнуть ему в глотку грязный вонючий носок, связать его по рукам и ногам, завязать ему глаза американским флажком, а потом долго бить его жопу, используя разнообразные подручные лопатки, скалки, ремни, плетки и хлысты. Задача вполне творческая. Мне особенно понравилась изящная кожаная плетка, окончания которой были завязаны мелкими узлами. Я заметил, что именно она доставляет ему самую интенсивную боль. Там еще была такая электрическая шлепалка, похожая на теннисную ракетку, с металлическими проводами вместо лески. Я одновременно нажимаю на кнопки с обеих сторон ручки и бью Робби по жопе. Он наверняка нанюханный или накуранный. Еле мычит через носок. Голубой электрический разряд, искра, запах озона. Потом я мучаю его соски. Я оттягиваю их и давлю на них ногтями, потом цепляю на них металлические зацепы соединенные цепью и дергаю эту цепь пока он не начинает сипеть через свой вонючий носок. Ничтожество с отбитой пришкваренной жопой! Красножопая макака. Я в кожаной сбруе и с хуем напепес. Имидж к которому я всегда стремился...

Мессадж №5: Том, мы делаем абсолютно запредельные вещи, я тебе рассказываю! Сейчас около 8 утра. Мы превратились в полное говно. Мы по тому же телефону... Тони заплатит. Мы обдолбанные в полное говно. Приезжай...

У Ван Санта технические проблемы с камерой, приходится снимать мыльницей. Хуй с ним – вся современная фотография делается мыльницей. Я постепенно все больше и больше вхожу во вкус. Мне хочется его отъебать как следует. Эту балетную блядищу! Все балетные – блядищи (черный Пьер? белый Рауль?) Спустя два месяца тысячи преданных читателей дрожат на наши с Робби фото в журнале. Это слюна! А это уже нет. А это уже дикие вещи. Обратные физиологические рефлексы. Моя струя в его рот. Тут сложно подобрать эвфемизмы. Ну это просто искусство. Performance art – хорошая отговорка для извращенцев. Он сглатывает мою ярко-желтую от витаминов мочу. Мы оба за здоровый образ жизни да Робби отвечай блядский щелкунчик да ты блядь ничего не ответишь потому что сейчас захлебнешься! Не захлебнись! – мычит Робби, сглатывая и рыгая. Он стоит на коленях с перекрученными изолентой руками и ногами. Ван Сант с камерой ходит вокруг с шумом втягивая воздух сквозь закушенные губы и поглаживая член в тесных джинсах. Время от времени подходит к Робби и не сильно дает ему в морду. Вещь! Вещь не в себе. Классные фотки? Особенно там где я его уже вовсю ебу, зажав ему рукой пасть, в наручниках за спиной. Да –

говорит Робби – Классные получились фотки. Мы делали дикие вещи. Я хочу это как-нибудь повторить. Я звякну тебе на пейджер...

Пять мессаджей от Роберта ЛяФосса на моем пейджере. Дикие вещи, запредельные вещи. Молниеносный душ, турник, коктейль из витаминов и аминокислот, и вот я уже на коньках в Челси. Меня распирает от нетерпения. В голове картины разврата нахлестываются друг на друга. Нырнуть с головой! GET DOWN AND DIRTY!!! Предчувствие большого дня, бесконечного дня и бессонной ночи, многих бессонных ночей. Роберт открывает дверь – голый, похудевший, с короткой стрижкой, в ошейнике, хуй и яйца перетянуты толстым стальным кольцом. У него изнуренный вид, похудевший, с короткой стрижкой. Гораздо моложе.

– Том, ну наконец-то! Мы тебе звонили. Клево, что ты приехал. Мы тут наркоманим всю ночь, Тони и я. – Он говорит как бы оправдываясь, боясь смотреть мне в глаза.

В квартире полумрак. Бардак и вонь, собачье дерьмо на полу. Много дерьма. Стараясь не вляпаться прохожу в спальню. Там за компьютером сидит Тони – стремного вида низкорослый латинос-качок с черными кругами вокруг глаз. Тоже голый, с полустоячим членом. Тони полностью поглощен компьютером. Я раздеваюсь и иду в ванную, Робби следует за мной. Он промывает кишечник, засадив себе в жопу шланг от душа. Смотрю, как из него вылетают ошметки дерьма. Он пытается струей смыть их в воронке ванной. Мне нравится смотреть, как парни чистят кишку на моих глазах, готовя себя к употреблению. Мы возвращаемся в спальню, на пути Робби вляпывается в собачье говно. По хую. Через несколько минут мы покурим кристал, и начнут запредельные вещи.

– Тина? – предлагает Тони, протягивая мне колбу с желтоватыми кристаллами на дне, напоминающими коричневый сахар.

– Тина. – Беру колбу, он раскаляет ее дно зажигалкой. Втягиваю в легкие образовавшийся внутри сизый дым. Меня моментально шибает по мозгам. Я лечу и мне в кайф бардак и вонь и собачье дерьмо и страшные черные круги вокруг тининых глаз. Тина – наш рулевой! Непередаваемое состояние экстремального счастья. Мозг, отправленный в бессрочную ссылку. Ожившие образы телесного низа.

– Have you ever tried GHB? – Тони заговорил голосом Сирены.

– Never.

– Then you should definitely try some! – он встает, несколько секунд пытается сбалансировать свое тело в вертикальной позиции, идет в кухню. Достает из холодильника медицинскую склянку.

– Это жидкое ecstasy. Сейчас, я сделаю тебе вкусный коктейль! – Отливает в стакан грамм 20, разбавляет голубым спортивным дринком Gadorate, тем, что пьют качки в джиме для поднятия духа.

Через пятнадцать минут мы оказываемся в маленькой боковой комнате, декорированной под садистский застенок. Робби лежит в кожаной люльке с ногами, задранными под потолок. Робби – глупый ребенок, он писает на себя, себе в рот. Совсем дебильный пацан.

– Посмотри на это животное! – говорит Тони и бьет его по морде. – Вот кусок дерьма!

– Ребята, только по лицу сссильно не бббейте! У меня скоро гггастроли, – Робби еле ворочает языком.

– Слушай, кого ебут твои проблемы! – Тони засовывает в него кулак. Робби растянут так, что его дыра засасывает его без всяких усилий, как раздолбанная пизда. Вот тебе и гастроли!

– О, я такое дерьмо! Такое дерьмо! – бормочет Робби, закатывая красные как у кролика глаза. Тони ебет его без гондона, раскачивая люльку из стороны в сторону, насаживая его на свой хуй. Меня охватывает такой азарт, что я просто не могу не насрать ему в рот. Робби благодарно сглатывает все, без остатка, довольно урчит и рыгает, бормочет про то, как он давно мечтал стать моим туалетом. Вот так сбываются мечты! Потом я играю с его дырой засовывая в него массивную стальную цепь. Тони снимает все на цифровое видео: андеграундное кино, классика 21-го века. В промежутках мы продолжаем курить чтоб подхлестнуть вдохновение, сплоченный творческий коллектив. Робби ползет в ванную через всю квартиру гремя цепью, торчащей из его жопы. Я фотографирую его поедающим собачье дерьмо на манер божественной Divine из «Розовых Фламинго», облизывающим унитаз, пьющим из унитаза, лежащим на полу в ванной с рулоном туалетной бумаги во рту. Заткнул чтобы не воняло. Сделал человеку приятно. Да если бы он вообще был человеком! Ползучее ничтожество!

Кристал превращает людей в животных. Но ведь пидоры и так животные, куда уж еще? «Мы делаем абсолютно запредельные вещи, я тебе рассказываю!»

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

Андрей Башаримов (1978). Романы «Инкрустатор» («Митин Журнал», 2002) и «Пуговка» («Митин Журнал», 2003). Живет в Петербурге.

Шиш Брянский (1975). Книга «Стихотворения» вышла в издательстве «Митин Журнал» в 2003 году. Живет в Москве.

Гай Давенпорт (Guy Davenport, 1927). Сборники рассказов Tatlin! (1974), Da Vinci's Bicycle (1979), Apples and Pears (1984), A Table of Green Fields (1993). В России изданы сборники «Изобретение фотографии в Толедо» («Амфора», 2002) и «Погребальный поезд Хайле Селассие» (Митин Журнал, 2003). Эссе взяты из книг The Geography of the Imagination (1981) и The Death of Picasso (2003). Живет в Лексингтоне, Кентукки.

Андре Жид. (Andre Gide, 1869-1951). Романы «Яства земные» (1897), «Имморалист» (1902), «Тесные врата» (1909). В «Подземельях Ватикана» (1914) и др. В 2002 году в России вышло собрание сочинений в семи томах. В МЖ-61 опубликован дневник 1889-1895 гг.

Роберт Ирвин (Robert Irwin, 1946). Романы The Arabian Nightmare (1983, рус. перев. 2000), The Limits of Vision (1986, рус. перев. 2000) The Mysteries of Algiers (1988, рус. перев. 2000) Exquisite Corpse (1995), Prayer-Cushions of the Flesh (1997, рус. перев. 2000), Satan Wants Me (1999). Рассказ взят из антологии Tarot Tales (1991). Живет в Лондоне.

Вадим Калинин (1973). Публикации в журналах «Вавилон», «Соло», «День и ночь», «Арго», МЖ-55. Сборник рассказов «Килограмм взрывчатки и вагон кокаина» (2002). Живет в Твери.

Василий Кондратьев (1967-1999). Книга рассказов «Прогулки» («Митин журнал», 1993). Публикации в МЖ №№ 26, 30, 35, 37, 39, 47, 47, 49, 59.

Ярослав Могутин (1974). Книги «Упражнения для зыка» (1997), «Америка в моих штанах» (1999), «Роман с немцем» (2000), Сверхчеловеческие Супертексты (2000), «30 интервью» (2001), «Термоядерный мускул» (2002), «Декларация независимости» (2004). Публикации в МЖ №№ 47, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60. Живет в Нью-Йорке.

Алехандро Ходоровский (*Alejandro Jodorowsky*, 1929) – кинорежиссер, прозаик и автор комиксов. Фильмы: «Фандо и Лис» (1967), «Крот» (1970), «Священная гора» (1973), «Святая кровь» (1989). Книги *Donde mejor canta un pojarro* (1994), *El niño del jueves negro* (1999), *La danza de la realidad* (2001), *La vía del tarot* (2004) и др. Перевод романов «Альбина и мужчина-псы» (2000) и «Плотоядное томление пустоты» (1991) вышли в издательстве «Митин журнал». Роман «Попугай с семью языками» (*El loro de las siete lenguas*) опубликован в 2001 году. Живет в Париже.

Сведения о других авторах – в сопроводительных материалах к текстам.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕКСТЫ

<i>Андрей башаримов. Висмут. Феррум.</i>	5
<i>Шиш Брянский. Стихотворения.</i>	25
<i>Вадим Калинин. Паровоз Желание. Кукушкины слезы.</i>	30

ПЕРСОНАЖИ

<i>Гай Давенпорт. Антропология застольных манер. Нет, но я читал роман. Хоббитство. Рёскин. Виттгенштейн. Предисловие М. Немцова. Перев. М. Немцова и А. Цветкова.</i>	48
<i>Франсуа Ожьекас. Старик и мальчик. Ученик чародея. Перевод и предисловие А. Поповой.</i>	74
<i>Роберт Ирвин. Постоянство ложной памяти. Интервью Остапа Кармоди с Робертом Ирвином.</i>	133

КОЛЛЕКЦИЯ

<i>Алехандро Ходоровский. Общество цветущего клубня. Перев. В. Петрова.</i>	147
<i>Пьер Гийота. Могила для пятисот тысяч солдат. Перев. М. Иванова.</i>	159

АРХИВ

<i>Джин Овертон Фуллер. Магическая дилемма Виктора Нойбурга. Перевод Л. Емельянова.</i>	188
<i>Наталья Голицына. Интервью с Джин Овертон Фуллер.</i>	240
<i>Инджрих Штырский. Эмилия и другие сны. Предисловие Карела Српа. Перев. А Бобракова.</i>	245
<i>Василий Кондратьев. Из неопубликованного. Публикация В. Эрля.</i>	278

Андре Жид. Дневник 1895-1901.

Перев. Э. Войцеховской.318

IN PROGRESS

Ярослав Могутин. Из книги «Бархатная мафия»..356

Авторы этого номера.362

ИЗДАТЕЛЬСТВА KOLONNA PUBLICATIONS И
МИТИН ЖУРНАЛ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Антонен Арто
МОНАХ

Переложение готического романа XVIII века, «Монах» Антонена Арто – универсальное произведение, рассчитанное и на придиричивость интеллектуала, и на потребительство масскульта. Основатель «Театра Жестокости» обратился к сочинению Мэтью Грегори Льюиса в период, когда главной его задачей была аннигиляция всех моральных норм. Знаменитый «литературный террорист» препарировал «Монаха», обнажил каркас текста, сорвал покровы, скрывающие вход в лабиринты смерти, порока и ужаса. «Монаха» можно воспринимать как образец «черной прозы», объединяющей сексуальную одержимость с жестокостью и богохульством, и как сюрреалистическую фантазию, – нагнетание событий, противоречащих законам логики. Перевод романа издается впервые.

Грандиозный шедевр фантастической литературы... завораживает читателя, переливаясь тысячами огней... дух сверхъестественного пронизывает эту книгу до самой ее сердцевины.

Андре Бретон

Хроника чумы и смерти, миазмы потаенных глубин человеческой души, обнаруживающей свое присутствие тончайшим переливом цветов, чудесными преломлениями и радугами, волшебным блеском черной жемчужины.

Жан Кокто

Уильям Берроуз
ДЕЗИНСЕКТОР!

В берроузовских историях, как всегда, полно несовершеннолетних демонов деструкции, лимонных мальчишек, молодых оборотней, фриков, одинаково разлагающих и классический концерт, и предвыборный митинг. Подобно радиопомехам в текст вторгаются обрывки соседних текстов, вирусы анархии, самостоятельно путешествующие внутри прозы благодаря известному методу «разрезок», изобретенному Берроузом и его геноссе Брайаном Гайсиным в марокканском Танжере. Разумные паразиты странствуют из мозга в мозг. Человечество – беспонтовая компания биороботов, оставшихся без хозяев после ядерного апокалипсиса в монгольской пустыне, – еще одна идея Гайсина, пронизывающая всю книгу.

ОМ

Пьер Гийота
ЭДЕМ. ЭДЕМ. ЭДЕМ.

Впервые на русском языке один из самых скандальных романов XX века. «Эдем, Эдем, Эдем» – невероятная, сводящая с ума книга, была запрещена французской цензурой и одиннадцать лет оставалась под запретом.

Эта книга пахнет спермой и убийством. Эта книга – кошмарный оргазм. Это идеальная книга для современной Европы.

Стивен Барбер

Гийота написал книгу на ошеломляюще новом языке. Я никогда не читал ничего подобного. Никто еще не говорил так, как он говорит в этом романе.

Мишель Фуко

Вообразите, как воеет раненый волк, а потом представьте, что звук этого воя проделывает жуткие раны в теле человека, который его слышит. Таков опыт чтения романа «Эдем, Эдем, Эдем».

Bookmunch

ИЗДАТЕЛЬСТВА KOLONNA PUBLICATIONS И
МИТИН ЖУРНАЛ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Кэти Акер

КИСКА – КОРОЛЬ ПИРАТОВ

Гений Кэти Акер обитает в мире полужабытых снов: Эти сны нелегко понять, но вы надеетесь увидеть их снова.

Hotwired

Лучшая из писателей-панков, уникальный голос, – дерзкий, отважный, эротичный и умный.

Esquire

Кэти Акер

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

Самый выдающийся и революционный роман Акер.

Стив Эббот

По своему неистовству и ощущению несправедливости современного мира «Большие надежды» сродни романам Генри Миллера.

Los Angeles Times

Кэти Акер не боится рисковать. Язык ее книг - безжалостный острый скальпель.

Иэн Синклер

Дмитрий Волчек

ДЕВЯНОСТО ТРИ!

Проза Дмитрия Волчека, на первый взгляд аморфная, как сон, и беззащитная, как стихотворение, медленно складывается из повторяющихся образов, знаков и магических цифр. Кирпич за кирпичиком, глава за главкой – всего девяносто две, чтобы осталось легкое ощущение недосказанности. Вполне устойчивое сооружение; при благоприятных условиях переживет и нас с вами. Коль скоро прирученные бесы так мило копошатся в щелях этого уютного универсума (назови его хоть Храмом невинных душ, хоть Серебряной книгой), внешней угрозы ждать просто-напросто неоткуда.

ExLibris

Читатель «Девяноста трех!» оказывается в жестокой вселенной невзрослых мужчин – во внекосмическом мире инициационного мифа, в крошечном пространстве, где возможны и желательны нарушения всех природных законов и всех социальных запретов.

Новая Русская Книга

Алистер Кроули

СВЯТЫЕ КНИГИ ТЕЛЕМЫ

Дух снизошел на меня, и я написал множество книг способом, который с трудом могу описать. Я не могу назвать это автоматическим письмом. Могу лишь сказать, что я не находился в полном сознании в тот момент, когда писал, и чувствовал, что не имею права «изменить» даже начертание букв. Эти книги были написаны очень быстро, я ни разу не останавливался для обдумывания и не осмеливался что-либо исправлять. Не сомневаюсь, что эти книги – работа независимого от меня интеллекта.

Алистер Кроули

Уильям Берроуз

БЛЭЙДРАННЕР

Предсмертный бред знаменитого гангстера... Исчезновение тайной библиотеки предводителя секты ассасинов... оргии в гигантском лепрозории... опустошенный Нью-Йорк 2014 года... Это фильмы Уильяма Берроуза, которые вы никогда не увидите на экране.

Книги издательств «МИТИН ЖУРНАЛ», «KOLONNA publications»
можно купить:

в московских магазинах:

«Проект ОГИ», Потаповский пер., дом 8/12, стр. 2
«Пироги на Дмитровке» ул. Б.Дмитровка, дом 12, стр.1
«Ад Маргинем», 1-й Новокузнецкий пер., 5/7
«Фаланстер» Б.Козихинский пер., д.10
«Книжная лавка при Литинституте им. А.М.Горького»,
Тверской бульвар, дом 25
«У Кентавра», ул. Чайнова, дом 15
«Молодая гвардия», Москва, ул. Б.Полянка, дом 28
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, дом 8
«БУКБЕРИ» Сеть книжных супермаркетов

в Санкт-Петербурге, в магазинах торговой сети «БУКВОЕД» по адресу:

Улица Пестеля, 23
Невский проспект, 13
Кирочная улица, 23
Московский проспект, 172
Лесной проспект, 61, корп. 1
Лиговский проспект, 4
Загородный проспект, 35

в Интернет:

«Ozon» – www.ozon.ru
«Межкнига» – www.mkniga.ru
«Лавка Я+Я» – www.shop.gay.ru/books/

По вопросу оптовых продаж книг издательств
«МИТИН ЖУРНАЛ», «KOLONNA publications»
обращаться в ООО «БЕРРОУНЗ», телефон 095-104-68-36

Для заказа книг по почте наложенным платежом
редакция просит обращаться по адресу:
170024, г.Тверь, а/я 2448
в интернет: www.mitin.com/request.shtml

МИТИН ЖУРНАЛ №63

KOLONNA Publications: Россия, 170024 Тверь, а/я 24048
Формат 60 X 90/16, объем 23 п.л.,
подписано в печать 09.02.2005 г.
Гарнитура Franklin Gothic Book.
Тираж 1000 экз. Заказ № 0000
Отпечатано с готовых диапозитивов издательства.
«Тверская фабрика печати»,
170021, г.Тверь, Беляковский пер., 46.
Электронная почта (E-mail) – tfk@tvcom.ru